

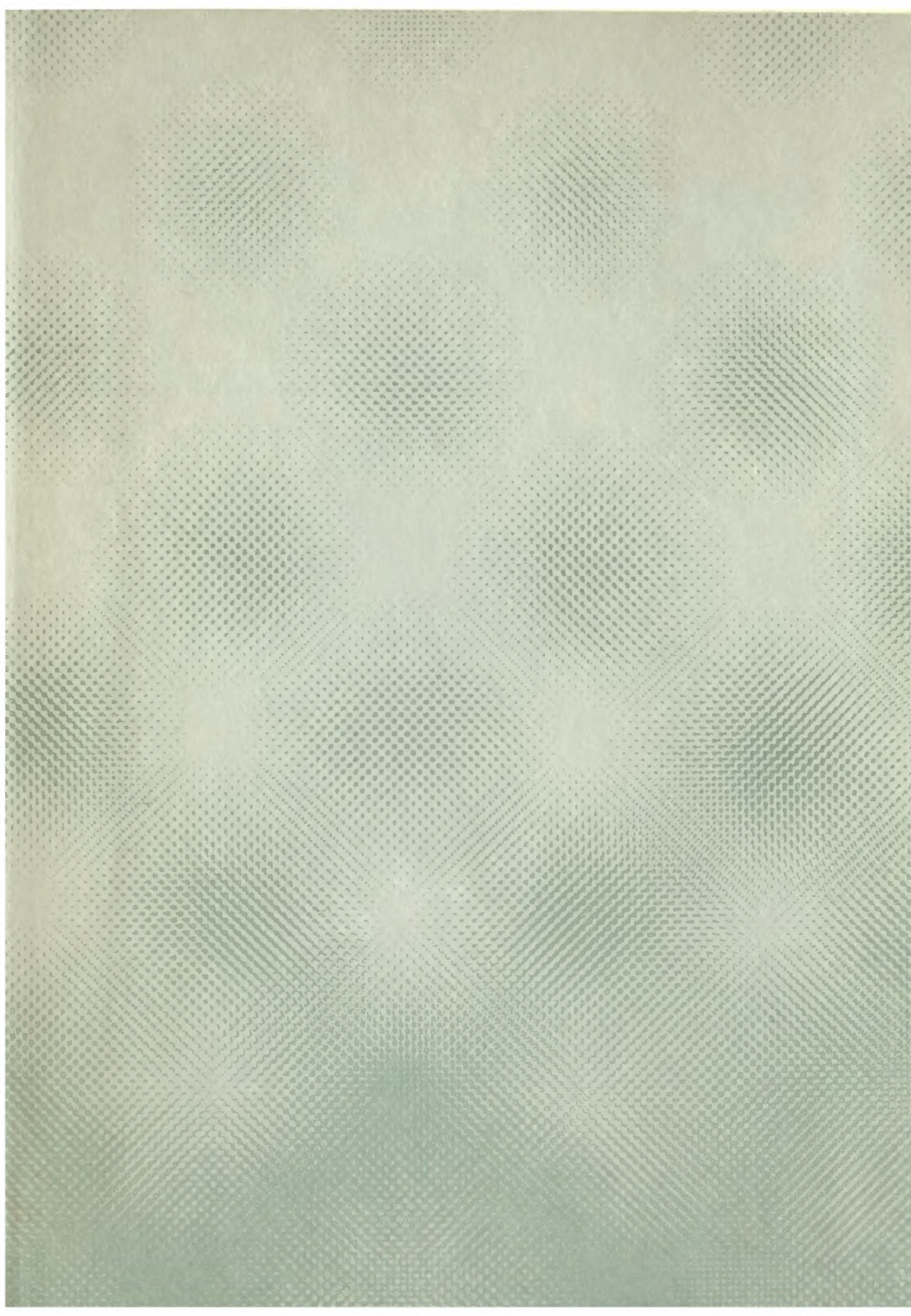
— АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

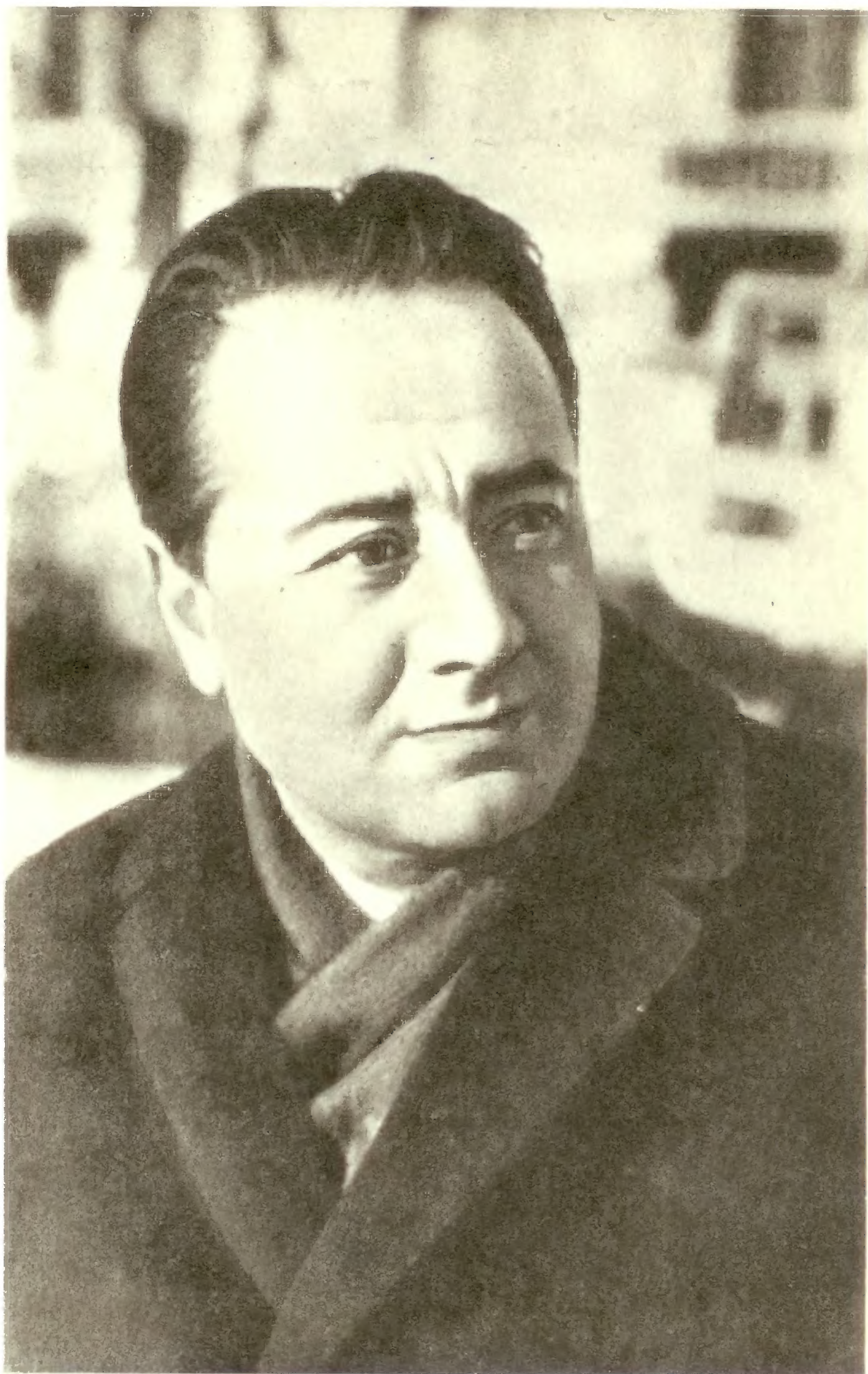
АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН



1







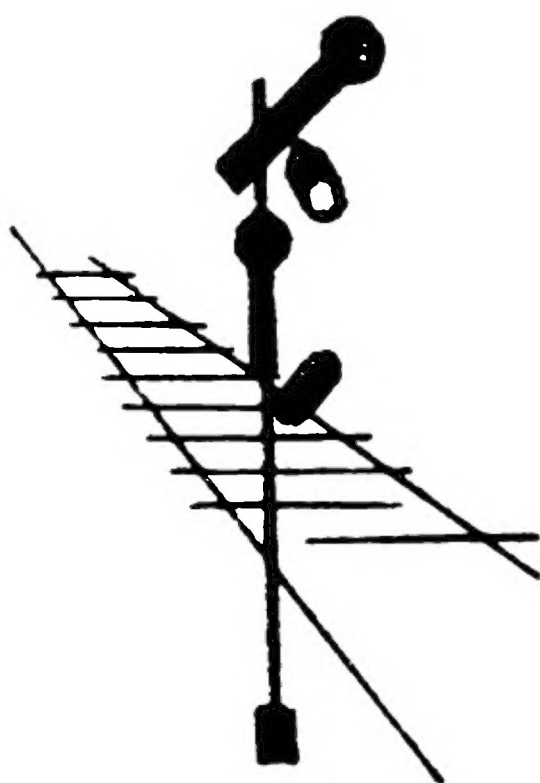
Александр.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ

1



ПОВЕСТИ

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р 2
А 48

Оформление
В. Терещенко

Алексин А. Г.

А 48 Собрание сочинений в трех томах/Предисловие В. Кожевникова.— М.: Дет. лит., 1979.— Т. 1. Повести. 464 с.

В пер.: 1 р. 10 к.

В том входят повести: «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «А тем временем где-то...», «Повесть Алика Деткина», «Действующие лица и исполнители», «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Позавчера и послезавтра», «Звоните и приезжайте!..»

А 70803—046 Подп. изд.
 М101(03)79

Р 2

© Вступительная статья. Состав. Оформление.
Охраняемые произведения отмечены в содержании.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН И ЕГО КНИГИ

Трехтомное собрание сочинений Анатолия Алексина мне хочется назвать собранием талантливых сочинений.

Словно бы в подтверждение этой оценки, сразу же обращусь к высказываниям некоторых мастеров нашей культуры, посвященным творчеству писателя, произведения которого мне давно очень дороги.

Сергей Михалков: «...лучшие произведения советской детской и юношеской литературы получили широчайшее признание. Они, переведенные на десятки языков мира, талантливо и ярко провозглашают наши идеи благородства, подлинного гуманизма, интернационализма. Они учат юное поколение рыцарству, мужеству, готовности бороться за счастье людей. Именно таковы, на мой взгляд, повести, рассказы и пьесы Анатолия Алексина». Агния Барто: «Произведения эти как бы изнутри озарены светом истинной человечности». Народная артистка СССР Лидия Князева: «Я люблю повести и рассказы Анатолия Алексина. Люблю за многое: за тонкое проникновение в духовный мир юных и взрослых героев, за чистоту и лиризм, за юмор и жизне-радостность». Критик Феликс Кузнецов: «Значительным явлением в детской и юношеской литературе стали повести Анатолия Алексина». Мария Прилежаева: «...правда о жизни была бы полуправдой, если бы чуткий к добру писатель не распознавал зло, которое еще бродит по свету, или захотел бы о нем умолчать. Нет, Анатолий Алексин не закрывает глаза на зло, видит его точно и беспощадно... В книгах Алексина не встретишь нравоучительных сентенций, громких слов. Любимых и нелюбимых героев он рисует просто и тонко, неоднолинейно. Алексин лаконичен и в лаконичности своей удивительно емок. Я искренно убеждена: собранные

вместе повести Анатолия Алексина составят целую энциклопедию педагогических, нравственных, художественных наблюдений, открытий и знаний. Книги Алексина воспитывают, зовут к высоким идеалам не только детей и юношей, не только им распахивают окна в мир, но и родителям, учителям, взрослым наставникам».

Член штаба «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны, а ныне капитан первого ранга Василий Левашов пишет: «В этих повестях и рассказах герои совершают главным образом подвиги не ратные, а нравственные. Но мы верим, что на такие мысли и поступки они вдохновлены людьми смелыми, благородными, какими были мои друзья — молодогвардейцы».

По мнению Льва Кассиля, Анатолий Алексин всем своим творчеством утверждает: взрослость — понятие не столько возрастное, сколько нравственное, и определяется она прежде всего не датой рождения, указанной в паспорте, а деяниями человека.

Газета «Правда» в статье «Талант человечности» писала о произведениях А. Алексина, что, «наделенные «талантом человечности», они и в других пробуждают этот бесценный, столь необходимый обществу талант».

Что ж, я полностью присоединяюсь ко всему, что вы только что прочитали.

Быть может, такое начало вступительной статьи покажется необычным, но мне хотелось, чтобы прозвучало побольше голосов, полностью солидаризирующихся со мной в оценке книг А. Алексина. Уверен, что к ним могли бы присоединиться и голоса миллионов юных и взрослых читателей.

Мы часто говорим, что каждый писатель должен иметь «свое лицо», свой почерк. Мне кажется, что произведения А. Алексина можно узнать, даже если бы они вдруг были опубликованы без фамилии автора: у него — своя тема в литературе, свой круг героев, своя стилистическая манера. Действительно, А. Алексин чаще всего пишет о юных гражданах, которые находятся на самом рубеже взрослой жизни. Детство и юность в его повестях, рассказах и пьесах, как и в жизни, — пора непрерывных, жизнерадостных открытий, поэзии, романтического поиска. Это пора, когда впервые решаются многие сложные проблемы всей будущей человеческой жизни. Но какие бы трудные вопросы ни вставали на

пути у юных и взрослых героев алексинских произведений, их никогда не покидает чувство юмора, оптимизма, вера в победу справедливости.

Сколько сложнейших проблем возникает в это время! Найти, определить ориентиры не только на пути к грядущей профессии, но, прежде всего, на пути к духовной зрелости, к взрослости в понимании высоком, нравственном, — решить эту задачу помогают миллионам юных умные, глубокие произведения А. Алексина. Это вовсе не значит, однако, что лишь молодые герои действуют на страницах «Безумной Евдокии», «Позднего ребенка», «Третьего в пятом ряду», «Действующих лиц и исполнителей»... Я, право, хотел бы перечислить все, что создано большим дарованием писателя и его добрым сердцем. В названных мною произведениях и в тех, которые я и не назвал, мир молодых и мир взрослых неразделимы, как и в самой жизни. Стремление участвовать в событиях и конфликтах, которыми живет планета взрослости, помочь старшим стать лучше, счастливее — это одно из главных, самых одержимых стремлений юных героев А. Алексина.

Именно проникая в суть не игрушечных, а настоящих, очень значительных переживаний, радостей и страданий, нравственных потерь и находок, открытий, эти юные люди духовно мужают, сами становятся старше, получают право постоянной «прописки» на столь желанной для них «планете взрослости», получают законное право идти в одном ряду, рука об руку с матерями, отцами...

В чем разница между подлинным и мнимым в человеческой жизни; как опасен эгоизм, делающий человека одиноким, оторванным от людей, от общества; как страшны неблагодарность, забвение добра и как хороши, красивы люди, отвечающие на подвиги (подчас «незаметные!»), совершаемые во имя их счастья, таким же самопожертвованием, такой же готовностью творить добро, как недопустимо бесцеремонное вторжение «со стороны» в сферу интимных человеческих чувств; как важно не приводить все окружающие нас характеры и судьбы к некоему «общему знаменателю», а видеть в каждом человеке личность, пытаться распознать его призвания и помочь этим призваниям осуществиться; как необходимо постичь искусство сострадания не только своим бедам, но, прежде всего, горю ближнего и «дальнего» человека; как прекрасно отдать всего себя битве за справед-

ливость и счастье человеческое... Эти и многие, очень многие другие актуальнейшие и в то же время вечные нравственные проблемы Анатолий Алексин не просто обозначает — он проникает в их суть, глубину; языком художественных образов и конфликтов, зорко и точно увиденных в жизни, убеждает юных и взрослых читателей в необходимости светлых, рыцарских устремлений и действий, в необходимости, в неизбежности торжества законов чести и доброты.

Говоря о мастерстве писателя, хочется еще раз отметить поразительную емкость его произведений. Права была «Литературная газета», на страницах которой утверждалось, что «хотя Анатолий Алексин чаще всего называет свои произведения повестями, по числу печатных знаков это, скорее, большие рассказы, а по объему художественной информации — романы. Своеобразный этот жанр утверждается сегодня в нашей литературе Алексиным очень энергично и результативно». Он страстно, своим благородным оружием сражается за идеалы гуманизма.

Да, писатель исповедует законы нашей коммунистической морали. И делает это вдохновенно. Недаром за заслуги в развитии советской литературы он удостоен звания лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, почетной медалью Н. К. Крупской. Он удостоен также Международного диплома Г.-Х. Андерсена и включен в Почетный список имени великого датского писателя.

Произведения А. Алексина переведены на языки всех братских союзных республик Советской страны, в социалистических государствах Европы и Азии, а также на английский, французский, итальянский, испанский, японский, персидский, бенгальский, хинди, урду и другие языки.

Трехтомное собрание сочинений Анатолия Алексина как бы подведет итог многолетней и замечательной, на мой взгляд, работе писателя. Ну, а за подведением итогов — дорога к новым творческим свершениям. Да будет она счастливой для писателя и для всех его благодарных читателей!

*Вадим Кожеников,
Герой Социалистического Труда*

ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ



1

Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных детей. Я не верила... Но оказалось, что это так. Наверно, потому, что внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества.

Лиза явилась на свет в такую именно пору: мне было под шестьдесят. Володя, мой сын, и Клава, его жена, еще раньше оповестили, что идут на столь смелый шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не решились. А когда Лизу привезли домой, Володя и Клава сказали, что возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу. Тем более, что я тридцать пять лет проработала в школе.

— Ни один из нас не попадал во власть педагога в таком раннем возрасте! — сказал мне Володя.

Клава присоединилась к мнению мужа.

Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки: где-то обнаружился очередной древний курган. Их профессией было не будущее, а далекое прошлое — оба они занимались археологией. И поэтому тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься я.

Я понимала, что моя внучка обязана заговорить раньше всех своих сверстников, что она должна научиться читать раньше всех остальных детей и раньше других проявить понимание окружающего ее мира... Ибо сын намекнул, что на пенсию могла уйти я сама, но не мой педагогический опыт.

Клава присоединилась к мнению мужа.

Они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, тридцатипятилетний, должен был обрушиться на бедную Лизу — и принести поразительные результаты.

Но мой опыт столкнулся с ее характером...

Что характер у внучки есть, я поняла сразу: она почти никогда не плакала. Даже если ей было больно и мокро. Не подавала сигналов! И от этого возникало много дополнительных трудностей.

Когда внучке исполнилось три с половиной года, я объяснила ей, что Лиза — это не полное имя, а полное звучит торжественно и парадно: Елизавета. С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала. Не откликалась — и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее, маленькую, длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться.

— И пусть, — сказала она.

Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому что без отчества им называли императрицу. И Лиза приобрела царственную осанку. А я стала сообщать родителям, звонившим откуда-то, где были усыпальницы и курганы: «Елизавета спит... Елизавета сидит на горшке...»

Внучка одержала первую в жизни победу.

В моей комнате, над столом, висели фотографии классов, в которых я преподавала литературу и русский язык. Или была к тому же еще и классной руководительницей. На фотографиях первые ряды полулежали, вторые сидели, а третьи и четвертые обычно стояли. У лежавших, у сидевших и у стоявших выражение лиц было не детское, напряженное. Может быть, из-за присутствия учителей, которые всегда располагались в центре второго ряда.

Елизавета любила водить пальцем по фотографиям и спрашивать: «Это кто? А это кто?..»

Поскольку главное свойство склероза — помнить все, что было очень давно, и забывать то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии своих бывших учеников.

Только на одной фотографии рядов было пять... Рыжий парень, который на черно-белом снимке выглядел просто светловолосым, в отличие от других, улыбался. Он был третьим слева в том самом пятом ряду.

Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит ее папа. Ваня поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, который будет поставлен на другой стул. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке.

Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом сооружении. Ему было особенно трудно оттого, что он с рождения прихрамывал на правую ногу. И еще чуть не падал со стула Сеня Голубкин, который всегда мечтал стоять выше других.

А Ваня Белов улыбался.

Это был мой злой гений. Я рассказывала о его проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не совершала.

Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал: «Разрешите войти?»

— Как такое могло случиться? — в тот же день спросил у меня директор.

— Ваня Белов... — ответила я.

В другой раз он объявил голодовку... Ему показалось, что я несправедливо поставила двойку одному из учеников. Ваня подошел на перемене ко мне и тихо сказал:

— Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали.

— Но и того, что я задавала, он тоже не знал... как следует.

— Как следует? Может быть... Но ведь за это не ставят двойку.

— Она уже в классном журнале!

— Но ее можно исправить.

— Нельзя!

— Вы должны это сделать!

— Никогда...

— Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать.

— Каким образом?

— Объявлю голодовку!

Я улыбнулась и махнула рукой.

Но в буфет он в тот день не ходил. Я проверила: не ходил. На следующий день тоже...

— Голодаешь? — спросила я его с нарочитой небрежностью.

— Голодаю, — ответил он.

— И долго еще... собираешься?

— Пока вы не исправите двойку... — Потом он огляделся и тихо добавил: — Вы не бойтесь: другие об этом не знают. А то придется закрыть школьный буфет!

Вечером я пошла к родителям Вани.

Беловы жили рядом со школой, через дорогу.

Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые, застенчивые люди, очень встревожились. В них не было ни Ваниной решительности, ни его озорства.

— Что-то случилось? — спросила мать, как бы придерживая сердце рукой. — Что он... там?

— Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться? Для него живем...

Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежали Ванин портфель (я его сразу узнала!), тетради и книжки. Над столом висело расписание школьных уроков. И та самая фотография, где он был третьим в пятом ряду.

— Не беспокойтесь, — сказала я. — Он учится хорошо. Выдвинут на математическую олимпиаду!

— Слава богу! — сказала мать.

Тут я отважилась и спросила:

— Скажите, он... ест?

— Перестал... — со страхом ответила Ванина мама. — Только пьет воду... Даже хлеба в рот не берет. Я спросила: «Может, что с животом?» А он говорит: «Нет аппетита!» Уже второй день нету...

«А ведь так он выжмет из меня все, что захочет!» — подумала я. И на следующий день в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на тройку.

— Почему? — спросила Елизавета, когда я пересказала

ей, уже шестилетней, тот давний случай.— Ты боялась, что Ваня умрет?

— Исправила тому ученику двойку на тройку,— повторила я.

Я только не сказала Елизавете, что тем учеником был ее папа.

2

Да, Володя учился у меня в классе. Так получилось... Уговаривая меня стать классной руководительницей именно в 6-й «В», директор сказал:

— Не отказывайтесь! Это предрассудки. Кто усомнится в вашей объективности?

Я согласилась. И потом три года подряд доказывала ту самую объективность, которую, по словам директора, никто не мог взять под сомнение. Как-то незаметно это превратилось в одну из моих главных педагогических задач. Я очень старалась... Все должны были видеть, что я строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу.

Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать учитель, если прямо под носом, на первой парте возле окна, сидит его сын.

Володя сидел на первой парте потому, что любил сидеть на последней.

На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие грамматические и смысловые ошибки являются наиболее характерными. У доски я держала его очень долго и называла Кудрявцевым, хотя других ребят звала просто по имени.

Получалось, что я все же выделяла его. В отрицательном смысле...

Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но однажды, почувствовав, что он плавает, я задала сыну коварный вопрос о том, чего в школе не проходили. Володя умолк. А я громко сообщила ему или, вернее сказать, всему классу:

— Двойка, Кудрявцев!..

Тогда-то Ваня Белов и объявил голодовку.

— Всегда помни, что ты мой сын! — внушала я Володе.— Пойми меня правильно...

Он помнил, понимал — и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел! Он вторгался в мой план взаимоотношений с сыном-учеником. И все разрушал!

Я объясняла Володе, что он должен интересоваться не только историей и древними глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права пользоваться подсказками или шпаргалками на контрольных по математике.

А Ваня Белов доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, — и продолжал делиться с ним на контрольных своими математическими способностями.

Я убеждала Володю в том, что точные науки — это необходимая каждому гимнастика ума. А Ваня потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди занимаются не более двадцати минут в день. А тут — уроки, экзамены. Какая же это гимнастика?

Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит, кроме Вани, еще один человек. Это был Сеня Голубкин.

Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут: «Все наряжаетесь... Все наряжаетесь!» Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покачают головой: «Все отдыхаете... Все отдыхаете!» А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут: «Все расцветаете!..» Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей. Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. Если кто-то заболел, Сенька говорил: «Ясно... Решил отдохнуть!» Если кто-то получал пятерку за домашнее сочинение, он спрашивал: «Что? Mamочка с папочкой потрудились?»

Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной мукой. И за эти свои мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня.

Голубкина ребята прозвали «Вороном»: он словно кружил над классом, ко всем приглядываясь и всех в чем-то подозревая.

Меня он подозревал в любви к сыну.

Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске, Голубкин провожал его недоверчивым взглядом: а уж не притворяется ли он? Не выхлопатывает ли себе какие-то привилегии?

Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. Но оба они осложняли мое и без того нелегкое положение.

Наставляя свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сенька мог произнести фразу, которую уже давно носил за пазухой: «Сначала бы сына своего воспитали!..»

Я и сама больше всего боялась, чтоб какой-нибудь Володин поступок не вступил в противоречие с моими проповедями и наставлениями. Но это все же произошло...

На 8-й «В» надвигалась контрольная по математике. Решить сложную геометрическую задачу было для моего Володи почти то же самое, что для Сени Голубкина понять разницу между повестью и романом.

Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтоб с математичкой что-нибудь приключилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом бесчеловечно.

— Ну, пусть застрянет где-нибудь минут на пятнадцать. Мало ли в городе происшествий! А потом уж поздно будет писать...

— Но ты ведь учил?

— Мне это не помогает!

Математичка была одной из немногих учительниц нашей школы, которые придавали значение своей внешности. Дождавшись, пока все остальные покинут учительскую, она торопливо прихорашивалась у зеркала, устраивая последний, придирчивый смотр своему лицу и прическе. Лишь убедившись, что все в порядке, она спешила на свидание к старшеклассникам.

В тот день она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской исчез последний классный журнал. Подошла к зеркалу...

И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны коридора — и мечта Володи осуществилась: математичка застряла.

Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор, услышала легкий стук: математичка не любила поднимать шума.

Контрольная была сорвана.

Я поняла, что пробил час Сеньки Голубкина!

Математичка не захотела присутствовать при разборе этого «дела». Она была хорошенькой и не нуждалась в защи-

те. Кроме того, она могла бы позволить себе попасть в страшную ситуацию, но не в смешную. А тут ей грозил смех.

— Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился! — сказала я, глядя на Сеню Голубкина.

В его глазах не было торжества — в них было смятение: если я сама обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня?

Но тут с задней парты раздался голос Вани Белова:

— А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер.

— Ты... боялся контрольной по математике? — изумленно спросила я.

— Чувство коллективизма! — ответил Ваня Белов. И сел.

В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска.

— Ты, Ваня, должен будешь извиниться... перед Ириной Григорьевной, — растерянно произнесла я.

— А я, когда запирал, крикнул ей: «Извините, пожалуйста!»

— Она не услышала. И потом... мне сейчас не до шуток!

— Мне тоже, — сказал Ваня Белов.

— Извинись... Поскорее! С глазу на глаз... (Математичка не любила быть действующим лицом в подобных спектаклях.) Стыдно должно быть и тем, ради кого Белов это сделал! — сказала я, опять глядя на Сеню Голубкина.

В тот же день директор школы спросил меня:

— Что, опять Ваня Белов?

— Опять. Но с другой стороны...

— Пора принимать меры!

— Пора, — ответила я.

И, дождавшись конца учебного года, перебралась вместе с Володей в другую школу. Она была дальше от нашего дома... Но зато дальше и от Вани Белова!

А уже потом, через год, мы вообще уехали на другой конец города. Так получилось.

3

Мне раньше казалось, что «прекрасная половина» человечества, к которой некогда принадлежала и я, не очень богата чувством юмора. Но моя внучка Елизавета постоянно опровергала эту точку зрения.

Она то и дело просила меня вспоминать о давних проделках Вани Белова, которые и спустя много лет поражали мое педагогическое воображение. Елизавета же, слыша о них, падала на диван: хохот валил ее с ног.

У кого-то из взрослых она подхватила панибратское восклицание «Слушай-ка!..» и с него начинала почти каждую фразу.

— Слушай-ка! — говорила она, заранее валясь на диван. — Так прямо и появился в окне? Так прямо и сказал: «Разрешите войти?»

— Так прямо... Но он не подумал о том, что было бы, если б он упал вниз с третьего этажа! Он вообще редко задумывался.

— Как же не задумывался? Если придумал появиться в окне!

В свои шесть лет Елизавета мыслила очень логично.

— Он не помнил о тех, кто за него отвечал, — пояснила я. — Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках.

Только об одном, самом главном, как мне казалось, проступке Вани я не рассказала Елизавете. Как не рассказывала о нем никому...

Малыши требуют, чтобы им по многу раз перечитывали любимые книжки, пересказывали любимые сказки. Елизавета же могла без конца слушать о проделках Вани Белова.

Как-то однажды, когда у нас за столом собрались гости и Володя поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно распахнулась, из его глубины, окруженная платьями и запахом нафталина, появилась Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала:

— Разрешите войти?

Я добилась своего: она влюбилась в Ваню Белова!

Хотя можно было предположить, что она познакомилась с Ваней еще до своего рождения. В самом деле... Елизавета появилась на свет на полмесяца раньше, чем ее ожидали. Появилась в день рождения своего папы, — и все Володиные приятели, словно сговорившись, однообразно шутили: «Вот если бы все жены преподносили своим мужьям такие подарки!», «Два дня рождения в один день — это прекрасно! С точки зрения экономии...»

Головка у новорожденной была покрыта темными волосами, что очень обрадовало меня.

— Наша фамильная масть! — воскликнула я. — Девочка будет с черной косой.

В ответ она, подождав полгодика, посветлела.

У ее организма было странное и очень опасное свойство: он отвергал лекарства.

— Аллергия, — сообщил нам доктор, когда Елизавета покрылась сыпью из-за одной таблетки аспирина. — Могло быть и хуже... Отек, например. Могли распухнуть глаза, лицо.

Все люди от лекарства излечивались, а Елизавета заболела!

У нее было так много ярких индивидуальных качеств, что мы с Володией и Клавой решили притушить их с помощью коллектива. И хотя ее родители по-прежнему уповали на мой педагогический опыт, Елизавету отправили в детский сад.

В первое время воспитатели и подружки не признавали ее полного имени. Но заведующая детским садом, которую, напротив, как девочку, звали Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне.

Однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать.

Я спросила ее:

— Ты сыта?

— Я не обедала, — сказала она.

— А как твой живот? — с тревогой спросила я.

Ей нельзя было болеть: она не выносила лекарств.

— Я здорова... Но я голодаю!

— Ты?!

— И еще одна девочка.

— Объявили голодовку?

— Сегодня утром.

Я поняла: Ваня Белов через нашу семью добрался до их детского сада.

— Но по какой же причине вы... решили не есть?

— От нас уходит Алена.

Я всегда любила красивых женщин. Они нравились мне, как нравятся талантливые произведения искусства. Но заведующая детсадом не была произведением, созданным раз и навсегда. Ни на миг не теряя своей удивительной мягкости и женственности, она менялась в зависимости от ситуа-

ций. На детей она никогда не сердилась: любить их было ее призванием. А родителей нередко отчитывала. Но делала это так нежно и обаятельно, что ей подчинялись. Особенно же отцы... Они вообще стали проявлять большой интерес к проблемам дошкольного воспитания. А дома боролись за право отводить своих детей по утрам в детский сад и вечером приводить их обратно. Над Аленой стали сгущаться тучи...

Кто-то из мамаш вспомнил, что в детский сад она попала «случайно». Ее пригласили на должность заведующей после елочного праздника в Доме культуры. В тот день заболел Дед-Мороз. Студентка-заочница Алена, исполнявшая роль массовички, так взволнованно рассказала ребятам о бедном Деде, которого сразил радикулит, что многие плакали.

Потом Алена мне говорила:

— Они должны уметь плакать... Не только тогда, когда расшибают коленку. Но и когда коленка болит у кого-то другого.

По предложению Алены ребята сочинили Деду-Морозу письмо. А потом она их всех развлекала.

На Алену обратила внимание председатель месткома научно-исследовательского института, в котором работали Володя и Клава. Это была сутулая женщина в старомодном пенсне, знавшая наизусть все новые песни и игравшая по первому разряду в шахматы. Она-то и пригласила Алену в детсад.

А потом оказалось, что председатель месткома умеет сражаться не только за шахматной доской, но и на собрании в детском саду.

Мамаши отчаянно наступали.

— Она массовичка! — сообщила одна.

— А жизнь детей — не елочный праздник. Их надо воспитывать! — подхватила другая.

Отцы хотели бы защитить Алену. Но не решались. Боялись испортить все дело.

Только две женщины, которым было за шестьдесят, бросились в бой: председатель месткома и я.

— Спросите у своих дочерей!.. — воскликнула я. — Хотят ли они расстаться с Аленой?

— Что они понимают?!

— Ну не скажите! — поправив пенсне, заявила предсе-

датель месткома — Я помню себя ребенком... Я тогда разбиралась в людях непосредственной, чем сейчас. Обмануть меня было трудно!

Затем снова поднялась я:

— Поверьте моему опыту: я тридцать пять лет проработала в школе.

— Вас бы вот и назначить!

— Нет, школьный учитель и воспитатель детского сада — это разные дарования.

— Дарования?

— Как в литературе... Поэт и прозаик! Оба писатели, но жанры-то разные.

— Она все умеет!.. — поддержала председатель месткома. — Танцует, читает стихи, поет... А как они у нее едят!

Тут снова поднялась я:

— А теперь моя внучка второй день не ест. Аппетит потеряла.

— Если б только она!.. — съехидничал женский голос.

— Да, дети любят красивых учителей, воспитателей! — вскочила со своего места председатель месткома. — Это развивает в них чувство прекрасного.

— Если бы только дети!.. — повторил тот же голос.

Я опять поднялась и с отчаянностью Вани Белова сказала:

— Да не бойтесь же вы ее!

— Вам хорошо рассуждать, — сказала мне одна мамаша по дороге домой. — Ваш сын со своей женой где-то далеко раскапывает курганы...

Алена осталась в детском саду.

Через два дня она неожиданно позвонила мне днем и сказала:

— Не волнуйтесь, Вера Матвеевна... Но немедленно приезжайте!

— Что случилось?

— Нашего врача вызвали на конференцию. А у Елизаветы поднялась температура. Я дала ей лекарство... Я должна была знать! Должна была... Зря вы меня защищали, Вера Матвеевна! Я вызвала «неотложку». Не волнуйтесь. Простите меня! Не волнуйтесь...

В жизни каждого человека бывают дни и часы, когда все вчерашние беды начинают казаться ничтожными.

Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина торопилась, мчалась на красный свет.

Больница была неподалеку от школы, где когда-то учился Володя, а я преподавала литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из того района на другой конец города. Но жизнь в тяжелый момент как бы вернула меня туда.

«Почему? — думала я. — Какое странное совпадение... Мало разве больниц в городе!» Совпадения... Они в жизни на каждом шагу. Но мы-то запоминаем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем.

На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненые Андрей Болконский и Анатолий Курагин оказались на соседних операционных столах. Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и самая буйная фантазия не сможет вообразить. В доказательство я даже приводила примеры из своей собственной жизни.

«И вот опять совпадение! — думала я. — И опять операционный стол...»

Женщины и мужчины в белых халатах, всё уже повидавшие, волновались и торопились. Я видела, что они боятся не успеть, опоздать.

«Сразу на стол! — слышала я. — Отек горла... Сразу на стол!»

По дороге в больницу Елизавета не плакала, не кричала. Она дышала с трудом.

Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне! Но каждому достается свое...

Алена хотела, чтоб дети умели плакать... Не от своей боли, а от чужой! Конечно... В человеке должно жить сострадание, а страдание ему ни к чему. Особенно в самом начале жизни, когда и радостей-то еще было немного.

«Не испытаете сам — не поймете!» — как-то услышала я. Но была несогласна. Чтобы сочувствовать чужим бедам, не обязательно иметь опыт собственных горестей. «Пусть у моей внучки его никогда не будет!» — думала я.

А уберечь не смогла.

Меня пропустили на третий этаж, где была операционная. Туда увезли мою внучку... Никому до меня не было дела.

На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего.

За столиком в коридоре сидела дежурная сестра. Совсем молодая. С модной прической, в серьгах. Как будто с моей внучкой ничего не случилось!

Она первой заметила меня и спросила:

— Вы к кому?

— Я с внучкой...

Она взглянула на меня с жалостью. И сказала:

— Вам повезло... Сегодня дежурит Белов. Он вообще-то заведует отделением. А сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван Сергеевич...

— Ваня Белов?

— Вы его знаете?

В этот момент из операционной показался молодой человек в белом халате. Марлевая повязка была спущена на черную бороду. Он крикнул:

— Маша! Скорее... Скорее!

Она вскочила и побежала. Длинные серьги прыгали по щекам.

«Его отца звали Сергеем! Конечно... Сергеем! Я помню...»

Маша выбежала из операционной. И, подскочив к телефону, стала набирать какие-то три цифры.

— Что? Что там?.. — спросила я.

— Пусть Анна Ивановна придет в операционную! — крикнула в трубку Маша. — Только сейчас же!

— А Белов уже там? Белов... там? — спрашивала я.

— Он там... Я вам налью валерьянки.

— Сколько ему лет?

— Я думаю, тридцать пять.

Она протянула мензурку.

— И живет недалеко? Да?

— Совсем близко. Выпейте...

— Ну да... Через дорогу от моей бывшей школы.

— Ходит домой обедать. Значит, вы его знаете?

— Знаю...

В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба внучки соединилась вдруг в моем созна-

нии с образом Вани Белова. В этом союзе я хотела увидеть спасение... И увидела. «Какое счастье, что именно он...» — думала я, не понимая еще, почему я так думаю.

В конце коридора показалась женщина. Полная, немолодая. Она бежала.

— Это Анна Ивановна, — с облегчением прошептала Маша. — Он просил ее... Слава богу! — Она вынула зеркальце. — На кого я похожа! — И попудрилась.

На круглых часах было семь минут третьего.

Ваня... Ваня Белов... Почему мне тогда нужен был именно он? Которого раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володю... Я совершила тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и отваги. От тех его качеств, на которые теперь была вся надежда.

С высоты своего несчастья я стала вдруг видеть Ванины поступки в истинном свете. Я помнила их все... И тот главный его проступок, о котором не могла рассказать внучке.

— Слушай-ка! Почему у меня две бабушки, а дедушка только один? — как-то спросила она.

— Второго и не было... никогда, — растерявшись, ответила я.

Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне:

— Слушай-ка! А откуда тогда появился мой папа?

На самом деле дедушка у нее был. Как у меня когда-то был муж, а у Володи отец. Его звали Геннадием. Геной... По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и познакомились.

Его профессиональные заботы я нарекла «четвероногими увлечениями». Он жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил. Я не требовала, чтобы из двух своих любовей он выбрал одну. Но всячески подчеркивала величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и будничностью его дел. С помощью литературы, которая призвана возвышать, я как бы постоянно унижала его. Хотя и не отдавала себе в этом отчета.

Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне несолидным. И главой стала я.

Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался чем-то другим. Он подчинился... И тогда

угасло то главное, что озаряло его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был, лишь тогда, когда он угас.

Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма — все равно что плеснуть водой на костер...

Когда Володе исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за тридевять земель, на Дальний Восток. Я попросила его на прощанье не напоминать о себе, чтоб не тревожить сына. Он и тут подчинился.

А через тринадцать лет я узнала, что, начав работать в зверосовхозе, он стал с годами крупным ученым. «Четвероногие увлечения» твердо поставили его на обе ноги: он стал доктором наук, директором института.

«Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него!» — этой мыслью я, наверно, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений.

Но лишить Володю такого отца я не могла!

Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с Володией.

Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут, конечно же, получилось так, что Ваня зашел. И, как пишут, «принял участие в переговорах».

Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась. Геннадий и Ваня ушли.

Лицо у Володи было растерянное и виноватое. Примерно такое, каксе бывает у верного, любящего супруга, который увидел другую прекрасную женщину и не смог не признать ее высоких достоинств.

Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся жизнь его связана с дальним краем, который он любил. Но они твердо договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу. А потом и во время летних.

Я одобрила этот план. Но Володя к отцу не поехал... Его отговорил Ваня Белов. Хотя они и не так уж дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние. И в этом я видела большую опасность!

— Зачем же ты это сделал? — спросила я Ваню. — Ведь отец его ждет.

— Уж очень он умный! — угрюмо ответил Ваня.

— Так это ведь хорошо.

— Как сказать... Пусть сам приезжает. Если захочет...

Я считала, что Ваня совершил преступление. Я уговаривала Володю. Он не отказывался. Но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась причина, которая удерживала его возле меня.

«Уж очень он умный!» — сказал тогда Ваня.

Прошло больше двадцати лет... И я вдруг поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтоб я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом... и увести от меня.

По крайней мере он хотел, чтобы встречи Володи с отцом происходили не вдали от меня и от нашего дома.

— Скажите... у него на лице веснушки? — спросила я сестру Машу.

— На днях только он сказал: «Посмотрите на мое лицо — и вам станет ясно: весна наступила!»

— Нельзя ли у вас попросить еще... валерьянки?

— Я налью... Но вы сядьте, пожалуйста. А то ходите, ходите по коридору...

На круглых часах было семь минут третьего.

Из операционной выскочил тот же молодой человек. Марлевая повязка опять съехала на черную бороду.

— Маша! Всю бригаду... Всю бригаду! — крикнул он. И сразу же скрылся.

— Какую бригаду? — спросила я.

Маша стала набирать номер.

— Какую бригаду?

Она хлопнула трубкой по рычагу:

— Занято. Нашли когда разговаривать!

— Какую бригаду?..

Она заспешила вдоль коридора. На высоких каблуках ей было трудно. Она сбросила туфли и побежала прямо так... в чулках.

Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин — все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью операционной.

Маша остановилась, подобрала туфли. Подошла к своему столику. И только тогда их надела.

— Какая бригада? — спросила я.

— Просто так... Не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция редкая. Он хочет им показать. Все будет нормально. Раз там Иван Сергеевич...

Она вынула зеркальце.

— Я понимаю. Раз Ваня Белов...

Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-то хорошее. В этом были надежда, спасение... И я вспоминала.

Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в шестом классе, был назначен «районный» диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе двенадцатилетние. Диктант был изощренно трудным. И так как абсолютно грамотных людей на свете не существует, даже я вряд ли написала бы его без единой ошибки.

Что же тогда говорить о Сене Голубкине! Он был в панике: двойка за тот диктант грозила ему второгодничеством.

В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это... И если мне удавалось не замечать его подсказок, я их не замечала.

А после урока, в коридоре, верзила Голубкин теснил невысокого Ваню: тот, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно: «Сам-то небось вы-учил! Сам-то все-е знаешь!...»

За этим я тоже тайком наблюдала.

После диктанта Сенька бегал по коридору и выпрашивал у своих одноклассников:

— Как пишется «в течение»? Вместе или отдельно?

— Отдельно, — отвечали ему.

— Одна ошибочка есть! — говорил он. И загибал палец. — А ты сам-то как написал? Правильно?

Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил:

— Ну, коне-ечно... Сам написа-ал!

Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое.

— Та-ак... Еще одна ошибочка! — восклицал он и загибал следующий палец с таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке.

Володя никогда не раскрывал мне секреты приятелей, но эти сцены он демонстрировал в лицах. И мне казалось, что я наблюдаю их своими глазами.

После «районного» диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал двенадцать ошибок. Кроме запятых и тире...

На перемене ко мне подошел Ваня Белов и спросил:

— Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться?

— Не знаю. Еще не проверила.

У меня в тот день было, помнится, всего два урока. Когда я уселась в учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из пачки исчезли. Среди них были диктанты Сени Голубкина, Володи и Вани.

На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым...

Именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и сказал:

— Разрешите войти?

Мы онемели. А Ваня оглянулся, будто смерил расстояние от третьего этажа до тротуара, и, повернувшись к нам, спокойно сказал:

— Я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия!

Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Даже если б это и пришло ему в голову, он бы ни за что не прикоснулся к тетради моего сына. Потому что это был сын учительницы... А Сенька именно по этой причине и вытащил Володин диктант! Но доказать это я не могла.

Директор тогда еще не начал счет проделкам Вани Белова. Он согласился с моей версией, сказал, что рыцарство тоже должно знать пределы... Но что не стоит превращать школьный класс в комнату следователя.

Для очистки совести я все же сказала Ване:

— Не верю, что ты способен на подобную дерзость!

— А пройти по карнизу третьего этажа — это не дерзость?

Мне стало ясно, зачем он появился в окне: мы должны были поверить, что он способен на все!

Тут же, после уроков, я передиктовала диктант тем шестерым, работы которых исчезли. Сеня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки. И перешел в седьмой класс.

Он не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сенька его невзлюбил. Он не простил благородства, как не прощал грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки.

Ваня Белов это понял...

После того как Сенька очередной раз насолил в чем-то своему спасителю, я как бы мимоходом сказала Ване:

— Ну, что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным?

Мне не хотелось, чтоб он считал меня уж слишком наивной и думал, что я поверила его признанию, произнесенному с подоконника.

Ваня съежился. Но не оттого, что я его уличила. А из-за моей фразы о наказуемости добра.

— Мало ли что бывает! — сказал он. — Из-за этого всем не верить?

Теперь, когда мне нужно было верить в Ваню Белова, я вспомнила тот разговор.

Но почему же я раньше не придавала ему никакого значения?..

Чтобы направить энергию Вани Белова в нужное русло, я, помнится, в седьмом классе назначила его редактором стенгазеты.

Для начала Ваня завел на ее столбцах анкету: «Что о нас думают наши учителя?»

Я написала, что люблю их всех (всех сорока трех!), что поэтому бываю недовольна ими, строга и что желаю им всем счастья.

Следующая анкета называлась иначе: «Что мы думаем о наших учителях?»

В этом номере Ваня спорил со мной: «Нельзя, я думаю, любить всех на свете людей. А мы — те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сеньку Голубкина!»

Так прямо и написал. Не побоялся Сеньки. А я то и дело оглядывалась на Голубкина...

— Сколько лет вашей внучке? — спросила меня сестра Маша.

— Шесть с половиной.

— Осенью должна была пойти в школу?

«Почему должна была? Она пойдет в школу... — говорила я себе. — Ваня Белов спасет ее! Теперь, когда я до конца поняла его... Когда до конца поверила... Он не может ее не спасти!»

На круглых часах было семь минут третьего.

«Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках...» — сказала я как-то внучке.

Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем.

Но для Вани это было не важно: совершая свои «спасательные экспедиции», он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен.

Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее.

«Безумству храбрых поем мы песню!» — как бы в шутку цитировал он. Но никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла это?

Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти?

На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление.

Я вспомнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально».

Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны... и недовольны мною.

Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук, крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои способности. На самом же деле это я скрывала его способности и его характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для него были лишь мои взгляды, мои убеждения.

Но жизненный компас, верный для одного, может сбить с дороги другого... Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и жил моими призваниями.

С теми, кто любит, так поступать опасно: они могут подчиниться — и навсегда потерять себя.

Иногда я так поступала и с сыном: выбирала ему друзей, разлучила с Ваней Беловым... Он любил меня — и тоже мне подчинялся. А потом, должно быть намаявшись со мной, женился на Клаве, которая всегда к нему «присоединялась».

Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении... Когда сын, еще школьником, возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки «древней культуры», многие смеялись над ним. А Ваня Белов восхищался.

Почему же я их все-таки разлучила?

У Вани был свой характер. Не подчинявшийся... А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все сорок три характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама.

О судьбах своих учеников мне хотелось знать все: кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки... Но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы. И я освобождала себя от этого.

Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам мог если не научить, то уж во всяком случае проучить меня.

— Я загляну в операционную, — сказала мне сестра Маша.

Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом вернулась и сказала:

— Ничего... Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально!

И стала наливать валерьянку. Я протянула руку... Но она выпила валерьянку сама. «Как же она могла увидеть, что он улыбается? — подумала я. — Как она могла это увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как же она... Но там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов! Значит, все и правда будет нормально... Я верю. Если Ваня Белов...»

Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные происшествия. «Что будет, если все начнут ему следовать?» — со страхом думала я. Но следовать ему никто бы не смог: для этого нужен был его, Ванин, характер.

Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально.

«Из того, прошлого, Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина пройти по карнизу третьего этажа, получился хирург,— думала я.— Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них,— независимо от достоинств и качеств: и Голубкиным, и моей внучке».

Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили:

— Обломала тебя жизнь... Обломала!

А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека. И что добро каждый должен творить по-своему. И что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду... И что вообще я, учительница, должна видеть не «ряды», а людей, которые стоят рядом... или вдали друг от друга. А непохожесть характеров вряд ли стоит принимать за несовместимость...

Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти.

«Где твоя бывшая строгость, непримиримость?» — спрашивали меня иногда. Не-при-ми-ри-мость... Это значит то, что находится «не при мире». Зачем же употреблять такое оружие в общении с друзьями? Да и вообще есть качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для будничного, повседневного употребления.

«Меня потрясает гнев человека, который гневается раз в году», — сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать.

О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое.

«Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в шестьдесят третьем году, когда мне уже исполнилось шестьдесят три года,— думала я,— а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой побег от Вани Белова... И когда мне тоже было, соответственно, тридцать девять».

Эти совпадения (опять совпадения!) всегда забавляли Володю.

— Мамочка, сколько тебе нынче лет? — спрашивал он. И как бы соображал на ходу: — Та-ак... На дворе у нас «год-

отличник»: пятьдесят пятый. Значит, и у тебя, мамочка, — две пятерки!

И в этом году он тоже шутливо напомнил мне, что цифра 63 в календаре совпадает с моей шестьдесят третьей весной.

Я улыбалась этим привычным шуткам. Но не так весело, как четверть века назад.

Ваня остался самым собой — и поэтому я верила, что моя внучка пойдет осенью в школу. Я верила в это.

«Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение, — думала я. — Чтобы Ваня спас мою внучку. И чтоб я сказала ему, что все наконец поняла. Не сейчас, конечно, сказала... а потом. Сейчас я его просто буду благодарить, бесконечно благодарить...»

— Иван Сергеевич! — воскликнула Маша и, на бегу поправляя прическу, бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной. Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб.

Я не могла идти... Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми.

Он сам подошел ко мне.

— Очнулась ваша царица.

«От чего?» — хотела спросить я. Но не спросила.

— Отчество-то ее не Петровна?

Я ничего не могла ответить. И заплакала. Он осторожно погладил меня:

— На свадьбу-то пригласите?

— Спасибо вам, доктор.

Он снова погладил меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот.

Про все я успела спросить у Маши. Про все... А о росте забыла. Ваня-то был невысокий...

5

Иван Сергеевич попросил меня «не настаивать» на немедленной встрече с Елизаветой.

— Она примет вас завтра, — пообещал он. — Или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать.

На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего.

Я поняла, наконец, что часы стоят.

Сестра Маша проводила меня до конца коридора.

— Повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Несложная, конечно... Но аллергический шок получился.

— Что... это?

— Совсем была плоха. Теперь уж я вам сознаюсь.

Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серьги еле слышно позванивали.

— Я до утра присмотрю за ней. (Мы дошли до конца коридора.) Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: «И как же тебя зовут?» А она отвечает: «Елизаветой».

— Так ее и зовите, — попросила я. — А то еще не откликнется... Значит, это были не практиканты?

Она не ответила.

Я стала спускаться вниз.

«Много людей прошло через мою жизнь, — думала я. — А эти двое останутся со мной навсегда: Иван Сергеевич, Маша... И Ваня Белов. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем... Андреем, а не Сергеем. Как же я забыла? Такой милый, застенчивый человек. Все время предлагал снять пальто. А я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила: «Что же ты, Андрюша, не предложишь раздеться?» Тогда он снова просил меня снять пальто».

Тут я увидела Алену. Она сидела на длинной скамье возле больницы.

Моросил нудный дождик.

— Ну что?! Вера Матвеевна...

Я не выдержала. Опять стала плакать. Она вытирала щеки мои слезы и капли дождя. Не платком, а теплыми, мягкими пальцами. Наверно, так она утешала своих малышей.

— Очнулась уже. Очнулась... — сквозь слезы сказала я. — Нам повезло. Дежурил Белов! Сказал, что придет на свадьбу. А почему вы... на улице?

— То войду в вестибюль, то выйду. Не могла на одном месте... Я виновата, Вера Матвеевна!

— Не вздумайте повторить это в детском саду! — встрепенулась я. И перестала плакать. — Вы обязаны быть педагогом, но не провидцем. Я сама должна была предупредить.

— Вы и предупредили, — мягко, но упрямо возразила она.

— Врача... Но не вас!

— А я должна была узнать у врача. Про всех все узнать!

— Вот теперь и узнаете. Опыт требует жертв... Вы мне поверьте.

— Но не таких!

— Если б мы знали, где упадем... подстелили б соломку. Это старая истина. Вот вспомнилось мне сегодня...

Нет, я не собиралась учить Алену на своем горестном опыте. Просто я хотела этим опытом утешить ее. И начала рассказывать про мужа, про Володю, про Ваню Белова.

Мужчины оглядывались на нас. Я стала говорить тише. А они продолжали оглядываться.

Вернувшись домой, я написала письмо Володе и Клаве. Телеграмму посылать я не стала. Да и в письме обо всем рассказала очень спокойно, умолчав о смертельной опасности, которая грозила нам всем. Я давно сделала для себя правилом: не заставлять других переживать то, что я могу пережить сама... Тем более, когда речь шла о буре, которая уже пронеслась.

Стараясь поменьше писать о болезни Елизаветы, я сосредоточила свое внимание на Ване Белове.

«Я была права, — писала я сыну. — Но как и ты мог забыть о нем? Что из того, что мы уехали на другой конец города?..»

В ответ на письмо прилетела Клава.

Она подробно рассказала, как Володя переживал весть о болезни Елизаветы. И мои упреки по поводу Вани Белова... О своих переживаниях Клава не говорила, поскольку мне было ясно, что она, как всегда, разделяла Володины чувства. К этому я привыкла.

Услышав о какой-нибудь неприятности, Клава сразу начинала искать глазами Володю. Даже если он был в другом городе... «Не пора ли мужчиною стать?» — спрашивала я

прежде у сына. Клавина беззащитность заставила его стать защитником, а значит, мужчиной.

«Мы с Володиёй...» — так чаще всего начинала она. Если же говорила, к примеру: «Володя очень устал и мечтает о юге!», я понимала, что и она тоже нуждается в отдыхе. Она не умела уставать, мечтать и волноваться одна... без участия мужа.

С годами она даже стала еле заметно припадать на правую ногу. Потому что так ходил он...

Иногда мне казалось, что мой сын более дорог ей, чем моя внучка.

И как ни странно, меня это радовало... Внучка, ее жизнь, ее будущее были теперь главной и наверняка последней целью моей жизни.

В тот час, когда эта главная цель была в смертельной опасности, ко мне пришел Ваня Белов. И не только потому, что его имя и фамилия совпали с именем и фамилией хирурга. А и потому, что он был рожден приходить к людям в такие именно часы и минуты.

Клава все-таки заставила меня поведать о некоторых подробностях болезни и операции.

Она обернулась, как бы ища Володю... Но его не было, и тогда она разрыдалась у меня на плече.

— Что могло быть? Что могло быть?! — шептала она. Я попросила ее:

— Не надо пересказывать Володе все, что уже миновало... А то и он прилетит!

Она пообещала и помчалась в больницу.

А я распечатала Володино письмо, которое она привезла.

Письмо было длинное. Он волновался об Елизавете. А дальше писал: «И я, мама, вспомнил о Ване. Все вспомнил! Даже то, чего ты не знаешь. Ваня просил меня никогда не раскрывать эту тайну. Но прошло больше двадцати лет... И сейчас, за давностью срока, можно сознаться. Математичку-то запер я! Это получилось как-то само собой. Я заглянул тогда в щелку... Вижу, она перед зеркалом прихорашивается, а больше никого нет. Просто не понимаю, честное слово, как моя рука повернула ключ. Очень я математики, наверно, боялся. Потом Ваня стал убеждать меня: «Ты — сын классной руководительницы и запираешь учителей не имеешь права!» Я поверил ему. А после, честное слово, терзался. Поэтому, может быть, и звонить ему перестал. Ну, а потом

уж мы переехали... Когда я вернусь, мы обязательно найдем его, мамочка!»

Значит, Ваня снова принял на себя чужую вину?

Я была уверена: он поступил так вовсе не потому, что решил сделать самопожертвование как бы своей профессией. Сеньке грозило второгодничество, а мне (именно мне!) позор на всю школу,— и он, как хирург, должен был не раздумывать, а спасать. Он, которого я считала своим злым гением...

Но почему же в тот раз, когда речь шла о Голубкине, я не дала себя обмануть: я знала, что Ваня заслонил Сеньку собой. А тут я поверила... Хотя всем было известно, что Ваня Белов — математик и ему незачем было запираить Ирину Григорьевну. Сперва Володя позволил себя убедить... А потом и я тоже. Неужели человек стремится все на свете осознавать с позиций своих интересов? Да нет... Ваня Белов это опровергает.

Я не стану ждать возвращения сына. Я сама найду Ваню. Сама!..

6

Переулок, где когда-то учились Володя и Ваня, трудно было узнать. Новые дома молодцевато поглядывали на невысокие старые здания. Мне казалось, что я пришла в семью, некогда мне очень близкую, с которой не виделась десятилетия и в которой все изменилось: дети выросли, появились внуки, и лишь самые старые члены семейства напоминали о былом. Но они-то и были особенно дороги...

Таким старым членом семейства показался мне Ванин дом, что стоял прямо напротив школы, через дорогу. Он сохранился, к счастью. Мимо него шли с уроков ребята. Мальчишки, как во все времена, проявляли доблесть и остроумие, а девочки делали вид, что этого не замечают.

Беловы жили на первом этаже. Я хорошо помнила.

Вместе со мной в парадное вошла девочка и направилась к той самой квартире. Она была светловолосой, на ее носу и щеках тоже были рассыпаны приметы наступавшей весны.

«Неужели это Ванина дочка? — подумала я. — Ей лет тринадцать или четырнадцать. Вполне может быть!»

— Ты не Белова? — спросила я.

— Белова?

Она рассмеялась. В ее возрасте девочки очень смешливы... И что именно рассмешит их — трудно предугадать.

— Беловы отсюда уехали. Очень давно... Я их даже не помню.

— В другой город? — спросила я, потому что боялась этого.

— Не-ет... Просто в другое место.— Она открыла дверь своим ключом.— У мамы записан их адрес. Мама сейчас на работе, но я посмотрю. Кажется, он в записной книжке.

Девочка была деловитой и не чересчур многословной. Она не стала расспрашивать, кем я прихожусь Беловым и почему их ищу. Она молча перелистала записную книжку, лежавшую на столике у телефона. Сказала самой себе:

— Ну вот... Я же знала!

Потом переписала адрес. И протянула мне.

Я схватила листок... Она опять засмеялась. Наверно, от удивления.

— Спасибо тебе,— сказала я, успев разглядеть, что Беловы живут в районе Филей.— Спасибо!

Я не вышла, а выбежала на улицу, держа адрес в руке. Теперь, когда я знала, что Ваня в Москве, знала, где он живет, мне не терпелось скорей, как можно скорей увидеть его...

Можно было ехать на автобусе или в метро. Но я схватила такси. И стала по дороге рассказывать шоферу, что вот через столько лет нашла прекрасного человека. Таксисты целые дни вслушиваются в чужие истории — и оттого становятся либо равнодушными, ко всему на свете привыкшими, либо восприимчивыми и чуткими. Этот сразу же начал вспоминать подобные случаи и каждым движением показывал, что очень хочет ускорить мою встречу с Ваней.

«Конечно, в такое время и Ваня может быть на работе,— думала я.— Но тогда старики дома. И я посижу с ними... Подожду. Если, конечно, они живы-здоровы».

Старики были живы.

Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам понять, что же такое время. Встречаясь повседневно, мы не замечаем, не чувствуем перемен, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку.

Старики Беловы были уже действительно стариками. Годы сгорбили их, иссушили их лица.

Увидев это, я взглянула на себя в зеркало, висевшее возле вешалки. Тем более, что они не сразу меня узнали.

Ванин отец, как и тогда, стал просить, чтобы я сняла плащ.

— Вот съехались с родственниками,— объяснила мне Ванина мама.— С братом Андрюшиным...

— Простите, что я не заходила к вам столько лет... А Ваня-то как? Где он?

Они провели меня в комнату.

В самом уютном месте стоял тот же стол, словно Ваня был по-прежнему школьником. А над ним висела та же самая фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани... Только расписания уроков не было: их сын все же вырос.

— Ну, как он? — снова спросила я.

Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая.

Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын, Иван Андреевич Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау.

Я никогда не слышала о таком городе...

«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ»



Порою чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают где-то за поворотом... Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства.

А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило меня оглянуться назад, я его, кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется...

Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей бессонницей, неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба: Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков: это наша с ней жизнь.

Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность.

Так сейчас происходит со мной.

Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя?

Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?

Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы говорили друг другу: «Здрасте!», не называя имен, потому что не знали их.

Когда же меня вместе с огромной чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали: «И так уж не протолкнешься!»

— Одним человеком меньше, одним человеком больше... — стал убеждать представитель дирекции.

— Это смотря какой человек! — сказала Надюша.

Потом, возникая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знаменитой певицы.

— Пойдемте... Я тоже пою! — сказала она. И добавила: — Правда, есть одно затруднение: у меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят.

Но именно там, в Большом зале консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на «бис», она шепнула:

— У вас нет платка? Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной активности!

Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые тайны семьи.

«Милая детская непосредственность...» — говорят о таких людях. Надина непосредственность никогда не была «милой» — она была удивительной. Покоряющей... Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает! Тем более что, как я узнал окольным путем, она этот жанр не любила:

— Столько фантастики в реалистических произведениях!..

А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила:

— Только учтите, у меня есть приданое: порок сердца и запрет иметь детей.

— В вас самой столько детского! — растерянно пошутил я.

— С годами это может стать неестественным и противным, — ответила Надя. — Представьте себе пожилую даму с розовым бантиком в волосах!

— Но ведь можно, в конце концов, и без...

— Нет, нельзя, — перебила она. — Представляете, какая у нас с вами была бы дочь!

С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь.

«Ясно... Запретный плод!» — говорили знакомые. Эти восклицания были не только банальными, но и неточными. Надюша мало сказать не прислушивалась к запретам врачей — она просто о них забыла. И только глаза, которые из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порок сердца все-таки есть.

— Почти всех женщин беременность украшает. На ком ты женился?! — говорила Надюша, разглядывая себя в зеркале по утрам.

Другие мечтали о сыновьях. А мы ждали Оленьку. И она родилась.

«Она не могла поступить иначе, — написала мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое. — Меня полгода держали в больнице. Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей!»

С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с Надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца...

* * *

Это было воскресенье. По радио началась передача «С добрым утром!».

Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику.

— Не пою сама, так хоть послушаю, как поют другие, — сказала она.

— А разве ты уже... не поешь? — удивился я.

— А разве ты не заметил?

— Я как-то... Пожалуйста, не сердись.

— Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены — это искусство.

Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные люди.

Жизнерадостные голоса, женский и мужской, попеременно, как бы забегая из радиоприемника к нам в комнату, желали, чтобы утро для всех было ясным и добрым.

В дверь постучали.

— Звонок не работает, — сказала Надюша. — Пробки, что ли, перегорели?

Стоило мне прикоснуться к замку, как по ту сторону двери вскрикнули:

— Оля дома?

Я увидел на пороге Евдокию Савельевну, классную руководительницу нашей Оленьки, и двух Олиных одноклассников — Люсю и Борю.

— Вырос Боря нам на горе! — пошутила однажды Оленька.

Она часто и легко переходила на рифмы.

Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь собой загораживал. А тут он хотел, чтобы Евдокия Савельевна сама его от меня заслонила, и поэтому неестественно пригибался.

Хрупкая Люся тоже пряталась за громоздкой, но очень подвижной фигурой своей классной руководительницы.

Евдокия Савельевна была в брюках, старомодной шляпе с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной.

— Оля дома? — повторила она.

— Нет.

— Она не вернулась?!

— Нет.

— Как... нет?! Что вы говорите?

— Она же ушла вместе с вами. В поход...

— Это так. Это, безусловно, так. Но вчера вечером она куда-то исчезла.

Я почувствовал, что сзади, за мной, стоит Надя. Она не сказала ни слова. Но я почувствовал, что она сзади.

— И ночью Оленьки не было? — полупшепотом-полукриком спросил я.

Они молчали.

Это было ответом, который заставил Надюшу за моей спиной произнести:

— Где же она теперь?

Я не узнал Надиного голоса. Не уловил привычных для меня интонаций. Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны, спокойное чувство юмора всегда помогали Наде удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии.

— Ты бы одолжила мне свое чувство юмора, — попросил я ее однажды.

— У меня... юмор? Смешно! — сказала она. — Но свой собственный сбереги. Он помогает смягчать крайние человеческие проявления.

— Эти проявления всегда очень опасны, — сказала она в другой раз. — Потому что отрывают человека от людей и делают его одиноким.

— Не понимаю, — сознался я.

— Значит, виноват объяснявший! Мы часто излагаем то, о чем размышляли целые годы, так, будто и наш собеседник размышлял вместе с нами. И еще удивляемся: почему он не понимает нас с полуслова!..

Я любил, когда Надюша мне что-нибудь растолковывала: она делала это легко, не настырно. «Преподавай она в школе, все были бы отличниками», — думал я.

— Вот и растолкуй мне... О вреде, как ты сказала, «крайних человеческих проявлений»!

— Верней, о бестактности их, — сказала она. — Это как раз очень ясно. Например... Когда слишком уж бурно ликуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и подумать о том, что кому-то сейчас впору заплакать. А упиваясь собственным горем, не мешает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится. Надо считаться с людьми!

Что-то подобное Надюша сказала мне и в тот день, когда я, потеряв от счастья человеческий облик, переносил Оленьку из родильного дома в такси.

В соседнюю машину с такими же шашечками на боках садились, как рассказала мне потом Надя, жена и муж, сын которых в результате родовой травмы не двигался.

И вот впервые Надя изменила себе. Ее тревога не знала границ, не могла щадить окружающих.

— Где же она... теперь? — повторила Надюша.

Потрясенный ее состоянием, я крикнул:

— Оля просто не вынесла. Всему есть предел!

Я сказал так, потому что именно они, те трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и слез нашей дочери.

— Сейчас уже утро. А ее нет! Ее нет!.. Где же она?! Куда же она?.. — спрашивала меня Надя.

Она сама приучила меня чаще задавать трудные вопросы, чем отвечать на них. Поэтому я беспомощно повторял одну и ту же нелепую фразу:

— Не волнуйся, пожалуйста, Наденька. Не волнуйся!

А те трое были еще за порогом. «Виновники... главные виновники того, что произошло!» — мысленно повторял я.

Что именно произошло, я не знал. И неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным.

Огромная шляпа с обвислыми полями скрывала лицо Евдокии Савельевны. Люся по-прежнему пряталась за спиной классной руководительницы, а Боря изучал каменные плитки у себя под ногами.

Наверно, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью.

* * *

Евдокии Савельевне было пятьдесят четыре года: она называла себя «предпенсионеркой». Но ей можно было бы дать и пятьдесят семь лет, и тридцать девять: она была, как говорят, женщиной без возраста.

Поскольку Евдокия Савельевна раз и навсегда решила, что внешность и годы значения для нее не имеют, она и одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то впопыхах, случайно купленных брюк она могла надеть широкую юбку, заправить в нее мужскую ковбойку, а в короткие, под мальчишку подстриженные волосы воткнуть костяной гребень «времен Очаковских и покоренья Крыма».

Приблизительно в таком виде и предстала она перед родителями учеников 9-го класса «Б» на одном из собраний. На том собрании Евдокия Савельевна, помнится, объясняла

нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту.

Однажды, ранней весной, я увидел ее в белой панаме с такими же печально обвислыми полями, как будто на улице стояла жара. Хотя все, и она в том числе, были еще в пальто... В тот день она, продолжая борьбу за прекрасное, вела свой класс в какой-то музей. А я пришел сообщить, что Оленька готовится к выставке юных скульпторов, и попросил освободить ее от экскурсии.

— Привычная мизансцена! — воскликнула Евдокия Савельевна. — Все вместе, а она — в стороне.

Классная руководительница очень любила, чтобы все были вместе. И с ней во главе!.. Я был уверен, что в искусстве ей ближе всего хор и кордебалет.

В классе она прежде всего замечала незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся.

Характер у нее был вулканического происхождения. Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то изумляясь.

— Наша безумная Евдокия! — сказала о ней Оля. С тех пор у нас дома ее так и стали называть: «безумная Евдокия».

— Костя Белкин еще недавно не мог начертить прямую линию, а теперь у него по геометрии и черчению твердые тройки! — восклицала она на родительском собрании. — Учительница математики предполагает, что в будущем он может добиться четверки. Это радостное событие для нас всех.

— Люсю Катунину включили в редколлегию обще-школьной стенной газеты. Она умеет писать заголовки. Это приятно для нас всех!

«Все», «со всеми», «для всех» — без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог, наконец, начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Но о нашей дочери, которая училась в художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Оленька в чем-то не приняла участия и куда-то не пришла «вместе со всеми».

Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы с Надей повезли ее к Черному морю, в Евпаторию. Там к Оленьке впервые пришло признание.

Весь пляж поражался ее умению лепить фигуры людей и зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица.

«Чем сегодня порадует ваша Оленька?» — спрашивали у нас с Надей.

Но «безумную Евдокию» Оленька никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала. Хотя за девять лет, которые минули после нашей поездки в Евпаторию, дочь добилась больших успехов. Они-то и раздражали классную руководительницу. Про Оленьку нельзя было сказать, что она «как все». Но разве она в этом была виновата?

Кроме Оли, никто в 9-м «Б» не собирался стать скульптором или художником. Но Евдокия Савельевна уважала людей других профессий.

— Вася Карманов оправдал мои надежды. Полностью оправдал! — восклицала она. — Стал директором троллейбусного парка! А начал с того, что сидел за баранкой.

— Прошел путь от водителя до руководителя, — сказала нам дома Оленька. — Точнее сказать, п р о е х а л!

— Вот Лева Лапшин... Полностью оправдал мои ожидания! — шумела на родительском собрании «безумная Евдокия». — Теперь он старший диспетчер. Старший! Я хочу, чтоб и ваши дети были такими.

Более высоких задач она перед нами не ставила.

Она постоянно воспитывала учеников н ы н е ш н и х на примере учеников б ы в ш и х, для чего устраивала встречи и собеседования. А Оленька в это время занималась в художественной школе. Да еще изучала итальянский, чтобы прочитать о гениях Возрождения на их родном языке.

Иногда после родительских собраний Евдокия Савельевна упрямо пыталась познакомить меня с моей собственной дочерью. «Лицом к лицу — лица не увидать!» — процитировала она в одной из таких бесед. «Есенин имел в виду в р е м е н н ы е расстояния», — отпарировал я.

На всех бывших учеников у Евдокии Савельевны была заведена картотека. Как в читальнях и библиотеках на книги... В карточках, помимо адресов, телефонов и биографических сведений, было отмечено, когда проведена встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало.

— Их отрывает от дела. Нас отрывает, — вздыхала Оля. — Ну если бы сутки были в два раза длиннее! Тогда бы уж пусть.

— Ты абсолютно права, — соглашалась Надя. — Но будь снисходительной. У нее нет семьи, ей некуда торопиться.

Надюша жалела «безумную Евдокию», но еще больше опасалась за Оленьку.

— Не надо конфликтов, — просила она.

Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери: а вдруг с ней что-то случится?

В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве: либо мужчина, либо женщина. У нас в меньшинстве были мы с Надей: центром семьи и ее лицом стала дочь. Она заслужила это право. И мы были счастливы.

Когда-то, очень давно, я посылал свои фантастические рассказы в редакции толстых и тонких журналов. Мне присылали ответы на гладкой, плотной бумаге с названием журнала вверху. Выразив уважение в начале и в самом конце письма, в середине мне объясняли, что мои литературные опусы лишены самобытности. Похожесть была моей главной бедой. Учись я у Евдокии Савельевны, она бы меня обожала!

А Оля даже посуду мыла каким-то своим способом: бесшумно и быстро.

— Не остри по поводу этих встреч с бывшими учениками, — просила Надюша. — И ничего не рифмуй. Я прошу тебя.

— Но я хочу понять, — отвечала Оля, — почему все мы должны тратить время и силы на то, что доставляет радость одной Евдокии. Эти люди ей дороги? Пусть и встречается. Но ведь так можно устраивать вечера в честь любого из жильцов нашего дома. Каждый кому-нибудь дорог. Разве я не права?

— Ты права... Но все-таки, пожалуйста, не рифмуй.

— Я рифмую бездарно. Евдокия Савельевна должна радоваться таким рифмам!

— И все-таки я прошу тебя...

От бывших учеников «безумная Евдокия» требовала, чтобы они подробно рассказывали о своих «трудовых буднях»: бухгалтер — про бухгалтерию, начальник ЖЭКа — про ЖЭК, шеф-повар — про кухню.

— Как это было интересно! Как поучительно! — восторгалась Евдокия Савельевна.

И ученики, которых она своим громким голосом как-то

тихо сумела прибрать к рукам, послушно вторили, что им было действительно интересно. А Оля молчала... Потому что в час встречи нынешних с бывшими она десятый раз перерисовывала какого-нибудь «старика с телеграммой в руке» или мучилась оттого, что фигура собаки получилась статичной, а собачий взгляд не выражает собачьей верности и ума.

Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Но, устраивая экскурсию в музей, она на первое место по значению ставила все же слово «экскурсия».

Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила организовать в школе показ этих работ. Поинтересовались мнением классной руководительницы... Но оказалось, во-первых, что у «безумной Евдокии» нет телевизора. А во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений в с е х, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла всего два рисунка, чтобы было не больше, чем у других.

Однажды в 9-м «Б» решили разыграть на английском языке сцены из шекспировской «Двенадцатой ночи». «Безумная Евдокия» преподавала историю, но тем не менее стала режиссером спектакля. И хотя было известно, что Оленька владеет английским лучше всех в классе, ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз. Главные роли исполнили любимые Евдокией посредственности.

— Она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры,— рассказывала потом Оленька.— Подавляла нас опытом Станиславского!

— Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли,— сказала Надюша.

— С маленькими спокойнее,— объяснила нам Оля.— И вообще, они ей гораздо ближе. Привыкните к этому. И смиритесь.

— Увы, нелегко придется нашей талантливой дочери в мире людей обыкновенных,— сказал я Надюше.

— Мы с тобой тоже обыкновенные,— ответила она.— Но разве мы страшимся талантов?

Классная руководительница и в самом деле р у к о в о д и л а умами и поступками учеников 9-го «Б». И вслед за ней они не желали замечать того, что было для них непривычным. Яркое не радовало, а ослепляло их. Как бы надев защитные очки, они сквозь них и смотрели на нашу Оленьку.

...В один миг я вспомнил все это, глядя на шляпу «безумной Евдокии», которая скрывала ее лицо.

Что же там произошло в этом походе? Как еще унизили там нашу девочку? Почему не выдержала она? И где же она теперь?!

За моей спиной была Надя... с ее больным сердцем.

«Оленька исчезла вчера вечером. Если она вот-вот не появится,— думал я,— невозможно представить себе, что будет с нами! Невозможно себе представить».

* * *

— Говорят, что самые опасные недруги — это бывшие друзья,— сказала однажды Оля.— Я убедилась, что это так.

Помолчала и добавила:

— О ком я говорю, спроси. И я отвечу: о Люси!

Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси́. «Как в доме Ростовых! — пояснила Оленька.— Или Болконских».

Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. Какая женщина устоит перед таким обожанием? Оленька стала дружить с Люси́. Хотя времени на дружбу у нее было мало.

Да и у Люси его было не очень много. Люси́на мама в течение долгих лет не поднималась с постели. За ней ухаживала незамужняя Люси́на тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой — даже когда была в школе или у нас в гостях.

Стремясь доставить матери радость, она восклицала:

— Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! Я весь вечер говорю шепотом: вдруг он проснется?

Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме. И взяла слово, что, когда мама поднимется (а на это появилась надежда!), Оля нарисует ее портрет.

Люся и сама потихоньку рисовала. Но мы видели только ее заголовки в школьном юмористическом журнале, который по предложению Оли носил название «Детский лепет».

Неожиданно все изменилось.

Первые тучи появились в тот день, когда в художествен-

ной школе организовали встречу со знаменитым мастером живописи. Люся высоко чтит этого мастера. Но чтит его и все остальные, поэтому школьный зал был переполнен. И Оленька не смогла провести туда подругу.

— Я не нашла для Люси́ места в зале, — рассказывала в тот вечер Оля. — У дверей стояли церберы. А она обиделась... И за что?! Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я сказала ей: «Ты знаешь его работы. Значит, ты с ним знакома. Художник — это его творчество».

— А она? — спросила Надюша.

— Вернула папку с рисунками. Как говорят, «заберите свои игрушки!».

— И что же дальше?

— Ну и мерси, дорогая Люси́! — в рифму пошутила Оленька.

— Друзей труднее найти, чем потерять, — сказала Надюша.

— Раз можно потерять — значит, это не такой уж и друг!

— Не нашла места в зале? — задумчиво произнесла Надя. — Если бы ты не нашла его у себя в сердце... Но ведь именно нашей семье она доверила свою самую горькую тайну!

В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму.

— Сейчас к Люсе надо быть снисходительней, — сказала Надюша.

— Обыкновенная история, — грустно ответила Оля.

— Но каждый переживает ее так, будто ни с кем ничего подобного не случилось.

— Я предлагала поговорить с ее отцом. Но она отказалась: «Я отца не виню». Логично... Анну Каренину мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к постели. Все слишком сложно. Поди разберись!

— Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, — медленно процитировала Надюша.

Став непрощеной хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки.

— Трудно учиться, когда носишь в себе т а к о е, — сказала Надюша. — До формул ли ей сейчас?

Люсю решили проработать на классном собрании.

Но Оля выступила в защиту подруги. Хотя это было уже после истории со знаменитым мастером живописи.

— Рука помощи может что-нибудь сделать, если ее не отталкивают, — рассказывала после собрания Оленька. — Люся же повернулась ко мне лишь для того, чтобы сказать: «Мне не нужна защита!»

«Откуда такая гордыня?» — подумал я. И вдруг вспомнил, как маленькая, хрупкая Люся доказывала мне однажды, что почти все великие люди были невысокого роста.

После проработки на классном собрании «безумная Евдокия» неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло, или, точнее сказать, под обвислые поля своих старомодных шляп. Она сделала ее, двоечницу, старостой класса.

Тогда я понял, что Люсины обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю... И относиться к Оленьке «по системе Евдокии Савельевны».

— Лет до ста расти нашей старосте! И все равно не вырасти, — сказала с напускной веселостью Оленька. — Даже «безумная Евдокия» здесь не поможет. Хотя вырасти ей очень хочется: сегодня отчитала меня за какое-то очередное дежурство, на которое я не пришла. «Но ты ведь знаешь, что я работала. Я лепила... Скоро в художественной школе экзамены!» — сказала я ей. «У нас все работают!» — ответила Люся.

Все... всем... как все...

Я понял, что наша дочь впервые столкнулась с предательством.

В присутствии Нади я ни разу не произнес это слово. Когда в чей-либо адрес бросали резкое обвинение, она сжималась, словно камень был брошен в нее.

— Людей надо щадить, — всегда говорила она.

Надо щадить... Я думал об этом, стараясь разглядеть Люсю за спиной Евдокии Савельевны. Но она скрылась. Она боялась, что мы с Надюшей спросим: «Что же ты сделала со своей бывшей подругой, Люси?»

* * *

— Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества Оленьки и захотят доискаться, кто же в те годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина, — шутливо сказал я однажды.

Но это была не шутка.

Самый красивый парень не только в Олином классе, но

и во всей школе, Боря мог бы посвятить себя романтическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности.

— Хоть бы какая-нибудь Мона Лиза из восьмого или девятого класса отвлекла его!.. — выражала надежду Оленька.

Но Боря не отвлекался. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельевны.

Иногда у него возникали и свои собственные предложения.

— Я вот подумал... Почему бы тебе не разрисовать стены школьного зала?

— Я рисую главным образом лица... портреты.

Через несколько дней у Бори возникло новое предложение:

— Я вот подумал... Почему бы тебе не создать галерею портретов старейших учителей нашей школы?

— Учителя мне будут позировать?

«Почему бы тебе не...» — так обычно начинал Боря. И Оленька объясняла ему «почему». Объясняла в школе, по телефону. Боря частенько звонил нам, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что «безумная Евдокия» поручила ему вовлечь Олю в стремительный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной «неохваченной», и Боря должен был ее охватить.

— Нарисуй его собственный портрет, — посоветовал я дочери. — И, может быть, он успокоится.

— Красивые лица для художника неинтересны, — ответила Оля. — А внутренней красоты я в Антохине не заметила.

Боря изучил расписание занятий в художественной школе. И иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой.

— Евдокия Савельевна просила тебя сегодня быть на встрече с ее бывшим учеником. Потому что он в детстве тоже считался художником. Эстафета увлечений! Ты понимаешь?

Так он обеспечивал Олину «явку».

— Он следит за мной! — с возмущением говорила Оленька. — Если полкласса не придет мыть окна — это ничего. Но если я не приду, он завтра обязательно скажет: «Ты слишком заметна, чтобы отсутствовать. Все удивлялись!» А удивлялись, я уверена, только он да Люси́ с Евдокией.

Несколько раз, когда Оля заболела, Боря Антохин приходил к нам домой.

— Если бы я была девятиклассницей, я бы в него влюбилась,— сказала Надюша, виновато взглянув в мою сторону.

Но я был спокоен, поскольку знал, что обратной дороги в детство не существует.

— Как можно любить вычислительную машину?! — с возмущением ответила Оленька.— Вы слышали, зачем он пришел? Чтобы высчитать, успею ли я подняться ко дню перевыборного собрания!

Боря Антохин действительно объяснил нашей дочери, что растяжение сухожилия — болезнь несерьезная и что Оля, прихрамывая, вполне может прийти на собрание.

Он тоже воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельевны. А чаще всего на примере ее любимейшего ученика Мити Калягина.

Митя был самой большой гордостью классной руководительницы.

— Он оправдал мои ожидания. Прекрасный человек! Теперь самосвал водит... Я уверена, что он всегда примчится на помощь, если она нам понадобится!

— Никогда нас не катали на груженом самосвале! — все-таки пошутила со своей третьей парты Оленька.

«Безумная Евдокия» шуток не понимала. Она сказала, что когда-нибудь Оля осознает «кощунственность своего заявления».

— Митя Калягин — ее святыня,— сказала Оле Надюша.— А когда речь идет о святынях... Еще раз очень прошу тебя: не рифмуй!

Митей «безумная Евдокия» гордилась не зря... В первые дни фашистской оккупации он, больной, с высокой температурой, сумел доставить своему дяде-врачу в рабочий поселок, что был в тридцати километрах от города, лекарства и хирургические инструменты. Его дядя — невропатолог, никогда не делавший операций, извлек пули и вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Митя тогда проявил не только смелость, но и находчивость: из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту, на которой его не подстерегала встреча с врагами.

Если кто-нибудь из учеников 9-го «Б» отпрашивался

с уроков, ссылаясь на головную боль, Евдокия Савельевна говорила:

— Вспомните, что перенес Митя Калягин! А ведь он был шестиклассником. То есть на три года моложе вас!

То же самое она говорила и если кто-нибудь залеживался дома из-за простуды или ангины. Когда она однажды сравнила Олин бронхит с трудностями, перенесенными Митей Калягиным, мне на память пришел дряхлый анекдот: «Отчего умер ваш сосед?» — «От гриппа!» — «Ну, это не страшно!»

Когда «безумная Евдокия» решила устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленьку:

— Не вздумай принести справку! Этому походу придается большое значение.

— Кем придается?

— Всеми.

Два девятых класса должны были порознь искать тот самый «самый короткий путь» к дому дяди-врача, который десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Если бы дорогу отыскиали оба девятых, победителем считался бы тот класс, который первым сообразил. «Безумная Евдокия» обожала устраивать состязания!

Накануне похода девятиклассники встретились с Митей Калягиным.

Оленька успела набросать в блокноте Митин портрет.

— Он лысый? — удивился я.

— Худенький, лысый... Евдокия Савельевна объяснила, что это результат военного детства. И очень застенчивый! Никак не ассоциируется с самосвалом, на котором приехал. Одним словом, он мне понравился.

О своем подвиге Митя Калягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в сорок втором году, это была военная игра, а не настоящая война, и были не настоящие раненые, которых они с дядей спасли.

— Дядя писал в записке, что надо бы поскорее. А у меня температура тридцать девять и пять. Комедия! — вспоминал Митя.

Записка у Мити сохранилась. Евдокия Савельевна попросила показать ее всему классу.

Торопясь к дяде, Митя вскочил на ходу в кузов грузовика: маленький был, никто не заметил.

— Кашлять было нельзя... А у меня воспаление легких. Комедия! — продолжал Митя.

И выскочил он тоже на ходу, возле станции.

— Чуть было не попал под машину. Которая сзади шла... Вот была бы комедия!

Он, как и Надя, умел подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны лишь хорошие, умные люди.

Выскочив возле станции, Митя начал искать самый короткий путь. Лекарства и инструменты были зашиты в стареньком ватнике.

— Ватник, к сожалению, не сохранился, — сообщила Евдокия Савельевна.

Девятый класс, который первым Митиной дорогой добрался бы до домика дяди-невропатолога, должен был получить, как сказал Митя, «приятный сюрприз».

— Ну зачем ты, Митя? Зачем? — кокетливо застеснялась вдруг «безумная Евдокия». Кокетничала она очень громоздко и неуклюже.

Девятые классы дошли в субботу до той станции, до которой Митя Калягин добрался когда-то на попутной машине. Расположились на ночлег.

А через несколько часов Оленьки уже не было.

«Не вздумай принести справку!» — предупреждал ее Боря Антохин.

— Пойди, Оленька, — советовала ей и Надюша. — Раз походу придается большое значение... И школу ты скоро кончаешь. Пойди!

— Но я пропущу занятия по рисунку.

— Все равно пойди.

И она пошла.

Я смотрел на Борю Антохина и мысленно спрашивал: «Почему же на этот раз ты не уследил за ней, Боря? Мы были бы так тебе благодарны!»

Я вспомнил обо всем этом. А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно. Но прошли всего лишь минуты, потому что передача «С добрым утром!» была в самом разгаре.

Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю. И понял... навсегда понял, что матери и отцы (даже самые любящие отцы!) все же чувствуют неодинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать. Одна мысль вонзилась в нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри: «Где сейчас Оля?»

Я молчал. Потому что ничей в мире голос утешить ее не мог. Кроме голоса дочери, если бы он зазвучал вдруг на лестнице, в комнате, по телефону. Она ни к кому не имела претензий, ни на кого не сердилась — для нее ничего не существовало, кроме вопроса: «Где сейчас Оля?»

— Я позвоню Мите Калягину, — сказала Евдокия Савельевна.

— Зачем? — спросил я.

Не ответив, она переступила порог. Люся и Боря вошли вслед за ней.

* * *

Евдокия Савельевна сразу же позвонила Мите и попросила его приехать. Наш адрес она помнила наизусть, хотя дома у нас никогда не бывала.

— У нее феноменальная память! — слышали мы от Оленьки. — Помнит, кто какого числа схватил двойку по математике, а сама историчка. И кто сколько дней пропустил, помнит так же хорошо, как даты великих сражений.

— Значит, вы ей небезразличны, — отвечала Надюша.

— Просто ей больше не о чем помнить!

— Женщины, у которых нет личной жизни, часто с утроенной энергией бросаются в жизнь общественную, — стремясь поддержать Оленьку, сказал я.

— И что же в этом плохого? — спросила Надюша.

Она понимала, что мы с Олей вправе не любить классную руководительницу 9-го «Б». Понимала, что «безумная Евдокия» изо всех сил старается не только убить веру других в нашу дочь, но и в ней самой поколебать эту веру. И все же Надя мечтала, чтобы конфликт уступил место взаимопониманию.

«Оля шла навстречу этому миру, — думал я. — Но они... втроем учинили что-то такое, чего она не выдержала, не стерпела. И теперь каждая минута жизни стала невыносимой. Где она? Где?! А они суеются, чтоб не смотреть нам в глаза».

— Что же все-таки произошло? — спросил я.

— Ничего... Ничего не было! — затараторила Люся. — Вечером все получили задания и разошлись. Кто за хворостом, кто за водой, кто расспросить жителей о дорогах к тому поселку. — Люся остановилась. И чтобы Надя не услышала, шепотом добавила: — Все вернулись, а она нет... Но спохватились мы только утром. Были в разных палатках.

— Надо сообщить всюду, — сказала Евдокия Савельевна. — Ничего страшного быть не может! Но надо сообщить.

С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой.

Евдокия Савельевна составила список телефонов: милиция, дежурный по городу, больницы, местные власти той станции и того поселка. Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не прояснил и ничем не помог.

Делала она это методично, спокойно. Только пальцы, когда она крутила диск, не вполне были ей послушны. Она не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер.

С каждым ее звонком мне становилось яснее, что с Олей стряслось что-то невероятное... трагическое. Чего поправить уже нельзя...

«Если Оля убежала от своих спутников вечером, — рассуждал я, — она могла тут же сесть на электричку и приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано утром: электрички ходят с шести часов».

Я слышал, как Евдокия Савельевна методично разъясняет по телефону, что случилось, всякий раз повторяя:

— Конечно, ничего страшного не произошло.

На другом конце провода не были так твердо уверены, что не произошло ничего страшного, — и ей приходилось рассказывать о деталях, подробностях. А Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту: от двери к окну и обратно. Туда и обратно, туда и обратно.

Мы с Надей потеряли способность действовать. Мы могли только ждать.

Я слышал Евдокию Савельевну. Меня раздражало, что организаторский талант ее оставался прежним, а голос нарочито спокойным и громким, словно старавшимся заглушить совесть. Надя же потеряла зрение и слух. Она

могла лишь передвигаться по одной линии: туда и обратно, туда и обратно.

Маленькая, юркая Люся хорошо знала нашу квартиру. Она побежала на кухню и примчалась обратно с пузырьком и чашкой, в которой была вода. Надя, обхватив голову, стремительно, как челнок, перемещалась по комнате, а Люся бегала за ней с чашкой и пузырьком.

Из всех нас только Боря Антохин не двигался с места. Он всегда стеснялся своего красивого лица и слишком высокого роста: сутулился и водил по лицу ладонью, как бы прикрывая его. Голос у него был тоже красивый, густой, — и он его приглушал. А тут Боря и вовсе хотел, чтобы о нем позабыли.

«Еще бы... Ведь именно он сказал Оленьке: «Не вздумай принести справку!» Что же ему теперь остается? — думал я. — Скромный... Не хочет быть на виду. Знакомы мне эти тихие мальчишки!»

Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала: — Им нужны ее фотографии. Последнего времени. Я бросился к шкафу, достал альбом, начал листать его. — В последнее время она не снималась, — сказал я. — У меня есть ее карточки, — неожиданно произнес Боря Антохин.

Он полез в боковой карман своей куртки. Вытащил пять фотографий и разложил их на столе с такой осторожностью, будто они еще не высохли.

— Это было на той неделе, — приглушая голос, сказал Антохин. — Я снимал участников похода. Для нашей газеты.

— Отвези их! — Евдокия Савельевна снова вернулась к трубке. — Где вы находитесь? — Она записала адрес и протянула его Боре Антохину. — Оттуда сразу назад! Помни: мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя Калягин. Вы с ним поедете обратно. Туда, к нашим... И поднимете их на поиски. Надо будет прочесать лес!

— А что... там большой лес? — спросила Надюша. Наконец она о чем-то спросила.

— Да что вы?! — воскликнула Люся.

Ее громкий, но неопределенный ответ заставил Надю замедлить шаги. И она машинально начала передвигаться по комнате не так быстро, как прежде. Туда и обратно, туда и обратно... На Олины снимки она не взглянула.

Боря собрал их осторожно, будто они так и не высохли. Опустил в боковой карман и, пригнувшись, ушел.

Люся же с чашкой и пузырьком, которые Наде негодились, стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз.

В телефонных переговорах «безумной Евдокии», в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той бережности, с которой Боря Антохин раскладывал и собирал Олины фотографии, мне чудилось что-то страшное. Я был уверен, что они искупают вину. Но каков же ее размер? Что именно они допустили там, в походе, если Оля не вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью... на неизвестной дороге?

Внезапно раздался звонок. Надя опустилась на стул. Я отяжелевшими ногами зашагал в коридор. Но Люся опередила меня.

— Митя Калягин! — с преувеличенной радостью воскликнула она. Словно мы только его и ждали.

— Ты на машине? — деловито спросила Евдокия Савельевна.

— Машина внизу! — ответила за него Люся, разглядевшая с балкона, что внизу стоит самосвал.

Митя виновато кивал на свои промасленные брюки: дескать, застали врасплох.

Он был действительно щуплым, и волос на голове почти не было. Евдокия Савельевна не стала объяснять нам, что это «результат военного детства», а сказала:

— Митя, пойдем-ка со мной на кухню.

— Ничего секретного она ему там говорить не собирается! — затараторила Люся. — Просто ей не хочется при вас повторять...

Надя не слышала.

Евдокия Савельевна и Митя вернулись с кухни.

Он вспомнил, что, когда отвозил дяде лекарства и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не знала всю ночь, где он.

— Я удрал... с воспалением легких. А что было делать? Она бы не пустила меня. Сказала бы: «Сама отвезу!» Я матерей раньше не понимал. Пока сам отцом не заделался.

Надя не слышала.

Митя рассказал еще одну историю. О том, как его сын тоже один раз не ночевал дома и вернулся только под утро. Оказывается, поссорился с девочкой. И сказал, что

будет стоять под ее окном, пока она его не простит. Она преспокойно спала. Проснулась утром, собралась в школу. Выходит, а он... все стоит. С самого вечера.

— И что вы сказали сыну? — спросил я.

— «Она же тебя не любит, дурак!»

— Это вы точно сказали.

Надя не слышала...

Раздался звонок. Она привстала. А Люся снова опередила меня.

Вернулся Боря Антохин.

— Я вот подумал... У меня есть и другие ее фотографии! — Он похлопал по боковому карману. — Заехал домой на обратном пути и взял. Надо будет раздать там, в районе. Чтобы мы не одни искали.

— Это так. Это, безусловно, так, — похвалила Евдокия Савельевна. — Если все возьмутся за дело, мы быстрее достигнем успеха!

«Раньше надо было думать... гораздо раньше!» — хотел я сказать.

— Мы ее найдем! — пообещал Надюше и Митя Калягин.

— Но где... она может быть? — отчаянно вскрикнула Надя.

Все вздрогнули от этого крика. Даже Митя.

Евдокия Савельевна уже не могла деловито организовывать поиски. Она вдруг тяжело заметалась. Подскочила к Мите, что-то шепнула ему, потом к Боре. И с неестественной громкостью сообщила:

— Сейчас Митя с Борей поедут туда — и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более сложную задачу!

В ее голосе мне все явственней чудились интонации врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня он «выглядит молодцом». Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило...

У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии — от двери к окну. От двери к окну.

«Выдержит ли ее сердце?» — с ужасом думал я.

Митя с Борей уехали.

Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. Она делала бессмысленные звонки: то просила дежурного по школе сообщить нам, если вдруг

появится Оля, то обращалась с той же просьбой в художественную школу.

Так прошло еще полчаса или минут сорок.

По радио продолжались жизнерадостные воскресные передачи. Никто приемник не выключал, потому что никто не хотел тишины.

Надюша почти беззвучно, механически шевелила губами.

— Что ты, Наденька? — наконец спросил я. И обнял ее.

Люся решила, что мы хотим о чем-то поговорить, и сразу же утащила Евдокию Савельевну на кухню.

— Что ты, Надюша?

Она не ответила мне, как и не прекратила своего движения по комнате, но я разобрал слова:

— Это я уговорила ее... Это я...

Зазвонил телефон. Надя была в тот момент как раз возле него. И схватила трубку.

— Нет, не мать, — ответила она. — Честное слово, не мать. А кто? Учительница... из школы. Помню... Я помню... В брюках была. В синих брюках. Что вы говорите? Опознать?.. Кого опознать?

Трубка повисла на шнуре. Надя опустилась и села на пол.

— Люся! — почему-то закричал я.

Они с Евдокией Савельевной прибежали с кухни.

— Я ее не узнаю, — говорила Надя куда-то в пространство. — Я ее не узнаю...

Ее подняли и посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела.

Я положил трубку обратно на рычаг. Телефон сразу же зазвонил.

— Нас перебили, — услышал я спокойный, ко всему привыкший мужской голос. — Это я с кем говорю?

— С отцом.

— Сперва учительница подходила? Не мать?

— Нет, нет... Учительница.

— Тогда ничего. Тут бы на всякий случай опознать надо было...

— Кого?!

— Вы за мной-то не повторяйте. Мать не слышит?

— Нет.

— Мы бы за вами заехали.

Хлопнула дверь. Я выронил трубку... Выскочил в коридор

— А где мамуля? Я привезла ей цветы! — Оля уже сняла с одной ноги туфлю и натягивала тапочку. — Представляешь, они все еще движутся к этому дяде... Во главе с «безумной Евдокией»! А я еще вчера вечером угадала самый короткий путь. Митя ночью переплыл реку на лодке. Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник перевез! — Она была упоена успехом. — Вот сюрприз... или приз, о котором говорил Митя Калягин. Мне достался!.. — Она протянула какой-то конверт. — Я пришла первой. И дядя-доктор вручил его мне. А где мамуля? Я привезла ей цветы. Утром в поле так хорошо!

Она сунула мне в руки букет ромашек.

Я не перебивал Олю.

Евдокия Савельевна и Люся не выходили в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре. А Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидела неестественно прямо, положив обе руки на колени.

— Наденька! Оля вернулась!.. — закричал я. — Оля вернулась!

— Я не узнаю ее, — ответила Надя. — Я не узнаю...

Через полчаса примчался самосвал Мити Калягина.

По дороге Митю оштрафовали за превышение скорости.

— Большой прокол! — сказал он. — Талон продырявили. Вот комедия!

Но это он сказал уже потом, войдя в комнату. А в коридоре поспешно сообщил мне:

— Все в порядке! Она была у моего дяди сегодня утром. Вот и сам дядя... Живой свидетель!

— Она вернулась! — не приглушая голоса, воскликнул Боря Антохин, тоже приехавший на самосвале. И указал на туфли, которые Оля оставила в коридоре.

— Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности, — вздохнул Митя.

Дядя его был, наверно, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость же еще решительней прижала его к земле. Казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянный ветер не опрокинул его, не свалил с ног. Но глаза, как и Митины, обещали поведать всем какую-то лукавую, несерьезную историю.

— Вы доктор? — спросил я.

— Был доктором, — ответил он.

— Полвека! — добавил Митя.

— Тогда можно вас попросить... на минутку? Мне бы хотелось посоветоваться.

На кухне я сбивчиво рассказал ему обо всем, хотя многое он уже знал. Не знал он только о том, что случилось после отъезда Мити.

— Вы ведь невропатолог? Это, наверно, по вашей части? К тому же у нее еще и порок сердца... Я очень волнуюсь.

Он вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть неестественно прямо, положив обе руки на колени. Ее оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала:

— Я не узнаю ее.

— Мамочка, я здесь... Я вернулась! — неизвестно в который уж раз втолковывала Оля, стоявшая перед ней на коленях. — Я вернулась! Вот доктор, Митин дядя... Он вручил мне приз. Потому что я пришла самая первая. Видишь? Фотография... Это Евдокия Савельевна во время войны. С теми двумя солдатами. Оказывается, она скрывала солдат у себя... после того, как доктор их вылечил. У себя прятала! — Оля объясняла это Надюше с той тщательностью и неторопливостью, с какой взрослые втолковывают малышам самые простые, изначальные истины. — Вот это Евдокия Савельевна...

— Вглядитесь, пожалуйста, — шепотом попросила и Люся. — Это молодая Евдокия Савельевна!

— Ну зачем же? — прошептала откуда-то сзади классная руководительница.

— Оля вернулась! Ваша дочь уже дома. С вами! Ей ничего не грозит. Вы понимаете? Ей ничего не грозит! — с неожиданной для него волевой интонацией, внятно и твердо произнес Митин дядя.

— Я не узнаю ее, — сказала Надя.

Доктор еще и еще раз попытался установить с ней контакт. А потом палкой указал в сторону кухни.

— Это не по моей части, — сказал он мне там.

— Как... не по вашей?

— Я невропатолог. А психиатрия — это другая область.

— Она... вам кажется...

— Надо позвонить, чтобы за ней приехали. Именно от туда.

Оля вошла на кухню и стала нервно мне объяснять:
— Я прошла дорогой Мити Калягина. Было такое задание. Ты же знаешь...

Я перебил ее:

— Он прошел этот путь, чтобы спасти людей. А ты — чтобы погубить... самого близкого тебе человека...

* * *

Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша. Оля с Люсей и Борей шли впереди. А мы с Евдокией Савельевной немного отстали. Митя увез дядю-невропатолога на своем самосвале.

Евдокия Савельевна была тихой, поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой.

— Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата.

Она произнесла это грустно и убежденно. Без расчета на то, что я стану ей возражать. И все же... Хотя родителям всегда хочется переложить вину детей на чьи-нибудь или на свои собственные плечи, я не посмел согласиться:

— Как же вы могли не приехать?

Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в данный момент была не согласна.

— И выходит, что «безумной Евдокией» Оля прозвала меня не зря.

— Судьба отомстила нам за это глупое прозвище, — возразил я. — Безумие пришло в наш дом. Что может быть страшнее? Помните... Пушкина?

Не дай мне, бог, сойти с ума!
Нет, легче посох и сума...

— Это так. Это, безусловно, так. Но реактивное состояние часто проходит. Мне сказал Митин дядя.

— Вы не могли не взволноваться и не приехать, — сказал я. — Но Оля, я думаю, этого волнения не предвидела. Она не представляла себе, что ее исчезновение примут так близко к сердцу, что начнутся поиски. Поэтому, может быть...

Сам того не желая, я стал искать аргументы в защиту дочери.

Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала. Видимо, она приготовилась к бою. И хотела видеть глаза противника.

А я не хотел сражаться. Мне просто нужно было выяснить и понять.

— Ну подумайте, — продолжал я, — разве могла, к примеру, Оля предположить, что Люся Катунина, которая так несправедливо, из-за ерунды обиделась на нее...

— Несправедливо? — перебила она. — Простите, мне не хотелось бы в буквальном, так сказать, смысле слова... за Олиной спиной... — Она кивнула на Олю, которая сгорбилась, будто и правда ожидала удара. — Но раз вы сами коснулись этой проблемы!

— Сейчас уже как-то мелко... все это перебирать. Но ведь Оленька не смогла провести ее на ту встречу.

— Это не так! — словно бы выстрелила она. — Это, безусловно, не так. Оля забыла о ней. Забыла! Вот что ужасно.

— Как забыла?

— Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля острела, задавала вопросы. Одним словом, проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла: у нее в руках была папка!

— Вот видите, вы с такой раздраженностью... Зря я затеял!

Фигура ее опять стала громоздкой. Это, как ни странно, проявлялось в движении.

— Если вы примете сегодняшнюю историю за случайность, она повторится! Поверьте, что это так. Это, безусловно, так.

Как раз за мгновение до этого я хотел сказать, что один поступок не может полностью характеризовать человека. «Если он случаен!» — ответила бы она.

— Не подумайте, что Люся мне жаловалась, — спохватилась Евдокия Савельевна. — Она, как и вы, пыталась найти оправдание. Но оправдывать виноватого — значит губить его!

— Вы думаете, Оля нарочно?..

— Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордость и самолюбие. Ведь Люся любила ее.

— Ну, если даже так... то потом, когда Люся не могла

нормально учиться, Оля вступилась за нее. Они с Надей одни только знали причину. И Оля пыталась всем разъяснить. Но Люся сказала: «Мне не нужна защита!»

— Она сказала: «Не нужна такая защита!» Одно слово меняет, как видите, очень много.

— Какая... такая?

— Мне не хотелось бы углубляться в чужую драму.

— Но раз мы начали...

— Про Люсины семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал. И не должен был узнавать! А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекнула на эти события... всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся. А дом этот новый и очень большой... Сама Люся ни в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил... И пожертвовал своей любовью ради больной женщины. Это легко?

Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не замечала.

— Жить только собой — это полбеды, — жестко произнесла она. — Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать походя и чужие судьбы.

«Все слишком сложно. Поди разберись!» — вспомнил я Олину фразу. И, будто угадав, что я подумал об этом, Евдокия Савельевна сказала:

— Если нет времени разобраться, лучше и не берись. А не пытайся небрежно, одной рукой разводить чужую беду!

— Неужели вы думаете, что Оля нарочно? — бессмысленно проговорил я.

— Ей было некогда вникнуть. Недосуг! Как недосуг было, — она понизила голос, — заметить любовь Бори Антохина.

— Любовь?

— Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Меня он почему-то не фотографирует.

Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась. И объясняли это ее нравственной цельностью. «А может, ее любви хватало... лишь на себя? — подумал я вдруг. — Нет, неверно! Она всегда любила Надю-

шу... искусство... Она хотела, чтоб мы ею гордились. Это ведь тоже... забота!»

Обвислые поля шляпы Евдокии Савельевны продолжали волочиться по земле. И я почему-то не говорил ей об этом.

— Вы не думаете, что этот ее последний поступок, который кончился так ужасно... был все же протестом?

— Против чего?

— Против одиночества... в вашем классе.

— Тот, кто любой ценой хочет быть первым, обречен на одиночество,— вновь четко сформулировала она.

«Неужели это Оленька, их долгий, молчаливый конфликт,— изумлялся я,— заставили ее вот так, заранее, обдумать фразы, которыми она сейчас контратаковала меня?»

— Мои ученики не стали знаменитостями,— задумчиво, как бы замедлив нашу дуэль, сказала Евдокия Савельевна.— Но и злодеев среди них нет. Ни одного... Они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарований? У них есть талант человечности. Разве вы не заметили?

— Заметил сегодня...

— К человечности талант художника может и не прилагаться,— продолжала она,— но к дарованию художника человечность...

— Это, безусловно, так! — перебил я Евдокию Савельевну ее же словами.

— Да... безусловно, так,— согласилась она.

Мы помолчали.

— А сын Мити Калягина тоже до утра не сообщал о себе,— неожиданно произнес я.— Помните? Когда стоял под окном... у той девочки.

— Я не хотела бы вас огорчать. Но он позвонил из автомата домой... И предупредил. Это было так. Безусловно, так.

— Но Митя говорил...

— Он успокаивал Надежду Григорьевну.

— Понимаю.

Мне захотелось, чтобы она больше не видела во мне оппонента. Я и раньше-то возражал ей почти по инерции, желая все выяснить и понять.

— Я не знал, что вы скрывали у себя тех солдат.

— Их уже нет.

— Все же... погибли?

— Просто умерли. От болезней... Война с недугами и несчастьями будет вечной. Иногда мы еще и сами убиваем

друг друга.— Спohватившись, она сказала: — Я не Олю имела в виду. Все мы виноваты сегодня.— Потом всполошилась еще сильнее: — Оля может принять всю вину на себя. Эта ноша окажется для нее непосильной!

Евдокия Савельевна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я понял, что она решила разделить тяжесть ноши с моей дочерью.

* * *

Я побрел сзади.

«Мы с Надюшей боролись против «безумной Евдокии» за право строить... или, как говорится, формировать Олин характер,— размышлял я.— Мы победили. И эта победа стоила Наденьке жизни. Или здоровья. «Безумная Евдокия»... Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверно, хотела объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что, если они будут честными и порядочными людьми, просто честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе. И на память».

Детали... Только с их помощью я мог воссоздать картину. И они выплывали из прошлого мне навстречу.

«Спасибо ей!» — сказали мы, когда родилась Оля. Хотя жизнью рисковала Надюша.

«Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни! — подумал я.— Мы перестали вглядываться друг в друга... Наши глаза устремились в иное направление. «Родители Оленьки» — это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... и что я перестал писать свои фантастические рассказы. И о сердце Надином вспомнил только сегодня... А ведь название у ее болезни не совсем верное. Болезнь — это несчастье, а не порок. Порок сердца — нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она вернется...»

* * *

Евдокия Савельевна остановилась. И другие остановились. Возле дома, где нам с Олей предстояло остаться вдвоем.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО...



У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спешил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы от путешествия, о котором мечтал всю зиму...

Началось это три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился в шестом классе.

1

«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности,— часто говорил мне учитель зоологии, наш классный руководитель.— Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей!» Кроме того, поступки учеников он ставил в прямую зависимость от семейных условий, в которых мы жили и произрастали. Одни были из неблагополучных семей, другие — из благополучных. Но

только я один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил: «Ты — мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?»

Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семейству принадлежит?

Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Антоном-Батоном за то, что он был полным, сдобным, розовощеким. Когда он смущался, розовела вся его крупная шарообразная голова и даже казалось, что корни белесых волос подсвечивались откуда-то изнутри розовым цветом.

Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на него уходило минимум пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами, делал условные знаки, стараясь напомнить своему другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учителей, и они в конце концов усадили нас обоих на «аварийную» парту, которая была первой в среднем ряду — перед самым учительским столом.

На эту парту сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили коллектив».

Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач. Тут ему все было ясно: Антон был выходцем из неблагополучной семьи — его родители развелись очень давно и он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш зоолог был твердо убежден, что, если бы родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну, не маялся бы у доски и, может быть, даже не заикался.

Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои родители посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими ошибками. Они вовремя расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков.

Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему другу Антону.

Всех остальных отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-отчеству, а говорили так: «родители Барабанова», «родители Сидоровой»... Мои же отец и мать оценивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступков и дел, которые могли порой бросить тень на их репутацию общественников, старших това-

рищей и, как говорил наш зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» — говорили об отце и маме, не ставя им в вину то, что я накануне пытался струей из брандспойта попасть в окно третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили. «Образцовая семья!..» — со вздохом и неизменным укором в чей-то адрес говорили соседи, особенно часто женщины, видя, как мама и отец по утрам в любую погоду совершают пробежку вокруг двора, как они всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в васильковых тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал Чарли Чаплин, — так безудержно они хохотали. Мне даже казалось иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли Чаплин тут был ни при чем — просто мои родители были очень добросовестными людьми: если кто-нибудь запевал, они сразу подхватывали и не шевелили беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от первого до последнего куплета; ну, а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыбнуться, они хохотали так, будто смотрели кинокомедию.

Да, все в жизни они делали как бы с перевыполнением. И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы иначе и быть не могло.

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама совершили столько правильного и добросовестного, сколько могло бы быть запланировано на пять или даже целых десять семей. На душе у меня было легко и беспечно... И какие бы ни случались неприятности, я быстро успокаивался — любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным: у меня лучшие в мире родители! Или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашей школе!.. Они никогда не могут расстаться, как

это случилось с родителями Антона... Недаром даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе и называют их общим именем — Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку...»

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые строились где-то далеко-далеко от нашего города...

Я оставался с бабушкой.

2

Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку — на мамину маму. И не только внешне.

Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим отцом, но, как и я, то и дело опрокидывала законы наследственности.

Мама и отец старались закалить нас, навсегда избавить от простуд и инфекции (сами-то они даже гриппом никогда не болели), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или отправляться в туристические походы. Мы нечетко выполняли по утрам гимнастические упражнения.

Вообще мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали в «Последних известиях», нечетко выполняли режим дня.

Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала хитрого озорного мальчишку. А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня.

— Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? — спрашивала бабушка.

— Побольше! — говорил я.

И бабушка откладывала побольше, потому что любила ходить в кино так же, как я. Мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить, а ходить в столовую, которая была в нашем доме, на первом этаже.

Я очень любил обедать и ужинать в столовой. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.

— Ну-с, первого и второго мы не берем? — иногда говорила бабушка.

В столовой мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы сэкономили деньги на кино!..

С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались.

— Я очень слаба, — объясняла бабушка контролерам, угрожая старея и дряхлея у них на глазах, — он повсюду меня сопровождает... Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран!..

— Пардон, почему же ты все-таки смотришь? — спрашивала она в темноте кинозала...

— Я очень слаба! — говорила она, спасаясь от того, что мои родители считали совершенно необходимым для продолжения ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длинных прогулок.

Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло.

В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два...

В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю, — мы с бабушкой получали письма каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо — от отца, другое — от мамы, одно — от отца, другое — от мамы... Порядок ни разу не нарушался. В конце письма неизменно стояла дата и чуть пониже всегда было написано: «8 часов утра». Значит, отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.

— Фантастика! — сказала однажды бабушка. — Хоть бы раз перепутали очередь!..

Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает.

Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.

В другой раз, прочитав знаменитое «8 часов утра» в

конце маминого письма, бабушка, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну-с, доложу вам: ваш отец образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг не отстает от него.

И я вновь ничего не понял: хвалила ли она моего отца? Или была им недовольна?

Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма, отправлявшиеся ими словно по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то утром, то вечером. Но чаще все-таки утром... Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы беседой с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то помахивал вскрытым конвертом и объяснял:

— Письмо от родителей! Очень важное. Издалека!..

И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:

— Ну ладно, садись.

О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык...» Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены. Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились, волновались, писали диктанты. Сами! По своей собственной воле!

Мы всегда особенно восхищаемся поступками, на которые сами не способны,— я восхищался своими родителями.

Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились... А это всегда приятно!

В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли «художественными». Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупали краткость наших посланий. «Подробности в следующем письме!..» — неизменно сообщали мы под конец. Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.

Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма. И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не бывало. Полу-

чать каждый день по письму я давно привык, но два в день... Это уж было слишком!

Я вскрыл первый конверт.

Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться: ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь: все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды... Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо.

Подписи не было. Внизу стояли лишь две буквы: «Н. Е.».

Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я остановился.

Кто мог называть моего отца Сергеем? Сережей?.. И обращаться к нему на «ты»? В конверте внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес. Но имени и фамилии не было, а стояли все те же буквы: «Н. Е.». Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла написать только мама!

Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки. Потом я начал непроизвольно, шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо». Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая — и все, — убеждал я себя. — Конечно... Раз она знает маму! И пишет: «Привет жене».

Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова выглядели уже издевательски по отношению к маме. Я вспомнил, что отец употреблял слово «привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять

принес тройку? Привет тебе!.. Опять подсказывал на уроке? Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «привет» в таком именно смысле?..

— Ты чего гудишь себе под нос? — откуда-то сверху, спускаясь по лестнице, спросил сосед.

Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, нарочито уверенными, чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:

— Учю роль...

— Тоскливую тебе какую-то роль поручили, — сказал сосед, находясь уже подо мной, этажом ниже.

Вдруг я вспомнил о втором письме. В тот день была очередь отца, и мне неожиданно захотелось, чтобы он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего такого не писал, он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду забывать о математике, а бабушка о своем возрасте... Надеялся, что мы не будем каждый день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме происходит вредное отложение солей и забывать об этом неразумно.

Как истинный друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок без него не развалится. О маме не было ни единого слова...

Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то, что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была, чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел убедить взрослых, что говорю чистую правду.

В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахивать в воздухе вскрытыми конвертами... Как назло, был урок зоологии.

— Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал наш классный руководитель. — Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..

3

До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел

с ними к отцу и маме: советы их были такими четкими и разумными, что до них вполне можно было додуматься самому.

Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать: они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители.

Я не был образцовым человеком и чаще всего советовался с бабушкой.

Но в тот день я не мог к ней обратиться: все-таки она была мамин^{ой} мамой.

Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы или вопроса.

Потом он говорил:

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:

— Я все обдумал. Мне кажется...

— Что ты обдумал? — легкомысленно спрашивал я.

Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о котором я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать. Советы Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил.

Но я верил своему лучшему другу. И знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.

И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не мог прийти к своему лучшему другу. И вообще ни к кому... Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был таким даже для мамы... Она часто повторяла, что «для истинной матери самый дорогой человек — это ее ребенок».

— Таков закон природы! — соглашался отец. Он всегда уважал законы.

Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону, и я решил сам защитить наш дом, а заодно и свое спокойствие, свою душевную беспечность, ценность которой сразу необычайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.

Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился по адресу, который был написан на конверте внизу, под зеленой чернильной чертой.

Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле двухэтажного желтого домика. Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто заплатки из другого, нового материала, сверкают мрамором и золотом мемориальные доски: «Здесь жил... Здесь бывал... Здесь родился... Здесь умер...» На этом доме доски не было, хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.

Я долго разглядывал желтое, выцветшее здание, потому что вдруг оробел. И что я скажу той женщине, мне было вовсе не ясно. Все вдруг мне стало интересно... Я разглядывал вату между оконными рамами, грязную, запыленную, с редкими кружочками конфетти: залетели, должно быть, сюда из комнаты в новогоднюю ночь. Я на все обращал внимание: на просаленные свертки, выставленные в форточки, на сосульки, которые нависли над окнами тоже как украшение, только новенькое, хрустальное. Что я скажу? Как начну разговор?..

Я вспомнил почему-то цветную фотографию из журнала, которая долгие годы висела у нас на кухне, над столиком одинокой соседки, — красавица в купальном костюме, опершись на весло, призывала всех жильцов нашей квартиры: «Путешествуйте летом по рекам!» Одинокая соседка никогда по рекам не путешествовала, и непонятно было, зачем она вырезала и повесила ту фотографию.

Заходя на кухню, отец часто останавливался возле красавицы в купальном костюме и говорил: «Она совершенно права: нет ничего разумнее отдыха на воде!» Отец согла-

шался с женщиной на фотографии. Это меня раздражало. Я сравнивал ее с мамой и огорчался: женщина с веслом, тоже загорелая, тоже белозубая, тоже с веселыми глазами, была все же красивее мамы. И я всегда старался унижить красавицу: «Знаю таких! Купальный костюм наденут, а плавать не умеют. Весло возьмут, а грести не могут! С теннисной ракеткой расхаживают, а в теннис ни разу в жизни и не играли...»

Прохаживаясь в нерешительности возле старого желтого дома, я мысленно представлял себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню в квартиру номер семь (она, вероятно, на втором этаже), как услышу за дверью легкие, ничего не подозревающие шаги, как приму гордую позу, протяну письмо и спрошу: «Это вы писали?» — «Да», — ответят мне тихо. «Вам просили вернуть!..» — и уйду.

Но потом я решил, что так быстро уходить не стоит. Может быть, мне предстоит борьба?

А если дверь мне откроет красавица, вроде той, что коптилась у нас на кухне? И она будет красивее мамы?.. Но, конечно, она не умеет так, как мама, ходить на лыжах и плавать. Не умеет проектировать заводы, которые строятся где-то далеко от нашего города... И никто, конечно, не восхищается ею так, как мамой! Я расскажу ей все о своей маме, чтоб она и не думала с ней тягаться.

Зарядившись решительностью и гневом, я взбежал на второй этаж. Письмо я держал перед собой... Так жильцы нашего дома, у которых мы нечаянно выбивали стекла футбольным мячом, прибегая к нашим родителям, всегда торжественно держали впереди себя этот самый футбольный мяч: он был главным свидетелем обвинения.

На двери квартиры номер семь висел список жильцов. «Н. Емельяновой — 3 звонка», — прочитал я. Н. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так, может быть, она просто папина родственница? Двоюродная сестра, например? А я о ней ничего не знаю... Забыли мне рассказать о ней — что ж тут такого? Может быть, у нее нет ни родителей, ни мужа, ни ребенка и поэтому мой отец — самый близкий для нее человек? Это вполне возможно. Конечно, это так и есть!

Злость моя сразу прошла. И как тот же футбольный мяч, из которого вдруг с шипением вышел весь воздух, я сразу сник, присмирел. Спрятал письмо в карман. Но

потом снова вытащил: я вспомнил, что у женщины этой случилась беда. Странно, но ни разу за весь день я не подумал о строчках, которые были в письме главными, ради которых и было написано все письмо: «Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Со мной случилась беда».

Что за мартовский день? Наверно, в тот день кто-то умер. Или она тогда провалилась на экзаменах, а сейчас кто-нибудь умер... Ведь она пишет, что теперь ей еще труднее.

А зачем я тогда пришел? Просто скажу, что отца нет в городе, и все. Чтоб не ждала.

Я вновь спрятал письмо и позвонил. За дверью слышались стремительные, нетерпеливые шаги, к двери почти бежали.

Эти три звонка были долгожданнами. Но ждали, конечно, не меня.

Открыла женщина. В коридоре и на лестнице было полутемно.

— Ты к кому, мальчик? — не сразу, как будто сдерживая разочарование, спросила женщина. И странно было, что это она только что бежала по коридору: вид у нее был усталый.

— Мне к Емельяновой...

— Ты от Шурика?! — вскрикнула женщина. Но вскрикнула еле слышно, как бы про себя. И еще раз повторила уже совсем тихо, с надеждой, боящейся обмануться: — Ты от Шурика?

— Нет... я по другому вопросу...

4

Войдя в комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел отца...

Никогда еще я не видел его таким. Он смотрел на меня не своим обычным спокойным или уверенно-жизнерадостным взглядом, а глазами растерянными, словно ищущими чьей-то помощи. И волосы его не были аккуратно зачесаны назад (иногда по утрам он даже натягивал на голову сетку, чтобы ни один волосок не нарушал порядка), — нет, волосы его беспорядочно толпились, спадали на лоб и на уши,

которые показались мне очень большими, потому, вероятно, что лицо было худым и узким. На щеках даже обозначались неглубокие ямочки, которых я никогда раньше не замечал.

И одет он был совершенно неузнаваемо... Не было на нем ни василькового тренировочного свитера («Из чистой шерсти!» — объяснил мне однажды отец), ни добротного костюма с редким, еле заметными белыми полосками на темном фоне, а была какая-то помятая косоворотка с незастегнутыми верхними пуговицами. Косоворотка морщилась, потому что была велика для отцовской шеи, которая никогда прежде не казалась мне такой беззащитно-тонкой.

А на другой фотографии я увидел отца в солдатской гимнастерке, которая тоже была ему велика. На бритой голове сидела пилотка со звездочкой. А взгляд был безрадостным, горьким.

— Это я получила в сорок первом году, с фронта. Тогда было очень плохо... — неожиданно произнесла женщина.

Голос звучал мягко, успокаивающе, как у врачей и медсестер, которые однажды лечили меня в больнице.

Слова «тяжело» и «плохо» они произносили так, будто знали, что очень скоро все будет легко и хорошо. Грустные слова эти звучали у них без малейшего намека на безнадежность.

Она не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фотографии на стене. Но не спрашивала меня об этом.

И тогда я сказал:

— Это мой отец.

Она подошла ко мне совсем близко и стала молча, внимательно смотреть мне в лицо, как это делают люди, страдающие близорукостью. В их откровенном разглядывании не ощущаешь ничего бестактного или бесцеремонного.

Тут и я лучше рассмотрел ее. Она и правда была близорука: очки с толстыми стеклами, казавшиеся мне мужскими, не вполне помогали ей — она прищурила глаза. Трудно было определить, сколько ей лет: лицо было бледное, утомленное, но что-то, какая-то деталь внешности упрямо молодила ее. Потом уж я понял, что это была толстая темная коса, как бы венчавшая ее голову тугим кольцом.

Когда отец знакомил меня со своими приятелями или сослуживцами, те обязательно говорили:

— Папин сын! Похож. Очень похож!.. От такого не откажешься!

Или что-нибудь вроде этого. Хотя на самом деле я был похож на бабушку, на мамину маму.

Женщина долго рассматривала меня, но не сказала, что я похож на отца. А просто спросила:

— Это отец прислал тебя?

— Моих родителей нет. Они уехали в командировку.

Мне захотелось подчеркнуть, что отец и мама уехали вместе. Но слова «мама» я при ней произнести не смог и поэтому сказал «родители».

— Надолго они уехали?

— Года на полтора, — неожиданно для самого себя соврал я. А потом еще добавил: — Или на два... Как там получится. — И, чтобы скрыть свое смущение, стал очень подробно объяснять: — А тут ваше письмо пришло. Я утром полез в ящик, думал — от отца, а это от вас... Я его прочитал — и сразу решил...

Тут только я подумал о том, что чужое письмо читать не полагалось, и споткнулся, замолк. Но лишь на полминуты. А потом от нараставшего смущения стал объяснять еще подробнее:

— У нас с отцом одинаковые имена. А на лестнице по утрам темно, плохо видно. Я не разобрал сперва, кому письмо... Вижу... Сергею Емельянову. Я и подумал, что мне. Потом вижу: не мне. Но поздно уже было...

Я протянул ей письмо, которое успел выучить наизусть. От этого оно выглядело старым, помятым архивным документом.

— Ты, значит, тоже Сергей? — переспросила она. — В честь отца? Это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он много вынес... Особенно в юности. Видишь, какой худой. Заочно учился, работал. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила...

— Вы доктор? — спросил я.

— Да... У него была жестокая бессонница. Спасти его мог лишь спорт. Еще режим дня, дисциплина... Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?

Отец часто с гордостью говорил, что спит, как богатырь, и даже снов никогда не видит. «Какие нынче показывают сны? — шутил он. — Цветные, широкоформатные?»

Но я почему-то не решился сообщить ей об этом. И сказал:

— Спит так себе. Как когда...

Прощаясь, она не просила меня передавать отцу привет, не говорила, чтобы он, когда приедет, зашел к ней.

— Как вас зовут? — спросил я уже в дверях.

— Ниной Георгиевной, — ответила она. И улыбнулась: — Лучше поздно, чем никогда. Хотя это можно понять: мы оба с тобой смущались...

«Она была женой отца, — думал я, возвращаясь домой. — Она не сказала об этом, но я уверен. Здесь, в этом стареньком желтом доме, отец был худым и страдал бессонницей. Учился... Заочно, после работы. Наверно, она ему помогала... Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила... Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему? Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает?»

Я слышал, как однажды, в день годовщины свадьбы моих родителей, отец поднял тост за свою первую любовь. То есть за маму... Значит, эту женщину он не любил?

Дома я спросил у бабушки, которая перечитывала Стивенсона или Вальтера Скотта (это были ее любимые писатели):

— Бывает так, что первая любовь приходит потом?.. Человек уже женат, а первая любовь еще не пришла... Так бывает?

— Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец — у него и спроси.

— Почему у отца?

Бабушка как-то резко оторвалась от своих любимых приключений, от которых отвлечь ее было не так-то легко, и взглянула на меня серьезно, без своей обычной лукавой улыбки. Конечно, она все знала.

Я смотрел на отца, хохотавшего со стены. На лице у него не было ямочек, шея не была уже худой и беззащитной...

Но ведь она сама сказала, что мой отец — замечательный человек. Сама сказала!..

На следующий день я полез в наш старый почтовый ящик не по дороге в школу, а как только проснулся, выскочив на лестницу в трусах и майке. Двух писем на имя Сергея Емельянова прийти уже не могло, это я понимал, а все же я долго не мог попасть тонким ключиком в маленький, словно игрушечный, замочек, в который прежде попадал сразу. Я вынул письмо от мамы.

Читать это письмо на ходу я уже не мог. Уселся в ванной, зачем-то заперся и стал внимательно изучать строчку за строчкой, чего раньше ни разу не делал. Всему я теперь придавал преувеличенное значение. И прежде всего отметил, что мамино письмо заметно отличалось от писем отца. Должно быть, и раньше отец и мама писали по-разному, но я не обращал на это внимания. А сейчас вот заметил.

Отец никогда не писал, что скучает по дому, что хочет скорей вернуться, хотя, конечно, скучал. Он считал неразумным расстраивать понапрасну себя и нас с бабушкой, если уж командировка выписана на определенный срок и сократить этот срок невозможно. Отец часто употреблял эти слова: «разумно» и «неразумно».

— Неразумно зря растравлять себя и других,— говорил он.

Мама себя растравляла. Она писала, что все время видит во сне, будто я заболел (в отличие от отца, она видела сны). Она волновалась, не болят ли у бабушки ноги, в которых происходило то самое вредное отложение солей. Мама клялась, что больше никогда не уедет в столь длительную командировку. Она и раньше обещала мне это.

Я слышал, как в последний раз, перед отъездом, отец уговаривал маму:

— Неразумно оставлять объект без присмотра. Это же наше детище!

— Он тоже наше детище,— возражала мама, указывая на меня. Она очень редко не соглашалась с отцом и делала это робко, сама удивляясь тому, что спорит.

Отец говорил об общественном долге, о том, что на нас с бабушкой можно положиться, что мы оба взрослые люди.

— Он, может быть, и взрослый,— кивнула в мою сторону бабушка,— но о себе я бы этого не сказала.

— Зато я скажу за вас обоих! Вы не можете нас подвести! — воскликнул отец.

Он часто переходил на громкие восклицания, которые как-то очень быстро решали спор в его пользу.

В этом письме мама вновь жаловалась, что очень тоскует. Она мечтала о том, что будет, когда они с отцом возвратятся домой.

Этой мечте было посвящено целых полторы или две страницы.

Мама мечтала, что они с отцом приучат меня вставать рано-рано, в половине седьмого, — и мы все втроем будем бегать до завтрака вокруг двора. Она мечтала, что по воскресеньям мы вчетвером, вместе с бабушкой, будем ходить в музеи и на выставки...

Мама уже не первый раз мечтала в письмах обо всем этом, и всегда ее мечты казались мне на расстоянии очень привлекательными. Я готов был вставать ни свет ни заря и бегать по двору (лишь бы мама с отцом скорее вернулись!). Я готов был ходить на выставки и в музеи, хотя мы с бабушкой явно предпочитали кино (лишь бы мама с отцом скорее приехали!).

Но на этот раз мамины мечты и особенно ее слова — «Все снова будет прекрасно! Все будет так хорошо!» — не вызвали у меня той радости, какую вызывали прежде. Странное, незнакомое чувство мешало мне радоваться этим словам. Мне словно было немного стыдно за то, что все опять будет «так хорошо».

«Глупости! — решительно сказал я себе, прогоняя неприятное, тревожное чувство. — Какие глупости!.. Разве без нее отец не кончил бы институт? Разве другие врачи не могли вылечить его после контузии?..»

В ванную комнату постучались соседи. И я побежал одеваться с той мыслью, которая пришла ко мне последней: отец и сам бы добился всего! Конечно, всего бы добился: ведь я видел, как он мог и сейчас ночами сидеть над чертежной доской, как мог сам (без всякого принуждения!) изучать английский язык, чтобы потом читать всякие научные книги.

В школу я пришел успокоенный и снова всем на свете довольный.

На последнем уроке Антон получил тройку по физике. Он знал все прекрасно, но очень смущался.

— Тебе бы лучше отвечать после уроков, один на один с учителем. Ты бы тогда не терялся! — утешал я своего друга. — И не надо выходить к доске, а прямо со своего места... Хочешь, я предложу? Так, мол, и так, в связи с заиканием... Ты ведь контрольные как здорово пишешь! А почему? Никто на тебя не глазеет!

Сочинения и контрольные Антон писал хорошо, гораздо лучше, чем отвечал у доски. Все считали, что он у меня сдувает. Это было ужасно несправедливо, потому что на самом деле я сдувал у него.

Антон в тот день очень расстроился. Это было написано у него на лице. Лицо было круглое, большое, и на нем легко было все прочитать. Я решил снова утешить Антона:

— Пошли в кино!

— Прости, Сергей... Но я не смогу. Сегодня у мамы нет ночного дежурства. Она будет дома.

Его мама работала телефонисткой.

— Чудак! Ты ничего не понял. Пойдем на вечерний сеанс, с бабушкой. Скажем, что она совсем ослабела и мы вдвоем ее сопровождаем. Понял?

— Прости, Сергей... Мне неудобно тебе отказывать, но когда мама дома...

— Ты сидишь возле нее? Развлекаешь?

Антон думал о чем-то своем и даже не ответил на мой вопрос. Он сказал:

— Не знаю прямо, как ей дневник показать...

— А ты не показывай. Скажи, забрали на проверку. В горно!

— Не могу я ее обманывать. Хватит с нее.

— Чего «хватит»?

— Она говорит: «Если и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь».

— А из кого еще-то не вышло?

— Ну, это она так считает... что жизнь у нее не удалась. Я очень хочу сделать ей что-нибудь такое... приятное. А приношу домой одни неприятности. Так у меня получается.

Мы дружили с Антоном больше двух лет, но ни разу я не был у него дома. Наверно, там было не очень уютно — и он не приглашал.

Маму его я никогда не видел. В тот день она представлялась мне похожей на Нину Георгиевну.

И мне тоже хотелось сделать для Нины Георгиевны что-то приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда... Не решился. Или просто забыл: все расспрашивал об отце. Хотя с ним никакой беды не случилось...

Я не хотел, чтобы отец защищал ее, и наврал, что он вернется через полтора года. Но сам-то я мог помочь ей! Вместо отца!..

У меня уже не было ее письма, но я знал его наизусть. И как это бывает, в памяти сами собой всплывали то одни, то другие строчки. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...» Сперва я не обратил на эти строки внимания. А тут вспомнил их. Значит, она уже однажды писала отцу, звала его, но он не пришел? Зачем она его звала? Когда это было?.. И кто такой Шурик, от которого она с нетерпением ждет вестей?

Я готов был ее защищать! Но ведь она писала, что защищать ее не от кого. Может, ей просто нужно, чтоб кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться?..

Защищать, конечно, труднее, чем «просто выслушать». Но на защиту не нужно иметь прав: чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтобы ты мог «просто выслушать», надо, чтоб тебе рассказали, доверили, чтоб с тобой поделились.

Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал.

6

Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть, так: «Из-за чего вы перестали быть вместе?» Эта фраза заставила меня поежиться: трудно было представить себе, что отец был вместе с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить просто: «Из-за чего вы развелись?» Или: «Из-за чего разъехались?» Все эти фразы мне как-то трудно и непривычно было произносить...

— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я.

Она улыбнулась:

— Не ссорились и не дрались... Просто так получи-

лось. Я ведь гораздо старше Сергея... Все это можно понять.

Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых семь лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, помимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил:

— У вас какая-то беда случилась?

Ей не хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила. А просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет трех или четырех, в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать как будто самой себе:

— Когда это случилось, я взяла мальчишку из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне... Сейчас ему пятнадцать лет и семь месяцев.

Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте. А отец будто старался сделать меня чуть постарше: «Ему двенадцатый! Ему тринадцатый!» Тогда я сердился на маму за ее точность — манера отца больше устраивала меня: я хотел в ту пору скорей повзрослеть.

В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что звонили всего один раз. Я сказал это, когда она вернулась.

— К вам ведь три звонка...

— Я знаю, — мягко перебила она меня. — Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо. — И продолжала рассказывать как бы самой себе: — Недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться... Это нормально.

Она не могла больше рассказывать.

Чтоб прекратить молчание, я тихо спросил:

— Его Шуриком зовут?

— А ты откуда знаешь?

— Вы вчера подумали, что я от Шурика... Когда открыли дверь.

— Да... Он уехал к своим родителям. Они остановились за городом, у родных. И все не приезжает... Я знаю

адрес. Но ехать нельзя: может быть, родители хотят, чтоб он к ним привык. Это нормально. Это можно понять...

Снова раздался один звонок. И снова она побежала открывать.

А вернулась обратно совсем без сил: ей нелегко было ждать. Она опустилась на диван. И опять стала рассуждать сама с собой, будто меня не было в комнате:

— Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже... Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. Вторая потеря в жизни... Тогда я была еще молодой, были надежды. А теперь ничего уже нет...

— Хотите, я съезжу? Туда, за город... И привезу его! Хотите?

Она вздрогнула, будто удивившись, что я слышал ее слова.

— Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает... Ты согласен?

Я был согласен, но не сказал ей этого. А сказал совсем другое:

— Вы не будете одна, Нина Георгиевна! Хотите, я буду к вам приходить? Хоть каждый день... Честное слово! Хотите? Хоть каждый день!

7

Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно исполнить. Или почти невозможно.

«Как же я буду ездить к ней каждый день? — рассуждал я, вернувшись домой. — Сейчас еще ничего... А потом, когда вернутся мои родители?»

Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать себя в том, что делать это совершенно необязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас.

Я начал рассуждать: «Ведь я же не сказал ей твердо и уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос: «Хотите, я буду к вам приходить?» И она мне ничего не ответила — ни «да», ни «нет». А ведь если бы она хотела, то обязательно бы сказала: «Приходи! Приходи, пожалуйста! Я буду ждать тебя!» Она ничего этого не сказала. А я

возьму и без всякого приглашения буду ходить? И потом, вооб... Когда я сказал «хоть каждый день», это же было, как говорит наша учительница литературы, «сознательное преувеличение, гиперболическое заострение». Она это, конечно, поняла... А я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было!»

Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно.

Но на следующий день пошел...

Дверь мне открыл парень лет пятнадцати. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и, хоть был не на улице, застегнул пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный. И красивый.

У него были волнистые светлые волосы, зачесанные набок, голубые глаза и нежные, розовые щеки.

Вежливо и даже ласково спросил он, кого мне нужно. Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на два или на три года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми. Особенно я робел перед теми, которые были не похожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут оробел... И чуть было не забыл имя-отчество Нины Георгиевны.

— Заходи, пожалуйста, — сказал парень.

Он пропустил меня вперед. Я прошел в конец коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня: откуда я знаю, куда стучать? Но ничего не спросил. Он гостеприимно распахнул передо мной дверь — и я вновь увидел отца... И опять застыл на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства:

— Не стесняйся. Заходи, пожалуйста. Она скоро придет.

Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны.

Я вошел... Книжный и платяной шкафы были раскрыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в него: там, на дне, лежал пестрый свитер и несколько книг.

— Раздевайся, пожалуйста. И садись на диван, — сказал парень. — Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу.

Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей.

— Разденься, здесь очень жарко,— заботливо повторил он.

Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой морщинки, вспомнил о том, что сегодня на большой перемене посадил два свежих чернильных пятна на свою помятую курточку, и не стал раздеваться.

— Не обращай на меня внимания. Я должен собраться,— сказал он.

И стал заполнять чемодан.

Книги стояли на полках плотно, одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовывались просветы.

Иногда он задумывался:

— Не помню, моя или нет. Кажется, это мне подарили. Сделали б надпись, все было бы ясно.

Один раз он повернулся ко мне и сказал:

— С вещами легче: там уж не перепутаешь.

Он стал складывать в чемодан рубашки, трусы, майки. Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать.

Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен:

— Ты Шурик?

Он снова повернулся ко мне:

— А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано.— Он потрогал свой лоб.— А тут написано: «Витязь».

Он указал на фотографию мальчишки лет трех или четырех, в матроске и бескозырке.

— Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала... Она очень ждала тебя.

Лицо его стало строгим и даже печальным.

— Она меня очень любит,— уверенно сказал он.— И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человек. Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем. Добрая очень... И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко.— Он вздохнул, словно бы жалея себя за то, что к нему

были слишком добры.— У нас даже бывали конфликты. Сейчас, узнав своего отца, я понял, что во мне от рождения — отцовский стержень. Это меня и спасло.

Он продолжал укладывать вещи.

— Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей. Тем более, что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже очень любят меня. Пятнадцать лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче... Если собаке хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди, которые рубят хвост в десять приемов, по кусочкам. И думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил... Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз — это невыносимо.

Я не понимал, почему он мне все это говорит.

А он продолжал:

— Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя и в детском доме мне было бы хорошо: у нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать, официально поблагодарить. Но она категорически отказалась. Не от мира сего!..

Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в «нечеткости». Он, видно, любил поговорить, и все его фразы были обдуманными, какими-то чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла погубить его своей добротой, но что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любили. И что внутри у него — отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием...

Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше (мне это неожиданно пришло в голову), конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше.

И все же я улавливал в его голосе желание что-то объяснить, оправдаться.

Поэтому-то, наверно, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал.

— Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят новые... Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет тяжело... Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить — и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано: «Шурик Емельянов, второй отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан.

У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось. И еще я заметил, что от висков у него, словно свалывшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным.

Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес:

— Тебя как зовут?

— Сергеем.

— Помоги мне, Сергей! Дождись Нину Георгиевну. Она скоро придет: у нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи, как живой свидетель... Тебе все равно надо ее дождаться! Ты ведь на домашнюю консультацию?

— На какую?

— Как — на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?

— Нет, я из другой...

— Ничего не пойму! Я был абсолютно уверен, что ты на домашнюю консультацию...

— На какую консультацию? — снова спросил я.

— Она же в моей школе врачом работает. То есть в моей бывшей школе. И дополнительные консультации устраивает: родителям и ребятам. В школе и даже дома... Сознательность на грани фантастики! Иногда, бывало, просто отдохнуть невозможно: придет какой-нибудь охламон из «неполной средней» и раздевается тут до пояса, дышит, как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. Только никто ей спасибо еще не сказал. Я, по крайней мере, не слышал. А ты-то зачем пришел?

— Я по другому вопросу.

— По вопросу? Не буду вдаваться в подробности:

некогда. Жаль, что ты не из нашей школы: хотел оказать небольшую услугу. Ответную, так сказать!

— Какую? — любопытствовал я.

— Да зачем же тебе, раз не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства...

Он махнул рукой, словно бы стыдясь несолидных детских воспоминаний. Но все-таки стал вспоминать:

— Она ведь почти ничего не видит. И вежлива очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. «Не ранить!» — как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Ну, а я подсказал им по-дружески: если, мол, хотите смываться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что, если сесть от нее хотя бы на расстянии трех шагов, взять градусник и потихоньку настукивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настукивали. Особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия! А она ничего не замечала... И выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить! Заблуждения молодости... Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услуга за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться...

Он как-то торжественно и неторопливо согнул руку в локте, рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке красивые плоские часы.

— Отец подарил, — между прочим сообщил он. И сразу заторопился: — Мне пора! Скоро Нина Георгиевна вернется. Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо.

Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца: то вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы. Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать...

На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне:

— Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне. А ты скажи, что я очень переживал. Это правда. Я ведь люблю ее. И многим обязан... Но если нашлись родители? Я ведь не виноват.

«И этот ее покинул», — мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь.

Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дожидаться.

Шурик положил на стол два ключа и сказал:

— Передай ей, пожалуйста. Вот этот, английский, от парадной двери... Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути: вернулся.

«Пусть не будет...» — подумал я.

Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону: руку оттягивал чемодан. Он удирал...

Я смотрел на мальчишку в матроске с серебряным словом «Витязь». Я любил сравнивать старые фотографии с живыми людьми, которые были на них изображены и которых я знал повзрослевшими, постаревшими и совсем другими.

«Эх ты, витязь! Рыцарь! — думал я. — Исчезнуть... Так ей будет легче! И в детском доме было бы хорошо... У нас в стране сироты не погибают... Все правильно. Все абсолютно точно».

Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матросский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повести к фотографу: из-под бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела.

Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные, — говорил я себе. — И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома». Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала меня к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны: «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...»

Стукнула парадная дверь. В коридоре раздались шаги — снова быстрые, неусталые: она спешила, она думала, что он ждет ее. Тем более, что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь и в коридор выбивалась полоска света.

Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял зачем: эти оставленные на столе ключи говорили о чем-то окончательно непоправимом.

Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату. И, даже не поздоровавшись со мною, спросила:

— Спрятался?.. — Вполголоса, доверительно она сообщила мне: — Эта привычка у него с детства. Закрылся в шкафу?

Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком: теперь он был почти совершенно пуст.

Нина Георгиевна присела на стул. Так мы сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы.

— Он был? — спросила она.

Я кивнул.

— А сейчас?

— Он ушел... Он сказал, что напишет письмо.

Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым стержнем, который был у него внутри.

Из-под шапки не было видно ее темной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица: оно было бледным, измученным. Чтоб успокоить ее, я сказал:

— Шурик будет писать вам... Вы будете с ним переписываться!

— Он должен был выбрать, — сказала она. — И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.

И тут со мной произошло что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда «может понять» тех, кто приносит ей горе? Почему считает «нормальным» все плохое и несправедливое, что случается с ней? Мне уже не хотелось больше успокаивать ее. И я не заговорил — я закричал:

— Ваш Шурик — предатель! Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас... Как предатель!

Теперь уже я ударил ее.

Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза — прищуренные, близорукие, беззащитные. Но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее,

возмутить, сделать так, чтоб она закричала в один голос со мной. Хотя продолжал я уже не так громко, как начал. Но все-таки упрямо продолжал:

— Он рассказал своим друзьям, что вы плохо видите. И что вы добрая... Они обманывали вас. Настукивали температуру... Чтоб убегать с уроков. Это он подучил их! А вы им верили.

Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула голову. И взглянула на меня исподлобья — очень странно, будто осуждая за то, что услышала. Осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня. Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее:

— Это было давно. Когда Шурик был еще маленьким... Он просто не понимал. Был еще несознательным! А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне... Честное слово! Не верите!

Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала. Я как бы извинялся за то, что посмел обидеть его.

Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой:

— Это можно понять. Это нормально... Я ведь не детский врач, я невропатолог.

Стало быть, она осуждала не только меня, но и себя... Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо.

Она продолжала:

— Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю! Ну что ж, тем более не имею права... Они обманывали меня? Значит, не уважают.

— Что вы! Что вы?! — Я замахал руками. — Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово!

Она не слушала, а я настаивал на своем:

— Так бывает. Честное слово! Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее! Недавно она спрашивает в начале урока: «Я вам задавала домашнее сочинение?» А мы все хором орем: «Не задавали!» Она говорит: «Склероз начинается: все позабыла». А у нее никакого склероза нет. Просто мы ей наврали. Вот видите: уважаем, а все равно наврали! С нами это часто бывает. Не верите? Честное слово!

Казалось, я тоже разговаривал сам с собой: слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять:

— Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я?.. Не должна я работать в школе. Я люблю ребят, но,

видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас, посреди учебного года, уйти нельзя. Но до лета надо будет обдумать... Это мне ясно.

Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не имел права!..

Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика. И прижала ее к груди. И погладила рамку. После всего, что я ей рассказал...

9

Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелев. На самом деле ходил я все так же быстро («летал», как говорила мама), — немного отяжелела моя голова: я стал чаще задумываться. И даже стал упрекать самого себя, чего прежде со мной не случалось.

Целый вечер в тот день я мучился. «Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, что она сразу возненавидит Шурика? Не мог вытерпеть этих ее «можно понять», «все нормально»? А если она бросит школу? Вполне на нее похоже!» Этого я не мог допустить! Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться.

То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. «Шурик предал ее! А отец вовсе не предавал, — объяснял я себе. — Мало ли людей расходится на белом свете? Разве все они виноваты?»

Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями.

Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. В тот день я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов и переубедить ее невозможно. Я и прежде не раз думал

об этом. Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки.

— Ты можешь судить по себе, — сказала она. — Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?

Бабушка, как обычно, шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызывать удивления...

А Нина Георгиевна? Когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну...

«А что это значит: оставить одну? — раздумывал я. — Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их своими друзьями. Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я все равно не могу не прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если бы мы были друзьями, все было бы очень просто: чтобы явиться к другу, не нужен повод — можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора?»

Мне нужен был повод. И я начал его искать.

Обычно я без труда находил выход из трудного положения.

— Это потому, что у тебя диктаторские замашки, — говорила бабушка. — Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать: руки не связаны.

Я и правда мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так было в самом деле и проще и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезны, как и цели, ради которых я их совершал.

Теперь, быть может впервые в жизни, я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться, устремилась в привычном для нее направлении.

Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два этих замысла вполне можно было объединить. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью! Пусть спасет какого-ни-

будь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. «Хорошо бы, от смертельного!» — мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? «Лучше всего пусть спасет меня! — внезапно решил я. — Ну конечно: меня самого!»

Я быстро составил план действий. И ночью приступил к его выполнению. Да, именно ночью!

Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал:

— У меня жестокая бессонница...

— Пардон, какая?

— Ну, очень тяжелая... Наверное, это законы наследственности!

— Со сна не пойму: какие законы?

Тут я вспомнил, что бессонница была у отца там, в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать: в нашей квартире отец спал «богатырским сном». Я сказал:

— Может быть, дедушка или прадедушка этим страдали?

— Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушку я не знала, но если судить по отцу...

— Да... конечно... Он спит богатырским сном. Но я не сплю уже третью ночь.

— Не смыкаешь глаз?

— Смыкаю. Но ненадолго...

— Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось.

— Я знаю... Обычно не спят старики?

— Осторожней насчет стариков! Я имею в виду другое... Ты влюбился? Как же, припоминаю: на днях ты спрашивал что-то о первой любви.

— Чтобы я из-за этого?.. Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен... И хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор. Кажется, женщина... Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней.

— В последнее время ты вообще много ходишь, — сказала бабушка. — Я не стесняю твою свободу. Но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки.

— У меня нету двоек.

— Так будут, — пообещала бабушка.

— Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год! А эта женщина замечательно лечит. У себя дома...

И совершенно бесплатно! Ты только должна будешь написать ей письмо. Хоть несколько строк: «Благодарю за спасение внука!..» Или что-нибудь вроде этого. Ей будет очень приятно.

— Ты вовлекаешь меня в авантюру. Но я очень слаба... — сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах. — Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу. К профессору... К гипнотизеру! Лечись! Выздоровливай!.. Только не мешай мне спать: я приняла две таблетки снотворного.

— Так, может быть, эта дурная наследственность от тебя? — радостно воскликнул я.

— Пардон, ты мне надоел.

Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне. И даже помочь. Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтобы она все-таки слышала, как я страдаю.

На другой день после уроков я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на всевозможные удивления, вопросы, недоумения.

Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее. Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны — и один из двух собеседников был мне неприятен: этим собеседником был я сам.

— Вы садитесь? — раздался сзади нервный, подталкивающий голос: подошла моя очередь садиться в автобус.

— Нет, я не еду... — ответил я.

И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?

И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало мне помощь, которой я уже не мог воспользоваться.

Обмануть Нину Георгиевну я не смог.

Но я должен был доказать, что действительно верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей!..

«Должен любой ценой!» — сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила: я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее.

Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе: какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания! А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасет моего лучшего друга! И потом мы всем классом напишем ей благодарность. И она сразу поверит в свои силы... Тут все будет честно и благородно!

После уроков я попросил Антона остаться в классе.

— Будет серьезный разговор, — сказал я.

— Что-нибудь случилось? — участливо спросил мой друг.

— Еще не случилось. Но скоро случится! Я придумал, как помочь твоей матери.

— Маме?..

Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму.

Антон сидел на нашей «аварийной» парте, а я — за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее. Антон волновался: корни его волос начали постепенно окрашиваться в розовый цвет. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу:

— Есть одна женщина, которая будет лечить тебя. Прямо с завтрашнего дня. Она замечательный врач. Невро-па-то-лог! Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым! И будешь приносить матери одни только пятерки.

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

— Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься! Не могу видеть, как ты смущаешься у доски!

— Спасибо, Сережа... — отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. — Но у меня просто такой характер. Врачи этого не лечат...

— Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?! — воскликнул я. — Он сказал однажды, что твоя застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить. И она вылечит! А мы потом всем нашим классом выразим ей благодарность. В письменном виде.

— Весь класс будет знать, что я лечусь?..

— Пожалуйста... если не хочешь, буду знать только я. И твоя мама... И мы вдвоем выразим благодарность. В письменном виде!

— Обязательно в письменном?

— Обязательно! Чтоб осталось на память.

— Прости, Сережа... но если ее лекарства мне не помогут?

— Я прошу тебя вылечиться... Ты можешь для меня это сделать?

— Сережа... ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал...

Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же не очень искренен со своим лучшим другом.

И, как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем «четко».

«Но ведь Антон действительно может выздороветь! — подбадривал я себя. — Значит, все честно и благородно! Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась...»

— Я к вам по важному делу! — сказал я ей в дверях, словно извиняясь за свой приход.

На эту фразу она не обратила внимания: даже не поинтересовалась, по какому именно делу. А войдя в комнату, словно для того, чтобы отвлечь меня от моего дела, спросила:

— Ты прямо из школы?

— Я заходил домой.

— Но может быть, хочешь обедать?

— Я пообедал... в кафе. — И зачем-то добавил: — Честное слово!

— В кафе? — удивилась она. — Ты что же, остался совсем один?

— Нет, с бабушкой.

— С маминой мамой?

Я кивнул... Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме. Словно это было запретной темой. Ни разу и никогда...

Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтобы и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало: расшифровать те непонятные строчки в ее письме. И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле.

— Нина Георгиевна,— сказал я,— вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, «как это уже было однажды».

— Ты выучил письмо наизусть?

— Нет... я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?

Она долго молчала, будто не решаясь ответить на мой вопрос. А потом стала вслух размышлять:

— Если бы Сергей пришел тогда? Может, с Шуриком было бы все иначе?.. Вряд ли, конечно. Но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в четвертом классе. Я помню тот день: двенадцатое февраля. Одноклассники устроили Шурику «темную». Я не стала допытываться, за что. Ему было обидно. И он очень хотел отомстить! Мы ужинали вот за этим столом... Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это «страшные тайны». И рассказывал о них шепотом. Оглядывался по сторонам... Он хотел, чтобы я донесла директору и его приятелей наказали. Я уже тогда работала в школе и дружила с директором. Сейчас его уже нет, он умер... Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно... Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел... Думаю, он заботился обо мне: боялся, что я буду вновь, как он говорит, «растравлять» себя. Это можно понять.

Конечно, отец счел неразумным приходить в этот дом. А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною.

А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда?.. Я не мог ответить на этот вопрос.

Я видел отца и Шурика — на стене, прямо перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик? Эти мысли были мне неприятны. Я быстро прогнал их...

И подумал совсем о другом, о приятном: рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или, по крайней мере, тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?..

— Ты только об этом хотел узнать? — спросила она. — Это и есть твое важное дело?

— Нет... Что вы! Что вы! — заторопился я. — Совсем другое... Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога! Он очень застенчивый, скромный такой... Заикается даже. И все время хватается тройки. Хотя все знает! Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете? Не может ответить! А мать его говорит, что утопится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень! Скромный такой... Если б вы могли его вылечить! Я об этом хотел сказать...

Рассказывая об Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала. И подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Подошла, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила вдруг совсем тихо, почти шепотом:

— Чтобы уйти от человека... — Она кивнула не то на отца, не то на Шурика — на стене они были рядом. — Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины. Потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все...

— Что вы! Что вы! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!

— Это само собой, — тихо сказала она. — Мы постараемся вылечить...

Прошло три с половиной года.

Ни разу не сказал я дома, что знаю ее. А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней и что говорю... Она не вошла в наш дом даже воспоминанием: я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем.

Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца...

По велению долга? Так было вначале, но не потом... «Веление» — яркое слово, оно гораздо красивей, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков. Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской взрослости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе...

Но вот недавно... месяцев шесть назад, мы переехали в другой город: поближе к объектам, которые проектировали отец и мама.

Когда мы прощались с Ниной Георгиевной, я обещал, что каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно...

Уезжая, я не знал еще своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования. А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой: мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю.

— Это твое последнее лето, — сказал отец. — В будущем году ты должен поступить в институт. Надо набраться сил, закалить организм!

«Последнее лето» — эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу. «Путешествуйте летом по рекам!» — долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезней горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний.

— Мы полетим на самолете, — сказал отец. — Чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия.

Удовольствия я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал по воздуху. Последнее лето обещало быть очень счастливым, я ждал его с нетерпением.

...Неделю назад отец купил три билета на самолет. А сегодня я получил письмо до востребования.

Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь: жду тебя! Но если ты не приедешь, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять.

«Поеду к ней в январе, — решил я. — Тоже будут каникулы...» Я написал ей письмо. Я объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом: можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она будет на воздухе и отдохнет, а в городе летом пыльно...

Я прочитал письмо — и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое: длинное, обстоятельное, без помарок.

Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня. Или вообще не приезжать никогда.

Я не могу стать ее третьей потерей... И сейчас еду сдавать свой билет.

Дома я сказал, что очень хочу повидать бабушку и Антона, которые остались там, в городе моего детства. Я и правда по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать телеграмму: я приеду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня. Теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает. Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом.

Мама не возражает: ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень «четко».

А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письмо, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от гор, от высот, от полета... И все-таки я еду сдавать билет.

Отец привел слова, кажется вычитанные в книге: «Жизнь человека — это маршрут от станции Рождение до станции Смерть со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика».

А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания. Это самолеты и поезда особого назначения (как раз самые важные!): они помогают, они спасают... Я не сказал об этом отцу. Но я еду сдавать билет.

ПОВЕСТЬ АЛИКА ДЕТКИНА

(ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ)



ОТ АВТОРА

Судьбе было угодно, чтобы я родился в семье инженерно-технического работника, в самом начале второй половины нашего века. Это была дружная трудовая семья. Я был последним ребенком в этой семье. Первым ребенком был мой старший брат Костя. Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю трудно назвать ребенком, потому что он бреется и учится в университете.

Родители наши сумели дать своим детям хорошее образование: Костя, как я уже сказал, студент, и я тоже учусь.

У нас с братом были совершенно разные характеры. Они и теперь абсолютно разные, но я пишу «были», потому что предисловия «От автора» всегда пишутся в прошедшем времени, как воспоминания. Брат увлекался техникой, а я любил читать детективные повести и романы. Потом, в более зрелом возрасте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству.

У меня не было старой няни, которая бы рассказывала мне в детстве сказки и так понемножку приучила бы меня любить литературу. Мама сама вела хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас не было.

Но зато на меня как на будущего автора детективных произведений огромное влияние оказали мои родители.

Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для обуви мою фамилию: «Деткин».

Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль! Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли: нитки порвались то ли от старости, то ли оттого, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь три первые буквы: «Дет...»

— Мешок ДЕТЕктива! — крикнул один старшеклассник.

С этого и началось: меня прозвали Детективом. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке?..

Но положительное влияние родителей было не только в этом. Мама и папа часто отбирали у меня затрепанные приключенческие повести и романы. «Жалко тратить на это время!» — восклицали они. А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким образом, с их помощью я понял, что все нормальные люди любят читать детективные книжки, но многие любят тайно. А тайная любовь, как известно, самая интересная и самая сильная!

Итак, я начал творить! Родители были против: «Жаль тратить на это время!» Тогда я вспомнил все известные мне случаи, когда отцы выгоняли из дому и даже лишали наследства будущих великих артистов, композиторов и писателей. Эти примеры подействовали на папу и маму.

— Ладно, — сказал папа, — раз тебе не жалко времени, которое можно было бы потратить на изучение иностранного языка, на чтение полезных книг или, скажем, на спорт, пусть будет по-твоему! Но позволь и мне обратиться к классическим примерам...

Он достал первый том Собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:

— Эти стихи были написаны Михаилом Юрьевичем, а

точней сказать, Мишей, в четырнадцатилетнем возрасте. Ты всего на полтора года моложе. Только на полтора. А если учесть, что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы одного возраста!

— Ну и что? — спросил я.

— А то, — ответил мне папа, — что нельзя высосать повесть из пальца. Прежде чем сесть за стол, надо изучить человеческие характеры. А сюжет? Его должна подсказать тебе сама жизнь!

Я стал изучать характеры своих приятелей, соседей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне не хотела.

И вдруг случилось такое!..

Никогда я бы не смог придумать истории страшнее той, которая случилась на самом деле и которую я всю распутал от начала и до конца, доказав, что Детективом меня прозвали не зря!..

Глава I,

*в которой мы знакомимся с героями повести,
не все из которых будут героями*

Когда в прошлом году у нас в классе начали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет!..

Но я расскажу обо всем по порядку, не забегая вперед, хотя мне очень хочется забежать. Вы легко поймете меня, когда дочитаете до конца...

Итак, все началось год назад на самом обычном уроке, в самом обычном классе. Это была комната с четырьмя стенами, выходившая двумя своими стеклянными окнами прямо во двор, а одним окном — прямо на улицу.

Наш новый классный руководитель, Святослав Николаевич, сказал:

— Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев.

Мы все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду: там сидел тихий, пригнувшийся Глеб.

Это был человек лет тринадцати. Нежная, бархатная

кожа его лица часто заливалась румянцем. Ростом он был невысок, учился посредственно и очень любил собак. Карманы его самых обыкновенных мятых штанов всегда оттопыривались. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что там кусок колбасы, или горбушка хлеба, или сосиска. Глеб от каждого своего завтрака оставлял что-нибудь для собак. И собаки платили ему той же любовью. Мы тоже любили Глеба. Он был добрым не только к собакам, но и к людям. Особенно если их настигала беда. Например, если кто-нибудь падал и расшибал коленку, Глеб сразу подбегал и говорил:

— Как все это... Ты не очень того... Я сейчас постараюсь...

Он, когда волновался, не договаривал фразы до конца. Фразы его неожиданно обрывались, как звуки неисправного мотора, который глохнет и опять начинает работать, глохнет и опять начинает... Но мы уже знали, что через минутую другую Глеб притащит из докторского кабинета, с первого этажа, йод, а из уборной, с нашего этажа, — платок, смоченный холодной водой.

В его груди билось скромное, благородное сердце!

— Конечно, Глеб такой же ученик, как вы все, — сказал Святослав Николаевич. — Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. И все же я рад, что Глеб учится именно здесь! Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь!..

Все опять повернулись к Глебу... Когда на него смотрел один человек, он и то пригибался от смущения, а тут уж совсем лег на парту.

— Как-то все это... — тихо сказал он, не договаривая фразу, будто кто-то рядом расшиб коленку.

Мы знали, что в городе жил когда-то писатель Гл. Бородаев: портрет Гл. Бородаева висел в зале на доске «Наши знатные земляки».

Внезапно догадка озарила меня: «И его тоже, наверное, звали Глебом!» Мы не знали, что тот Глеб — родной дедушка нашего Глеба. Наш Глеб никогда никому об этом не говорил.

Но классный руководитель Святослав Николаевич рас-

крыл его тайну... Это был человек лет пятидесяти девяти (он говорил, что если мы решительно не изменимся, то он через год сбежит от нас всех на пенсию). Ростом он был невысок. Глаза его глядели устало, об усталости свидетельствовала и бледность его не всегда гладко выбритых щек. Но внешность Святослава Николаевича была обманчива. Энергия в нем была ключом!

— Мы присвоим нашему кружку имя Глеба Бородаева! — воскликнул он. И в глазах его исчезла усталость.

— Как-то это... — тихо сказал Глеб со своей задней парты. — Меня ведь тоже зовут... Некоторые могут подумать... Которые из других классов...

Он не договаривал до конца ни одной фразы: значит, он волновался, как никогда.

— Есть ведь и другие... — продолжал он. — Почему обязательно дедушку?.. Хотя бы вот Гоголь...

— Но внук Гоголя не учится в нашем классе, — возразил Святослав Николаевич. — А внук Бородаева учится!

С того самого дня к Глебу приклеилось прозвище: Внук Бородаева. Иногда же его звали просто и коротко: Внук.

Всюду ребята любят придумывать прозвища. Но у нас в школе это, как говорили учителя, «стало опаснейшей эпидемией». А что тут опасного? Мне кажется, прозвище говорит о человеке гораздо больше, чем имя. Имя вообще ни о чем определенном не говорит. Ведь прозвище придумывают в зависимости от характера. А имя дают тогда, когда у человека еще вообще нет никакого характера. Вот если меня назовут просто по имени — Алик! — что обо мне можно будет узнать? А если по прозвищу — Детектив! — сразу станет понятно, на кого я похож.

Жаль только, что некоторые ребята путают и вместо «Детектив» кричат «Дефектив». Но я в таких случаях не откликаюсь.

— Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться! — заявил Святослав Николаевич.

И всем сразу захотелось вступить в этот кружок. Но на пути возникли неожиданные преграды.

— Творческая направленность будет лицом кружка, — сказал Святослав Николаевич. — А рекомендацией будет литературная одаренность!

Оказалось, что такой рекомендации нет почти ни у кого

в нашем классе. Только Андрей Круглов, по прозвищу Принц Датский, и Генка Рыжиков, по прозвищу Покойник, сочиняли стихи.

Прозвища их на первый взгляд могли показаться несколько странными, но это только на первый, легкомысленный взгляд.

Круглова прозвали не просто Принцем, а именно Датским, потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам и даже к семейным: к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения и если кто-нибудь умирал.

Когда нашей школе исполнилось десять лет, он сочинил:

В этот день, когда мы отмечаем
Нашей школы славный юбилей,
Мы с большим волнением замечаем,
Что на сердце как-то веселей!

Однажды, первого сентября, пионервожатая прочитала нам на линейке стихи Принца:

В этот день, когда мы начинаем
Путь к вершинам знаний и наук,
Мы с большим волнением замечаем,
Будто стало солнечней вокруг!..

А перед летними каникулами в стенгазете появилось такое стихотворение Принца Датского:

В этот день, когда мы завершаем
Свой нелегкий, свой учебный год,
Мы с большим волнением ощущаем,
Будто слезы выльются вот-вот...
Нет!

Хоть мы со школой расстаемся,
Места нет для грусти и тоски:
Все равно сердцами остаемся
Возле школьной парты и доски!

Святослав Николаевич сказал однажды, что «настоящий поэт не изменяет себе». Принц Датский не изменил себе просто ни разу в жизни.

Это был человек лет тринадцати. Ростом он был высок, в плечах был широк. Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь дома происходит важное событие, он хватал

бумагу и карандаш, убегал, чтобы побыть в одиночестве, а потом возвращался и говорил:

— Вот... пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?

Он совал в руки листок со стихами и убегал. Большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью.

Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц Датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал:

— Вот... пришло кое-что на ум. Может, тебе будет приятно?

И убежал. На листке было написано:

В этот день, поздравив папу с мамой,
Обстановку трезво оцени:
Страшная была бы в жизни драма,
Если бы не встретились они!
Если бы твой папа не женился,
Никогда б ты, Алик, не родился!

В его груди билось доброе, благородное сердце!

Я читал, что поэты часто дружили между собой: Пушкин с Дельвигом, Шиллер с Гёте... А Принц Датский дружил с Генкой-Покойником.

Покойник писал стихи о любви. Это был человек лет тринадцати. Ростом он был невысок, в плечах неширок, фигурой толстоват. Лицо его было покрыто мертвенной бледностью... И вообще он очень хотел умереть.

Жить не стоит,
В том нету сомнений!
Сердце в мýке сгорело дотла,
Когда ты на большой перемене
К старшекласснику вдруг подошла.

Над этим стихотворением стояли две буквы: «А. Я.».

А в поэме, первое чтение которой состоялось у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова:

Умереть, умереть, умереть!
Мне во прах превратиться не жалко,
Чтоб уже никогда не смотреть,
Как с другим ты идешь в раздевалку...

Под названием поэмы тоже стояли две буквы: «Б. Ю.».

Нам очень хотелось узнать, из-за кого Покойник так ужасно страдал. Мы проверили по классному журналу: девчонок с такими инициалами у нас в классе не было.

— Может, из другой школы?.. — высказал кто-то предположение.

Внезапно меня озарила догадка:

— Нет! Они обе из нашей школы: иначе бы он не видел, как А. Я. на большой перемене подошла к старшекласснику и как Б. Ю. спустилась с другим в гардероб!

— Это верно!.. Настоящий Детектив: какая сила логического мышления! — стали восторгаться ребята.

Только Принц Датский сказал:

— Не трогайте Покойника!.. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.

И хотя большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью, все знали: Покойника он в обиду не даст. Он уважал его, потому что сам не умел писать стихов о любви.

— А только это и есть истинная поэзия! — воскликнул как-то Принц Датский. — Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь!

Это было его яркой особенностью: восторгаться другими.

— Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам? — спросил я Принца.

— Людям приятно, когда их поздравляют... Особенно в рифму, — ответил он.

— А ты пиши и о любви тоже!

— Чтоб писать о ней, надо ее испытать, — ответил Принц Датский. — К Покойнику уже пришло это счастье, а ко мне еще нет.

К Покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Вообще он вел рассеянный образ жизни. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В. Э. Она еще не спускалась с другим в гардероб, но Покойник все равно жить не хотел:

Умереть мое сердце готово,
Разорваться в груди, как снаряд,
За одно твое нежное слово,
За один твой доверчивый взгляд.

Я набрался мужества и спросил:

— Скажи, кто она... В. Э.?

— Разве это не было бы чудовищно?..

— Что... чудовищно?

— Разве я могу открыть ее имя?

— А почему?

— Тебе не понятно?

Это было его яркой особенностью: отвечать на вопрос вопросом.

— Но почему же? — настаивал я.

— Разве мужчина имеет на это право?

В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце! Принца с Покойником сразу приняли в литературный кружок.

Попросилась в кружок и Валя Миронова.

Это было белокурое существо лет двенадцати с половиной. То есть в прошлом году, когда создавался кружок, все мы были на год моложе... Но в той страшной истории, которую я хочу рассказать, это не играет существенной роли.

Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала об одном: как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.

Если учительница задавала на дом решить семь арифметических примеров, Миронова поднимала руку и спрашивала:

— А восемь можно?

Если другая учительница просила сдать домашнее сочинение через четыре дня, Миронова поднимала руку и спрашивала:

— А через три можно?

Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например: Глеб Бородаев вынимает из своих растопыренных карманов бутерброд с колбасой и кормит собаку; Принц Датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны; Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть... А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой: она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет: «Тебе нужно сделать десять уколов!» — Миронова, я думаю, обязательно спросит: «А можно одиннадцать?»

Как только Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова сразу подняла руку и сказала:

— Можно мне записаться?

— А что ты будешь сочинять?

— Что вы скажете... — ответила Миронова.

Это было ее яркой особенностью: подчиняться приказам.

— Поэзия, — сказал Святослав Николаевич, — это сфера чувств, там конкретность не обязательна. Проза — другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронова, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок: «Мое утро», «Мой вечер»...

Миронова подняла руку и спросила:

— А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер — все сразу!

Она и тут хотела перевыполнить норму.

— Пожалуйста, — сказал Святослав Николаевич. — Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песне! Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через пять.

— А можно через четыре? Или через три дня? — спросила Миронова, предварительно подняв руку.

По привычке она, как на уроке, поднимала руку, даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре или на улице.

Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». Начинала Миронова так:

Я проснулась в семь часов десять минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что в квартире живут две семьи: у каждой по одному столу. На кухне два окна: одно выходит лицом на улицу, а другое — лицом во двор. В семь часов тридцать минут по местному времени я съела одно яйцо всмятку, один бутерброд с сыром и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день...

Святослав Николаевич похвалил Миронову:

— Много конкретных, тебе одной известных деталей!..
Миронову приняли в литературный кружок.

— Ну, а над чем ты будешь работать дальше? — спросил Святослав Николаевич.

— Над чем скажете...

В ее груди билось послушное женское сердце!

Трех человек уже приняли. Но этого было мало. И тогда Святослав Николаевич предложил вступить в кружок Наташе Кулагиной.

Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе. И во всем городе!

Ростом она была такой, как надо... Да что говорить!

От самого дня рождения я никогда не был ветреником. И никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью: Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна женского обаяния. На переменках девчонки липли к ней со всех сторон: каждой хотелось походить с ней по коридору под руку. Это меня устраивало: если уж не со мной, так пусть лучше с ними!

Наташа часто записывала что-то в толстую общую тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее в кружок, она сказала:

— Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах...

— Это должно быть любопытно, — важно изрек Покойник. — Ты ведь и классные сочинения всегда пишешь оригинально, по-своему.

— Старик Покойник нас заметил и, в гроб сходя, благословил! — сказал я с плохо скрываемым раздражением.

Мне не понравилось, что Покойник хвалил Наташу. Не хватало еще, чтоб над очередным его стихотворением появились новые буквы: Н. К.

— О книгах, о фильмах?.. — переспросил Святослав Николаевич. — Значит, у тебя критическое направление ума! Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены. А теперь вот и критика! Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей...

— Но я ведь просто записываю свои мысли... Что ж, я буду высказывать их вслух?

— А ты высказывай не свои,— посоветовала Миронова.— Поговори со Святославом Николаевичем, еще с кем-нибудь. Учебники почитай.

Наташа словно бы не расслышала ее слов.

— Нет, я не могу оценивать чужие произведения,— сказала Наташа.— С глазу на глаз могу. А так, в торжественной обстановке... Я не могу себе это позволить.

— Ладно... Для начала просто послушай,— сказал Святослав Николаевич.— А потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло!

Она могла бы позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла: в ее груди билось прекрасное сердце.

Через десять минут я попросился в литературный кружок.

— Ты тоже пробуешь силы в творчестве? — удивленно спросил Святослав Николаевич.

— Я хочу писать детективные повести...

— Прыгаешь через ступени?

— Как это?

— Нужна постепенность: сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песне. Ты уже что-нибудь сочинил?

— Предисловие... И еще кое-какие наброски.

Все это я показал сперва папе, а потом Святославу Николаевичу. Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет, и в предисловии об этом ничего написано не было.

— Твои портретные характеристики несколько однообразны,— сказал папа,— а эпитеты, думается, крикливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам. Так уже нынче не пишут. Это не модно.

— Но ведь моды меняются,— возразил мой брат Костя.— Раньше носили длинные пиджаки, потом стали шить короткие, а теперь опять носят длинные...

В пиджаках Костя разбирался — у нас дома его считали пижоном.

— Да, я согласен,— сказал папа.— Мода — вещь переменчивая. И потом, первый опыт... Первый блин!

Святославу Николаевичу мой «первый блин» очень понравился.

— Кое-где ты продолжаешь благородные традиции ры-

царских романов. В смысле стиля, конечно,— отметил он.— Могут сказать, что это несовременно...

— Мода — вещь переменчивая! — воскликнул я.

— Безусловно. К тому же я не хочу наступать на горло ни одной вашей песне! Острая наблюдательность тебе многое подсказала. И еще подскажет! Так что... Теперь в кружке уже...

— Пять человек! — быстро подняв руку, сказала Миронова.

Это было ее яркой особенностью: она любила подсказывать учителям.

— Нет, в кружке будет шесть членов,— поправил ее Святослав Николаевич.— Пять обыкновенных и один почетный: внук Бородаева!

Радость озарила усталые глаза Святослава Николаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое лицо. Он не знал, к каким ужасным событиям это все приведет!

И у меня на душе не было даже легкой тени тревоги. Даже смутное предчувствие чего-либо плохого не посетило, не коснулось меня в ту минуту.

Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке с Наташей Кулагиной! Я ликовал, как дитя!..

Глава II,

*в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории,
хотя этого можно и не заметить*

О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!

Я всегда думал, что почетный участник чего-либо — это такой участник, который, в отличие от обыкновенных участников, может абсолютно ни в чем не участвовать. Но это было жестокое заблуждение.

Именно Глебу поручили организовать у нас в классе «Уголок Бородаева».

— Мне как-то... Самому-то... Это вроде не очень... — не договаривая фраз, отказывался Глеб.

— Заблуждение! — воскликнул Святослав Николаевич.— Неверное понимание... Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, откры-

вают и закрывают выставки. Одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?

Острая наблюдательность подсказала мне, что Глеб писать мемуары не собирался и вообще ему было как-то не по себе. Но он все же принес фотографию, на которой его дедушка был изображен в полный рост.

Это был мужчина лет шестидесяти или семидесяти. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что в молодости люди меняются каждый год, а у старых людей трудно определить возраст. Ростом он был невысок, в плечах неширок.

— Почти все крупные личности выглядят хилыми и некрупными, — объяснил Святослав Николаевич. — Природа устремляет свое внимание либо на мышцы, либо на мозговые извилины. На то и другое у нее не хватает сил.

У Бородаева не было бороды. У него были усы.

— Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду, — сказал Святослав Николаевич. — Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления! Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, в глубь, в корень событий.

«Уголок Бородаева» расположился между подоконником и классной доской. Здоровенный Принц Датский один приволок огромный фанерный стенд.

В центре поместили фотографию писателя, под которой был указан год рождения и через черточку — год смерти. Черточка была короткая, а жизнь Гл. Бородаева была очень длинная: он скончался на восемьдесят третьем году жизни.

На стенде поместили любимые книги покойного писателя, которые Глеб тоже принес из дому. На каждой обложке стоял лиловый штамп: «Из личной библиотеки Гл. Бородаева». Оказалось, что писатель любил детективы. И не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его груди билось честное, благородное сердце.

Были тут и книги самого Гл. Бородаева. На них тоже стояли лиловые штампы. Опытный глаз мог бы безошибочно определить, что чаще всего у писателя брали почитать его повесть, название которой заставило меня вздрогнуть: «Тайна старой дачи»... Она была самой затрепанной.

— Детектив? — шепотом спросил я у Глеба.

Он утвердительно мотнул головой.

— Дай почитать...

— Но это же экспонат! — вмешался стоявший рядом Покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный Мироновой: «Руками не трогать!»

— Тебя не касается! — ответил я Покойнику с плохо скрываемым раздражением. И вновь обратился к Глебу: — На одну только ночь!

— Хорошо, возьми, — сказал Глеб громко и внятно, как почти никогда раньше не говорил.

Мне показалось, ему было приятно, что он может разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал: «Нет, у него такой гордый вид просто потому, что я хочу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился. Это вполне естественно!»

Повесть произвела на меня огромное впечатление. В предисловии было написано, что «она относится к позднему периоду творческой деятельности Гл. Бородаева». Значит, на старости лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители уверяли, что увлечение детективами — «это мальчишество». О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!..

Да, «Тайна старой дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе: убийство и расследование.

Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было! Это случилось ночью. Прямо под Новый год! Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно... Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.

В послесловии было написано: «Итак, преступников не обнаружили... Но зато обнаружила себя творческая индивидуальность автора! Он не пошел проторенным путем. В повести не найдешь «чужих следов», как не было их возле старой дачи после таинственного исчезновения... «Тайна старой дачи» так и осталась тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить!»

Я размышлял несколько дней.

Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой прошли последние годы его жизни.

— Детективный период? — спросил я.

— Нет, он только одну эту книгу... Больше он ни одной... Это была последняя...

— Лебединая песня! — воскликнул оказавшийся рядом Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.

— Вот бы съездить на эту дачу! — сказал я.

— Всего час... Если на электричке... — ответил Глеб.

— Экскурсия на место событий? — усмехнулся Покойник.

Убийства Покойника не волновали: он привык думать о смерти.

Святослав Николаевич сказал, что «Уголок Бородаева» необходимо украсить семейными фотографиями.

На следующий день Глеб принес старую карточку, на которой усы у Гл. Бородаева почти совсем выцвели, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом стояли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал.

— Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литературному исследованию! — воскликнул Святослав Николаевич. — Узнай дома, кто запечатлен фотографом на этой семейной реликвии.

Когда через три дня фотографию поместили на стенде, под ней была подпись: «Писатель Гл. Бородаев в кругу близких. Слева направо: сосед писателя, соседка (жена соседа), брат жены писателя, жена брата жены, друг детства писателя, жена друга детства (вторая), дочь друга детства, сын друга детства, сын сына друга детства...» Это были результаты исследования, которое провел Глеб.

— А сам-то ты где? — спросила у Глеба Миронова, которой поручили делать подписи под семейными реликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый почерк.

— Я с дедушкой никогда... Я был еще маленький... — ответил Глеб.

— Ну что-о же ты? — печально протянула Миронова. — Ка-ак же ты так!

На следующий день Глеб принес фотографию, где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной. Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство между мужчиной и Глебом.

— Это папа,— объяснил Глеб.— А это вот я...

Под фотографией сделали подпись: «Слева направо: сын писателя, сын сына писателя».

Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии: он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с двоюродным братом и двоюродной сестрой. Все его сразу узнавали на фотографиях:

— Вот он! Ну как же... Вот он, присел на корточки! Почти что не изменился.

Миронова интересовалась, кем точно родственники, изображенные на фотографиях, приходятся Гл. Бородаеву, и делала подписи.

Часто к нам стали забегать ребята из других классов.

— Кто это у вас тут внук писателя? — спрашивали они.

Мы указывали на Глеба. Сперва он пригибался к парте, словно хотел залезть в нее от смущения. Но потом стал выпрямляться, уже не прятался, а протягивал руку и говорил:

— Очень приятно. Давайте знакомиться!..

Однажды на какой-то конференции старшеклассников Глеба выбрали в президиум. И объявили, из какого он класса. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах! Если кто-нибудь теперь говорил, что не знает Гл. Бородаева, не читал его книг, мы возмущались: «Это позор! Каждому культурному человеку известно...»

На разных школьных собраниях нас начали ставить в пример другим:

— В этом классе умеют чтить память знатного земляка! В этом классе любят литературу!..

— Каждый класс, как и человек, должен иметь свое лицо, свою индивидуальность,— объяснял Святослав Николаевич.— Раньше у нас этой индивидуальности не было. Теперь она у нас есть!

— Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой? — спросила меня как-то Наташа Кулагина.

«...Мы с тобой»,— сказала она. Сердце мое забилося. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежностью.

— Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты заметил?

Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного мне на ум в та-

кие минуты не приходило. И я отвечал: «О, как ты права! Я думаю то же самое!..»

— О, как ты права! — ответил я ей и на этот раз. — Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой. Я тоже заметил.

— Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости, — сказала Наташа.

А я подумал: «Эту мысль она обязательно запишет в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился: ведь болезнь — это плохо, а излечение — всегда хорошо!»

— Он по-прежнему кормит собак? — спросила Наташа.

— Я не следил... Но я это узнаю! Клянусь, я это выясню для тебя! — крикнул я с плохо скрываемым волнением, потому что давно мечтал сделать что-нибудь для нее, выполнить ее задание или просьбу.

— Не надо узнавать, — сказала Наташа. — Может быть, ему сейчас некогда?

— О, конечно! Ведь его даже на общешкольные конференции приглашают!.. — воскликнул я.

И сразу же пожалел, что воскликнул. «Почему она так интересуется Глебом? Женщины любят знаменитостей. Я где-то читал об этом. Может быть, и она?..» Эта мысль заставила меня похолодеть. Но лишь на мгновение. «Нет, она не такая!.. — сказал я себе. — Просто она патриотка нашего класса. А Глеб принес классу известность, вот она и интересуется». Ревность, которая готова была со страшной силой вспыхнуть в моей груди, уступила место доверию.

Однажды на уроке литературы, когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич сказал:

— Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас всех небольшой сюрприз: он прочтет несколько писем своего дедушки. Они адресованы родным и близким писателя. Эти материалы из семейного архива представляют большую ценность: нам станет ясен круг интересов писателя, мы заглянем в мир его привязанностей, его увлечений.

Глеб, который раньше умирал от смущения, когда его вызывали к доске, на этот раз твердой, уверенной походкой прошел между рядами парт и сел за учительский столик. Святослав Николаевич уступил ему место.

О каждом письме Святослав Николаевич говорил, что оно «очень показательно». Если письмо было длинным, он восклицал:

— Как это показательно! Несмотря на свою занятость, писатель находил время вникать в мельчайшие проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он никогда не отрывался от жизни, которая питала его творчество.

Если же письмо было коротким, напоминало записку, Святослав Николаевич восклицал:

— Как это показательно! Краткость, ни одного лишнего слова... Отсюда мы можем понять, как занят был писатель, как умел дорожить он каждой минутой!

В другой раз, в конце урока литературы, Святослав Николаевич сказал:

— Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.

Глеб опять прошел между рядами своей новой, твердой походкой, опять сел за учительский столик. Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся, что Святослав Николаевич вызовет меня к доске, и поэтому закричал:

— Поду-умай, Глеб! Вспомни что-нибудь!.. Это так интересно. Так важно!

— Вспо-омни! — стали умолять его и другие, которые боялись, что их вызовут отвечать.

— Вот видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе, — сказал Святослав Николаевич.

Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой в магазин.

До звонка оставалось еще минут десять.

— А что вы там покупали? — закричал я. — Это так показательно!

Глеб продолжал воспоминания...

В следующий раз мы с ребятами сами стали просить на уроке литературы:

— Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь. Пусть он расскажет!..

— Возникает живое общение с писательским образом! — сказал Святослав Николаевич.

Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.

Ценность творчества Гл. Бородаева возрастала в наших глазах с каждым часом!..

Глава III,

*в которой мы делаем еще несколько шагов
навстречу страшной истории*

Все, о чем вы прочитали в первых двух главах, было моим далеким воспоминанием: это случилось в прошлом году.

А в этом году Святослав Николаевич нас покинул.

Раньше, когда мы делали что-нибудь не так, как ему бы хотелось, Святослав Николаевич предупреждал:

— Я сбегу на пенсию, если вы решительно не изменитесь!

А прощаясь с нами, он был не в силах сдержать волнение. Слезы душили его и чуть было не задушили совсем.

Миронова подняла руку и спросила:

— Вам плохо?

— Нет, мне хорошо! — ответил Святослав Николаевич. — Хорошо оттого, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда... Никогда! Говорят, первая любовь — самая сильная, а я думаю, что последняя!..

Мы были его последней любовью! Чувство законной гордости возникло в наших сердцах.

Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна.

Это было стройное существо лет двадцати пяти. Может быть, об учительнице так говорить нельзя? Но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на перемене по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу десятого или даже девятого класса. Выражение лица у нее было такое, что казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения. За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко: Нинель.

Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской. Увидела огромную фотографию и спросила:

— А кто это такой, Гл. Бородаев?

Мы просто похолодели и приросли к своим партам. Только Миронова не растерялась. Она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила:

— Бородаев — наш знатный земляк. Он творил во второй четверти этого века.

— А что он творил? — спросила Нинель Федоровна.

— Разные произведения, — ответила Миронова. — У нас есть литературный кружок его имени.

— Имени Бородаева? — Нинель Федоровна рассмеялась. Она была из другого города, до которого слава нашего знатного земляка пока еще не докатилась.

Миронова подняла руку и объяснила:

— У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка.

— Почетный? Зачем такой громкий титул?

Нинель Федоровна заглянула в журнал.

— Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, — она указала на стенд, — тогда я возьму все эти книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.

Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни одна учительница никогда не просила у нас прощения. А во-вторых, она собиралась закрыть «Уголок Бородаева»...

Мне стало тоскливо: «Неужели старшеклассники не будут больше забегать к нам? И никто больше не скажет: «В этом классе умеют читать... В этом классе любят литературу!» Мы станем самым обыкновенным классом. Как все... Неужели?»

Другие ребята тоже затосковали. Я чувствовал это: все словно замерли, даже тетрадки не шелестели.

Миронова снова подняла руку.

— А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка...

Она очень хотела помочь новой учительнице поскорей во всем разобраться.

— В какой четверти нашего века творил Бородаев? — переспросила Нинель Федоровна.

Миронова взметнула вверх руку и выпалила:

— Во второй!

Она любила подсказывать учителям.

— А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века, — предложила Нинель Федоровна. — С Пушкина, например... Потом пойдем дальше... И так постепенно доберемся до Бородаева.

— У нашего кружка творческая направленность,— сказал Покойник.— Мы сами сочиняем.

— Я тоже пишу стихи,— сообщила Нинель Федоровна.— Когда-нибудь вам почитаю. Если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем. Играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать интересно! Это я по себе знаю. Помню...

Она начинала мне нравиться. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что и другие ребята ожили: они задвигались, зашевелились.

— В этом городе,— сказала она,— у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы будете... Если получится...

Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выскакивали из класса. А тут стали медленно подниматься, будто отяжелели от разных дум и сомнений.

Я подошел к Нинель Федоровне и сказал:

— Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи»... Потрясающий детектив! Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу. Походить по местам событий... Это недалеко: всего час, если на электричке.

— Он писал детективы? — шепотом спросила Нинель Федоровна. И кивнула на фотографию Бородаева.

— А вы любите их? — воскликнул я с плохо скрываемым волнением.

— Все любят. Только некоторые не признаются.

«У нас полное родство душ! — подумал я.— Она угадывает мои мысли!..»

Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял Принц Датский.

Нинель Федоровна подошла к ним. И я подошел.

— Мы решили поехать на старую дачу,— сказала она.— В одно из ближайших воскресений. Пока еще осень... Ты, Глеб, будешь нашим проводником?

— Я, пожалуйста... Если, конечно, вы... А я с удовольствием...— Он опять перестал договаривать фразы.

Когда Нинель Федоровна отошла, Принц Датский пообещал Глебу:

— Я напишу к этому дню стихотворение! Может, тебе будет приятно?..

И погладил Глеба по голове. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что физическая сила сочеталась в Принце с детской застенчивостью и добротой.

В коридоре меня остановила Наташа Кулагина. Это случилось так редко, что я буквально затрепетал.

— На твоём месте я бы в неё влюбилась,— сказала Наташа. И так пристально посмотрела, что внезапная догадка озарила меня: «Испытывает! Ревнует!..»

О, как часто мы выдаём желаемое за действительное!

— Влюбиться? — громко переспросил я.— Ну, что ты? Какие для этого основания?..

— Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна!

«Неужели и правда хочет, чтоб я влюбился? Неужели ей все равно?» С этой тягостной мыслью я слонялся по коридору всю перемену.

Примерно через неделю Нинель Федоровна сказала:

— Я готовлюсь к теннисным соревнованиям. На первенство города... Кто хочет, может прийти на тренировку. Я вас там встречу, на стадионе. Правда, это на краю города. Но вы доберётесь: троллейбус, потом трамвай. Знаете?

Приехали почти все. Она бегала по корту в белой майке и в белых трусах.

Не многие классные руководители решились бы бегать перед своими учениками в таком виде. А она решилась. Потому что она была молода и прелестна!

Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали: «Нинель Федоровна! Нинель Федоровна!..»

— Никогда ещё не слышал, чтобы болельщики называли своих кумиров по имени-отчеству,— сказал пожилой человек в шляпе, который сидел впереди меня.

Через несколько дней созвали родительское собрание. Мама и папа были в тот вечер заняты. Пошел мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил на такие собрания.

Я не ложился спать, пока не дождался Костю: он всегда подробно пересказывал мне, что говорили родители, а что учителя. Это было так интересно!

Когда Костя вернулся, мама с папой были уже дома.

— Ну, что?! — набросился я на брата.

— Защищал вашу Нинель!

— На неё нападали?

— Ещё как!

— Кто посмел?

— Ваши родители... Не все, конечно. Но некоторые.

— Что они говорили?

— Во-первых, она отобрала у вашего класса его лицо, его индивидуальность. Во-вторых...

— Во-вторых, ему давно уже пора спать! — сказал папа. Он считал, что нельзя в моем присутствии подрывать авторитет взрослых, особенно же учителей.

Костя махнул рукой.

— В общем, я ее защищал.

— Она ведь тебе понравилась? — спросил папа, тоном своим как бы подсказывая брату ответ. — Ведь понравилась?

— Да, очень хорошенькая! — ответил Костя.

Острая наблюдательность давно подсказала мне, что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них болит: кто за голову, кто за сердце. Папа схватился за бок.

— А что тут... такого? — спросил Костя. И пошел спать.

Глава IV,

в которой мы отправляемся на старую дачу

На следующий день опытный глаз мог бы почти безошибочно определить: никто в классе, кроме меня, не знал о том, что на собрании ругали Нинель.

«Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а братья, — думал я. — Если бы папа не остановил Костю, я узнал бы все до конца!»

Утром я поймал брата в ванной.

— Скажи, за что они набросились на нее?

— Пожалуй, старик прав: ты разболтаешь об этом в классе. А она такая хорошенькая! Хорошая, я хотел сказать...

— Никто не узнает! Никто!

— Знаю тебя!

Костя полез под душ...

Перед уроками ко мне подошла Наташа Кулагина. «На этой неделе она подходит уже третий раз! — подумал

я с плохо скрываемой радостью.— Это, значит, уже не случайность!..»

О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!

— Мама вчера не была на собрании,— сказала Наташа.— Интересно узнать, о чем там говорили.

Ее желание было для меня законом! И я сказал:

— Там ругали Нинель.

— Кто ругал?

— Родители. Не все, конечно. Но некоторые...

Губы ее задрожали. Наташа сказала громко и возмущенно:

— А другие молчали?

— Мой брат не молчал! Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится.

— Значит, у него вкус лучше, чем у тебя.

О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус!

— Мама больна...— сказала Наташа.— Она бы сумела им объяснить.

— Чем больна твоя мать?! — воскликнул я.— Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно только слово, и я сделаю все.

Наташа взглянула на меня с испугом. И даже отступила на шаг.

— Ты сам-то здоров?

— О, не смейся! — воскликнул я с плохо скрываемой горечью и обидой.— Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает...

— Маме прописано только одно лекарство: не волноваться, полный покой! Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают.

Я подумал, что эту мысль она непременно должна записать в тетрадку!

«Какой наша Нинель сегодня придет в класс? — размышлял я.— Наверно, никому уже не будет казаться, что она вот-вот расхохочется. Она будет взволнована. Что нам тогда делать? Успокаивать ее? Нет, нельзя. А может быть, она будет так спокойна, как никогда!..»

Нинель Федоровна была абсолютно такой же, как раньше.

— Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-нибудь после...— сказала она.— Может быть, в чем-то я была

неправа. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.

«Мы поедем на старую дачу! Походим по комнатам, которые описаны в повести... Я увижу стол, за которым работал Гл. Бородаев. Это так интересно,— ведь мы с ним, можно сказать, коллеги!» — так я мысленно ликовал, не подозревая в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко, почти рядом...

«Уголка Бородаева» в нашем классе уже не было. На стенде, который притащил Принц Датский, была устроена выставка, посвященная Пушкину; мы как раз проходили его стихи. Верней, изучали... Нинель говорит, что «проходить» можно только мимо чего-нибудь.

Глеб принес мне из дому повесть Гл. Бородаева. И я прочитал ее еще раз. А полстраницы прямо-таки выучил наизусть:

«Никто не знал его имени, ни тем более отчества и фамилии. Все звали его просто Дачником. Это прозвище как нельзя лучше соответствовало его положению в ту зиму: он снял угловую комнату на втором этаже старой дачи, выходившую единственным окном своим прямо в сад. Дачник почти никогда не покидал эту комнату.

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью! Сперва она явно заигрывала с Дачником: кокетничала ослепительными лучами, забиралась к нему в комнату студеным ветром, постукивала по стеклу обнаженными ветками... Но он не обращал на нее внимания, и она обозлилась: задула, засвистела, заулюлюкала. Обозлились и соседи по даче: он не пытался развлечь их разговором в монотонные зимние дни. Никто не видел, что он ест, что он пьет. Перед сном он прогуливался минут пятнадцать, не более. Последний раз в жизни он прогулялся в канун Нового года. Слышали, как в полночь он поднялся в комнату по ворчливо-скрипучей лестнице. А утром его не стало...

Дверь, выходившая прямо на лестницу, была заперта изнутри. Окно, выходившее прямо в сад, было закрыто. На снегу — никаких следов. Дачник исчез».

Так начиналась повесть. Потом, как я уже говорил, на протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц Дачника искали следователи, собаки и родственники, которых у него оказалось ужасно много. От них-то он, как

выяснилось, и скрывался на даче: они мешали ему что-то изобрести... «Он искал покоя,— было сказано в повести,— но не того, который нашел. Хотя... До сих пор ничего не известно... Поиски продолжаются...»

— Дедушка хотел дальше... Продолжение... Но он... Понимаешь? — объяснил мне Глеб.

И вот мы должны были отправиться на место загадочного происшествия! Да, все, о чем рассказывалось в повести, оказывается, не было вымыслом, а случилось на самом деле. Об этом сообщил мне в то самое воскресное утро внук писателя. Он скрывал это раньше: думал, что мы побоимся ехать прямо на место совершенного преступления.

— Ты-то, я знал, что нет... — сказал Глеб. — Ты Детектив! А другие?..

— Другим — ни слова! — сказал я.

Потом Глеб сообщил мне еще одну новость, и она повергла меня во временное смятение: Нинель Федоровна заболела.

— Ясно: нервное потрясение, — сказал я. — Довели!

— Не-ет, — стал объяснять Глеб. — Ей комнату в новом доме... Переезжала... И вот! Простуда...

Мы разговаривали в школьной канцелярии, где все члены литературного кружка договорились собраться.

— С остальными я поеду за город в другой раз: зимою, на лыжах, — пообещала накануне Нинель. — Всем сразу на дачу являться неловко: все-таки там не музей. Там же люди живут...

Я пришел минут за тридцать до срока: мне не терпелось. А Глеб еще раньше.

— Дежурная передала... Еще вчера вечером... Я заходил... — пояснил Глеб. — Нинель Федоровна ей... По телефону...

— А почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному?

— Боялся, что вы того... Не поедете... Может, мы сами? Без нее? А?.. Как ты считаешь? Или нет?.. Там можно до-расследовать... Раскрыть... Понимаешь? Ты ведь у нас Детектив!

Я погрузился в раздумье. И в этом состоянии находился довольно долго. До тех пор, пока не показались Наташа Кулагина, Принц Датский с Покойником и Миронова.

Принц Датский прямо с порога сообщил:

— Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?

Он протянул тетрадный лист Покойнику. Принц никогда не читал своих стихов сам: он стеснялся. Покойник громко, нараспев, подражая настоящим поэтам, продекламировал:

Этот день для нас так много значит:
Мы давно стремились к старой даче!
И хотя закрыли тучи небо,
Едем мы под руководством Глеба!
Сквозь дождя и ветра кутерьму
Он везет нас к деду своему!..

Добрый Принц учел, что уже давно никто не просил Глеба вспоминать истории из жизни его дедушки, читать письма. Давно уже никто не разглядывал фотографии из семейного архива Бородаевых. Прослушав стихи, Глеб как-то приосанился, лицо его просветлело.

Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Глеб вспомнил о тех днях, когда им интересовалась вся школа.

Добрый Принц призвал его руководить нами, и Глеб сразу заговорил громче и уверенней, чем обычно.

— Неизвестно, поедем ли мы,— сказал он.— Нинель Федоровна заболела.

— Чем? — спросила Наташа Кулагина.

— Переезжала в новый дом... И вот... Простудилась,— пояснил Глеб.

— Может быть, надо помочь?

— «Где эта улица? Где этот дом?..» — лениво пропел Покойник.

— Адрес?.. Его, наверно, никто...— сказал Глеб. И твердо добавил: — ...не знает!

Он старался дотягивать фразы до конца: ведь Принц назвал его нашим руководителем.

— Поедем на дачу сами! — твердо сказал я, обращаясь сразу ко всем.

Пока не было Наташи Кулагиной, меня полчаса терзали сомнения. Но как только она появилась, решимость немедленно овладела мною: «Не ехать нельзя! Когда я еще смогу быть целый день рядом с нею? Сама судьба букваль-

но подсовывает мне этот счастливый случай! Смею ли я отказаться? А вдруг я в ее присутствии и правда что-нибудь дорасследую, распутаю что-нибудь такое, чего недораспутали следователи и родственники? Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка для обуви, а по более серьезным причинам. И наконец-то оценит...»

— Люблю грозу в начале мая! — сказал Покойник. — Но в двадцатых числах сентября...

Вялым жестом он указал на окно.

— И еще неизвестно, как Нинель Федоровна отнесется, — сказала Миронова. — Она хотела сама лично погулять с нами по лесу. Подышать!

— Нас там очень... Я вчера вечером по телефону, по междугородному... — сказал Глеб. И решительно дотянул: — ...предупредил, что мы сегодня приедем.

— Да-а, ехать или не ехать — вот в чем вопрос! — воскликнул Принц Датский.

Тут раздался телефонный звонок.

Глеб все еще чувствовал себя нашим руководителем и поэтому схватил трубку.

— Да! Кто? Это вы, Нинель Федоровна?.. — Нежная, бархатная кожа его лица покрылась румянцем. — Да... Мы все... Вот не знаем, ехать ли... — И он решительно дотянул: — ...или без вас не ездить?

Внезапно глаза Глеба вспыхнули немислимой радостью. Острая наблюдательность подсказала мне, что Нинель говорит ему что-то приятное.

— Ага, понимаю... Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете... Передать трубку Алику?

Я выхватил трубку. Она была слегка сыроватой — так Глеб волновался.

— Слушаю вас, Нинель Федоровна! Ах, ангина? Ладно, я помогу Глебу. Обещаю вам! Спасибо, что доверяете!

Мне хотелось, чтобы Наташа Кулагина по ответам моим поняла: Нинель Федоровна именно меня попросила помочь Глебу, именно мне сказала, что доверяет. Чувство законной гордости переполнило мое сердце.

— Какая у вас температура? — крикнул я весело: у меня было отличное настроение. Но сразу же спохватился и с тревогой добавил: — Надёюсь, что невысокая?

— Тридцать восемь и пять, — сказала она. И повесила трубку.

— Мы должны оправдать доверие,— сказал Глеб четко и громко.

— Да? Ты считаешь? — промямлил Покойник.

— Теперь уже надо ехать,— сказала Миронова.— Раз она сама позвонила!..

— Слушайте все внимательно! — скомандовал Глеб.— Электричка уходит в девять пятнадцать. Все за мной, чтобы не потеряться. Не отставайте! Куда я, туда вы!..

— Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости,— прошептал я Наташе уже в вестибюле.— Верная мысль! Глеб опять излечился...

— Очень жалко,— сказала Наташа.

Мы вышли на улицу.

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью...

Погода была отличная! Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и хлюпала под ногами... «Это создаст нужное настроение,— думал я.— Ведь мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления!»

— Пушкин любил осень,— сказал промокший Покойник.— Спрашивается: за что?..

Глава V,

*которая подводит нас буквально к самому порогу
страшной истории*

Пока мы ехали на электричке, погода испортилась. Выглянуло солнце. Природа явно заигрывала с нами: она кокетничала осенними лучами, забиралась к нам под пальто прохладным ветерком, махала нам обнаженными ветками... Разве можно в такую погоду как следует настроиться на мысль о преступлении?!

Но я все же настроился... Накануне я услышал по радио, что, оказывается, когда композитор Бородин умер, его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь».

Это было для меня абсолютным открытием! Оно натолкнуло меня на идею. И даже на несколько идей сразу... Может быть, мне удастся закончить повесть Гл. Бородаева? Вдруг я сумею разгадать тайну, куда девался тот человек? И напишу вторую часть «Старой дачи». Я прочту ее на ли-

тературном кружке. И Наташа Кулагина запишет в свою тетрадку какую-нибудь замечательную новую мысль. «Конечно, его нельзя сравнить ни с Покойником,— напишет она,— ни даже с Принцем. И вообще ни с кем!..» Я не знал, не мог даже предположить, что в тот день, в то самое обычное воскресенье... Но не буду забегать вперед, хотя мне очень хочется забежать. Бледный Покойник ожил под солнечными лучами и произнес:

— «Да здравствует солнце!» — сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен.

Когда мы сошли с поезда на дощатую платформу маленькой дачной станции, Наташа стала оглядываться.

— Кого ты ищешь? — спросил я с тревогой.

— Вон расписание... Я должна вернуться к шести или семи часам. Не позднее! Чтобы мама не волновалась.

— Она все еще не встает?

— Нет,— сказала Наташа.— Сердце...

Я бросился к расписанию. Мне казалось, что кто-то хочет меня обогнать. Так всегда бывает, всегда: если какое-нибудь существо становится небезразличным, думаешь, что оно нравится всем вокруг и все испытывают те же чувства, что ты. Эта мысль не дает покоя!

— Есть электричка в семнадцать ноль-ноль! — доложил я.— А потом в двадцать десять.

— Нам надо в семнадцать! Мы успеем?

«Н а м... м ы...» Я готов был слушать эти слова бесконечно!

— Идемте! — скомандовал Глеб.

От станции шли минут сорок, не более. Но и не менее, потому что я следил по часам. Специально взял у Кости часы, будто заранее знал, что они в тот день... Нет, забегать я не буду. Не буду!

— За мной! За мной! — командовал Глеб. Ему нравилось быть начальником.— Только не отставать!

Я его просто не узнавал.

Судьбе было угодно, чтобы дорога к даче была очень запутанной. Это мне нравилось: мы двигались, словно по лабиринту,— то сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес... Казалось, удирая от кого-то, мы старались запутать следы.

Я подумал, что без Глеба нам ни за что не добратся обратно на станцию.

— За мной! За мной!.. — поторапливал Глеб. И вновь куда-то сворачивал.

Наконец он остановился. И мы тоже.

— Пришли! — сказал Глеб.

Я взглянул — и увидел ее. Она выходила одной стороной прямо на дорогу, а другой — прямо в лес. Меня сразу поразило то, что старая дача вовсе не была... старой.

— Ее покрасили, что ли? — спросил я у Глеба.

— Нет, она всегда такая была.

— «Тайна старой дачи» — это звучит? — спросил у меня Покойник.

— Звучит.

— А «Тайна новой дачи»?

— Не очень.

— Теперь понял? Знаешь, что такое авторский домysel?

Принц Датский смотрел на Покойника с уважением.

А я лично терпеть не мог, когда Покойник начинал изъясняться вопросами, будто устраивал кому-то экзамен.

— Почему не видно доски? — сказал он.

— Какой? — спросил Глеб.

— Мемориальной, конечно! «Здесь жил и умер...»

— А он не здесь...

— Тогда по-другому: «Здесь жил и не умер писатель Гл. Бородаев»!

«Может, Покойник все-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы «Н. К.»? — подумал я. — Чего он вдруг в Наташином присутствии так старается?»

Принц Датский продолжал смотреть на него с уважением.

Я решил немедленно перехватить инициативу.

— Больше я не могу молчать. Вы должны узнать кое-что важное, — сказал я. — То, что написано в повести Гл. Бородаева, — это не авторский домysel. Здесь, на этой вот даче, исчез человек... Как будто его и не было! Мы с вами пойдем не по следам повести, а по следам преступления...

Покойник притих.

— На даче кто-нибудь есть? — спросил я у Глеба.

— Дачники все уехали.

— До одного?.. — прошептал Покойник.

— Ну да, это же видно! — бодро ответил я. — В поселке сейчас ни души. Кричи не кричи, никто не услышит.

— А зачем нам кричать? — спросила Наташа.

— О, не бойся! — воскликнул я. — Конечно, всякое может случиться. Но я... то есть мы тут, рядом. Все-таки исчез человек...

«Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить!» — подумал я в ту минуту.

Миронова подняла руку.

— Нинель Федоровна сказала: «Подышим, погуляем в осеннем лесу!»

Острая наблюдательность подсказала мне, что Миронова не боится: она просто и на расстоянии подчинялась классной руководительнице. Такой у нее был характер.

— Сначала подышим воздухом, которым дышал Гл. Бородаев! — ответил я ей.

— А как мы туда попадем, в эту дачу? — спокойно спросил Принц Датский.

— Дверь открыта, — сказал Глеб. — Я же предупредил, что мы будем. Вчера по междугородной...

— Пошли! — крикнул я. — Не бойтесь!

И первым вошел в дачу.

Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли. Я тоже вздрогнул... Но даже опытный глаз не смог бы этого определить: я вздрогнул внутренне, про себя.

— Это племянник хозяйки, Григорий, — сообщил Глеб почему-то не сразу. — Он сторожит все дачи в поселке. Он ждет нас... И все нам расскажет.

«Та самая лестница! — подумал я. — «Ворчливо-скрипучая», как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел Дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял!..»

Мы стали подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице. Она не скрипела. «Понятно: авторский домysel!» — сказал я себе.

Сверху, из комнаты, стали ясно доноситься слова:

— Вы так?.. А мы вас — бац по загривку! Вы все-таки трепыхаетесь? А мы вас по шее — трах!..

Покойник остановился. За ним и все остальные.

Сверху неслось:

— Ах, вы еще живы? Тогда получите! И еще, и еще, и еще!..

— Что там происходит? — спросил Покойник.

— Может быть, надо помочь? — воскликнул я. Бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх.

Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой в «дурачка». Он «ходил» и за себя и за противника, которого не было.

— Ах, вы еще дышите? Вот вам! Вот вам еще!

Он стал подкидывать королей.

— Сюда! Смелее сюда! — крикнул я, словно взобрался на вершину горы, а остальные были еще где-то на склоне.

Миронова зашагала: она подчинялась командам.

Глеб тоже взбежал наверх. Поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собою Покойника.

Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты.

Это было огромное существо лет двадцати пяти, не более.

— Он вырос на глазах у дедушки, — сказал Глеб.

Я часто стараюсь представить себе взрослых людей детьми, которыми они были когда-то... Григория я почему-то представить себе ребенком не смог. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что почти в каждом человеке на всю жизнь остается что-нибудь детское: или взгляд, или смех, или какой-нибудь жест. У Григория ничего детского не осталось... И я не мог вообразить себе, как Гл. Бородаев таскал его на руках.

Я уже говорил, что прозвища стали у нас в школе «повальным бедствием»: почти никого не называли по имени. Я до того привык к этому, что, знакомясь с каким-нибудь человеком, сразу же мысленно давал ему прозвище. Григория я стал про себя называть Племянником. Очень как-то не подходило к нему это милое семейное слово, вот я его и прозвал: мы часто давали прозвища как бы в насмешку. Низкорослому кричали: «Эй, Паганель!», а длинному: «Пригнись, Лилипутик!»

Племянник поднялся со стула.

Можно было подумать, что ему от рождения досталась не своя голова: она была очень маленькой. И на лице было так мало места, что на нем не умещалось ничего, кроме усмешки. Усмехался Племянник все время.

— Ну, чего вам показывать?

— Нам все интересно! — сказала Миронова.

— В этой комнате тот самый чудаки жил, который пропал. Залез сюда под Новый год — и баста. Провалился, как будто мать родная не родила. Соображаете?

Миронова сразу стала записывать. Она на всяких докладах, лекциях или творческих встречах записывала буквально каждое слово. Скажет докладчик: «Здравствуйте!» — она начинает писать. Скажет он: «До свидания!» — она тоже запишет и захлопнет тетрадь.

«Туго, как струны, натянутые провода чуть не касались окна его комнаты...» — вспомнил я строки из повести. Провода в самом деле «чуть не касались». Тут не было домысла.

«Пора уже наконец по-настоящему оправдать свое прозвище!» — решил я. И произнес:

— Мне помнится, в повести сказано: «В полночь на даче потух свет. Утонул во тьме и весь дачный поселок...»

— Слушай, парнек, ты не выскакивай!.. — Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. В слове «парнек» он почему-то пропустил первое «е».

Я очень любил, чтобы на меня при Наташе Кулагиной поглядывали девчонки и чтобы она это замечала. Я был счастлив, если при ней ко мне обращались за помощью, просили что-нибудь объяснить: задачку или там теорему... Но когда при ней ко мне относились пренебрежительно, я ужасно страдал.

— Понимаете, — стал я объяснять сразу всем, — напрашивается такая догадка: раз электричества не было, Дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода (они были в тот миг безопасны!) потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, а потом спуститься на землю. И навсегда скрыться от родственников! Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза... То есть предположение.

— Окно было заперто изнутри, — сказал Глеб.

— Тогда гипотеза отпадает!

— Если ты, парнек... — угрожающе начал Племянник.

Слово «парнек» он упорно сокращал на одно «е», и слово звучало пренебрежительно: Сердце мое сжалось от боли: ведь рядом была Наташа.

— Гипотеза отпадает! — громко повторил я, трепеща

всем телом при мысли о том, что он совсем уж унизит меня при ней. И я не смогу потребовать удовлетворения: все-таки он был в два раза длинней меня.

Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Но все-таки оскорбительные слова не слетели с его насмешливых губ.

Мы спустились по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Мы тоже вошли. Комната переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.

— Хороший был писатель, — сказал Племянник. — Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель!

— В этой комнате он создавал «Старую дачу»? — спросил я.

— Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать...

— Понятно! Понятно! — перебил я. — Я нарушаю ваш план? Это, поверьте, от нетерпения!

Опять он не успел унизить меня при ней.

— Писатель здесь не писал, — сообщил нам Племянник. — Он про Дачника в подвале писал. В подземелье...

Миронова продолжала записывать.

— Здесь есть подземелье? — шепотом спросил я.

— Он утром залезет туда — и баста. До обеда не видно, будто мать родная не родила... Соображаете?

— Философ Диоген сочинял в бочке, — лениво изрек Покойник. — А этот, значит, в подвале?

— Он там страху на себя нагонял, — объяснил нам Племянник. — Там сыро, темно...

— Понимаю: входил в настроение! — продолжал выхваляться Покойник.

Племянник Григорий почему-то не крикнул ему: «Слушай, парнек!..» — а рассказывал дальше:

— Я там бумажки какие-то нашел, листочки... Хотел выбросить, а тетка говорит: «Снеси-ка в музей!» Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции.

— Видимо, краеведческий, — высказал предположение Покойник.

Племянник и тут не цыкнул на него, а спокойно сказал:

— Ага, этот самый. Мне благодарность выдали! Бумажки эти под стеклом разложили и написали: «Найдены и

доставлены Григорием Шавкиным». Теперь все читают. Экскурсантам про меня рассказывают... Соображаете?

— Еще бы: рукописи, черновики! — снова вмешался Покойник.

— Они самые! — согласился Племянник.

Я давно заметил, что личности вроде Племянника обычно выбирают одного какого-нибудь человека и начинают к нему придирааться: «Ну, чего смотришь? Чего уставился? Чего тут стоишь? Чего тут сидишь?» Хотя все остальные тоже смотрят, тоже стоят и тоже сидят. Но типы вроде Племянника выбирают кого-нибудь одного и, как правило, самого симпатичного, самого интеллигентного человека. Племянник выбрал меня...

— Слушай, парнек, чего в пол уставился? Слушать не хочешь?

— Он, вероятно, задумался, — сказал Покойник.

Все посмотрели на него с благодарностью: он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо!

— Скорее туда! — крикнул я. — В подzemелье!.. К рабочему месту писателя!

— Если не дрейфите, то айда! — сказал Племянник.

Это мое предложение его почему-то не разозлило. Позже я узнал почему. Но в ту минуту... В ту минуту догадка не захотела меня озарить, хотя вообще она делала это очень охотно.

Бледный Покойник топтался на месте.

— Боишься? — спросил я шепотом, но так, чтоб услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза!

Мы стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога: может быть, это была сырость, а может быть, даже плесень... Радостное волнение охватило меня: по таким вот ступеням спускались в подzemелья настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться!..

«О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность! — мечтал я. — Наташа бы в страхе бросилась не к Покойнику, а ко мне, и я бы нашел выход из положения. Я спас бы ее! Но, к несчастью... Раз туда каждый день залезал Гл. Бородаев, значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей...»

— Эй, парнек, опять ты того... поперед баьтки в подвал лезешь! Я свет зажгу.

Он повернул выключатель. И сквозь приоткрытую дверь,

обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Гл. Бородаева свет всегда «выползал» из приоткрытых дверей или «мрачно выхватывал» что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он «уползал» обратно. Это я хорошо помнил.

Племянник с трудом открыл дверь до конца. Она визжала на плохо смазанных петлях. В повести у Гл. Бородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помнил.

Итак, все было прекрасно, как в самых настоящих детективных произведениях!

— Валяйте! — сказал Племянник.

Миронова опередила всех: она любила выполнять приказания. Племянник пропустил нас в подвал. Последним вошел Покойник... На меня приятно пахло гнилью и плесенью. Я вдыхал полной грудью!

Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу — это Племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как мне показалось, захлопнулась навсегда!..

Глава VI,

*из которой становится ясно,
что мне ничего не ясно*

Невольный страх овладел мною. Но лишь на мгновение. А уже в следующую секунду я отбросил его. Верней сказать, отшвырнул.

Тем более, что Наташа сделала шаг по направлению ко мне. Совсем незаметный шаг, но я-то его заметил. Точнее сказать, почувствовал. Вообще, когда есть существо, которое тебе нравится, следишь только за ним и говоришь для него, хотя делаешь вид, что для всех. И наблюдаешь, как оно на все реагирует. И подсчитываешь, сколько раз это существо на тебя посмотрело. Тот, кто любил, поймет меня без труда!

«В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной! — решил я. — Хочет, чтоб я берег ее, заслонил собой!»

О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!..

— Я должна уехать электричкой, которая в семнадцать ноль-ноль,— сказала Наташа.

«Должна уехать...» Даже не сказала, что «мы должны».

«Волнуется за свою маму»,— подумал я. В ту минуту я позавидовал ее маме, хоть у нее было очень больное сердце, а у меня сердце было абсолютно здоровое, и, если как следует рассудить, ее мама должна была бы завидовать мне. Но я не подчинялся рассудку!

— Племянник Григорий шутит,— сказал я Наташе.— Неужели ты не видишь, что он пошутил?..

— Тогда пусть откроет,— сказала Наташа.

Ее желание было для меня законом! Но для Племянника оно законом не было.

— Откройте, пожалуйста,— попросил я его.

— Это ты, парнек? — слышалось из-за двери.— Опять тебе больше всех надо? Все сидят тихо, будто мать родная не родила... А ты один ерепенишься!

Он тихо и противно засмеялся.

— Откройте сейчас же! — приказал я ему. И посмотрел на Наташу.

Она стояла, опустив голову. Лица ее я не видел, потому что тусклая лампочка, которую зажег Племянник, была где-то далеко, в глубине подzemелья.

— Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? — спросил Племянник.— Вот теперь и узнаешь!

— Что он хочет сказать? — Я толкнул Глеба в плечо.

— Не знаю,— ответил Глеб.

И вдруг мы услышали за дверью шаги: Племянник поднимался вверх. Он уходил, оставляя нас в подzemелье.

Страшная история началась!

— Остановитесь! — умоляюще воскликнул Покойник. Громкие шаги Племянника были ему ответом.

Я снова схватил за плечо Глеба.

— Верни! Задержи!..

— Разве его удержишь?

— Кричи! — шепотом, чтобы не выдать внутреннего волнения, сказал я Глебу.— Ори на всю дачу!

— Не услышит... Он ведь уже вверх... Там ни слова... Дверь-то железная... Кричи не кричи...

— А ключа у тебя нет?

— Ни у кого... Потеряли... Английский замок: дверь

захлопывается — и все... Открывается с той стороны... Он ведь и на щеколду...

— Погребены? — тихо спросил Покойник. — Заживо?

Я вспомнил про Аиду и Радамеса, которых замуровали живьем. И снова взглянул на Наташу. Как мне хотелось, чтобы и она мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой! Но она думала только об электричке. Это мне было ясно. Да и можно ли было сравнивать? Ведь Аиду и Радамеса замуровали вдвоем, а нас было целых шесть человек.

— О, не печалься! — сказал я Наташе. — Я выведу вас отсюда. Вы снова увидите солнце!

Она взглянула на меня с легким испугом. И тогда я добавил:

— Все будет в порядке!

Мне так хотелось, чтоб опасность сблизила нас. Но Наташа никак не сближалась: она думала об электричке.

— Я должна быть дома не позже шести.

— И будешь!

Я огляделся...

Тусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол, который раньше, в дни своей молодости, я думаю, назывался садовым и стоял где-нибудь в беседке. У стола было три ноги, и он угрюмо кренился на ту сторону, где когда-то была четвертая. Лампочка выхватила из темноты и таинственный стул, у которого тоже было всего три ноги, чтобы столу было не так уж обидно. Непонятная, жестокая сила зло разбросала по земле странные ящики... К одной из стен загадочно прислонился кусок фанеры, с которого на нас всех угрожающе глядели одни лишь зловещие слова: «Опасно! Не подходить!» А чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости.

Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась ее, и на пальто остался черный след краски, которая, видно, никогда не высыхала в этой могильной сырости.

— Осторожно! Не подходите! — крикнул Глеб.

Все вздрогнули и подавленно замолчали. Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что настроение у всех было ужасное. Я для вида пошептался с Глебом и громко, весело объявил:

— Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит: сначала запрет, а потом отопрет.

— И через сколько же времени он отпирает? — спросил Покойник.

— Через час. Максимум через два! — бодро сообщил я. — А пока давайте осмотрим окрестности. Познакомимся с достопримечательностями этого подземелья... Чтобы потом, когда мы выйдем наверх, было что рассказать!

— А мы выйдем? — спросил Покойник.

— Конечно! Когда мы увидим родных и близких, они спросят нас...

— А мы их увидим?

Лампочка все время выхватывала из темноты лицо Наташи Кулагиной. Вернее сказать, я то и дело смотрел на Наташу.

— Кого ты больше всех любишь? — внезапно спросила она.

«Тебя!» — хотел я ответить. Но она бы мне не поверила, потому что это была неправда. Больше всех я все-таки любил маму и папу. Потом Костю... А потом уж ее.

Не мог же я это сказать!

— Кого ты больше всех любишь? — повторила она.

— Вообще... или у нас в классе?

— Скажи еще: в нашем звене!

— А ты кого?

— Маму.

— Я тоже маму и папу.

— Нет, я не маму и папу, а именно — маму. Я могу за нее умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть?

«Могу! За тебя!» — рвался вперед мой язык. Но что-то ему мешало.

— Можешь? За маму?..

— Я как-то не думал...

— И правильно делал: нельзя умирать раньше своих матерей. Это слишком жестоко.

— Эту мысль ты должна записать!

— Какая же это мысль! Это истина. Вот и все... Поэтому я должна уехать на электричке в семнадцать ноль-ноль!

— Так и будет! Я тебе обещаю!..

Но как я выведу ее из подвала — это было неясно. «О, если я что-то придумаю! — мечтал я. — Она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь!»

— То, что было еще час назад, кажется сейчас таким замечательным. Даже прекрасным,— сказала Наташа.— Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого. Ты замечал?

— Да! Конечно... Еще бы! Сколько раз! Эту мысль ты обязана записать!..

Наташа почти шептала. Но я улавливал каждое слово, потому что, когда она ко мне обращалась, слух мой становился каким-то особенным. И если бы рядом в такие минуты что-нибудь взрывалось и грохотало, я бы этого не услышал, а услышал бы только ее голос.

«Странное дело,— лезли мне в голову мысли,— маму я люблю больше, но не думаю целый день о том, что люблю ее. А Наташу люблю меньше, но думаю об этом все время. О, как много в нашей жизни необъяснимого!»

Острая наблюдательность подсказала мне, что Наташа разговаривала только со мной. И это вернуло мне силы, которые понемножечку начинали уже уходить. Я снова готов был жить, бороться, искать выход из положения. Верней сказать, из подвала.

Лампочка выхватила из темноты лицо Покойника. Но лучше бы она не выхватывала: бледные губы его дрожали.

Я решил оживить Покойника!

— Снаряжаем спасательную экспедицию,— объявил я.

— Сами себя будем спасать? — пролепетал Покойник.

— Да! И ты вместе со мной пойдешь впереди! Где-то здесь должен быть выход. В крайнем случае мы будем пробиваться сквозь стену. Как в «Графе Монте-Кристо». Ты помнишь, Покойник? Эдмон Дантес и аббат Фариа пробились друг к другу. А ведь это было не на даче, а в замке Иф: там стены покрепче.

— Их обоих кормили. А мы умрем с голоду.

Принц Датский положил руку Покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол, которого не было видно.

— Алик же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или максимум два,— объяснила Мирнова.

Она одна, мне казалось, сохраняла абсолютное спокойствие. Теперь она видела командира во мне, а команды волноваться я не давал: она и не волновалась.

— Конечно, Племянник откроет дверь. Ты права,— сказал я Мироновой.— Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами — вот в чем задача!

Наташа улыбнулась — чуть-чуть, еле-еле, да еще было полутемно, но я заметил ее улыбку. Ну конечно: я говорил, как с трибуны. Но ведь надо было ободрить, у всех поднять дух!

— А может, лучше кричать? — предложил Покойник.— Кто-нибудь да услышит...

— На даче же... И в поселке тоже...— сказал Глеб. Он вдруг снова перестал договаривать фразы.

— Идемте! Вперед! — сказал я. Взял Покойника за руку, и мы двинулись. Мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился.

Мы двинулись по подземелью...

Сверху падали леденящие капли. Ноги то и дело проваливались в коварные углубления. Кромешная тьма окружала нас, как заговорщица. Неверный свет тусклой лампочки остался в неясной, мрачной дали... Ядовитый запах сырости уже не радовал меня, и мне не хотелось дышать полной грудью.

«Читать детективные истории — это совсем не то, что участвовать в них,— рассуждал я.— Я хотел играть во что-нибудь страшное, а тут самый настоящий кошмар обрушился на нас всех. Только я не должен показывать виду, что тоже волнуюсь... Придет ли племянник Григорий? Откроет ли дверь? И зачем он ее закрыл? Зачем?! А что значат его слова: «Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? Вот теперь и узнаешь!»?»

— Покойник!! — крикнул Покойник.

Он весь дрожал. «Наверно, рехнулся,— подумал я.— Нервы не выдержали».

— Протяни... Ты сразу... Как я...— Верхние его зубы не попадали на нижние. И он, как Глеб, не дотягивал фразы до конца.

Я протянул руку и нащупал... скелет. Он стоял в темноте. Ребра и череп... Уже не нарисованные, а самые что ни на есть...

— Назад! — крикнул я.

Мы бросились обратно, к неверному свету тусклой и мрачной лампочки. Но теперь она казалась нам целым солнцем.

Внезапно догадка озарила меня: «Так вот как погиб тот Дачник! Вот куда он исчез!..»

Неужели и нас ждала та же горькая участь?

Глава VII,

*в которой мы снова знакомимся с героями повести,
не все из которых будут героями*

«Итак, судьбе было угодно, чтоб я понял и разгадал страшную тайну старой дачи, но тайна погибнет вместе со мной» — эта мысль заставила меня похолодеть. Но уже в следующую минуту я отогрелся, поняв, что не имею права поддаваться страху ни на мгновение! Рядом была Наташа и остальные... Я должен был их спасти. А пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух!

Никто не узнал о моей догадке. Я остался с нею наедине.

Приятно быть наедине с легкими мыслями. А вот когда приходят тяжелые, хочется, наоборот, не оставаться с ними с глазу на глаз, а с кем-нибудь посоветоваться, поделиться. Но посоветоваться я не мог! Я должен был скрывать правду.

— Никакого скелета не было! Покойнику показалось...

— Как же не было? — промямлил Покойник. — А ребра?

— Галлюцинации! Вот и все.

— Какие же галлюцинации... в темноте?

— Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации? О, как ты наивен! Бывают и слуховые. И, как бы это сказать... осязательные:

— Зачем же ты тогда крикнул «назад»?

— Чтоб твои галлюцинации не передались другим. Дурные примеры, сам знаешь...

— Значит, я что же... сошел с ума?

Губы Покойника задергались. Принц Датский обнял его за плечи.

— Все ненормальные считают себя нормальными, — сказал Принц. — А нормальным часто кажется, что они ненормальные. Так что не беспокойся. Вот послушай: мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?

И он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал:

В этот день,
 когда мы все в подвале
Среди вечной сырости и тьмы,
Мы ни капли духом не упали
И готовы радоваться мы!
Да, пусть даже это подземелье
Нам подарит радость и веселье!..

Принц Датский обвел всех застенчивым взглядом. Но никто не веселился. Никто, кроме меня.

— Замечательно! — воскликнул я. — Ты очень верно отразил наше общее настроение!

Вслед за мной улыбнулась Миронова. Остальные не улыбались.

— Какие же галлюцинации? А ребра?..— продолжал сомневаться Покойник.

Я отвел его в сторону.

— Покойник, будь человеком! С нами женщины. Подумай о них.

— Значит, это тот самый... Дачник?

— Скелет Дачника. Так я думаю. Все, что осталось... Но держи это в тайне. С нами женщины... Найди в себе силы!

— Я поищу...— сказал бледный Покойник.

— Фактически мы с вами находимся в кабинете писателя! — воскликнул я, обращаясь сразу ко всем. — Покойник недавно сообщил нам, что один греческий философ сочинял в бочке. Вы слышали? А Гл. Бородаев творил в подвале! Пока Племянник еще продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя. Возле его, если можно сказать, станка! — Я приподнял бывший садовый столик, потряс им в воздухе и поставил на место. — Покойник, Принц и Миронова пусть что-нибудь сочинят. На тему дня! Они это быстро делают.

Миронова подняла руку и сказала:

— Принц ведь уже...

— Ничего, сочинит еще. Ему недолго! А Глеб вспомнит какую-нибудь историю из жизни дедушки.

У Наташи на руке были часики. Другие ребята, которые носят часы, все время о них помнят, то и дело задирают руку, будто всегда куда-нибудь торопятся. А Наташа взглядывала на свои часики незаметно: просто опускала глаза — и все.

— Электричка — в семнадцать... — сказала она. — Я надеюсь на тебя, Алик!

Она на меня надеялась. Не на Глеба. Не на Принца. Не на Покойника. А на меня! В ту минуту я был благодарен Племяннику, который запер нас в подземелье. Ведь если бы он не запер, я никогда не услышал бы этих слов.

— Их надо отвлечь, — сказал я Наташе. — Пусть они сочиняют и не мешают мне думать. Искать!.. Поверь: я оправдаю твои надежды. Мы успеем на электричку!

Она ничего не ответила.

— Итак, начинаем заседание кружка, — объявил я громко. — Смотрите, у каждого будет свое рабочее место: ровно пять ящиков.

Миронова подняла руку и сказала:

— Но нас шестеро.

— Я не буду садиться. Я буду ходить...

Я читал, что у знаменитых сыщиков были разные привычки, которые помогали им мыслить и распутывать преступления. Один, например, обязательно курил трубку. Это ему помогало. А я должен был непременно ходить взад и вперед. И хотя говорят, что «в ногах правды нет», я докапывался до правды именно на н о г а х.

Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу. А все остальные присели на ящики.

Наташа просто отдыхала. Глеб пригнулся, будто сидел на своей последней парте в среднем ряду и боялся, что его могут вызвать к доске. Миронова сразу же раскрыла тетрадку и стала писать. Я был уверен, что она делает очередную зарисовку. Принц Датский шевелил губами, а длинные руки его двигались как бы в такт словам, которых не было слышно, которые оставались где-то внутри и там же складывались в рифмованные строчки.

Покойник был похож на покойника. Я подошел к нему.

— Все кончено... — сказал он.

— Значит, сбудется твоя мечта!

— Какая?

— Ты ведь давно хотел умереть.

- Пожить бы еще немного... — прошептал он.
- Я буду искать выход из положения. А ты возьми себя в руки. Отвлекись! Сочини стихотворение этой своей В. Э.
- Она не прочтет его...
- Почему? Может, когда-нибудь обнаружат наши скелеты, и рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтет — и вздохнет украдкой...
- Она не вздохнет.
- Почему?
- Потому что ее нету...
- Как нету?
- Так... Не существует. Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни.
- А другая? А. Я.?.. Ее тоже нет?
- Тоже.
- А Б. Ю.?
- И ее...
- Ты что же, брал первые попавшиеся буквы?
- Почему первые попавшиеся? У меня была своя поэтическая система. Свой метод.
- Какой метод? Скажи. Раскрой тайну! Все равно нам немного осталось...
- Поэтому я и скажу. Да, был у меня свой принцип! Я брал первую букву алфавита и последнюю, потом вторую от начала и вторую от конца, третью от начала и третью от конца. Так и получались: «А. Я.», «Б. Ю.», «В. Э.». Понимаешь?
- Ты здорово выучил алфавит! А любви, значит, не было?
- Почему? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвращался к жизни и снова влюблялся!
- В никого?
- О, сколько на свете неожиданного и необъяснимого!
- Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали, не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям?
- Я об этом не слышал.
- И не догадывался?
- Нет, не догадывался.
- Ну, как же ты так? Разве это не ясно?..
- Что?

— А то, что выдуманный образ почти всегда лучше реального.

— Ну уж прости...

— Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей?

Он снова заговорил в своей любимой манере, вопросами, чего я просто не выносил. Он все время недоумевал: как это я не знаю, не слышал, не читал!

— Слушай, Покойник, хоть в этот последний час разговаривай по-человечески,— сказал я с плохо скрываемым раздражением.— Если хочешь, то объясни, а не хочешь...

— Почему бы мне не хотеть?

— Опять ты...

— Пойми, у каждого человека свой стиль разговора. Это его индивидуальность. Разве это...

Я решительно сделал шаг в сторону.

— Не уходи! — Покойник схватил меня за руку.— Я хочу все объяснить тебе... Может быть, ты случайно спасешься — и тогда откроешь тайну моих «посвящений»! Видишь ли, живые люди всегда обладают разными недостатками, слабостями. А вымышленный образ может быть без сучка и задоринки. Так сказать, идеальным! Ему как-то приятнее поклоняться. Как мечте! А люди всегда с недостатками...

— Зато ведь они живые!

— Разве это существенно?

— А разве нет?

Покойник взглянул на меня с жалостью:

— Когда-нибудь ты поймешь. В общем, если ты случайно... Тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникали вопросы. А то станут разыскивать всех этих А. Я. и В. Э., наткнутся на кого-нибудь не того...

— Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид действует на других.

Он изобразил на лице «последнюю улыбку».

— Вот видите, какое у Покойника хорошее настроение! — сказал я.— А у тебя, Принц? Что ты там сочинил?

Я тоски в сыром подвале

Не испытываю, нет!

Здесь, в подвале,

мы узнали,

Как прекрасен яркий свет!

Сердце радостное бьется:
Все в сравненье познается!

Принц Датский виновато развел свои огромные руки в стороны:

— Вот... Пришло на ум. Может, вам будет приятно?

Физическая сила упорно продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью!

Добрый Принц хотел доставить нам радость, но стихи его никому особой радости не доставляли, потому что все уже к ним как-то привыкли. Кажется, первый раз в жизни Принц почувствовал это и, спрятав за спиной свои руки (он всегда не знал, куда их девать), тихо произнес:

— Тогда простите...

— За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение! — воскликнул я с плохо скрываемым сочувствием.

Мое сочувствие не понравилось Принцу. Он вдруг разорвал стихи и выбросил в темноту. В ту самую, которая помогла ему оценить свет!

— Разве это не обычно? — задал свой очередной вопрос Покойник.

— Что? — не понял я.

— То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?

— Но на это всегда были причины, — возразил я. — Их не признавали, не понимали... А мы Принца всегда понимаем. Но ничего... Заседание кружка продолжается!

Миронова подняла руку и сказала:

— Можно мне?

— Конечно. Чем ты нас порадуешь, Миронова? Зарисовкой?

Названия ее зарисовок всегда начинались со слов «мой», «моя» или «мое»: «Мой день», «Мое утро», «Моя сестра», «Моя комната»... Эта зарисовка называлась «Мое воскресенье».

— Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов послушать «Пионерскую зорьку». Но в это воскресенье будильник зазвонил как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как никогда: в ванной комнате было

пусто, все еще спали, никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницу...

«Ее последний завтрак!» — подумал я.
Миронова продолжала:

— *В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Федоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась...*

— Перечитай последнюю фразу! — крикнул я громко, потому что судьбе было угодно, чтоб в эту минуту меня озарила одна догадка.

Миронова перечитала.

— Что такое? — Покойник схватил меня за руку.

— погоди, погоди! Кажется, я начинаю...

— Что?! — с надеждой спросил Принц Датский.

— Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик веревочки... Теперь надо не упустить ее!

— Разве трудно тебе объяснить? — занял Покойник.

— А разве трудно тебе подождать? — подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. — Читай, Миронова. Читай дальше!..

Она аккуратно сообщила нам всем о том, как мы сели на электричку, как сошли с нее, как добрались до дачи, как познакомились с Племянником и как в «11 часов 40 минут по местному времени за нами захлопнулась дверь...».

— Много конкретных, тебе одной известных деталей! — похвалил я Миронову.

Я был благодарен ей за ее удивительное спокойствие (команды волноваться не было, она и не волновалась!). А главное, за ту фразу, которая натолкнула меня... Но не буду забегать вперед. Хотя мне очень хочется забежать.

— Заседание кружка продолжается! — объявил я.

— Разве не лучше нам помолчать? — спросил Покойник. — Я чувствую, что твоя мысль заработала. Мы помолчим, чтоб не мешать...

— В самом деле, Алик! Так, наверное, будет лучше,— сказала Наташа.

Значит, она продолжала надеяться на меня! Я снова похолодел, но уже от радости. «Теперь я должен уцепиться за тот кончик веревочки, который, кажется, у меня в руках!» — так я решил.

— О, не бойтесь испугнуть мою мысль! Все эти детали, воспоминания питают ее и укрепляют... Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки. Как это бывало раньше...

— Вот здесь, значит, дедушка... «Тайну старой дачи»... — растерянно начал Глеб. Он снова не дотягивал фразы. — В этом подвале... Там вот, на крышке стола...

Он отделил круглую крышку от ножек садового столика, переплетенных соломой.

На обратной стороне, внутри черной рамки, было что-то написано. Глеб прочитал: «Здесь в течение одного года трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи».

— Мемориальная крышка,— сказал Покойник.

— Так, так, так... — произнес я задумчиво.

Все сразу притихли.

Наташа Кулагина, которая стояла сзади, посмотрела на меня с надеждой. Я чувствовал ее взгляд затылком и сердцем. Он обжигал меня!

— Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение? — спросил я Глеба. — Не торопись, сначала подумай...

— Да... входил.

— Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий? Подумай хорошенько, не торопись.

— Да... нагонял.

— Оставайтесь на своих местах! — скомандовал я.

И храбро бросился в темноту...

Глава VIII,

в которой я наконец... впрочем, сами поймете!

Я крепко обнял скелет. И потащил его сквозь густую, непроглядную тьму к слабому, неверному свету лампочки.

Идти было недалеко. Но ведь длинный путь может по-

казаться коротким и легким, а короткий, наоборот, длинным и тяжким. Все зависит от того, какая у тебя ноша. Если нет ничего, кроме веселых, радостных мыслей, тогда легко, а если в руках скелет...

О, сколько неожиданных и глубоких мыслей посетило меня в тот день! Некоторые из них, я думаю, были даже достойны того, чтобы попасть в тетрадку Наташи Кулагиной. «Может, когда-нибудь ее общая тетрадка станет действительно общей (ее и моею!), — мечтал я. — И мы будем поочередно записывать в нее свои глубокие мысли. А потом будем читать... Не вслух, а каждый отдельно, про себя. И все будем знать друг о друге! Хотя совсем уж все знать, конечно, не обязательно, а вот самые заветные думы, которые касаются... чего касаются? «Движение души!» Эти последние слова я вычитал недавно в книге. Они мне очень понравились: «движение души!». Оказывается, душа может двигаться. Раньше я этого не предполагал.

«О, если б я знал, в каком направлении движется ее душа, я бы обязательно повернул и свою в ту же сторону. И наши души столкнулись бы... Вернее сказать, встретились. Или соприкоснулись!» — так мечтал я, прижимаясь к скелету.

Он чем-то колол мне руку. А чем именно, я не мог разобратить во мраке.

«Когда-то это был человек! — думал я. — Он ходил в костюме, думал, удирали с уроков, сдавал экзамены... Может быть, даже любил. Как я! Неужели когда-нибудь...»

Внезапно передо мной выросло что-то большое и темное. Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь ребра, как сквозь планки забора.

— Кто это? — спросил я еле слышно: язык плохо слушался.

Мне ответил Принц Датский:

— Алик! Как хорошо! Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один...

— Мы вдвоем со скелетом! (Его добрый голос вернул мне дар речи.) Что-то здесь колется... Помоги! Но осторожно: не поломай ему ребра.

Через минуту я уже объяснял Наташе Кулагиной, хотя не глядел на нее и делал вид, что говорю для всех остальных:

— Это не Дачник! Логический анализ убедил меня в

том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Гл. Бородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы... Чтобы мы дошли вот до этого состояния!

Я указал на скелет.

— Откуда такая уверенность? — спросил Покойник.

Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Покойник очень боялся смерти. Нет, он не хотел унижить меня. Он хотел, чтобы я его убедил, успокоил. Когда на тебя надеются, ждут от тебя защиты, успокоения, это очень приятно. Но и трудно!

Сколько неожиданных наблюдений и выводов посетило меня в том подвале!

— Почему ты уверен, что это не Дачник? — снова спросил Покойник.

И все ждали, чтоб я ответил на его вопрос.

— Откуда уверенность? Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых...

Тут я увидел то, что в темноте кололо мне руку.

— Смотрите! Смотрите! Видите? Бирка с номером! И вот еще металлическая пластинка. Тут что-то написано...

Я приблизил планку к глазам и прочел вслух:

— *Любимому писателю в благодарность за выступление. От биологического кабинета подшефной школы...* Это подарок! — воскликнул я. — Он шефствовал, выступал — и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета... И вот поделились с писателем! Ведь ему это было нужно для вдохновения. Теперь убедились? Не мог же Дачник жить с биркой и планкой внутри! Да еще с проволокой, которой они прикручены!

Все смотрели на меня с благодарностью. Так мне казалось... А может быть, даже с обожанием. В полутьме это трудно было определить.

Я тоже радовался, как ребенок!

Еще недавно я мечтал раскрыть «тайну старой дачи», а теперь был счастлив оттого, что неверно раскрыл ее, что ошибся, что скелет принадлежал вовсе не Дачнику, а биологическому кабинету подшефной школы.

О, как часто жизнь меняет наши планы и настроения!

— Что значит иметь талант! — тихо, но с восторгом сказал Принц Датский. — С этим надо родиться!

Он уважал чужие таланты.

— А я вот...— Принц вытянул вперед свои руки, словно упрекая их за то, что они, такие длинные, ничем сегодня не помогли.

— Ничего, ничего... Они еще пригодятся! — Я приподнялся на цыпочки и похлопал Принца Датского по плечу.

— Но как же ты догадался? Еще до того, как увидел бирку и планку? — спросил Покойник.

— Когда Глеб перевернул крышку...

Я подошел к столу и тоже перевернул. Фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки... Я ничего никому не сказал. Но подумал о том, что в этот момент прибавился еще один важный факт. Очень важный! И что я приближаюсь к разгадке...

— Не держи нас в неведении, — приободрившимся голосом попросил Покойник. — Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в зарисовке Мироновой? Помнишь, ты сказал о веревке, за которую ухватился. А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься!

— Как кому! — сказал я. — Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все! А с виду значительные — не значат ничего.

Миронова подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста!

— Я подчеркнула эту фразу, — сообщила она.

— Да, твоя фраза осветила нам путь...

— К чему?! — гордо прошептала Миронова.

— К спасению! — ответил я.

Все перестали дышать... Но я ничего больше не объяснил.

— Дайте время, — сказал я. — Мне нужно изучить факты. Оценить обстановку! Продумать, взвесить!.. И обобщить!

Все тихо присели на ящики. Все подчинялись мне, надеялись на меня. Давно я мечтал, чтобы Наташа была рядом в какой-нибудь благоприятный для меня момент. Но о таком моменте я даже и не мечтал. Он даже не мог мне присниться!

О, как, оказывается, мудра поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»! Только в темноте подвала

мои способности могли вспыхнуть так ярко. Свет вообще поражает главным образом тогда, когда внезапно появляется в темноте. Хорошо бы записать эту мысль Наташе в тетрадку!

— Дайте мне время, — еще раз попросил я.

— Но времени нет, — сказала Наташа.

— В каком смысле?

— До электрички осталось всего полтора часа!

— Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается! Я должен побыть наедине...

Миронова подняла руку:

— С кем?

— С мыслями, с фактами.

Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумье.

Я знал, что у каждого настоящего сыщика или следователя должен быть помощник, благородный такой и наивный человек, который говорит разные глупости и споря с которым следователь легче нападает на след. Я не собирался никому подражать. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтоб Наташа была таким помощником и наблюдала, как я логически мыслю. Но заставлять ее нарочно говорить глупости я не мог. Да у нее бы это и не получилось, если б даже я захотел!..

Итак, я начал анализировать в одиночку...

Мне было известно, что знаменитые сыщики и следователи, раскрывая преступления, прежде всего хотят выяснить: кому оно выгодно?

«Так, так, так... Я не пойду обычным путем! Буду действовать своим методом, — решил я. — Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот: продумаю сначала, кому невыгодно, чтоб мы сидели запертые в подвале.

Наверно, всем нам невыгодно. А больше всех? Наташе! У нее тяжело больна мама. И она обязательно должна сесть на электричку в семнадцать ноль-ноль! Так, так, так... Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод... Но ничего не попишешь! Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберемся! Вернее всего, кто-то был отвергнут ею — и вот решил... Любовь часто толкает людей на преступления! Об этом и в пьесах говорят и в кинокартинах... Но кто же ей

мстит? Племянник Григорий? Он мог быть только оружием мести! Так, так... Это ясно. Он не подходит: по возрасту и вообще... Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто?! Покойник? Он любит вымышленные образы. И к тому же умирает от страха. Но прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всем сомневаться. А если Покойник притворяется? Если на самом деле он ничего не боится? Да нет! Достаточно взглянуть на него... Принц Датский? Он благороден. Физическая сила сочетается в нем с детской застенчивостью. Но я должен во всем сомневаться! А вдруг он притворяется добрым?

Как-то противно всех подозревать! Но все-таки... Я должен провести подробнейшее расследование! Так, так, так... Значит, надо проверить всех. Кроме Наташи... Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда. Исключается! Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем ее. А больше, чем ее, они никого не ценят! Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях... Опять пойду старым путем. Говорят, «старый друг стоит новых двух». Может, это относится не только к друзьям? О, как мудры народные поговорки!

Итак, я добрался до Глеба... Он опять запинается на каждом втором слове. А больше молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так, так, так... А почему? Во-первых, он единственный из нас всех был раньше знаком с Племянником. Улика номер один! А во-вторых и в-третьих... Мои наблюдения, о которых никто не знает! Те две догадки... В них ключ! Я уверен... Но я должен во всем сомневаться. Так, так, так... Надо все доказать... Доказать! Доказать!...»

Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках. И ждали... А Миронова задремала. У нее был железный характер! Я всех обвел взглядом и остановился на Глебе.

«Настала пора допроса! Поведу его осторожно, чтобы предполагаемый виновник ни о чем не догадался. И чтобы не обидеть его раньше времени подозрением. Прежде всего соблюдение законности! Об этом часто пишут. Я не должен ее нарушать. Должен во всем сомневаться, пока не будет доказано... И никакого насилия! Никакой грубости! Так, так, так...»

— Глеб, не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе

не хочется, не подходи. Я тебя не принуждаю. Я сам могу подойти. Но если ты хочешь...

— А что же...— сразу откликнулся Глеб.— Я пожалуйста...

Он не договаривал фразы. Но это не было уликой: он и раньше не дотягивал их до конца. Да, это и прежде было его яркой особенностью.

Однако острая наблюдательность подсказала мне, что он слишком уж быстро откликнулся, словно ждал, что я к нему обращусь. И слишком уж стремительно подбежал, будто боялся, что я спрошу его о чем-нибудь громко и услышат все остальные.

— Что? А?..— сказал он совсем шепотом, словно предлагая и мне вести разговор так, чтоб о нем знали только мы двое.

Моя острая наблюдательность стала еще острее, будто ее только что наточили.

— Хочешь знать, как я догадался насчет скелета? Очень просто: когда ты перевернул «мемориальную крышку» и прочитал, что именно здесь была написана вся повесть от начала и до конца, догадка сразу озарила меня: не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения! Чтобы нагонять на себя страх... Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка ее подтвердили. Но это не все...

— А что же еще?

— Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще раз, что там написано,— сказал я с плохо скрываемой вежливостью.

Мне хотелось, чтобы Наташа видела, как умно и тонко я веду дело, как с каждой минутой все больше оттачивается моя наблюдательность. Но нельзя было сделать так, чтоб Наташа слышала наш разговор, а все остальные не слышали. А если бы слышали все остальные, у них бы раньше времени возникли подозрения против Глеба. «Если же он не виновен? — рассуждал я.— Если мои предположения — всего только предположения? Нет, законность прежде всего!» И продолжал вести расследование шепотом:

— Там, при всех, не надо переворачивать крышку. Принеси стол сюда, если тебе не трудно. Здесь переверни и тихо мне прочитай. А то у меня что-то рябит в глазах. Наверное,

от окружающего нас мрака! Помоги мне, Глеб, если можешь.

— Я, конечно, переверну. Мне не трудно...

Он подтащил стол к ящику, сидя на котором я анализировал события. Перевернул крышку и прочитал:

— *Здесь в течение одного года трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи».*

«Так, так, так...— сказал я себе.— Он прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность».

— Глеб, почему же ты пропустил одно слово? — прошептал я.— Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись.

— Я?.. Слово?.. Какое?

— Всего только одно. Но очень существенное!

Я взял «мемориальную крышку» в руки.

— Написано так:

Здесь в течение одного года трех месяцев и семи дней была придумана и написана повесть «Тайна старой дачи». А ты слово «п р и д у м а н а» пропустил. Почему? Соберись с мыслями... Не торопись.

— Я не заметил... Не обратил...

— Оба раза? Одно и то же слово? Согласись, дорогой: странное совпадение!

— Не обратил...

— Два раза?

— Два...

— А может быть, целых три?

— Нет... Только два...

— Прости, дорогой, тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово еще там, в городе. Когда говорил мне, что все было на самом деле: вся история с Дачником. А оказывается, Гл. Бородаев ее придумал. Зачем же ты мне сказал, что Дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, так сказать, человек? Взял и исчез... Зачем ты это сказал? И Племянника подучил сказать то же самое? Подумай хорошенько, не торопись.

Глеб не торопился. Он молчал.

— Так, так, так...— сказал я уже с плохо скрываемой угрозой.

— Хорошо... Я тебе... всю правду...

— Вот именно: правду, одну только правду! Ничего, кроме правды!

— Иначе бы ты сюда... А так тебе сразу стало... И другие поехали...

— Подведем некоторые итоги,— сказал я.— Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтоб заинтересовать нас, сказал, будто все произошло здесь, на этой даче, в самом деле, а не было придумано дедушкой.

— Ну да...

— А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?

В это время подошла Наташа. И тихо сказала:

— Алик, осталось совсем мало времени.

— Считай, что ты уже на пути к своей маме! — воскликнул я.— Скоро она обнимет тебя...

Покойник услышал мои слова. И не то с надеждой, не то с сомнением произнес:

— «Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа...»

Страх, значит, еще не отшиб ему память: он помнил стихи Пушкина. Правда, не совсем точно, но помнил...

— Да, встретит! — подтвердил я.— Еще несколько минут — и я выведу вас отсюда...

— Как Данко? — спросил Покойник.

Острая наблюдательность подсказала мне, что он сомневается. Захотелось скорее поразить всех своими находками и открытиями.

— Ты помнишь фразу из «зарисовки» Мироновой? — спросил я у Глеба.

— Какую?..

— В ней не было ничего особенного. Но она кое-что напредила и озарила меня догадкой. Я даже запомнил ее наизусть. Там было сказано про Нинель: «Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась...» Значит, Нинель въехала в совсем новый дом?

— Мне дежурная в школе... А потом она сама... По телефону...

— Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже. Почти всегда так бывает. Откуда же она звонила? И разрешила нам ехать сюда без нее? Или, может быть, она с температурой тридцать восемь и пять пошла в автомат?

— Я вам все... Я сейчас же...

— Нет времени! Мотивы преступления объяснишь потом. В электричке! А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду, ничего, кроме правды. Где выход отсюда? Или прикажи Племяннику! Ведь это ты его подучил?

— Я сейчас же... Я вас... Не беспокойтесь...

«Все проанализировал я, а освободителем будет он?» — полоснула меня неприятная мысль.

Глеб уже хотел броситься в темноту. Но судьбе было угодно, чтобы очередная догадка молнией озарила меня. Стремительным движением руки я остановил его.

— Наташа! — воскликнул я. — Покажи свой рукав!

— Следствию нужны вещественные доказательства? — съехидничал Покойник с видом покойника. Он все еще не верил, что мы выберемся из подвала.

Я прикоснулся к Наташиному рукаву. Сердце мое заколотилось так сильно, что это услышали все и повернулись в мою сторону. А может быть, им просто было интересно, что я обнаружил на ее рукаве? Эта мысль пришла ко мне позже. А в ту минуту вообще никаких мыслей у меня не было: я держал ее руку в своей...

— Алик, нет времени, — сказала она.

Я не хотел торопиться. Но ее слова вернули меня на землю.

Решали минуты! До электрички оставалось совсем мало времени. Совсем мало! А Наташу ждала дома больная мама.

Мысль моя вновь заработала: «Раз эта краска испачкала ее рукав, значит, слова «Опасно! Не подходить!» были написаны кем-то незадолго до нашего прихода: краска еще не успела высохнуть!.. Так, так... И Глеб, помнится, крикнул тогда: «Не подходите!..» Значит, надо немедленно подойти».

Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Верней сказать, оттащил... Он заслонял собой дверь. Я толкнул ее, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она, видно, не закрывалась. В этом было наше счастье: Племянник не смог запереть ее. Дверь с трудом поддалась, открывая нам путь к свободе.

— Пожалуйста! Выходите! — воскликнул я и взглянул на Наташу.

Она ответила мне взглядом, полным благодарности и даже... Но, может быть, это мне показалось.

Покойник бросился к выходу... Еле заметным движением руки я задержал его.

— Пусть первыми выйдут женщины!

«И дети», — чуть не добавил я по привычке.

Свет робко проник в подвал. Мне казалось, что это свет нашего полного освобождения...

Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды!

Подвал не хотел выпускать нас из своих цепких, сырых объятий. Старая дверь, обитая ржавым железом, не закрывалась, но и не открывалась тоже. Со скрежетом проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно выросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким.

— Надо пролезть! — сказал я. — Первыми выйдут женщины.

И указал на Наташу. Она не стала спорить, уступать место другим, чтоб показать, какая она добрая и благородная. Нет, ничего и никогда она не делала напоказ!

Тонкая и стройная, она не «пролезала» и не «протискивалась» между дверью и кирпичной стеной, а как бы освободилась, вырвалась из их плена и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь.

— Теперь Миронова! — сказал я.

Даже тут она действовала как отличница: обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью. Потом оглядела свою фигуру. Что-то прикинула, высчитала в уме... А потом подняла руку:

— Можно мне снять пальто?

Сняла и полезла... Миронова и здесь выполняла приказ: она аккуратно, старательно преодолевала препятствие и рапортовала мне, как начальнику:

— Осталось всего полспины... Осталось плечо! Осталась рука... Все в порядке: ничего не осталось!

Первым застрял Покойник. Он оказался самым толстым, а по его словам, «самым плотным» из нас.

— Много ешь, — сказал я. — А еще поэт!

— У меня неправильный обмен. Это болезнь, — сообщил Покойник.

— Тогда скинь пальто.

Он скинул. Но и без пальто снова застрял.

— Я помогу тебе,— предложил Принц Датский. И стал осторожно проталкивать Покойника.

— Что-то хрустнуло! — вскрикнул тот. — Кажется, не пролезаю...

— Тогда я нажму на дверь,— сказал Принц.

Он сильно навалился плечом на ржавое, мокрое железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле. Хотя детская застенчивость сочеталась в Принце с большой физической силой, ему ничего не удалось сделать.

— Снимай пиджак, рубашку, штаны! — приказал я Покойнику.

— Разве это возможно? — промямлил он.

— У нас нет времени рассуждать!

— Разве осенью раздеваются?

От волнения он заговорил в своей любимой манере — вопросами.

— Он простудится,— сказал заботливый Принц.

— Лучше спастись простуженным, чем погибнуть здоровым! — воскликнул я.

Покойник разделся. Девочки отвернулись,

Голый Покойник (то есть почти голый: трусы оставались на нем) пролез сквозь узкое отверстие.

— Разогрейся! — посоветовал из подвала Принц Датский. — Побегай!

Покойник забегал.

— Сначала оденься, а потом уж... — сказал добрый Принц.

От холода Покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам.

— Теперь Глеб! — сказал я.

— Я потом... раз из-за меня... — тихо сказал Глеб. — Ведь все это...

— Расследование закончим потом,— шепотом перебил я его, хотя мне очень хотелось спросить прямо в упор: «Зачем ты все это сделал?» — Сейчас выяснять не время, потому что дорого время!

Глеб тоже скинул пальто и протиснулся.

Принц Датский указал на просвет.

— А теперь уж ты, Алик!

— Я покину подвал последним! — сказал я так, будто был капитаном гибнущего корабля: капитаны всегда покидают судно последними.

Принц Датский смущенно развел свои огромные руки в стороны.

— Мне ведь тоже придется... Как Покойнику...

Девочки отвернулись.

— И вы тоже, — сказал Принц мне, Глебу и Покойнику.

Большая физическая сила продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью.

Принц не был толстым, но мышцы вздувались у него на руках, на груди, даже на животе и могли застрять в узком проходе. Он быстро перекинул одежду на улицу, преодолел препятствие, оделся и сказал:

— Можете смотреть!

Потом он стал, по-спортивному высоко поднимая ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил Покойник. Они согревались. А я?..

Я остался один по ту сторону двери, в подвале. С друзьями всегда приятней, спокойнее, а в подвале особенно! «Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий?» Эта мысль подтолкнула меня: я заторопился, сбросил пальто. И тут же подумал о другом: «Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной?..»

Я всегда очень боялся предстать перед ней в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме: «У вашего сына сзади красивая форма головы. Благородная!» И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком... «А сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью!» Эта мысль заставила меня похолодеть. Думаю даже, что мне было холодней, чем Покойнику, когда он остался в одних трусах, потому что я похолодел в н у т р е н н е.

К тому же оказалось, что мне нужно снять не только пальто, но и куртку: выяснилось, что я тоже довольно плотный. А под курткой была старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она была теплая, и поэтому я надел ее в тот день. Мне не хотелось, чтоб Наташа видела эту рубашку. «А все из-за Глеба! Зачем ему это было нужно?.. Зачем?! — Я, кажется, впервые взглянул на него со злостью. — И из-за Племянника! Как бы это-

му Племяннику отомстить? Хоть немного! Хоть чем-нибудь!..»

В тот же миг идея озарила меня. Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала: мне захотелось оставить кое-что на память Племяннику, какие-нибудь строчки, которые бы его разозлили.

— Куда ты?! — крикнул Покойник так, будто прощался со мной навсегда. Он боялся без меня оставаться. Это было прекрасно!

— Не бойся, вернусь! — успокоил я Покойника. Подбежал к старому садовому столику — и вдруг...

С ужасом услышал я, что со стороны двери, запертой на щеколду, слышались шаги. Это спускался племянник Григорий. Он, наверно, хотел поиздеваться над нами: спросить, как мы себя чувствуем, не соскучились ли или что-нибудь вроде этого. «Если ему никто не ответит, — подумал я, — он сразу поймет, что мы убежали, и устроит погоню. Выйдет во двор и снова захватит всех!» События с головокружительной быстротой сменяли друг друга!

Сердце замерло у меня в груди, а может быть, вовсе остановилось. Каждый шаг за дверью, на лестнице, отдавался трагическим эхом у меня внутри, будто от ужаса там образовалась какая-то пустота... Так и есть!

— Эй, гаврики! Что это вы молчите, будто мать родная не родила? Заснули? — крикнул Племянник.

— Так точно. Все спят! — громко ответил я.

— Это ты, парнек?

— Я!

— Опять выскакиваешь?

Он не знал, что выскочили как раз все остальные, а я остался.

— Куда же я выскочу, если вы дверь закрыли?

— Посидите еще немного! Закаляться надо. Ты как считаешь, парнек? Надо вам закаляться?

— Еще бы!

— Ты ведь хотел познакомиться с Дачником?

— Еще как!

— Теперь познакомился?

— Конечно!

— Ну вот, видишь! Может, и о тебе когда-нибудь книжку напишут.

— Если я дойду до его состояния.

— Ага!

Он засмеялся мелким и дробным таким смешком, будто монеты рассыпал по лестнице.

«Зачем ему нужно, чтобы мы сидели в подвале? — рассуждал я. — Да ни за чем! Просто он выполняет чужую просьбу». Я знал, чью именно! Но выполнял он ее с удовольствием: ему приятно было кого-то помучить. Такой у него был характер...

Племянник зевнул длинно, словно завыл:

— Пойду-ка тоже вздремну...

«А не вздумает ли он перед сном погулять? Выйти во двор?..» — подумал я. И сердце опять замерло у меня внутри.

Все же я не стал торопиться, а вынул из кармана карандаш и крупными буквами написал на крышке садового столика:

Племянник! Передай привет своей тете!

И подписался: *Алик-Детектив.*

А потом помчался обратно, к узкой полоске света.

«Как же мне сделать так, чтоб Наташа не увидела заштопанную рубашку? — думал я. — Пожалуй, как Принц с Покойником, разденусь догола и попрошу всех отвернуться!..»

— Что ты там делал? Куда убежал? — набросились на меня все, когда я высунул голову из подвала.

Соскучились! Это было прекрасно...

— Отвернитесь! — скомандовал я.

Было холодно, откуда-то с крыши падали капли... Дрожая всем телом, я протискивался навстречу свободе.

Глава IX,

*в которой события опять с головокружительной
быстротой сменяют друг друга*

Когда мы наконец вырвались на свободу, нужно было немедленно бежать, мчаться на станцию, но я словно прирос к земле и жмурился, хоть солнца не было и даже нача-

ло уже понемножку темнеть. Мы отвыкли от света и радовались ему, как дети!

Неожиданные мысли заполнили мою голову. Они наталкивались одна на другую, потому что их было много. Да, жизненные испытания делают человека мудрее!

Я думал о том, что если человек каждый день получает одни только радости, он, значит, их вовсе не получает. И о том, что если он с утра до вечера отдыхает, то, наверно, от этого устает. И о том, что если человек каждый день видит деревья и небо, он их не видит, просто не замечает, а вот если он посидит в подвале... Может, я был не совсем прав, но мысли на то и мысли, чтобы в них можно было сомневаться.

Наконец спокойствие вернулось ко мне, и я заорал:

— На электричку!

— Мы все равно не успеем,— сказала Наташа.

— То есть как это? Почему?

— Потому что осталось всего двадцать три минуты, а до станции — сорок с лишним.

— Я вас...— начал Глеб.

Но тут раздался длинный, солидный гудок тепловоза. Электрички гудят по-другому: короче и как-то, я бы сказал, легкомысленнее. Догадка внезапно озарила меня.

— Глеб! — воскликнул я, желая перекрычать тепловоз, который уже умолк.— Глеб! Я чувствую по гудку, что станция совсем близко. Ты вел нас дальним путем... Запутанным! Ты хотел, чтобы мы...— Я не стал вслух объяснять, чего именно хотел Глеб: расследование еще не было закончено.— В общем, веди нас кратчайшей дорогой. Самой короткой!

— Я и сам... Я вот как раз об этом...

Мы побежали. Предчувствие подсказывало мне, что станция должна показаться сразу же, как только мы обогнем сосновый лесок, в который упирался дачный забор. Но ведь, как я уже, кажется, отмечал, длинный путь может показаться коротким, а короткий — ужасно длинным, особенно если все время поглядываешь на часы и прислушиваешься, не шумит ли вдали электричка. «Иногда электричка на минуту-другую опаздывает,— думал я.— Но если нужно, чтоб она опоздала, то обязательно придет вовремя или даже немного раньше...»

Покойник все время отставал. Предчувствие подсказы-

вало мне, что он может рухнуть, упасть: в тот день страх совсем измотал Покойника. К тому же ему пришлось голым вылезать из подвала. И это окончательно подкосило его.

Покойник не рухнул, он вскоре присел на пенё.

Наверно, среди молодого леса росла еще недавно могучая, старая сосна, но ее почему-то срубили: может, чтобы не выделялась или по какой-то другой причине. Пень был широченный, на нем вполне могли уместиться все шестеро. Но Покойник сел посреди, и никто, кроме него, не уместился. Впрочем, мы отдыхать и не собирались.

У Покойника все дышало: и нос, и грудь, и живот, и плечи... И даже ноги дышали. Вернее сказать, подрагивали.

Мы тоже остановились.

— Оставьте меня одного, — сказал Покойник таким голосом, словно был тяжело ранен. — Бросьте меня здесь. Нету сил...

— Я потащу тебя! — сказал Принц Датский и собрался уже взвалить Покойника на себя, но к ним подбежал Глеб.

— И я тоже его... чтоб легче...

В этот момент издали подала голос электричка.

— Из города... — сказал Глеб.

— Конечно. Для нашей еще рано, — согласился Принц Датский.

Наташа взглянула на свои часики:

— У нас есть семнадцать минут. Нет, шестнадцать...

Принц Датский и Глеб попытались взять Покойника под руки, но он гордо отстранил их.

— Я сам!

— Пожалуйста, Гена... — тихо сказала Наташа. — Если можешь...

Покойник вздрогнул: давно уже никто из нас не называл его по имени. Мы просто даже забыли, что его зовут Генкой. Кажется, лишь в ту минуту Покойник по-настоящему понял, как волновалась Наташа...

Ни одна детективная история не обходится без беготни и погони. И вот мы опять бежали... «Жалко, конечно, что нет погони, — успел я подумать. — Если б за нами по пятам гнался племянник Григорий, а мы бы успели вскочить в электричку и двери перед самым его носом захлопнулись — это было бы совсем здорово! Хотя ведь гнать чело-

века, заставляя его мчаться вперед со всех ног может не только плохое, но и что-то хорошее, благородное!»

Одних из нас гнала забота о Наташиной маме. А других, или, вернее сказать, другого, а еще точнее сказать, Глеба, я думаю, подгоняла совесть... Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что она в нем уже просыпалась. А предчувствие подсказывало мне, что скоро проснется совсем!

В тот день я все время о чем-нибудь думал, что-то замечал или предчувствовал... «Когда не происходит никаких интересных событий, то и интересные мысли не появляются,— рассуждал я.— Потому что нет никаких наблюдений... А когда происходит что-нибудь важное, мысли в голове прямо-таки теснятся. Поэтому в моей повести могло бы быть очень много лирических отступлений и разных раздумий. Но сюжет торопит меня, и от лирических отступлений приходится отступать... Да, именно события рожают умные мысли! Это я чувствую по себе. И это ведь тоже мысль... Мысль о мыслях!»

С этой мыслью я застыл, остановился как вкопанный.

Ноги мои сразу, без всякого предупреждения приросли к земле, и кто-то налетел на меня сзади. Но я даже не повернулся и не посмотрел, кто именно. А в того, кто налетел на меня, врезался еще кто-то... Все произошло так же, как бывает на шоссе, когда машина неожиданно тормозит.

Я смотрел вперед сквозь сосновый лесок. Он был молоденький, редкий, и сквозь него было ясно видно, что электричка подкатила к станции не из города, а с противоположной стороны. «На сей раз та самая... которая в город. На которую мы спешим!» Я не успел еще как следует в это поверить, а электричка снова гуднула и тронулась!

О, как часто жизнь преподносит нам неожиданности! События продолжали с головокружительной быстротой сменять друг друга.

Наташа поднесла часики к уху, и я заметил, что рука ее дрожит...

В тот день дрожь уже не первый раз посещала нас всех. И было отчего подрожать!

— Идут...— сказала Наташа.— Я их утром по радио проверила.

Она оторвала часы от уха, на которое я смотрел. Никогда раньше я не замечал, что оно такое маленькое, аккуратное, плотно прижатое к волосам. Как мне хотелось, чтоб оно, это ухо, услышало что-нибудь приятное, радостное!

— Бывает, что электрички приходят раньше, — сказал я, — особенно если нужно, чтоб они задержались... Это я замечал. Но ведь не на четверть часа. Ну, на минуту, другую...

— Так что ж это было? — тоскливо вскрикнул Покойник. — Как тогда со скелетом? Галлюцинация?

— Не умничай, — сказал я. — Разберемся. Сегодня у нас...

Миронова подняла руку и торопливо, словно боясь, что ее кто-то опередит, подсказала:

— Воскресенье!

— Стало быть...

— ...выходной день! — подсказала Миронова.

Я медленно рассуждал:

— А в выходные дни бывают...

— ...дополнительные поезда! — поспешно закончила мою фразу Миронова. Когда нужно было подсказать учительнице или вообще начальству, она очень быстро соображала.

— Вот именно! — согласился я. — Это дополнительный поезд. Электричка в семнадцать ноль-ноль придет. Я же сам видел расписание... На станцию!

Мы снова сорвались с места и побежали. Я мчался быстрее всех: мне хотелось первому убедиться, что это был и правда дополнительный поезд, а не самый обыкновенный, не тот, который подчиняется ежедневному расписанию.

Только Глеб пытался меня обогнать. Я понял: ему хотелось отличиться, чтобы хоть чем-нибудь искупить... Все-таки я раньше других подлетел к окошечку кассы. Желание мое сбылось. Но уж лучше бы оно не сбывалось!.. Возле окошечка висел металлический щит с колонками цифр и словами «ежедневно», «по воскресеньям», «далее со всеми остановками»... Щит был разделен на две половины: «В город», «Из города».

Я забежал глазами по расписанию.

— Вот... Конечно! Семнадцать ноль-ноль!

— Это из города,— раздался за моей спиной тихий Наташин голос.

— Как? Разве? Не может быть! — Слова вылетели у меня изо рта просто так, от волнения. Я и сам видел, что Наташа была права.

— А нам нужно было на шестнадцать сорок пять! Эта электричка как раз и ушла...

— Разве? Не может быть! Как же так?

— Следующая будет через четыре часа,— сказала Наташа.— По этой ветке поезда ходят нечасто. Совсем редко... Особенно осенью. Поэтому я и просила тебя посмотреть, когда мы приехали...

«Как же это могло получиться?! — думал я, бессмысленно водя глазами по расписанию. Мне было стыдно обернуться и взглянуть на Наташу.— Утром я поспешил... Хотел поскорей выполнить ее просьбу. О, как мудра народная мудрость, которая учит нас: «Поспешишь — людей насмешишь!»

Но никто не смеялся.

— Мы доберемся до дому не раньше одиннадцати,— сказала Наташа.— А я обещала маме в шесть или в семь... Не представляю, что с ней теперь будет. Не представляю... Как же так, Алик?

— Разве не ясно? Если б он утром внимательней посмотрел, мы могли бы успеть,— сказал тот самый Покойник, который еще недавно прощался с жизнью в подвале.— Мы бы поторопились...

Какие жестокие сюрпризы порой подсовывает нам жизнь! Теперь получалось, что я во всем виноват. О Племяннике успели забыть. Забыли и о том, что я, подобно смелому Данко, осветил всем дорогу к спасению (этот свет ворвался в подвал, когда я подошел к щиту со словами «Не подходить!» и отбросил его). Забыли, что я, именно я вывел всех из подвала, подарил всем свободу и независимость! Независимость от Племянника, который бы еще неизвестно сколько держал нас в страшном плену.

Давно я заметил, что люди помнят лишь о последнем твоём поступке. Можно совершить много больших и прекрасных дел, но если последнее дело (пусть даже самое маленькое!) будет плохим, его-то как раз и запомнят.

Путаница с расписанием произошла утром, но каза-

лось, что именно это было моим последним поступком, и ошибка, моя случайная утренняя ошибка сразу как бы перечеркнула все. Теперь помнили только о ней. Ощущение черной несправедливости больно ранило мое сердце... Но я не показал виду, что ранен!

О Глебе никто ничего не знал. Это тоже было несправедливо: ведь если бы он не попросил Племянника запретить нас, вообще не было бы никакой страшной истории. Но я не хотел позорить его. «Не делай чужое горе фундаментом своего счастья!» — учит нас народная мудрость. Так сказал папа моему старшему брату Косте, когда тот хотел пригласить в театр девушку, которая нравилась его другу. И Костя не пригласил.

Расследование еще не было завершено. Мотивы преступления еще не были выяснены. «Зачем? Зачем Глебу понадобилось?..» — этот вопрос жестоко терзал меня. И все же я не подал виду, что Глеб хоть в чем-нибудь виноват. Хотя делить вину на двоих всегда легче, чем принимать ее всю на себя. Глеб был рядом и, казалось, просил: «Поручи! Поручи мне что-нибудь трудное!» Он хотел искупить...

Наташа стояла возле окошка кассы и смотрела на расписание, будто все еще проверяла, надеялась... Выражение ее лица было таким, что капли дождя на щеках можно было принять за слезы.

Решимость вновь овладела мною: «Я должен тут же, не отходя от кассы, что-то придумать! И осушить эти капли! И вернуть улыбку ее лицу! Да, я обязан. Тогда и она и все остальные снова увидят во мне спасителя: люди помнят о последнем поступке».

И тут... Идея, как яркая молния, сверкнула в моем мозгу. Но никто не заметил, потому что это было в мозгу.

Глава X,

в которой слышится крик из подвала

— У вас тут есть почта? — спросил я Глеба.

— За станцией, недалеко. По ту сторону... — торопливо и старательно, как Миронова, объяснил Глеб: ему хотелось, чтобы я позабыл о его темном прошлом.

— Там есть телефонная будка? — спросил я. — Для междугородных переговоров?

— Одна будка есть...

— Нам хватит одной! — крикнул я так громко и радостно, что все подбежали к нам.

— Я знал, что ты придумаешь... Что ты найдешь выход. Такой у тебя талант! — сказал Принц Датский, который продолжал ценить чужие таланты.

— Сейчас мы помчимся на почту, чтоб спасти Наташину маму и вообще всех наших родителей. Позвоним и скажем, что все в порядке: задержались, но к ночи будем. Глеб укажет дорогу.

— Это великое дело! — сказал Принц, протягивая свои длинные руки, чтобы обнять меня. — И, как все великое, так ясно и просто: позвонить, успокоить. Это находка!

К чужим находкам он тоже относился с большим уважением. Снова все посмотрели на меня с плохо скрываемым восхищением: люди помнят о последнем поступке.

Вдруг Принц помрачнел.

— Что случилось? — спросил я.

— Совсем забыл: у нас дома нет телефона... Но ничего. Мои родители, к счастью, здоровы.

И все-таки я погрузился в раздумье. Но ненадолго! Когда я начинаю что-нибудь изобретать, возникает настоящая цепная реакция: одна идея цепляется за другую. Так было и в тот раз. Я поднялся на цыпочки и обнял благородного Принца.

— Дашь мне свой адрес! Я продиктую его старшему брату Косте, а он сбегает и успокоит твоих родителей.

В том, что у Наташи есть телефон, я не сомневался. Я это просто знал. Иногда я набирал ее номер и, если она подходила, молча дышал в трубку. «Что вы там дышите?» — сказала она однажды. С тех пор я перестал дышать.

— Веди нас, Сусанин! — обращаясь к Глебу, торжественно произнес Покойник.

Я бросил на Глеба мимолетный, но острый взгляд. Сам того не подозревая, Покойник попал в точку: утром Глеб, как Сусанин, сбивал нас с пути. Только Сусанин поступал так с врагами, а Глеб — со своими друзьями. В этом была принципиальная разница!

Мы побежали за Глебом. Почему мы спешили, трудно было сказать: до следующей электрички оставалось еще много часов. Просто мы в тот день привыкли бегать, будто нас все время настигала погоня. Но погони, к сожалению, не было!

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью. То тут, то там виднелись лужи, в которые мы безошибочно попадали. Грязь напоминала густую, серую кашу, которая аппетитно чавкала под ногами. Дождь все усиливался, приятно освежая в пути. Деревья ласково протягивали нам свои кривые черные руки...

Глеб бежал впереди всех. И не только потому, что мы не знали дороги: он по-прежнему очень старался.

— Во-он там! — на ходу крикнул Глеб, указывая на одноэтажный домик, над которым была синяя с белыми буквами вывеска: «Почта. Телеграф. Телефон».

«Еще немного, — мечтал я, — и Наташа войдет в будку, из которой все будет слышно. И я уловлю слова: «Мамочка, не волнуйся!» Потом она выйдет и бросит на меня мимолетный, но благодарный взгляд. А потом и мы будем звонить... Денег хватит: ведь родители дали «на всякий случай», а в подвале тратить их было не на что».

Окна домика звали, манили меня к себе так сильно, что я обогнал Глеба.

Эти окна казались мне близкими и родными до той минуты, пока я не увидел, что они с внутренней стороны плотно закрыты ставнями.

Я сразу немного отстал, и Глеб достиг домика первым. Но он не взбежал на крыльцо, а уступил мне дорогу. Я взбежал, дернул за ручку, которая оказалась холодной и мокрой. А дверь оказалась закрытой.

«Выходной день — воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке.

О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь!

Все смотрели на меня. В глазах не было и тени недавнего восхищения. Я был на крыльце, а чуть пониже стояли пятеро моих друзей — в пустом поселке, на мокрой земле, под дождем, возле закрытой почты. И они снова считали, что я виноват: если бы я утром не перепутал, они бы сейчас ехали в теплом вагоне к своим мамам и папам. Я перепутал... Это вновь стало для них моим последним

поступком. А о том, что, если бы не я, они бы все сидели в подвале, никто уже и не помнил!

Так я думал, пока не заметил в глазах у Наташи нечто иное. Я увидел в них ожидание и надежду. Как это было уже не раз в тот день... Она еще надеялась на меня!

И вновь началась цепная реакция: идеи одна за другой полезли мне в голову.

— А если добежать до соседней станции? Это далеко?

— Полчаса бега, — ответил Глеб. — Но районная почта здесь... А там нету будок...

— Воскресенье для всех воскресенье! — мрачно изрек Покойник. — Ты думаешь, там уже начался понедельник?

— Зачем же так? — неожиданно оборвал его Принц. — Зачем говорить под руку?

— Ну, если он будет думать рукой, наши родители обречены!

— Покойник, не трогай Алика! — сказал Принц так же грозно, как говорил раньше мне: «Не трогай Покойника!»

В его груди билось честное, благородное сердце!

Поддержка вдохновила меня.

— А куда ты, Глеб, вчера звонил по междугородной? Чтобы предупредить Племянника... Ну, о том самом... о чем ты знаешь. Куда ты звонил?

— На дачу.

— Значит, там есть телефон?

— Да. Его дедушке... Он выступал на телефонной станции, и ему... Там даже табличка... на аппарате: «Гл. Бородаеву от благодарных читателей...»

— По этому телефону ты, Наташа, и позвонишь! — провозгласил я с крыльца, словно с трибуны. — А потом, если останется время, и мы позвоним.

— Нет... — сказал Глеб. — Ты не знаешь Григория. Он не позволит... Раз мы его...

Глеб еще не знал главного, — он не читал моей надписи на столе: «Племянник! Передай привет своей тете!» А если Племянник, в отличие от Глеба, уже прочитал эти слова? Тогда он и подавно не пустит нас к телефону! А то еще и загонит обратно в подвал... Встречаться с ним страшно!

Так я думал, а вслух сказал:

— Что нам Племянник! Шестеро одного...

— Не ждут! — подсказала Миронова. И первый раз в жизни, подсказывая, не угадала.

— Не боятся! — поправил я ее. И повторил: — Шестеро одного не должны бояться!

— Ты не знаешь Григория, — опять сказал Глеб. — Он же сидел... А мы не сидели... Нам не справиться...

— Посмотрим! — воскликнул я. Но по-прежнему стоял на крыльце: торопиться на «старую дачу» как-то не очень хотелось.

На выручку мне пришла цепная реакция: новая идея ярко вспыхнула среди рано спустившихся сумерек.

— Он нас пальцем не тронет!

— Пальцем, конечно, — занял Покойник. — А ты видел, какой у него кулак?

— Не видел! И ни один из вас не увидит, — сказал я уверенно. — И самого Племянника вы не увидите!

— Разве это возможно? — продолжал сомневаться Покойник.

— Возможно!

— Разве Племянник исчез? Испарился?

От страха Покойник опять стал изъясняться вопросами.

— Когда вы войдете в дачу, она будет пуста, — сказал я. — Вы верите мне?

— Верим, — сказала Наташа.

— Бежим! — крикнул я.

И все опять побежали.

Если бы кто-нибудь в тот день наблюдал за нашими передвижениями со стороны, он бы решил, что происходит нечто весьма странное и подозрительное. Сперва мы мчались от дачи к лесу. Остановились, помахали руками вокруг Покойника и снова помчались. Потом остановились на платформе, снова помахали, посовещались и, обдавая друг друга брызгами грязи, устремились к почте. Опять остановились, опять помахали, посовещались и со всех ног помчались обратно к даче... Теперь уж я все время бежал впереди, как вожак, который обязательно есть в любой стае — птичьей, собачьей и всякой другой. Мне не нужна была теперь помощь Глеба: я сам знал дорогу.

По пути к даче мы несколько раз отдыхали. Каждый по-своему. Покойник сразу бухался на пенёк или на скамейку и дышал всеми частями своего тела: носом, ртом,

животом и плечами. Принц Датский ходил, по-спортивно-му высоко поднимая ноги, вскидывая и опуская руки, глубоко и ровно дыша. Глеб начинал прогуливаться где-нибудь подальше от меня: он избегал моих глаз и вопросов. Казалось, он хотел, чтоб я позабыл о его существовании. И о расследовании, которое все еще не было закончено: у меня не хватало времени. Внезапно он поворачивал голову, словно за деревьями и за кустами его настигали мои мучительные сомнения: «Зачем ты, Глеб, это сделал? Зачем?»

Миронова, с трудом переводя дыхание, все же поднимала руку и спрашивала: «Надо отдыхать?» — давая понять, что, если потребуется, если будет отдано распоряжение, она тут же без остановки помчится дальше.

Но, в общем-то, у всех вид был потный, взъерошенный. Даже я еле заметным движением стирал со лба капли усталости. И только Наташе усталость была к лицу. Лишь по легкому, едва проступившему румянцу да по блеску больших серых глаз, которые меня ослепляли, можно было догадаться, что она немного утомлена. Я был уверен, что не существует в жизни таких положений, которые бы застали Наташу врасплох и могли бы ей повредить. Все ей было к лицу, и от этого мне становилось страшно...

Когда показалась «старая дача», которая вовсе не была старой, мои друзья решили вновь отдохнуть. Они боялись к ней приближаться. Да, острая наблюдательность подсказала мне, что они робели.

Глеб всегда чуть-чуть пригибался и, казалось, любил изучать землю у себя под ногами. Раньше это было от скромности, а в тот день, как я уже говорил, он боялся встретиться взглядом со мной. Со мной, который многое понял, многое знал о нем, но кое-что еще недорасследовал...

Однако на последнем привале Глеб подошел и сказал:

— Ты не знаешь Григория... Его все тут... как огня! Он ведь сидел... за драку... Сидел!

— И еще посидит! — сказал я.

— Где?

— Не там, где раньше, но посидит. Пока это тайна.

Остальные молча переминались с ноги на ногу, но глаза их старались остановить, удержать меня. «Умный в дачу не пойдет, умный дачу обойдет!» — говорили взгляды

друзей. И хотя я в тот день убедился, как мудра народная мудрость, но на сей раз она меня не устраивала. Я вступал с ней в конфликт.

Наконец Принц Датский не выдержал и воскликнул:
— Ты смелый, Алик! Ты самый смелый из нас!

Он уважал чужую отвагу.

— Я знаю, что мои стихи не приносят никому особенной радости,— сказал он.— Но я никак не могу отвыкнуть...

— От чего?

— Высказывать свои чувства в стихах.

— Почему ты об этом заговорил?

— Потому что пришли мне на ум кое-какие строки. Пока мы бежали. Отойдем на минутку. И я тихо прочту. Тебе одному! Хочешь?

Я понял, что ничего плохого Принц обо мне сочинить не мог. Поэтому мне захотелось, чтобы Наташа тоже услышала строчки, которые пришли Принцу на ум. Это ведь так приятно, когда тебя хвалят в присутствии любимого существа.

Я как бы по просьбе Принца отошел в сторону. Но в ту, где стояла Наташа. И сказал:

— Почитай! Не обязательно мне одному. И не обязательно тихо. Зачем же наступать на горло собственной песне?

Понял я: не речи, не отметки
Остаются в памяти навек.
В этот день ты доказал нам, Деткин,
Что делами славен человек!
Чтоб хвалу могли воздать мы смелости,
Ты вернись в сохранности и целости!

Но и сам Принц Датский никогда не был трусом. Он предложил:

— Хочешь, я пойду вместе с тобой?

— И я пойду,— сказала Наташа.

В ее фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве. Всего по одной! Но слова эти обожгли меня (в положительном смысле!).

Я не собирался, подобно Покойнику, говорить, что мечтаю погибнуть. Наоборот, после трех Наташиных слов мне захотелось продолжить свое существование, как никогда

раньше! Но и, как никогда раньше, я готов был рисковать собой во имя высокой цели: спасти ее маму. И всех наших мам! Папы, мне казалось, меньше нуждались в спасении.

На том последнем привале я понял, что любовь способна вдохновить человека на многое.

— Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности,— сказал я.— Поверьте: мне очень не хочется наступать на горло вашей песне! И народная мудрость гласит: «Один в поле не воин!».

Тут я подумал, что уже второй раз за какие-нибудь пять минут вступаю в конфликт со старой народной мудростью. «Наверно, ни одна мудрость не годится на все случаи жизни!» — решил я. В тот день мысли и обобщения буквально одолевали меня.

— В данном случае,— сказал я,— совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной! — Я взглянул на Наташу.— Ну, а если я не вернусь...

— Ты вернись в сохранности и целости! — сам себя процитировал Принц.

— Постараюсь,— ответил я.

— Ты уходишь? — с тоской сказала Миронова: она боялась остаться без руководства. Все-таки командиром был я!

— Что ты задумал? — спросила Наташа.— Может быть, скажешь? Что ты задумал?..

— Я открою вам путь к телефону. Я устраню Племянника!

— Устранишь? В каком смысле? Физически? — испуганно прошептал Покойник.— В каком смысле?..

— В том смысле, в котором надо!

— Устранишь? — растерянно сказал Глеб.— Но ведь это... Он, знаешь... Его все тут... как огня!

«Уж ты бы помалкивал!» — хотел я ответить Глебу. Но удержался: расследование не было завершено, и я не имел права при всех его обвинить, вынести ему приговор.

— Значит, идешь один? Окончательно? — спросил Принц.

Я чувствовал, что друзья хотят оттянуть тягостную минуту. Они смотрели так, будто прощались со мной навсегда. Это было выше моих сил. И я сделал решительный шаг: сбросил с себя пальто.

— Ты простудишься,— сказала Наташа.

— Что поделаешь? Это необходимо.

Она протянула руки и взяла мое пальто. «Если что... пусть это будет памятью обо мне»,— хотел я сказать. Но не сказал.

— В случае чего... ты кричи,— попросил Принц. Он предложил это из лучших намерений. Но я взглянул на него с удивлением.

— Кричать? Ни за что!

— Что же нам делать? Бездействовать?

— Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала! Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знайте: с Племянником покончено!

— Навсегда? — спросил Покойник.

— Навсегда или временно — какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен! Я вам незаметно махну...

— Почему незаметно? Ты маши позаметнее. А то мы не заметим,— сказал Принц.

— Будь осторожен...— тихо попросил Глеб.

«Думал бы раньше!» — мысленно дал я ответ. И смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности.

А природа между тем продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. Дождь усилился. Я знал, что друзья, следящие за каждым моим движением, видят, как ветер развеивает мою одежду и как фигура моя постепенно словно бы растворяется в густой дождевой пелене...

Я вошел в дачу. Сердце мое билось так сильно, что я придерживал его рукой. И стал подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела. Каждый шаг приближал меня либо к торжеству, либо... Но об этом я старался не думать.

Сверху опять донеслось бормотание:

— Ах, вы все еще трепыхаетесь? Тогда уж мы вас добьем! Ах, вы так?... Тогда мы вас бац по загривку!

Мне казалось, что эти слова относились ко мне. И я остановился. Но лишь на секунду. А потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, быстро взбежал по лестнице. На пороге бывшей комнаты Дачника я вновь на миг задержался: распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопа-

на, потом и ее распахнул, чтобы было видно мое голое тело. Я толкнул дверь. Племянник по-прежнему играл сам с собой в «дурака».

Вид у меня был такой мокрый и растерзанный, что Племянник в первую минуту меня не узнал. Но потом пригляделся и поднял свое огромное тело из-за стола:

— Это ты... парнек?

— Я... — ответил я, дыша так, чтоб он понял, что я почти задыхаюсь.

— Сквозь стену прошел?

— Нет... Я через дверь. Через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто — и пролез. Видите, рубашку порвал. Но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам!

— Чего же не смылся?

— Мне вам нужно сказать... Сообщить!

— Смелый ты, я погляжу, парнек. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку?

— Запихните! Пожалуйста!.. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте. Я должен вам сообщить...

На его маленьком личике вновь не уместалось ничего, кроме усмешки.

— Я бы вас выпустил. Немного попозже. — Он захихикал. — Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики! Там ведь написано: «Не подходить!» А ты, парнек, подошел? Начихал, значит! Запихну я тебя обратно. И будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила!

— Запихните! Пожалуйста... Но сначала послушайте!

— Чего там?.. — Он махнул на меня рукой, словно на комара.

— Мы обнаружили там... исключительно интересную запись! На крышке стола. Прямо на крышке, сверху! Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стерлась. Но зато очень важная! И адресована лично вам!

— Мне?

— Лично вам! Представляете?

— Мне лично?

— Вам! Не верите? Можете посмотреть!

— На столе?

— Прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью... Наверно, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать!..

— А может, и деньжатами пахнет?

— Заплатят! — уверенно сказал я. — Во-первых, за стол: это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И его творчеством! Потом, он же всего на трех ножках... А в музее знаете как? Чем старше вещь, чем больше поломана, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят: «Музейная редкость»? Это, значит, что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надпись, обращенная к вам! Табличку прибьют: «Из личного архива...» Я такие читал. И повесят портрет... Ваш портрет!

— Ну, ты не умничай! — Племянник вновь махнул на меня рукой. — Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу... дух из тебя! Понял?

Довольный собой, он рассыпал мелкий, противный смешок. И затопал вниз, перешагивая через две или три ступени. Я еле за ним поспевал.

«Лишь бы не сорвалось! — думал я. — Ну, а если сорвется... Я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном, сыром одиночестве! Все решится буквально через секунды. Вот сейчас! Вот сейчас...»

Я вытер со лба капли страха. Даже не очень опытный глаз мог бы безошибочно определить: меня трясла лихорадка. Как хорошо, что Наташа была далеко!

Наконец мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал.

Племянник схватился за щеколду. Железо со ржавым стоном проехало по железу. Потом он повернул круглую головку английского замка.

— Проходи-ка, парнек...

— Нет, вы вперед проходите. Вы ведь старше! Я себе не позволю...

— Вежливый ты, парнек! Не люблю вежливых.

Он шагнул в сырой мрак подвала.

И в то же мгновение дверь, которую я смело и решительно толкнул ногой, захлопнулась. Щелкнул замок,

от которого ни у кого не было ключа... На всякий случай я тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул ее.

— Парнек, ты что? — слышалось за дверью.

— Не хочу вам мешать, — с плохо скрываемым злорадством ответил я.

— Открой дверь! Откр-р-р-ой!

— А вы нам открыли?

— Ну, пар-р-рнек! Ну, ты у меня...

— Пока что не я у вас, а вы у меня... сидите в подвале.

— Сейчас я твоих дружков... Я их всех! Будто мать родная не родила!.. Я их...

— Сначала найдите!

— Да я их...

— Посидите вдвоем со скелетом!

Он стал колотить в дверь ногами. Но она была прочно обита ржавым железом.

— Попробуйте пролезть через другую дверь, — посоветовал я, зная, что через нее пролезет только маленькая головка Племянника. Или его нога.

— Навр-рал? Ты мне навр-рал?

— Нет, я сказал правду. Подойдите к столу — и убедитесь!

Послышался топот его ножищ.

«Вот сейчас он остановился возле стола... — думал я. — А сейчас вот читает: «Племянник! Передай привет своей тете!»

— Откр-р-рой! — раздался крик из глубины подземелья, похожий на рев циклопа, запертого в пещере.

Чувство законной гордости переполняло меня! Был открыт путь к телефону. Наташина мама была спасена!..

Глава XI,

в которой мы слышим разные голоса и топот погони...

— Как тебе удалось? Как ты это совершил? Как сделал? Как?! Расскажи!

— Важен результат, — отвечал я на вопросы своих

друзей.— Он сидит в подвале? Сидит! Он кричит в подвале? Кричит! Остальное, как говорится, детали.

— Победителей не судят! И не расспрашивают!..— изрек Покойник.

Ему не хотелось, чтобы мной восторгались, чтоб меня расспрашивали. И хоть наши желания решительно не совпадали, я тоже сказал:

— Зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед!

— Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам,— сказал Принц Датский.— На них учатся остальные.

Мне не хотелось вслух анализировать свою «операцию». Ведь я перехитрил Племянника... А хитрость со стороны всегда выглядит менее выгодно, чем смелость, проявленная в открытом бою. «Если бы они слышали своими ушами, как Племянник грозил запихнуть меня обратно в подвал, словно сельдь в банку,— рассуждал я,— они бы поняли, что я проявил не только находчивость, но и храбрость. Но они этого не слышали и уже не могут услышать. Пусть же догадываются сами.

Вдруг Наташа подумает, что Племянник трусил, испугался меня! Я не буду с ней спорить. К сожалению, она вряд ли может так подумать...» И хотя я предложил не оглядываться назад, мне внезапно захотелось, чтобы они услышали рычание Племянника и поняли, какого противника я победил.

Всем не терпелось добраться до телефона, но я предложил:

— Давайте спустимся на минутку!

Спустились все, кроме Глеба... Он, который старался первым выполнять мои приказания и даже, подобно Мирановой, заранее угадывать их, тут вроде бы не расслышал. Я не стал насиловать его волю.

Может, он боялся, что я и его тоже загоню в подземелье?..

А может быть, считал себя не вправе издеваться над Племянником, который еще недавно был его верным сообщником. Соучастником его преступления! И вновь передо мной возникла загадка, которую еще предстояло понять, разгадать: «Зачем Глеб звонил Племяннику? Зачем просил его запереть нас в подвале? Зачем?!»

Мы подошли к двери, обитой ржавым железом, и я крикнул:

— Ну, как там дела? Какое у вас настроение?

Племянник стоял по ту сторону возле самой двери, как тигр возле металлических прутьев клетки.

— Откр-рой! — заорал он. — Откр-рой!

Все отскочили в сторону. Но я остался на месте. Я даже не шелохнулся. И с плохо скрываемой насмешкой произнес:

— Мы же освободились собственными силами. Без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь! Проявите инициативу, находчивость. Посидите, похудейте — тогда, может быть, пролезете через ту дверь, через которую мы...

— Я р-разнесу дачу! — кричал Племянник.

— Тетя будет очень огорчена, — спокойно ответил я. И обратился к своим друзьям: — Прошу вас наверх! К телефону. Прошу!

Все тихо мне подчинились. Мы вошли в комнату, которую когда-то снимал у тети Племянника Гл. Бородаев. Она переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.

Телефона я в комнате не увидел. И внутренне похолодел: неужели все мои старания оказались напрасными?

Но уже в следующий миг я внутренне отогрелся: Глеб поднял со стола старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним.

— Зачем это? — спросил я.

— Тетя очень боится... Если соседи, которые с других дач... То всегда будут просить... Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой!

— В каком смысле?

— Сразу соединяется с городом... Такой только дедушке... В благодарность...

К аппарату была прибита потускневшая пластинка: «Гл. Бородаеву от благодарных читателей».

Рядом лежала бумажка, на которой были записаны телефоны: милиции, «скорой помощи», пожарной команды и еще какой-то.

— Это чей? — спросил я.

— Тети Племянника, — сказал Глеб. — Она в городе. Он ей звонит. Сообщает...

— Понятно.

Острая наблюдательность немедленно подсказала мне, что никто не решается первым снять трубку. Вдруг отключен за неуплату? Или испорчен?..

Смелым движением руки я поднес трубку к уху: раздался гудок. Наташин телефон я знал наизусть. Но она не знала, что я его знал. И я не хотел, чтоб она об этом догадывалась: ведь я чуть не с первого класса звонил ей и долго дышал в трубку, а потом перестал дышать.

— Наташа, какой у тебя номер?

Она ответила. Я набрал... Послышался женский голос. Он был мне отлично знаком: раньше, услышав его, я сразу же вешал трубку. Но сейчас не повесил, а передал Наташе:

— По-моему, твоя мама.

— Мамуля,— сказала она так нежно, что острое чувство зависти вновь проникло мне прямо в сердце.

Если б она сказала таким голосом «Алик», я отдал бы все самое дорогое: новый велосипед (двухколесный!), и шариковую ручку, и бильярд с металлическими шариками!

Она продолжала:

— Нет, не из города... Мы еще здесь, на даче. Опоздали на электричку. Все хорошо. Ты не волнуйся. Я буду часов в одиннадцать. Попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Чтобы еще посидела с тобой... дождалась меня, если может. Попросишь? Честное слово? Нет, все хорошо! Сейчас мы на даче. Нет, не на улице. Ты не волнуйся. Просто опоздали на электричку. Целую тебя!

«Уж этого-то мне никогда не услышать!» — с плохо скрываемой грустью подумал я.

И вдруг она сказала:

— Спасибо, Алик!

— Не стоит. Пожалуйста...— ответил я и громко закашлялся, чтоб не услышали, как заколотилось в груди мое сердце.

Я вновь поднял трубку и протянул ее Мироновой: я уступал место женщинам!

— Сколько минут можно разговаривать? — спросила Миронова.

— Сколько хочешь. Ты же не в автомате.

— Разве не ясно? — задал вопрос Покойник.

— Что? — спросила Миронова.

— Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуют-

ся? И что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно?..

Он заговорил в своей излюбленной форме. Миронова быстро набрала номер. Я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью; угадывая и то, что ей отвечали.

— Валентин Николаевич! — закричала Миронова.

— Ты говоришь...

— Издалека! — закричала Миронова.

— Очень плохо...

— Слышно! — крикнула она. — Это потому, что я нахожусь за городом.

— Тебе нужно...

— Маму! Или папу. Или брата. Или сестру.

Я понял, что Миронова любит подсказывать не только учителям, но и соседям по квартире. Всем, кто старше ее. И главное!

Потом подошел брат, потому что Миронова назвала его по имени:

— Передай маме, Михаил, что я приеду в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут. Потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово!

— Ты приедешь в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут, — повторил брат Михаил. — Потому что ты опоздала на электричку.

— Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали! — строго поправила Миронова. — Повтори еще раз.

Он повторил. На этот раз без ошибок, потому что она повесила трубку. Не сказала ни «целую», ни «до свидания», а просто повесила. Я понял, что Миронова умеет не только подчиняться, но и приказывать. Тем, кто моложе ее. В том, что брат был моложе, я почти не сомневался, хотя она и называла его Михаилом. И все же, чтобы проверить свою догадку, спросил:

— Это младший твой брат?

— Он моложе на один год и семь месяцев, — ответила Миронова.

Острая наблюдательность и на этот раз не обманула меня.

Как только Миронова отошла от аппарата, Покойник, не дожидаясь моего приглашения, сам бросился к телефону.

Но его номер был занят.

— Разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? — ворчал Покойник. И неожиданно заорал: — Мамочка, это я! Телефон был так долго занят... Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? Ты узнала? Про все несчастные случаи?..

Его мама волновалась так, будто Покойник умер.

Потом Покойник зачем-то сообщал, что мы на даче одни, то есть без взрослых. Тут уж голос его мамы стал так ясно слышен, будто она была не в городе, а на соседней даче. Покойник объяснил:

— Нет, мы не сами... Нам Нинель разрешила!

— Зачем? Зачем ты это сказал?! — Я дернул его за рукав.

Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила Покойника не для того, чтоб его потерять.

Я вновь, как опытный детектив, представил себе весь разговор, хотя не все слова из трубки до меня долетали.

— Как ваша учительница могла это сделать? Ведь мы же ее предупреждали! — кричала мама.

— Когда предупреждали? — удивился Покойник.

И я еще раз понял, насколько лучше, если на родительское собрание идут не родители, а идет старший брат: Покойник не знал никаких подробностей.

— Ну, уж это последняя капля! — кричала мама, будто с соседней дачи.

— Как это последняя? В каком смысле? — продолжал удивляться Покойник.

Я понял, что его мама была среди тех, которые нападали на нашу Нинель.

Глеб пригнулся так низко, как не пригибался еще никогда.

— Иди! Твоя очередь! — сказал я с плохо скрываемой злостью.

— Я потом... После тебя... Я могу после...

— Еще бы: у тебя дома ведь никто не волнуется! Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал...

Никто из ребят нас не понял. Но мы хорошо поняли друг друга. Глеб заранее знал, что мы поздно вернемся. Он сделал для этого все, что мог. И, конечно, еще утром предупредил, чтоб его не ждали.

— О Нинель Федоровне ты не подумал? — тихо, немного приглушив свой справедливый гнев, спросил я. И угрожающе, но шепотом, чтоб другие не слышали, добавил: — Скоро я выясню все. Все мотивы! Зачем тебе было нужно?.. А? Потом объяснишь! А теперь звони. Как ни в чем не бывало! Иначе все догадаются раньше времени.

Он колебался.

— Звони, будто и у тебя дома волнуются!

Он подчинился.

— Мы тут... Я поздно... В одиннадцать... — сообщил он то, что его папа, сын писателя Гл. Бородаева, и раньше прекрасно знал.

Я издали обдавал Глеба холодной струей презрения. Но так, чтоб эта струя не попала случайно в других, то есть чтоб мой взгляд не перехватили и не догадались о чем-нибудь прежде, чем я закончу расследование.

Потом я узнал адрес Принца, записал его и набрал номер своего телефона. Он тоже долго был занят.

«Может быть, тоже звонят дежурному? — подумал я. — А может, Костя разговаривает со своими приятелями? Или еще хуже — с приятельницами? Тогда я дозвонюсь не скоро!» Телефон был занят минут пятнадцать, не менее. Но и не более, потому что я проверил по часам, которые были на руке у Наташи. У меня тоже были часы, но я старался как можно чаще обращаться к ее маленьким часикам. Брал Наташину руку, подносил к своим глазам. Это были незабываемые минуты!

Номер был занят, а я радостно улыбался. Все смотрели на меня с удивлением.

— Если так долго, значит, это наверняка Костя, — стал объяснять я. — Мой брат! Именно он должен сбегать к родителям Принца. Хорошо, что он дома!

Наконец я высказал Косте свою просьбу.

— А Нинель Федоровна с вами? — спросил он таким тоном, как обычно не спрашивают об учителях. — И она тоже просит меня?

— Да! — Я солгал. Но ради высокой цели!

— Тогда я сделаю это немедленно. Передай ей приветик! И сообщи, что я буду ходить на все родительские собрания. Пусть почаще их созывает. Салют! Я мчусь к родителям Круглова!..

Круглов — это была фамилия Принца.

Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что у всех стало хорошее настроение: мы уже не волновались за наших родителей, потому что они уже не волновались за нас.

Моя мама не была так тяжело больна, как Наташина. Но я часто думал о здоровье мамы и папы. Однажды я услышал по радио, что долголетие часто получают как бы в наследство от родителей, от бабушек и дедушек. Одним словом, от предков. Это меня очень обрадовало: мои бабушки и дедушки — все четверо! — были бодры и здоровы. Значит, их дети, то есть мама и папа, тоже должны были прожить очень долго!

Один дедушка был даже до того здоров, что лет десять назад развелся с бабушкой, которая тогда еще не была бабушкой в полном смысле этого слова и потому тоже смогла выйти замуж второй раз. Теперь иногда дедушка (по маминой линии) приходил к нам в гости, как говорили, «с молодой женой», а бабушка (тоже по маминой линии) приходила со своим «молодым мужем», который был старше ее лет на пятнадцать. Мы всегда встречали их очень гостеприимно. Единственное, за чем приходилось следить, это за тем, чтобы бабушка с мужем и дедушка с женой не приходили в один и тот же день, то есть, как говорил Костя, «чтобы не сталкивались».

Я поинтересовался однажды своими прабабушками и прадедушками, — оказалось, что они тоже жили на свете долго. Теперь оставалось мечтать только о том, чтобы врач, выступавший по радио, оказался прав: я очень надеялся на наследственность! Я очень хотел, чтобы мама и папа всегда были здоровы.

Еще я слышал о том, что дети переносят любые болезни гораздо легче, чем взрослые люди. И когда мама или папа заболели, я огорчался из-за того, что болезни внутри семьи нельзя распределять по своему усмотрению: я бы с удовольствием принимал на себя их гриппы, ангины, спазмы сосудов. И даже камни, которые где-то откладывались у папы, я бы, не задумываясь, взял и «отложил» где-нибудь у себя.

Я знал, что у взрослых от волнения повышается давление, сосуды сжимаются и происходит еще много такого, чего со мной никогда не случалось. В общем, мы вовремя позвонили!

Все смотрели на меня так, будто хотели вслед за Наташей сказать: «Алик, спасибо!..»

И хотя наши родители были уже успокоены, мне показалось, что телефон мы использовали не до конца.

— Давайте позвоним кому-нибудь из ребят! — предложил я.

Начали с Парамонова. Это был человек лет двенадцати с половиной, не более. Восторженность была его яркой особенностью. Он мог сделать слона не только из мухи, но даже из комара. Я знал, что, если позвонить Парамонову, он растрезвонит об этом звонке на всю школу.

— Парамонов, — произнес я в трубку чуть приглушенным, таинственным голосом. — Привет тебе прямо со старой дачи!

— Вы еще там?

— А где же нам быть?

— Потрясающе! С Нинель Федоровной?

— Нет, абсолютно одни.

— Просто не верится!

— Приезжай посмотри!..

— Одни... в целой даче?

— Да. Она полностью в нашем распоряжении.

— Потрясающе!

— Мы вернемся глубокой ночью.

— Не может быть...

— Позвони ко мне домой и проверь у родителей. Или к Покойнику... Уж родители не соврут!

— Почему же так поздно?

— Мы сидели в подвале.

— Долго?

— Четыре с половиной часа. А может быть, больше.

— Потрясающе! Что вы там делали?

— Раскрывали страшную тайну.

— И раскрыли?

— Да, мы раскрыли. Тайну скелета!

— Кого?

— Скелета, скелета... Не удивляйся!

— Настоящий скелет?

— А ты думал — игрушечный?

— Чей?

— Трудно сказать с абсолютной точностью. Мы не были с ним знакомы...

— Вы в той самой даче? Которая описана в повести? Ну, в той, в которой исчез человек!

— Мы тоже могли исчезнуть. Но мы боролись!

— Их было много?

— Один человек.

— Всего один? А вас целый литературный кружок!

— Если бы ты видел его, ты бы понял... Но мы победили. Теперь он наказан и находится в заточении. Мы посадили его в подвал!

Потом мы стали звонить другим своим одноклассникам.

— Слушайте старую дачу! — говорил я. Или так: — На проводе — старая дача! Мы вернемся глубокой ночью...

Нам завидовали и поэтому сомневались:

— Наверно, сидите дома?

— Можете проверить у наших родителей. Уж родители не соврут!

Чтобы Наташа не сочла меня в чем-то нескромным, я говорил: «Мы боролись... Мы разгадали... Мы посадили в подвал...» Хотя на самом деле боролся с Племянником я один и я один загнал его в подzemелье. «Пусть для своих одноклассников я буду пока безымянным героем, зато для Наташи навсегда останусь скромным и благородным!» Эта мысль меня утешала.

— Разве нам не пора на станцию? — спросил Покойник.

— Пора, мой друг, пора! — со вздохом ответил я: мы не успели обзвонить всех — в нашем классе училось сорок два человека.

Время у нас еще было, но сомнения меня подгоняли: «А если я снова что-нибудь перепутал? А если электричка придет раньше, чем полагается?..»

— Бежим! — сказал я. Ходить мы в тот день вообще разучились.

— Но сначала надо выпустить из подвала Племянника, — сказала Наташа.

— Зачем его выпускать?

— Чтобы он там не умер.

— О, как ты добра! — воскликнул я и прижал руки к груди.

— Пусть сидит «за решеткой, в темнице сырой», — сказал Покойник. — Разве он не заслужил наказания?

— По-моему, он свое отсидел, — сказала Наташа. И взглянула на часики.

— Мы сидели гораздо больше, — возразил я. — Хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?

Мне не хотелось ей возражать. Выполнять любое ее желание — вот что было моей мечтой! «Но как же нам его выпустить? Каким способом? — молча рассуждал я. — Пожалуй, освободить его из подвала еще трудней, чем загнать туда!»

Мы вышли из комнаты и стояли возле лестницы: она вела прямо к железной двери, которая вела прямо в подвал.

— Он ведь не сам... Это же я... — тихо начал Глеб.

— Молчи! — Грозным шепотом я закрыл ему рот: не хватало еще, чтобы он сознался и сам все раскрыл. Нет, это должен был сделать я, Детектив!

— Наташа права, — сказал добрый Принц Датский. — По-моему, племянник Григорий уже осознал... Сидит тихо.

Как раз в эту минуту из подвала донеслось:

— Откр-рой! Слышишь, парнек? Сломаю стену! Оторву тебе голову!

— Я готов пожертвовать своей головой! Но она еще может вам пригодиться: следствие не закончено! — крикнул я, перегнувшись через перила, чтобы Племянник услышал. — Кое-что мне неясно... Следствие будет доведено до конца! До победного! И, может быть, я найду смягчающие вину обстоятельства. Так что сидите тихо!

Я взглянул на Глеба. Он пригнулся, и нежная, бархатная кожа его лица покрылась нервными пятнами. Я пощадил Глеба и не стал объяснять, что именно я уже выяснил и что осталось неясным. Кроме того, по всем правилам я не мог его обвинять, не установив мотивы совершенного преступления. А может быть, среди этих мотивов действительно найдутся смягчающие вину обстоятельства? Для Глеба и даже, может быть, для Племянника. Законность! Прежде всего законность!..

— В конце концов, я могу пожертвовать своей головой, — повторил я. — Но одной головы ему будет мало... А вами я рисковать не могу! — и взглянул на Наташу.

— Откр-рой! — орал из подвала Племянник. — Дачу сожгу! Не пожалею себя!

— Вот видите: он себя не хочет жалеть. А вы думаете, что он пожалеет вас. О, как вы доверчивы!

— Что же делать? Время идет, — сказала Наташа. — Где выход, Алик?

Все повернулись ко мне. И в их глазах я прочел надежду, которую не мог обмануть!

Судьбе было угодно, чтоб именно в ту минуту мой взор проник прямо в комнату, дверь которой была открыта, и упал прямо на бумажку, лежавшую возле телефонного аппарата. На ней (я это запомнил!) были написаны номера милиции, «скорой помощи», пожарной команды и тети Племянника. Идея тут же, без всякого промедления озарила меня.

— Мы позвоним тете, она завтра утром приедет и освободит его!

— Вон... На бумажке... — подсказал Глеб.

— Спасибо, — ответил я таким тоном, будто нуждался в его подсказке. Мне вдруг захотелось самому подкинуть Глебу какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Дать ему возможность чем-нибудь искупить... Хотя каждый раз, когда я взглядывал на него, один и тот же вопрос обжигал меня: «Зачем? Зачем он все это сделал?!»

— До утра держать человека в подвале нельзя, — сказала Наташа.

— Человека нельзя. Но Племянника...

Второй раз в жизни я возражал ей. Это было невыносимо!

— Жестокостью нельзя победить жестокость, — сказала Наташа.

Я был уверен, что эту мысль она обязательно должна записать в тетрадку. Хотя я с этой мыслью и не был согласен. Доброта к противнику — не жестокость ли это? И можно ли, пожалев противника, не наказать при этом себя? Такие сомнения терзали меня и чуть было не растерзали совсем.

Я был уверен, что и мои мысли попадут в общую Наташину тетрадь, когда она наконец станет общей в самом прекрасном смысле этого слова: ее и моею!

Может быть, Наташины мысли были благородней моих. Но с благородными мыслями, как я понял в тот день, очень

много мороки: очень уж они осложняют жизнь. Позвонили бы тете — и все. Так нет же: нельзя держать человека в подвале!

— Освободить должен кто-то один, — сказал я. — А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.

Все подумали, что навстречу опасности непременно отправлюсь я. В глазах друзей я прочел нетерпеливое ожидание моего подвига. Именно моего! Что ж, я сам их к этому приучил. И вдруг Наташа сказала:

— Ты не пойдешь.

И хоть на этот раз я отправляться на подвиг не собирался, но в ответ на ее слова грустно вздохнул и сказал:

— А почему бы мне не пойти?

— Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.

«Значит, она дорожит моей головой!» Эта мысль заставила меня устремить все свои силы на поиск решения.

Взор мой стал напряженно блуждать по комнате и остановился на Глебе. Он не пригнулся, не спрятал глаз. В тот день я все время читал что-нибудь в чужих глазах. На этот раз я прочел: «Дай мне возможность помочь вам и искупить...»

Я отвел Глеба в сторону:

— Понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали из-за тебя?

— Понимаю.

— Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал!

— Я сам... Хоть сейчас...

— Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь! Пойми: решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда... Одним словом: готов ты на подвиг?

— Я бы... Конечно... Если бы...

— Никаких «если бы»! Готов или нет?

— Готов.

— Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда Племянника. Только тебе одному он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники. Соучастники преступления!

— Да он меня... Ведь это же я его сначала... А потом с вами вместе... Он не простит!

— О, как ты наивен! Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для Племянника все должно выглядеть так... Ты не с нами. Ты против нас! Запомнил? Сначала мы силой вытащили тебя из подвала, потому что ты, как верный сообщник Племянника, хотел там остаться. Запомнил? Потом ты все время рвался выполнить свой долг соучастника преступления и освободить Племянника из подземелья. Чтобы ты так сильно не рвался, мы тебя связали веревками. А сами убежали на станцию... Тогда ты нечеловеческими усилиями воли порвал веревки, кинулся на помощь сообщнику и освободил его! Запомнил? Можешь не повторять: нету времени! Скажи: ты согласен?

— Согласен... Но если он вдруг...

— Риск — благородное дело. А тебе сейчас как раз самое время совершить что-нибудь благородное. Ты согласен?

— Согласен...

Перед всеми остальными я раскрыл лишь часть этого плана: ведь они не знали, что Глеб был сообщником...

— Мой скромный замысел осуществит Глеб Бородаев! — сказал я. — Чтобы наш бедный узник не растерзал его, все будет выглядеть так... Поскольку дедушка Глеба таскал Племянника на руках, Глеб будто бы сразу хотел освободить его из заточения. Но мы не давали. И даже связали бедного Глеба. Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимает своего благородного освободителя! А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел Покойник. Помните? Так... Теперь остается его связать!

— Кого? — испуганно прошептал Покойник.

— Глеба, конечно! Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вел с нами. Синяки, царапины... У тебя нет синяков?

— К сожалению, нет... — виноватым голосом сказал Глеб.

— Поищи! Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы Племянник увидел их!

Глеб оглядел свои руки.

— А на теле? Поищи как следует!

Девочки отвернулись.

— Нигде нету... Ни одного синяка... — грустно сообщил Глеб.

— И царапин нет?

— Ни одной...

— Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально! — сказал я. И добавил тихо, на ухо Глебу: — Хотя ты это и заслужил.

— Как же теперь... Что делать? — спросил Глеб.

— Ну, хотя бы расстегни рубашку, оторви от нее несколько пуговиц... Но не выбрасывай их, а держи в кулаке: покажешь Племяннику. Это будет вещественным доказательством!

Глеб оторвал пуговицы прямо, как говорится, с мясом: очень уж он хотел добиться смягчающих вину обстоятельств!

— Теперь как следует растрепи волосы! Так... Хорошо. Теперь главное: мы перевяжем твое туловище веревкой. А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими английский замок. Или лучше так: привяжем тебя к стулу. И ты прямо со стулом на спине пойдешь его выпускать. Выберем стул полегче. Вот этот, плетеный...

— Я и тяжелый... Пожалуйста...

Глеб был готов на все!

— Давайте веревку, — скомандовал я.

Но никто мне ее не дал. Веревки не было...

— Может быть, без нее обойдемся? — сказал Покойник, которому очень уж не терпелось поскорее удрать на станцию.

— Не обойдемся! — ответил я. — Царапин нет, синяков нет!.. Еще и веревки не будет? Надо побольше доказательств борьбы, которую вел с нами Глеб. Чтоб Племянник поверил. Мы не можем рисковать жизнью товарища! — И тихо шепнул Глебу на ухо: — Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть.

Я все время забывал о священном правиле: не закончив расследования, не предъявляй обвинения! Забывал и спохватывался. Спыхватывался и опять забывал...

Но Глеб не обижался. Острое чувство вины терзало его.

— Там, на чердаке... — сказал он. — Сушат белье... Значит, веревки...

— На чердаке? — переспросил я.

— Наверху... Там темно. И вообще...

— Покажи дорогу!

— Я с вами! — сразу вызвался благородный Принц Датский.

— Нет, оставайся здесь, — сказал я. — Вдруг Племянник вырвется на свободу! Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить!

— А я? — тихо спросил Покойник. — Разве я...

— Да, конечно! Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай...

Мы с Глебом отправились на чердак. Когда мы уже выходили из комнаты, нас догнал голос, который я не мог спутать ни с каким другим на всем белом свете:

— Осторожно!

Одно только слово... Но в нем было все, о чем я мечтал: тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать! Так провожают на подвиг. Что встретит нас там, на чердаке? Этого никто бы не мог сказать.

Сперва мы поднялись на второй этаж, где была комната, из которой обычно несло: «Ах, вы живы? А мы вас — бац! — по загровку! Ах, вы еще трепыхаетесь? А мы вас по шее — трах!» Из комнаты выползала полоска света. Я заглянул... На столе, который был без скатерти и даже не был накрыт газетой, валялась колода карт. Горела лампочка без абажура. Наверх вела лестница без перил.

— Сюда... — сказал Глеб.

Мы стали подниматься еще выше по лестнице, которая ворчливо заскрипела, хотя она и не была описана в повести Гл. Бородаева. Над ней навис бревенчатый потолок без штукатурки. Да, все здесь было какое-то голое, словно бы неодетое: стол без скатерти, лампочка без абажура, потолок без штукатурки, лестница без перил...

Мы шли вперед без страха!

Я сначала нащупывал в темноте ступеньку, а потом уже делал шаг: одно неосторожное движение, и я бы полетел без всякой надежды ухватиться за перила, которых не было.

Наконец мы достигли цели! Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахло гнилью и сыростью.

Я снова был в родной детективной обстановке: темно,

таинственно, сквозь треугольное окно ветер заносил свист и холодные капли...

Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью: на улице, как прежде, шел дождь.

Окно было без стекол, а веревки, протянутые через весь чердак, без белья. И тут тоже все было голое, неодетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось!..

Казалось, из мрачных, глухих углов на нас вот-вот что-то набросится.

Но этого, к сожалению, не случилось.

Протянув вперед руки, мы пошли нетвердой походкой по нетвердому земляному полу в глубь чердака.

И вдруг я увидел человека... Он висел под потолком в белой одежде. И качался... Мужество, которое весь день было со мной, внезапно меня покинуло.

— Что?.. Что это? — прошептал я и отступил назад нетвердой походкой по нетвердому полу.

Наверно, слова от ужаса застревали во рту, и Глеб их не слышал. Собрав последние силы, я крикнул:

— Что это?!

— Рубашка, — ответил Глеб. — Григорий постирал... И повесил... Ветер ее того... раздувает...

«О, как хорошо, что Наташа осталась там! — пронеслось у меня в мозгу. — Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло, хоть я стоял на ногах!»

Глеб торопился отвязать одну из веревок. Он очень старался: ему нужно было набрать побольше смягчающих обстоятельств.

Противоречивые чувства разрывали меня и чуть было не разорвали совсем. С одной стороны, я был благодарен Глебу за то, что он был свидетелем моего минутного падения, но не заметил его — то ли из-за темноты, то ли из-за того, что был занят веревкой. Но с другой стороны, я понимал: если бы не Глеб, мои нервы не расшатались бы и не дошли бы до такого ужасного состояния. Зачем же он совершил то, что он совершил? С какой целью? Это мне было еще неясно.

Через несколько минут мы спустились в комнату Гл. Бородаева.

Внук писателя нес веревку, которой мы должны были его связать.

— Волосы у тебя в порядке: растрепаны! — сказал я, внимательно осмотрев Глеба. — Рубашка в порядке: без пуговиц!

— Может быть, и на пальто оторвать? Две или три? — предложил Глеб. Он готов был на все!

— Нет, не надо. Еще замерзнешь! — Я читал, что к подследственным надо проявлять доброту или, верней сказать, чуткость. — Теперь осталось только привязать тебя к стулу. К самому легкому, вон к тому...

Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен. И мы привязали его к плетеному стулу. Его спина и спинка стула были тесно прижаты друг к другу.

— Запомни: ты так отчаянно рвался на помощь Племяннику, что нам пришлось тебя привязать! Впопыхах мы не рассчитали, что стул легкий и ты можешь бегать по даче вместе с ним. Запомнил? И главное: мы давно удрали. То есть покинули дачу... И уехали в город. Чтобы Племянник не устроил погоню. Усвоил?

— Усвоил.

— Сколько времени потребуется тебе на эту операцию?

— Не знаю... Минут десять... Или пятнадцать...

— Сверим часы!

— У меня нет часов.

— Ну ладно. Ждем тебя возле того самого пня ровно четверть часа! Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас?

Она протянула мне руку. Я взял ее руку в свою. И долго держал.

— Что, плохо видно? — спросила Наташа.

— Нет... просто я хочу дождаться, пока будет ровно двадцать часов двадцать минут. Хорошо запоминается: двадцать двадцать!

Она тоже взглянула на часики:

— Но ведь надо ждать еще целых три минуты.

— Ничего, я подожду.

Ровно в 20.20 я воскликнул:

— Операция начинается! Ты, Глеб, ничего не забудешь? Племянник должен поверить: мы давно покинули дачу! И уехали в город... А на самом деле ждем возле пня!

— Не забуду...

Я приблизился к Глебу и шепнул:

— Ну, а если... Считай, что мы тебя простили. Однако я надеюсь, что мы еще встретимся!

— Я тоже...

— Теперь все — на улицу! На цыпочках! Чтоб Племянник ничего не услышал, — скомандовал я.

Не только Миронова, но и все остальные охотно подчинились приказу, потому что Племянник изо всех сил барабанил по ржавому железу, и казалось, он вот-вот высадит дверь.

Глеб остался один, с растрепанными волосами, со стулом на спине и в рубашке без пуговиц.

Мы на цыпочках покинули «старую дачу» и опять побежали.

Природа между тем продолжала жить своей особой, прекрасной жизнью, но уже в темноте. А что может быть печальнее опустевшего осеннего поселка! Да еще в вечернюю пору... Несколько раз я жил летом на даче. И вот, когда в конце августа одна дача за другой пустели, становилось тоскливо и одиноко. Ну, а тут уж во всем поселке не было ни огонька! И мы то и дело попадали в лужи, в ямы, в канавы.

Мы вновь стали огибать сосновый лес, который днем был красивым, молоденьким, а сейчас потемнел и насупился, будто за один день постарел. И все деревья казались мне издали притаившимися злоумышленниками... Утром я бы этому, конечно, обрадовался. А тут даже дождь, и сыкость, и сырость не радовали меня. Мне неожиданно захотелось домой, в теплую комнату... Но это было только минутной слабостью! Я ей не поддался. Я отбросил ее. Верней сказать, отшвырнул!

— Разве это не мой пенёк? — воскликнул Покойник. И снова уселся на самую середину: другим уже сесть было некуда. И так же, как прежде, все у него дышало: и нос, и живот, и плечи. Я это чувствовал в темноте.

— Уступи место женщинам! — сказал я.

— Разве мы в трамвае? Или в троллейбусе? — усмехнулась Наташа. — В лесу вежливость ни к чему.

Покойник вскочил. Но она не села. И даже Миронова продолжала стоять.

— А еще лирик! — сказал я Покойнику. — Посвящаешь стихи красавицам! — И тихо добавил: — Несуществующим...

— Не надо трогать Покойника, — попросил добрый Принц. Он по-прежнему думал, что Покойник испытал уже счастье любви. А чужие чувства Принц уважал.

— Согласен: не будем ссориться в такую минуту! — сказал я. — Что там сейчас с нашим Глебом?

Я сказал «с нашим», потому что, представляя себе, какой опасности (может быть, даже смертельной!) подвергал себя Глеб, я готов был забыть о его вине, о его преступлении. «А если Племянник ему не поверит? — думал я. — А если, разъяренный, выскочит из подвала и набросится на беззащитного Глеба? Или затолкает его в подвал и запрет?»

Да, я готов был простить Глеба, потому что в тот момент он совершал подвиг во имя нас всех!..

— Конечно, можно было бы и не выпускать Племянника, — сказал я тихо.

— Можно ли так поступать с человеком? — ответила мне Наташа.

Под холодным дождем она думала о справедливости!

— Сколько сейчас времени? — спросил я у нее.

— В темноте не вижу, — сказала Наташа.

— Дай руку. Я разгляжу!

Она протянула руку, и я долго разглядывал.

Потом я еще два или три раза просил ее дать мне руку и снова долго разглядывал, потому что трудно было увидеть, рассмотреть стрелки. И вообще... Наконец я стал волноваться! Пятнадцать минут прошло. А Глеба все не было.

«Он пожертвовал собой и тем искупил вину, — думал я. — А я был с ним недостаточно чутким... Правда, я не проявлял грубости. Но все-таки упрекал его. А он один на один, связанный и растрепанный, со стулом на спине, встретился в подземелье с Племянником. Не каждый бы на это решился. Вот Покойник бы ни за что не пошел! А я сам?»

На последний вопрос мне трудно было ответить. И я, чтоб не думать об этом, еще раз взглянул на Наташины часики. Прошло уже двадцать минут.

Это было ужасно... «Во-первых, вероятно, погиб Глеб, — думал я. — А во-вторых, до электрички остается совсем мало времени. Уж если мы опоздаем на этот раз, нам не добраться до дому раньше завтрашнего утра. А как мы сообщим об этом родителям? Никак! По телефону те-

перь уже не позвонить: Племянник выпущен на свободу! Наши мамы и папы просто погибли. Не в прямом смысле слова, а в переносном... Хотя некоторые, может быть, и в прямом. Особенно мамы! За пап я как-то меньше волнуюсь. А где ночевать? Не пойдём же мы в гости к Племяннику! Может быть, уехать без Глеба? Нет, невозможно. Помочь ему? Как?!»

— С Глебом что-то случилось, — с плохо скрываемым беспокойством сказал я.

— Это из-за меня, — сказала Наташа. — Я виновата. Я!..

В лесу, в темноте, под холодным дождем она продолжала думать о справедливости!

— О, не казни себя! — воскликнул я шепотом, чтоб не слышали остальные.

Она с плохо скрываемым испугом отодвинулась от меня.

— Ты не виновата, — уже спокойно, нормальным голосом сказал я. — Это же я запер Племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода. Значит, никто не виноват. Такова жизнь!

— Сэ ля ви! — воскликнул Покойник. Он любил встречать в чужой разговор.

Это самое «сэ ля ви» было известно каждому первокласснику, но Покойник произнес так, будто знал французский язык. Вообще, убежав со «старой дачи», он осмелел.

— Еще возможна погоня, — сказал я.

И Покойник сразу заговорил обыкновенно, по-русски:

— Какая?

— Племянник!.. Ну, а если Глеб не вернется, нам придется освободить его!..

Покойник умолк.

«Что же делать? — рассуждал я. — Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так, так, так... Где же выход? Может быть, мне одному остаться, а всем другим немедленно мчаться на станцию?»

Я предложил это. И затаив дыхание ждал, что мне ответят: оставаться одному все-таки не очень хотелось.

— Давай вдвоем, — предложил Принц Датский.

— Пусть женщины уедут! — воскликнул я. Посмотрел на Покойника и добавил: — И ты с ними.

Покойник не возражал. Но Наташа не согласилась:

— Еще есть минуты. Несколько минут... Подождем. Одного я тебя не оставлю.

Меня! Одного! Хотя и Принц тоже хотел остаться... Она сказала про меня одного!

Если б это было не в холодном лесу, а в какой-нибудь другой обстановке, я бы, наверно, умер от счастья. А так я остался жить.

Хотя в следующую минуту могло показаться, что все мы умерли. Все пятеро! Потому что все мы затихли, прислушиваясь к тому, как чьи-то пятки шлепали по лужам и грязи. Они шлепали очень звонко... И вот появился Глеб. Вернее сказать, возник!

— Что у тебя в руках? — спросил я.

— Ботинки... Чтобы не падать... Скорее! Скорее... Погоня!

— Где?

Мы помчались!.. Но, даже задыхаясь от бега, я все-таки умудрился спросить Глеба:

— Он?

— Да... Очень был благодарен...

— Благодарен?!

— Ну да... Очень хотел... Меня до станции... А их, говорит, убью! Ну, я и... Пока он за плащом...

Глеб, как всегда, не дотягивал фразы. Но тут уж можно было его понять: сколько он пережил!

«А все-таки, если б не он, вообще бы ничего не случилось! — опять пришла мне на бегу упрямая мысль. — Значит, все равно будет дорасследование. Я обязан довести до конца!..»

Глеб теперь был с нами, я уже за него не волновался, и желание забыть все и простить куда-то сразу исчезло.

Так иногда бывало дома со мной... Если мама начинала меня ругать, я убегал и долго слонялся по улицам. Или сидел где-нибудь у товарища. А когда возвращался, мама вновь за меня принималась. И тогда Костя по секрету мне сообщал: «Пока тебя не было, она волновалась, и называла тебя ласковыми словами, и готова была простить... А вот появился, успокоилась — и опять за свое. О женщины! Кто их поймет?» Я не был женщиной. Но с Глебом у меня получалось так же, как у мамы со мной. Сэ ля ви!

На этом мои рассуждения прекратились. Прервались. Потому что сзади мы слышали топот ног. Тяжелый, увесистый...

— Это Григорий...— с ужасом, задыхаясь то ли от бега, то ли от страха, прошептал Глеб.— Он вас... И тебя первого! Он обещал...

Я тоже не сомневался, что Племянник выполнит свое обещание. И убьет меня! Или в крайнем случае оторвет голову...

— Надо уйти от погони! Успеть! — скомандовал я шепотом, чтобы Племянник не слышал моего голоса.

Покойник бежал впереди... Но и меня покидало мужество.

— Быстрее! Быстрее! — крикнул я во весь голос. Шептать было уже бессмысленно: Племянник наверняка видел нас. Его горячее, злое дыхание было у нас за спиной.

Я обернулся.. Ну да, это он! Племянник!.. Огромная темная фигура с каждой секундой приближалась, нагоняла нас...

«Все погибло! Мы не справимся с ним,— промелькнуло в моем сознании.— Но если даже возникнет борьба и мы неожиданно возьмем верх, победим его, электричка все равно за это время уйдет... Да мы и не победим! Женщины и Покойник не в счет. Остаемся мы трое — Принц, Глеб и я. Но как еще поведет себя Глеб? Неизвестно. Ведь это он все придумал! Он!.. Все случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с Принцем вдвоем... Наташа, конечно, бросится мне на помощь. Но я этого не допущу. «Спасайся! Беги!» — крикну я. И прегражу Племяннику путь своим телом!»

Все эти мысли пронеслись в моей голове за какое-нибудь мгновение. Топот погони был уже рядом... Совсем рядом! И злое, обжигающее мне спину дыхание Племянника... Вот сейчас! Сейчас все погибнет! Все мои усилия и находки окажутся ни к чему. Еще один его шаг... Только один! Ужасный, тяжелый... И он поравняется с нами! Уже поравнялся. Уже!..

— Опаздываем, ребята? — раздался рядом взволнованный мужской голос.

Я повернул голову — и увидел (уже не сзади, а сбоку!) высокого мужчину в плаще и с портфелем.

— Опаздываем на электричку? — переспросил он.

— Разве? — ответил я, готовый обнять и расцеловать его.

— Увидел, что вы бежите, и тоже помчался. Хоть мне и нельзя: сердце выскакивает...

«Наверно, больное! Как у Наташиной мамы...» — подумал я. Я любил этого незнакомого человека в плаще. Я обожал его!

Глава XII,

самая короткая и самая последняя (в этой повести!)

С одной стороны к платформе неумолимо приближалась электричка, а с другой приближались мы.

«Если бы мы успели, тогда бы все наши родители остались живы в прямом и переносном смысле этого слова! Тогда все мои догадки, находки, сомнения и мучения оказались бы ненеправильными!» С этой мыслью я взбежал на платформу.

Судьбе было угодно, чтобы как раз в этот момент и электричка тоже поравнялась с нею.

— Садитесь! — крикнул Глеб. — А я билеты...

— Не надо! — ответил я.

«Лучше пусть нас всех оштрафуют, но зато родители будут живы-здоровы!» Я успел так подумать, но не успел объяснить это Глебу, потому что он уже ринулся к кассе. Он хотел совершить еще один подвиг: ему нужны были смягчающие вину обстоятельства!

Машинист высунулся из окна и глядел вдоль состава. Никто не вышел, и никто, кроме нас, не собирался садиться. Мужчина в плаще, оказывается, ждал электричку из города и вообще зря торопился.

Проводница последнего вагона помахала зеленой лампочкой: можно было трогаться. С ее точки зрения...

Что было делать? Вскочить в вагон и уехать без Глеба? Покойник вскочил. А все остальные не знали, как поступить. Покойник высовывался и печально глядел на нас всех:

— Разве не ясно? Она сейчас тронется...

А Глеб все еще стоял, пригнувшись, возле окошка кассы.

Двери вздохнули, словно сочувствуя нам, и медленно

стали закрываться. Голова Покойника все еще торчала, и казалось, двери вот-вот зажмут ее с двух сторон.

В какую-то миллионную долю секунды идея озарила меня.

— Осторожно, ребенок! — заорал я. Я знал, что эти слова — «Осторожно, ребенок!» — всегда очень сильно действуют.

Двери, не успев прихлопнуть Покойника, медленно поехали обратно.

— Где ребенок?! — крикнул испуганный машинист.

— Во-он! — неопределенно ответил я, зная, что время неумолимо работает на нас.

— Да где же?

— Во-он! — Я указал на печальную физиономию Покойника, который все еще высовывался из тамбура.

— Я думал, он под колесами...

— Большое спасибо! — ответил я машинисту, потому что необходимая нам минута была окончательно выиграна: Глеб бежал от кассы с билетами.

Мы ворвались в вагон! Двери облегченно вздохнули, словно были рады за нас, поехали навстречу друг другу, захлопнулись... И мы наконец-то отправились в город, домой!

Мы успели на последнюю электричку! Наши родители были спасены. Чувство законной гордости переполняло меня.

— Вот... билеты! Купил... — сказал Глеб, садясь рядом со мной.

— Не думаешь ли ты так дешево откупиться? — шепнул я ему.

И сразу же пожалел о своей необдуманной фразе: ведь расследование еще не было закончено. Значит, никакой грубости! Я все должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия!

Вагон был пустой... Я пошел в самый конец, сел на лавку и позвал:

— Глеб, если хочешь, подойди, пожалуйста. Если хочешь...

Он подошел и снова сел рядом.

— Нет, сядь напротив: я должен видеть твое лицо. Займемся мотивами...

— Какими? — спросил он, вздрогнув. И пересел.

— Мотивами преступления.
— Ты потом все Наташе...
— Ни за что! Никому! Можешь быть абсолютно споко-
ен. И откровенен, как с родным человеком!
— Нет, пусть она обязательно... Я не хотел, чтоб ее
мама... Я по другой причине.— Вдруг он громко, прямо
на весь вагон крикнул: — Наташа!..

Она подошла и села возле него.

— Я думал все выяснить тайно, но Глеб хочет, чтоб
и ты слышала, знала...

— Что слышала?

Я уже не злился на Глеба: он дал мне возможность
рассказать Наташе обо всем, что я выяснил там, в подвале,
обо всех своих догадках, находках, открытиях. И я расска-
зал... Ведь он сам попросил об этом!

— Пойдем дальше,— сказал я.— Итак, мы установили,
что Нинель не звонила. И ехать сюда нам одним не разре-
шала. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько по-
думай!

— Моя двоюродная сестра,— еле слышно признался
Глеб.

— Так, так, так... Вот, значит, зачем ты из всех болез-
ней выбрал для Нинель именно ангину: болит горло, голос
хриплый и не похож. Понятно, понятно... Зачем же тебе
нужно было, чтоб мы поехали без нее? И чтоб все думали,
что Нинель разрешила? Не торопись. Правду, одну только
правду! Ничего, кроме правды!..

— Мне мама рассказала про собрание... Там некоторые
родители... За то, что Нинель нам самостоятельность... Ну,
разрешала одним ездить на стадион и вообще... Говорили,
что если она еще...

— Стоп! — крикнул я, потому что испугался, как бы
Глеб все до конца не раскрыл, не рассказал сам.

А между тем догадка озарила меня так ярко, как ни-
когда еще раньше не озаряла! И я мог продолжить его
рассказ, окончательно доказав, что прозвище свое ношу
недаром, не просто так.

— Следите за мной! — торжественно сказал я.— След-
ствию все абсолютно ясно. Конечно, я должен во всем со-
мневаться. Но я не сомневаюсь, что было так... Именно
так! И никак иначе! Ты, Глеб, решил: если Нинель еще
раз предоставит нам самостоятельность (да еще какую:

разрешил одним ехать за город!), родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более, что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдем дальше! Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра... А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей все равно сказали бы: «Вы приучали их к самостоятельности — и вот результат!» Знаем мы наших родителей! В общем, твоей целью было всех их разволновать. Так, так, так... Состав преступления налицо! Ты хотел, чтоб мы не успели на электричку, и попросил Племянника запереть нас в подвале. А следующая электричка вот эта. Мы возвращаемся чуть ли не ночью... Родители в панике! Нинель уходит. А к тебе, наоборот, все снова приходит: кружок имени дедушки, уголок имени дедушки... Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своем дедушке, опять становишься почетным членом кружка! И вообще самым почетным в классе... И даже во всей нашей школе!

Глеб молчал. Расследование было закончено. И тут уж я позволил себе сказать:

— Это подлость.

Наташа покачала головой.

— Он не так уж и виноват.

— Он?!

— Конечно... Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами! Он любил собак. Но мы заставили его о них позабыть...

— О, как ты добра! — крикнул я.

В пустом вагоне мой голос усилился, и все обернулись. Миронова подняла руку. Но я ей слова не дал.

— Очень страшная история... — тихо, чтоб никто, кроме нас троих, не услышал, сказала Наташа.

— Еще бы: столько часов просидели в подвале!

— Это не так уж страшно.

— Не так уж? А что же страшно?

— Когда начинают ни за что ни про что восхвалять человека!

— А как быть с Нинель? — спросил я. — Вдруг некоторые родители все же поднимут шум: «Предоставила самостоятельность — и вот результат. Приехали ночью!» Мама Покойника, например...

— Возьмем мам и пап на себя, — сказала Наташа. — Объясним, растолкуем! Дети должны отвечать за родителей.

Это была прекрасная мысль. И все-таки я сказал, кивнув на Глеба:

— Расследование закончено, обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд.

Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем. Румянец покрыл его лицо, но он уже был не ровный, не бархатный, а нервный, пятнистый. Плечи его судорожно вздрагивали. Предчувствие подсказывало мне, что он вот-вот разревется или, вернее сказать, разрыдается.

— Слезами горю не поможешь, — сказал я. — Так учит народная мудрость.

— Глеб помог нам не слезами, — сказала Наташа. — Он один спустился в подвал к Племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал! Как и все остальное...

Наташа посмотрела на меня таким взглядом, о котором я не мог и мечтать! В нем была благодарность. И даже... Но, может быть, это мне показалось.

— Все в твоей власти! — воскликнул я. — Ты хочешь его простить?

— Нет... Я не знаю. Но, по крайней мере, скажу тебе вот что... Если слабый и глупый человек жесток — это противно. Но если умный и смелый жесток — это страшно. Такой человек обязан быть добрым.

Умный и смелый!

Чтоб услышать от нее эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть!

П о с л о в и е

Судьбе было угодно, чтоб на этом кончилась моя первая детективная повесть. Но предчувствие подсказывает мне, что не последняя!..

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ



МОИМ ДОРОГИМ ДРУЗЬЯМ —
РЫЦАРЯМ ДЕТСКОГО ТЕАТРА

На углу, возле театра, стояла застекленная автоматная будка. Телефона в ней не было: его убрали по просьбе Ивана Максимовича. Автоматные разговоры казались ему легкомысленными и поэтому не могли происходить по соседству с детским театром.

Иван Максимович вошел в будку и стал наблюдать, как ребята шли в театр. Он часто делал это перед началом спектаклей. Будка, по мнению Ивана Максимовича, отделяла его от того, что происходило на площади: он мог оценивать события как бы со стороны, а ребята могли вести себя непосредственно — они не знали, что директор театра за ними следит. Кроме того, они не знали, что Иван Максимович — директор театра. Поэтому опасения его, в общем-то, были напрасны... Но он боялся хоть на миг убить детскую непосредственность! Это было то качество, которое Иван Мак-

симович очень ценил в других и ненавидел в себе: оно приносило ему большое уважение коллектива и еще бóльшие неприятности.

Застекленная автоматная будка была знаменита. Ее называли «наблюдательным пунктом», «кабинетом директора», «барокамерой» и как-то еще.

Наблюдать за событиями, которые происходили на площади, «как бы со стороны» Ивану Максимовичу всегда удавалось не более двух или трех минут. А затем происходило что-нибудь такое, что заставляло его покидать свой наблюдательный пункт и превращаться в участника происходящих событий.

«А все-таки сейчас, ранней осенью, наш ТЮЗ не тот, что зимой, когда рано темнеет и ребят встречают огни!..» Не успел Иван Максимович об этом подумать, как увидел девочку лет двенадцати, которая выбежала из театра, будто ее преследовали, нервно огляделась, бросилась за угол дома, где был служебный вход, и, прильнув руками и лицом к пожарной лестнице, разрыдалась...

Сюжеты трагедий, которые разыгрывались возле театра или в его вестибюле, были почти всегда одинаковы. Поэтому, подбежав к девочке, Иван Максимович спросил:

— Что, не пускают?

Она уже не верила, что кто-нибудь в мире может помочь ей, и поэтому не ответила.

Иван Максимович погладил ее вздрагивавшую голову.

— Ты в каком классе?

— В пятом,— глухо ответила она, не отрываясь от лестницы.

— А пускают с восьмого! Это же на билетах написано. И сказала бы, что в восьмом!

— Она не поверит...

— А ты зачем пошла через главную дверь, где она стоит? Прошла бы сбоку, где одна билетерша.

Девочка еще крепче прильнула к лестнице.

— Пойди тихонько через дверь, которая сбоку. А я издали погляжу.

— Она меня запомнила. Я ей сказала...

— Что ты сказала?

— «Неужели вам не жалко людей?»

— А она?

— Жалко...— говорит.— Поэтому пойд и продай билет».

Затишье, которое наступает в неизлившемся детском плаче, всегда бывает лишь передышкой. Неизвестно, думала ли уже сейчас девочка о театре и о спектакле,— в ее душе господствовало чувство несправедливой обиды.

— Я ее спросила: «Что случится, если я посмотрю эту пьесу? Ну что случится?..»

— А она?

— «Когда-нибудь ты поймешь!..» А я этого никогда не пойму.

Девочка, отпрянувшая было от лестницы, опять прижалась к ее перекладине.

— Я тебя через служебный вход проведу,— сказал Иван Максимович.

Девочка неохотно расставалась со своими переживаниями.

Он объяснил ей, что через служебный вход проходят артисты, и главный режиссер, и он сам, директор театра.

Тут девочка оторвалась от лестницы и взглянула на него недоверчиво. Он не был похож на директора: ни роста, ни статности, ни уверенности в движениях.

Он понял ее взгляд. И тихо сказал:

— Через пятнадцать минут начинается. Идем, а?

Они прошли мимо дежурной. Лица ее почти никогда не было видно: только лоб и очки. Она всегда читала газету и сообщала проходившим мимо нее последние новости.

— Вы читали? — спросила она.— Одна перуанка родила четверых!

— Ну, что-о же вы?..— застенчиво произнес Иван Максимович, указывая на девочку. И объяснил: — Я вот тут... родственницу свою хочу провести.

— Проводите, пожалуйста,— разрешила дежурная.

Они прошли по длинному служебному коридору и очутились в фойе.

Ребята не могут оставить без внимания никакой неожиданности или необычности: они с удивлением смотрели на мужчину и девочку, которые пересекали фойе в плащах.

Спустившись в вестибюль, Иван Максимович сказал:

— Ну вот... Сдай свой плащ в гардероб. И все в порядке. Он облегченно вздохнул, обернулся... и увидел ее.

Это была заведующая педагогической частью Валентина Степановна. Девочка тоже увидела ее — и замерла, окаменела. Иван Максимович развел руки в стороны, будто хотел сказать: «Не пускайте лучше меня!» Валентина Степановна поймала отчаянный девочкин взгляд.

— Раздевайся и иди в зал, — мягко сказала она, — раз директор тебе разрешил!

— Да, я считаю... — начал Иван Максимович.

— А с вами мы еще побеседуем! — тихо, но внятно произнесла заведующая педагогической частью.

Беседа произошла сразу же, как только девочка скрылась из виду.

— Я отвечаю за воспитательное воздействие наших спектаклей, Иван Максимович. Оно может быть со знаком плюс или со знаком минус. И тут возрастное соответствие играет колоссальную роль!

— Благодарю вас, Валентина Степановна. От имени дирекции... За то, что вы всегда на посту!

— Не отшучивайтесь, мой друг. Законы педагогики со служебного входа не обойдешь!

Он покорно склонил голову, зная, что еще никто не уходил от нее, не выслушав всего, что она хотела сказать.

— Во взрослом театре, Иван Максимович, год или даже десять лет не имеют существенного значения. Нельзя, конечно, сказать, что человек в тридцать семь лет понимает больше, чем в тридцать четыре года. Но в детском возрасте каждый год — это эпоха! И ваша доброта в данном случае может обернуться жестокостью.

Он мягко и согласно кивал в такт резким словам Валентины Степановны, все время думая о том, что девочка, рыдавшая возле лестницы, уже наверху.

— Чему вы улыбаетесь? — спросила Валентина Степановна.

Ничего не ответив, он пошел в свой кабинет. По дороге он продолжал улыбаться. У него была такая манера: улыбаться наедине с самим собой — своим мыслям или воспоминаниям.

Возле кабинета он остановил мальчика и спросил:

— Ты первый раз у нас в театре?

— Первый, — ответил мальчик.

Это его огорчило. И он спросил у другого мальчика, который стоял рядом:

— А ты тоже первый раз у нас в театре?

— Ну что вы! — ответил мальчик.

Ему полегчало. Он посмотрел на мальчика с нежностью.

— А сколько раз ты был в нашем театре?

— В этом году?

Он готов был расцеловать мальчика.

— Нет, вообще...

— Я у вас все видел.

— Слушай, ты пить не хочешь? У меня есть нарзан.

— Ну что вы! Уже был звонок...

— А наши аквариумы тебе нравятся?

— Я всегда кормлю ваших рыб!

— Вот этого делать не следует. Это для них опасно.

— Я купил в буфете пирожок и покрошил.

Иван Максимович знал, что театральный буфет обслуживает теперь также и рыб, которые плавали в больших шарообразных аквариумах, стоявших в фойе.

Спектакль начался. И сразу же в дверь постучали.

— Пожалуйста, Николай Николаевич! — воскликнул директор. Он знал, что со стуком к нему в кабинет входит только главный режиссер театра.

Иван Максимович встал и пригладил рыжеватые волосы, обрамлявшие его мощную лысину.

В комнату вошел высокий немолодой человек с красивым, немного усталым лицом. На нем был черный парадный костюм и белая, до блеска накрахмаленная рубашка.

Иван Максимович застегнул свой выцветший пиджак на все пуговицы. И опять расстегнул его.

— Садитесь, Николай Николаевич. (Получив приглашение, главный режиссер сел.) Вы всегда словно бы на премьере...

— Да-а... — неторопливо согласился Николай Николаевич. — Вечером я прихожу в театр, как в театр. А не как на работу! Так уж у меня принято.

У него был глубокий, густой баритон, звучавший вроде бы извинительно: дескать, уж не взыщите, ничего не могу с собою поделать.

— За кулисами были, конечно?

— Как всегда... — опять вроде бы извинился Николай Николаевич. — Ничего не попишешь — не мог не зайти.

Перед каждым спектаклем он приходил за кулисы,

спрашивал у актеров, как они себя чувствуют, и желал им успеха.

— Хочу сообщить вам новость,— сказал Николай Николаевич. Он провел рукой по своим тяжелым, густым волосам.— Меня вызывают на комитет комсомола.

— Зачем?

— Хотят со мной побеседовать.

— С вами? О чем?..

— Точно не знаю. Но откликнулся сразу. И поверьте мне: с удовольствием! Ставка на молодежь — это беспроигрышная ставка. Может быть, их интересует моя следующая лекция?

— На тему?..

— «О культуре театра». Это вечная тема. Правда, я предвижу некоторые сложности.

Иван Максимович встал, готовый немедленно помочь главному режиссеру.

— Видите ли, некоторые теоретические положения моей лекции могут войти в противоречие с практикой нашего театра.

— Какие именно положения? — Иван Максимович всем своим коротким, но грузным корпусом устремился навстречу Николаю Николаевичу.

— Мы с вами единомышленники,— вполголоса, будто по секрету, сообщил главный режиссер.— Поэтому я иду на полную откровенность. Видите ли, я в своей лекции буду утверждать, что зритель не может быть с театром запанибрата. Театр — это таинство. Его порог переступают с благоговением. И артисты — это волшебники, с которыми нельзя встретиться так запросто, как с соседями по квартире. И директор театра — это тоже таинственная фигура. Ничего общего не имеющая с директором школы или, допустим, с директором библиотеки. И вдруг этот таинственный человек появляется в вестибюле после спектакля и спрашивает: «Ну как? Вам понравилось?» Все упрощается... Никакого таинства уже нет! Поверьте моему опыту: это не принято. Я говорю не о каких-нибудь циркулярах, а о своде традиций, что ли... Священных традиций театра!

На миг в глазах Николая Николаевича возникло смещение: он заметил, что левая манжета рубашки скрылась в рукаве пиджака, в то время как правая с достоинством сверкала агатовой запонкой. Главный режиссер следил за

своими манжетами. Они должны были выглядеть близнецами.

Николай Николаевич тщательно, не спеша поправил левую манжету.

Ивану Максимовичу нравилась эта подчеркнутая аккуратность. Он чувствовал, что она невольно передается другим и как-то подтягивает, дисциплинирует всех, кто общается с Николаем Николаевичем. Да и вообще Иван Максимович ценил в людях то, на что не был способен сам.

Николай Николаевич закрыл лицо руками. Кончики пальцев погрузились на миг в его седеющую шевелюру. Казалось, он дошел в своем разговоре до кульминации, которая требовала от него решительности и какого-то преодоления.

— Иван Максимович, сделайте одолжение... Сядьте, пожалуйста. Мне неудобно, право.

Иван Максимович сел и, находясь в ожидании, навалился на стол своим грузным телом.

— Я видел, как вы наблюдаете за зрителями из будки. Это уже, простите, какое-то детство! Говорят, что перед началом спектаклей вы беседуете с ними в вестибюле. И даже на улице. Самое опасное в этом знаете что?

— Что?.. — с настороженным любопытством спросил Иван Максимович.

— То, что об этом рассказывают с умилением. И даже с восторгом. Актеры не видят в этом ничего противоестественного. Они не понимают, что это не принято... Что это противоречит элементарным представлениям о театре.

— И о детском?..

— Театр есть театр! А детский или взрослый — это не имеет значения. По Станиславскому, он «начинается с вешалки», а не с бесед в вестибюле. Станиславский имел в виду, что даже вешалка в театре должна быть не такой, как везде. Даже вешалка должна гипнотизировать зрителя: не скинул пальто — и пошел, а с трепетом душевным передал его в руки служительницы искусства. Да-да, гардеробщица в театре — не служащая, а служительница. Это так. Или должно быть так... Поверьте моему опыту.

Нельзя сказать, что Иван Максимович не знал всего этого. Но так же, как знакомое произведение, исполненное большим артистом, звучит для нас часто по-новому, так

и известные истины, произнесенные Николаем Николаевичем, нередко казались ему откровением.

— А ваши аквариумы? — продолжал главный режиссер.

— Они успокаивают... Настраивают ребят на лирический лад.

— Но отвлекают от главной цели их прихода сюда, в это здание. Им кажется, что они в зоомагазине... И, наконец, последнее! — Николай Николаевич понизил голос и огляделся, будто желая удостовериться, что их в кабинете двое. — Вы знаете, что вас в театре называют Ванечкой?..

— Знаю, — ответил Иван Максимович.

— Честное слово, это какое-то детство! А моего предшественника, которого я глубоко уважаю, называют Петрушей...

— Но вы же из-за этого не перестаете его уважать?

— Не перестаю... Петр Васильевич создал любопытный репертуар. «Трех мушкетеров» поставил очень своеобразно. И катаевский «Парус» забелел у него как-то по-новому.

— А «Горе от ума»?

— Этот спектакль я видел в исполнении великих и величайших. Поэтому к нему у меня особое отношение... Но в общем Петр Васильевич оставил по себе добрую память.

— Петруша?.. — Иван Максимович прислушался к звуку своего голоса. — Это звучит очень ласково.

— И все-таки я не могу представить себе, чтобы Всеволода Эмильевича Мейерхольда у него в театре звали Севочкой. Хоть это тоже звучит не грубо. Или чтобы Владимира Ивановича Немировича-Данченко называли Володенькой... Не представляю себе!

— Да, это трудно себе представить.

— По-моему, невозможно! — Николай Николаевич встал и заходил по комнате. От одной стены до другой он делал не более трех шагов. — Все эти факты сами по себе не имеют большого значения. Но в сумме с другими (подобными же!) они создают атмосферу клуба или Дома культуры. Одним словом, непрофессиональную, самодеятельную атмосферу. А самодеятельность в применении к профессионалам знаете как называется?

— Как, интересно?

— Дилетантством. Это опасное заболевание.

— Вам кажется, что наш театр... болен?

— Нет еще. Но профилактика заболеваний всегда предпочтительней их лечения.

— Профилактику надо начать с меня. Я ведь главный носитель вирусов...

Иван Максимович произнес это серьезно, задумчиво.

— Я бы вас так никогда не назвал! Вы создатель этого коллектива и пользуетесь, как говорится, вполне заслуженным авторитетом. Вам подражают...

— Мне?

— Вам, Иван Максимович. Вам! И это, мне думается, надо учитывать. Вот Зина Балабанова, например... Ведущая актриса! Она должна быть для зрителей кумиром. Загадкой, непостижимостью... А она приглашает их к себе на чай и спрашивает, какие у них возникли критические замечания. Устраивает дома конференции юных зрителей. Я знаю, потому что живу на той же площадке. Это уж даже не клуб. А Дом пионеров... Детство какое-то!

— Вы бы ей об этом сказали.

— Я сказал.

— А она?

— Ответила мне: «Я не сомневаюсь, что встречаться со зрителями — это хорошо, а не плохо».

— И все?

— И все!

* * *

Зина знала, что всякий уважающий себя человек обязательно должен в чем-нибудь сомневаться. Но у Зины, к сожалению, почти никаких сомнений не возникало. «Я не сомневаюсь, что поступаю правильно», — говорила она. А если ошибалась, то говорила: «Я не сомневаюсь, что поступила неправильно!»

Зина знала также, что нормальные люди не высказывают вслух все, что думают. Особенно если речь идет о спорных и острых проблемах. Но именно в этих случаях Зина думала вслух.

«Какая ужасная прямолинейность!» — говорили ей. А она никак не могла понять, почему прямая линия хуже ломаной. «Что на уме, то и на языке!..» — сетовали по ее адресу. А она не понимала, почему на уме должно быть одно, а на языке что-то другое.

«Все в лоб! Все в лоб!» — упрекали ее. «Вот и хорошо: быстрее дойдет!» — отвечала Зина.

Год назад, когда была первая встреча Николая Николаевича Патова с коллективом ТЮЗа, Зина поднялась и сказала:

— Вам будет трудно. Потому что мы все очень любили Петра Васильевича.

Кто-то хихикнул... Зина повернулась в ту сторону и добавила:

— И я тоже его очень любила.

— Это меня радует! — торжественно произнес Николай Николаевич. — Коллектив, который благодарен своему режиссеру, подобен детям, которые благодарны своим родителям. То и другое бывает не часто.

Зал проникся к нему доверием.

— Как-то ты резко! — сказал Зине секретарь комитета комсомола Костя Чичкун, когда встреча с главным режиссером закончилась.

Зина вытаращила на него свои изумленные детские глаза.

— Резко? Наоборот! Я предупредила его. — Она повернулась к главному режиссеру: — Разве я обидела вас?

— Когда это кончится?! — простила Галя Бойкова, которую в театре называли «поющей актрисой». У нее было и более длинное прозвище: «Так пойдя же попляши!»

Николай Николаевич галантно нагнулся и взял Зину под руку.

— В жизни вы непосредственны, как на сцене. Это очень приятно! Тем более, что мы с вами будем соседями. Я въезжаю в квартиру Петра Васильевича.

— Да ну?! — Зина вытаращила свои немигающие глаза.

Через несколько дней, возвращаясь домой после спектакля, Зина увидела у подъезда грузовик с крытым верхом. Николай Николаевич и девушка в расклешенных брюках и пестрой блузке тащили массивную крышку старинного письменного стола.

Зина бросилась помогать. Это было ее особенностью: сразу бросаться на помощь.

— Что же вы сами?! — воскликнула она, тоже хва-

таясь за старинную крышку.— Надо было сообщить в театр. Мы бы все вместе...

— Это папины отклонения! — объяснила девушка в брюках.

— Вот вы и познакомились с моей дочерью,— сказал Николай Николаевич.— Давайте-ка отдохнем...

Крышку прислонили к стене. И дочь Патова представилась:

— Лера.

— А это Зинаида Балабанова! — торжественно, будто со сцены, представил Зину Николай Николаевич.— Актриса нашего театра!

Лера внимательно и недоверчиво взглянула на Зину.

— Я играю девчонок,— сказала та. И опять набросилась на Патова: — Что же вы нам не сказали?! Когда уезжал Петр Васильевич, мы погрузили его и тут... и на станции.

— Он имел право на ваши заботы. А я этого права еще не имею.

— Понесли крышку! — сказала Лера.

— Она этого не понимает.— Патов кивнул на дочь.— Узнавание актерами главного режиссера не может начинаться с его корзин, матрацев и кухонных принадлежностей. Есть грузчик, шофер... Они нам помогут.

— И я!..

— Что ж, соседи должны помогать друг другу,— согласился Патов.— Это положено.

Словно выбивая чечетку, скатился по лестнице грузчик и один схватил доску, которую только что они тащили втроем.

Николай Николаевич, Лера и Зина вернулись на улицу и взяли по чемодану. Предварительно Патов определил вес каждого из них и взял самый тяжелый.

Дверь квартиры была открыта. Но Зина остановилась и поставила чемодан на площадку. Каждый день она видела эту дверь и даже вынимала из почтового ящика письма, которые все еще приходили на имя Петра Васильевича. Она пересылала их в далекий южный город, куда он уехал...

Ей казалось, что, может быть, он вернется: не сможет жить без их театра и приедет. Теперь все становилось абсолютно определенным и окончательным. Это чувство неотвра-

тимой определенности возникло у нее в тот день, когда Николай Николаевичзнакомился с их коллективом. Но еще острее оно стало сейчас.

— Вам тяжело? — спросил Патов.

— Да... То есть нет,— ответила Зина. И взялась за ручку чемодана.

В этот момент из квартиры вышла женщина, взглянув на которую Зина вновь опустила чемодан на площадку.

В присутствии красивых женщин она всегда как-то смущалась, начинала ерошить свои короткие волосы, поправлять платье. Сейчас она тоже принялась за свои волосы, хотя красота жены Николая Николаевича была не дерзкой, не вызывающей, а доброй и мягкой...

— Моя супруга! Ксения Павловна,— сказал Патов.— А это Зинаида Балабанова. Актриса и наша соседка.

— Играю девчонок,— поспешила объяснить Зина.

— Заходите, пожалуйста,— сказала Ксения Павловна так, будто Зина пришла к ним в гости на ужин.

— На вас трудно смотреть,— сказала Зина.

— Почему? — тихо удивилась Ксения Павловна.

— Вы очень красивая.

— Еще одна такая фраза, и я навсегда ваша! — сказала Лера.— Только не вздумайте высказываться о папиной внешности. Во-первых, для мужчин это не имеет значения, а во-вторых, я на него похожа.

— Ле-ерочка...— всплеснул руками Николай Николаевич.— Это какое-то детство!

Ксения Павловна с трудом пришла в себя и попыталась помочь Зине внести чемодан.

— Тебе нельзя носить тяжести! — остановил ее Николай Николаевич.

— Хорошо, хорошо... Только не начинай рассказывать о моих болезнях. Умоляю тебя!

— Твоими болезнями он может защититься от мужчин, но не от женщин,— сказала Лера. И первая вошла в квартиру.

— Они очень любят друг друга,— стала объяснять Зине Ксения Павловна.— Но часто пикируются. Не принимайте это всерьез...

Зина знала, что летом в квартире был ремонт. Она в это время уехала в отпуск, но, когда вернулась, увидела на

плитках, возле закрытой двери, засохшие алебастровые брызги, штукатурную пыль.

Все теперь в квартире было другое: обои, потолки... А главное, было пусто. Она оставила чемодан в коридоре и прошла на кухню.

У Петра Васильевича была большая семья. Жизнь в квартире затихала рано: кому-то утром нужно было на работу, кому-то в школу, кому-то в детский сад.

Петр Васильевич звонил в Зинину дверь и приглашал:

— Пойдем-ка на кухню, поговорим об искусстве!

...Из коридора раздался горестный шепот Николая Николаевича:

— У нее будет абсолютно искаженное представление о нашей семье. А ведь это моя актриса. Где она, кстати?

— На кухне, — громко ответила Лера. — Вы здесь? — Она заглянула на кухню. — Самое уютное место в квартире!

«Внешне она похожа на отца, — подумала Зина. — А характером, по-моему, на меня... Говорят, что одноименные заряды отталкиваются. Жаль, если это всегда так...»

Лера ей нравилась. Черты ее лица, правильные и значительные, были чертами отца. Но, как это часто случается, дочь, похожая на красивого отца, была некрасива.

— Жаль, что вы не похожи на Ксению Павловну, — сказала Зина. И замолчала, устыдившись собственных слов, что случилось с ней очень редко.

— Все так думают. А сказали вы первая.

Зина сказала так, потому что Лера не могла вызывать жалости или сочувствия. В ней не было самоуверенности, но была уверенность, не свойственная неудачницам.

— Чем вы занимаетесь? — спросила Зина.

— Поступила в медицинский.

— У нас хороший мединститут.

Все опять вышли на площадку лестницы. По дороге Зина успела сказать Ксении Павловне:

— Вам нужно было бы сниматься в кино.

— Я когда-то снималась...

— Вы? Да ну?! — Зина вытаращила глаза.

— Разгружаться! Разгружаться!.. — сказал Николай Николаевич. — Надо ведь совершить еще один рейс на станцию. За остатками нашего имущества!

Вскоре он с Лерой уехал на станцию. Зину он в грузовой не пустил...

— Зайдите, пожалуйста, ко мне, — пригласила она Ксению Павловну.

Зина занимала небольшую комнату в двухкомнатной квартире. Ее соседкой была заведующая литературной частью Тонечка Гориловская. Тонечка участвовала в работе всех литературных объединений города, ходила на все вечера молодых прозаиков и поэтов, на все читательские конференции, которые созывались в библиотеках. Поэтому у Зины было впечатление, что она живет в отдельной квартире.

Вся комната была увешана фотографиями, на которых был запечатлен Петр Васильевич во время репетиций.

Войдя, Ксения Павловна не стала с любопытством оглядываться по сторонам, как это часто делают, приходя в незнакомый дом.

— Сюда можно сесть? — спросила она.

— Садитесь куда хотите!

Ксения Павловна присела на диван.

— Это Петр Васильевич, — сказала Зина, не указывая на стену: никакого другого мужчины в комнате не было.

— Говорят, он был очень милым, талантливым человеком... — сказала Ксения Павловна.

— Второго такого нет! — ответила Зина.

— Я верю вам...

— В туристских справочниках пишут, что наш город славится металлургическим заводом, курортом, на котором лечат ревматизм, и Театром юного зрителя. А до его приезда город славился только заводом и курортом...

Вдруг Зина вспомнила о чем-то, плюхнулась на диван рядом с Ксенией Павловной и уставилась на нее:

— Так вы снимались в кино?

— Это было сто лет назад. Я тогда еще училась в институте.

— В каком?

— В театральном.

— Не может быть! Значит, вы тоже артистка?!

— Сейчас уже нет.

— Ушли из театра?

— По сути дела, я в него и не приходила.

— Ничего не пойму... И вы так спокойны?

Зина схватила Ксению Павловну за руку. По-детски изумленные глаза ее требовали ответа.

— Это получилось как-то само собой,— задумчиво, но без грусти сказала Ксения Павловна.— Играть роли, которые мне когда-то хотелось играть, я не могла.

— Почему?

— Николай Николаевич всегда был главным режиссером театра. И мне, его жене, исполнять главные роли... В общем, он этого не мог допустить. И я его понимала. Люди с принципами и правилами заслуживают уважения. Вы согласны?

— А другие театры? — допытывалась Зина.

— В городах, где мы жили, обычно был только один театр. Сперва я работала на радио... Читала стихи. Но потом перестала... Появился сын. Он сейчас учится в Ленинграде. Потом Лера... О Николае Николаевиче надо было заботиться. Они стали главными действующими лицами пьесы, в которой я участвую до сих пор. И с большой радостью...

Зина по-детски быстро переходила от одного настроения к другому. Неожиданно она вскочила с дивана и всплеснула руками:

— Вы же, наверно, голодная? И они тоже! Сейчас я устрою ужин.

Зина, словно готовясь к праздничному приему, забежала по квартире, хлопотала.

— Я вам помогу,— предложила Ксения Павловна.

— Ни в коем случае!

— Вы любите заботиться о других людях, да? Устраивать чужие судьбы?..

— Как все одинокие женщины! — весело ответила Зина.

Ксения Павловна помолчала немного, наблюдая за Зиной, которая, накрывая на стол, то и дело отвлекалась от предстоящего ужина, о чем-то задумывалась и даже положила сыр в хлебницу.

— Вы, значит, играете девочек? — спросила Ксения Павловна.

— А самой двадцать семь лет. Сообщаю об этом, потому что все равно об этом все знают.

— Как... все?

— Те, которые ходят в наш театр. Это же интересно:

выяснить, сколько лет артистке, играющей тринадцатилетних. Сперва начинают восклицать: «Нет, это не артистка! Не обманывайте нас... Это девочка! Не может быть, чтобы это была женщина. Сколько ей лет?..» И тогда билетерши, гардеробщицы и вообще все, кому так говорят, с гордостью сообщают: «Ей двадцать семь лет!» В будущем году скажут: «Двадцать восемь!» И чем больше мне будет лет, тем больше в их голосе будет гордости.

— Значит, вы хорошо играете... этих девчонок?

— Говорят, хорошо, — машинально ответила Зина: в этот момент она опять о чем-то задумалась.

— Может быть, у вас какое-то дело? — встревожилась Ксения Павловна. — Не стесняйтесь, пожалуйста. Мы можем поужинать завтра! Может быть, вы должны подготовиться к репетиции?

— Да нет... Я думаю о другом.

— О чем-нибудь неприятном?

— Наоборот! Я думаю о том, что в нашем городе два театра. Два! Один детский и один взрослый... Вы понимаете?

С тех пор прошел год.

* * *

Узнав, что Николая Николаевича приглашают на заседание комсомольского комитета, Иван Максимович заволновался: заместителем секретаря была Зина. Она могла нарушить священные традиции театра, к которым привык Николай Николаевич, каким-нибудь резким замечанием или неожиданным требованием.

Иван Максимович мечтал о том, чтобы «пересадка» главного режиссера из организма взрослого театра в организм детского произошла благополучно и безболезненно, чтобы не обнаружилось вдруг какой-нибудь несовместимости. Он с радостью наблюдал за тем, как беседы Николая Николаевича, его лекции, даже его внешний вид и манера общаться с людьми облагораживали коллектив приметами высокого искусства.

«Приживается! — думал Иван Максимович. — Приживается...»

И вдруг это приглашение на комитет! Иван Максимович решил провентилировать обстановку. Он попросил Костю Чичкуна и Зину Балабанову зайти к нему после спектакля.

Костю Чичкуна считали «актером с отрицательным обаянием». Трудно сказать, что было тому виной: громоздкая фигура, крупный орлиный нос или бас, который звучал хрипло из-за не совсем здоровых голосовых связок? Так или иначе, но Костя Чичкун был непревзойденным исполнителем отрицательных ролей в спектаклях для самых маленьких. В театре его называли «профессиональным Бармалеем». Но еще больших высот он достиг в «Золотом ключике», где был бессменным, не имеющим дублеров Карабасом Барабасом. Дети города его боялись и обожали. Они узнавали его голос по радио. А когда встречали его на улице, прятались за мамину спину.

Секретарем комитета Костю выбрали за отзывчивость и доброту.

А для того чтобы доброта сочеталась с остротой и принципиальностью, заместителем выбрали Зину.

Костя и Зина пришли к директору раскрасневшиеся от только что пережитого спектакля, аплодисментов и плохо смытого грима. Иван Максимович очень любил артистов. Он всячески подчеркивал, что они без дирекции обойдутся, а дирекция без них — никогда; что не они для него, а он для них, что главное место в театре — это сцена, а не его кабинет.

— Простите, пожалуйста, что мне пришлось вас, несмотря на вашу занятость... — начал он, поднимаясь навстречу. — Вот тут у меня есть нарзан... Я бы, конечно, зашел к вам за кулисы, но здесь просто удобнее. Никто не будет мешать.

— Что-нибудь случилось? — спросила Зина, наливая себе нарзан.

— Нет... Мне просто хотелось узнать, какие вопросы вы ставите завтра на комитете.

— Значит, так... Мы пригласили Николая Николаевича, — загудел Костя. О чем бы он ни говорил, лицо его оставалось мрачным, и голос звучал так, будто он вот-вот собирался бросить в огонь Буратино.

— Если не секрет, с какой целью вы его пригласили?

— С самой высокой,— сказала Зина.— Хотим поговорить о репертуаре нашего театра.

— А с каких позиций? Если не тайна...

— С разных позиций,— сказала Зина.— Костя — с одной, а я — с другой.

Ивана Максимовича прежде всего заинтересовала позиция Зины.

— Нет, пусть лучше основной доклад делает секретарь. А я выступлю в прениях,— сказала она.

— Значит, так...— начал Костя.— Педчасть раздала анкеты зрителям-старшеклассникам. Вопрос был один: «О чем должна рассказать ближайшая премьера нашего театра?» Старшеклассники ответили: «О любви». Не все, конечно... Но большинство.

— Я знаю,— сказал Иван Максимович,— Валентина Степановна была немного огорчена. Но мне удалось убедить ее, что в этом нет ничего страшного.

— Значит, так,— продолжал Костя.— Старшеклассники быстро ответили на анкету, потому что мы обещали выполнить их пожелание. Но пьесы о любви в театре не оказалось. Тогда Тонечка Горилловская мобилизовала всех авторов — столичных и местных. Они прислали то, что у них было на эту тему.

— И что же вы выбрали?

— «Ромео и Джульетту»,— ответил Костя.

Иван Максимович привстал и навалился своим коренастым туловищем на край стола.

— Окончательное слово, конечно, за худсоветом. Но я согласен уже сейчас. И Николай Николаевич, я уверен, не будет против.

— Почему вы уверены? — спросила Зина.

— Потому что совсем недавно... буквально сегодня вечером, он сказал мне, что ставка на молодежь — это беспроектная ставка.

— Афоризмы, цитаты, формулы... — пробормотала Зина.

— Что? Что?..— не расслышал Иван Максимович.

— Да так... ничего серьезного.

— Шекспир в ТЮЗе?.. — вслух размышлял директор.— Это будет новаторством.

— Что-о? Новаторство?! — Зина уставилась на директора.— Это традиция. В Ленинграде поставили «Гамлета».

А «Двенадцатую ночь» показывают днем и вечером в разных ТЮЗах!

— Я знаю... Но на нашей сцене Шекспир еще не бывал.

— По-моему, театр, который ни разу не поставил Шекспира или Островского,— это не настоящий театр,— отрезала Зина.

Костя с укором взглянул на свою заместительницу.

— Только что говорила о формулах...— Он покачал головой.— Значит, так, Иван Максимович. Мы хотим, чтобы спектакль был молодежным.

— Шекспиру — от комсомола! — вставила Зина.

Костя снова с укором взглянул на нее и продолжал:

— Значит, так... Актеры — молодые, художник — молодой, композитор — молодой.

— Хотелось бы, конечно, чтоб и постановщик тоже был молодой,— добавила Зина.

— Это было бы неэтично по отношению к главному режиссеру,— сказал Иван Максимович.

— Очень сомневаюсь, что Николай Николаевич способен поставить спектакль о любви.

— Ну почему же? Такой красивый мужчина!..

— Хотя пусть поставит! — неожиданно согласилась Зина.— А то все лекции да беседы! Пусть совершит на наших глазах прыжок от теории к практике.

— Это несправедливо,— возразил ей Костя Чичкун.— На его лекции ходят все. Многие даже ведут конспекты.

— Режиссер-наставник,— пробормотала Зина.— За год ни одной постановки!

Иван Максимович заволновался:

— Ты сказала, что в разговоре с главным режиссером у Кости будет одна позиция, а у тебя — другая. Это она и есть?..

Зина вскочила и заметалась по кабинету. От стены до стены она делала вдвое больше шагов, чем Николай Николаевич. Но преодолевала это расстояние вдвое быстрее.

— Я дружу с семьей Патова. С его женой, дочерью... Они прекрасные люди. Хотя разные...— В оценке людей Зина любила точность.— Ксения Павловна — это домашний ангел. Домашний только потому, что сидит дома: ее доброты могло бы хватить на весь наш ТЮЗ. Лера говорит все, что думает!

— У нас в театре такой характер уже есть,— вставил Иван Максимович.

— Нет, мы с ней непохожи. Она острее!

— Бедный Николай Николаевич...— громогласно вздохнул Костя. Его заступничество всегда казалось очень убедительным и весомым, потому что диссонировало с его внешностью и голосом. «Уж если такой жалеет, такой заступается!..» — думал тот, кто видел Костю впервые.

— Ну и что?! — крикнула Зина и уставилась немигающими глазами куда-то в пространство. Казалось, она мысленно изумлялась самой себе. — Они обе — прекрасные люди. И что же? Я из-за этого должна промолчать?

— Скажи конкретно, объясни... О чем ты не можешь молчать? — умоляющим голосом произнес Иван Максимович.

— Врач должен лечить людей, каменщик — строить дом, а режиссер — ставить спектакли. Разве это надо доказывать?

— Сядь, пожалуйста... Это все понимают. В этом все абсолютно убеждены!

— Но убеждения и взгляды не всегда совпадают с поступками. Вот вы, Иван Максимович, как директор, и Костя, как секретарь комитета, убеждены, что Патов должен был за год проявить себя... как режиссер. Но это ваше убеждение остается при вас. А при мне не останется. Я его выскажу на комитете!

— Сядь, пожалуйста,— повторил свою просьбу Иван Максимович,— и послушай меня... Верная мысль не существует абстрактно, сама по себе. Она тоже существует во времени и пространстве. Вот хирург, например, решает сделать операцию на сердце. Но практически приступает к ней только тогда, когда подготовит себя и больного. Родственники не могут торопить его: «Поскорее! Мы очень волнуемся!»

— Родственники могут и подождать. Если они уверены, что этот хирург умеет оперировать сердце. А если не уверены, они обратятся к другому хирургу.

— Ты не вполне объективна,— вступил в разговор Костя.— Николай Николаевич никогда не был режиссером детского театра. Он хочет понять его специфику. Он вживается в коллектив.

— Вот именно! — обрадовался Иван Максимович.— Он

в ж и в а е т с я. И довольно успешно. Происходит процесс... простите меня за громкое слово, взаимообогащения. Он дарит театру свои теоретические знания, а театр дарит ему свой практический опыт работы с детьми.

— Только нужен ли ему этот подарок? — сказала Зина.

— Ну, так нельзя! — Костя с мрачным видом покачал головой. — Какие у тебя основания?..

— А вы заметили, какое слово он чаще всего произносит в качестве... ну, ругательства, что ли?

Иван Максимович и Костя стали вспоминать, но не вспомнили.

— Он ругается словом «детство»! Вы разве не слышали? Когда он особенно возмущен, то восклицает: «Это какое-то детство!»

Зина произнесла эту фразу так, что директор и секретарь комитета сразу вспомнили ее. И даже вздрогнули: им показалось, что они слышали голос Патова.

— Слово «детство» звучит как нечто глубоко отрицательное в устах... режиссера детского театра! — Зина изумленно пожала плечами. И наконец села.

А Иван Максимович, наоборот, встал, протиснулся между столом и креслом и своей тяжеловатой, неуклюжей походкой подошел к Зине...

Много лет назад, когда он начинал работать в театре, его предупреждали, что актеры — сложные люди. «Преувеличивают!» — думал он, потому что как зритель получал от театра одно только удовольствие. Но потом оказалось, что предупреждавшие его друзья не преувеличивали. Пожалуй, даже преуменьшали. Сложнее всего было с теми актерами, которых Иван Максимович особенно ценил. «В жизни всегда трудней с теми, кого любишь!» — сделав как-то это открытие, директор нашел для своих неприятностей теоретическое обоснование. Оно помогало ему обретать терпение и аргументы.

— Я знаю, что Николай Николаевич очень любит своих детей, — сказал Иван Максимович. — У него в кабинете под стеклом вся их биография в фотографиях. Ты видала?

— Я видел, — ответил Костя.

— Значит, он вовсе не равнодушен к детям! Вот у меня под стеклом нет фотографий... моего Алеши...

— И о чем это говорит? — спросила Зина.

— Может быть, ни о чем. Но все-таки... Я хочу, чтобы

ты была справедлива. За этот год мы поставили три спектакля.

— Возобновили старые работы Петра Васильевича. Сделали это сами актеры. А помогал ассистент режиссера.

— Но Николай Николаевич каждый раз объяснял ему творческую задачу. Делал поправки, замечания.

— И не принял ни одной новой пьесы! Учтите, что Тонечка Горилловская переписывается со всеми драматургами нашей страны. Николай Николаевич прочитал то, что она ему предложила, и в каждой пьесе нашел непоправимые просчеты и недостатки. Теперь многие из Тонечкиных пьес с успехом идут в других театрах.

— Ну, что же, он ищет... Пойми: он должен сказать свое слово, а не просто продолжить то, что прекрасно говорил зрителям Петр Васильевич. Фактически он должен вступить с Петром Васильевичем в соревнование. А это не легко! Прости меня за громкие фразы, но я должен доказать тебе... Ты простишь меня, а?

— Прощу.

— Так вот... Он стремился создать в театре атмосферу, которая необходима именно ему, для его творчества. Теперь эта атмосфера, по-моему, создана.

— Дело — за творчеством! — отрезала Зина.

— Может быть, и вы, Иван Максимович, придете на комитет? — предложил Костя.

— Не надо... Пусть от стариков будет один Николай Николаевич. Я думаю, что ваш замысел очень устроит его: Шекспир, классика!.. Коллектив надеется на него. Ждет. И ты, Зиночка, не убивай, пожалуйста, эту надежду... на завтрашнем комитете.

— Посмотрим, — сказала Зина.

Выйдя в фойе, она с сожалением взглянула на Костю:

— Я вижу, ты только в сказках бываешь зубастым.

— Чтобы найти с человеком общий язык, не обязательно показывать ему свои зубы, — мрачно сформулировал Костя.

* * *

На комитете Зина не выступала. Да и вообще, кроме Николая Николаевича, там, по сути дела, не выступал никто.

Только вначале Костя рассказал про анкету, продемон-

стрировал последний номер областной комсомольской газеты с заголовком на полполосы: «Зритель проголосовал за любовь». И познакомил главного режиссера с замыслом комсомольцев.

Николай Николаевич поддержал его сразу, не задумавшись ни на минуту. Он поправил свои манжеты, поднялся и протянул руки навстречу членам комитета, словно хотел заключить их в объятия.

— Это прекраснейшая идея! Именно такой спектакль может стать визитной карточкой молодежи нашего театра. И вот интересно: Шекспир написал эту трагедию тоже будучи молодым. Это одно из ранних его творений. — Николай Николаевич сел и задумался. — Мы говорим, что сегодняшние дети раньше взрослеют. Смешно! Лермонтов написал «Маскарад» в двадцатилетнем возрасте. Добролюбов — философ! — в двадцать пять уже умер. Писарев в двадцать семь уже утонул... Джульетте не было и четырнадцати! А современные дети «раньше взрослеют». Смешно...

Зина давно заметила, что современные дети раздражали главного режиссера. Он не прощал им ничего: ни громкого смеха, ни оброненного в зале номерка, ни странного, как ему казалось, стремления обязательно осмотреть в фойе фотографии, а некоторые потрогать руками, обязательно попить фруктовую воду в буфете, обязательно сходить в туалет.

— Мне кажется, что спектакль для них вовсе не самое главное, — сказал он однажды Зине.

— Вы были ребенком? — спросила она его.

Николай Николаевич задумался, словно бы вспоминая.

— Таким не был, — ответил он. — А эта их манера заглядывать в зал до звонка?

Когда Николай Николаевич погоревал на комитете о том, что современные дети взрослеют не так уж рано, Зина сказала:

— И правильно делают. Куда торопиться?

— И все же чем скорее они приобщатся к большим философским мыслям и большим человеческим переживаниям, даже страстям, тем будет лучше! — воскликнул Николай Николаевич. — Тем скорее они станут людьми!..

Он часто говорил о том, что дети с годами должны стать людьми. Зина однажды возразила ему: «Они давно уже

люди, Николай Николаевич!» Но на комитете она промолчала.

А Николай Николаевич заговорил о ранней трагедии Шекспира. Он знал имена всех актеров, которые когда-либо с успехом исполняли роли Джульетты и Ромео, а с некоторыми из них даже был знаком лично. Имена великих английских и итальянских актеров он произносил так, как они произносятся в Англии и Италии, поэтому Зина известные ей имена либо узнавала с трудом, либо вовсе не узнавала.

Члены комитета притихли: слушать Николая Николаевича было интересно. «Он был бы прекрасным гидом!» — подумала Зина.

— И только с одним вашим предложением я не могу согласиться, — сказал в заключение Николай Николаевич. — Хоть отказаться от него нелегко... Да, нелегко, но пусть уж в будущем спектакле все будут молоды: автор, герои, актеры... И режиссер! Зачем же так беспощадно подчеркивать мой возрастной отрыв от вас всех?

«Почему он отказался ставить этот спектакль? — размышляла Зина по дороге домой. — Что его пугает? Быть может, не что, а кто? Все еще не решается вступить в соревнование с Петром Васильевичем?»

Зина вспомнила фразу, которую произнес в ее присутствии один молодой журналист: «Лучший редактор журнала это тот, который не мешает коллективу делать журнал!» Фраза показалась Зине циничной, и она ответила журналисту что-то такое, после чего он весь вечер называл ее «блаженной». Прозвища с непостижимой быстротой приобретают популярность: уже через неделю «блаженной» Зину стали называть многие.

«Журнал без редактора? — думала Зина по дороге домой. — Не знаю... По-моему, ерунда! И театр, я уверена, без режиссера не может существовать, как дети без матери. Если родной матери нет, ею становится другая... приемная. Интересно, кто станет нашей «приемной» матерью?»

После беседы с Иваном Максимовичем Зина задавала себе и другой вопрос: «Неужели никто, кроме меня, не испытывает тревоги? Вот хоть Ванечка или Костя?» И сама себе отвечала: «Трево-о-жатся... Но у них просто больше терпения, чем у меня! Хотят найти общий язык...»

...Со вчерашнего дня Зина ощущала настойчивую потребность встретиться с Ксенией Павловной и Лерой. Она хотела высказать им все то же самое, что сказала Ивану Максимовичу и Косте, чтобы не получилось, что она действует втайне от них. Вчера вечером у Патовых никого не было дома.

Поднявшись на третий этаж, Зина подошла к двери Патовых. По привычке заглянула в дырочки почтового ящика. Там что-то белело. Но это не могло быть письмо Петру Васильевичу: все друзья Петруши давно уже знали его новый адрес.

Ксения Павловна была дома одна. Она встретила Зину с какой-то особой тревожной радостью.

— Заходите! Скоро придет Николай Николаевич! Его вызвали на заседание комсомольского комитета...

— Пригласили,— поправила Зина.

— Ну да... Конечно же, пригласили. Я волновалась... Я всегда волнуюсь, когда его куда-нибудь вызывают. Пока он не позвонил, я сходила с ума!

Зина смотрела на растерянную, трогательно-беззащитную Ксению Павловну и думала, что ни за что не сможет стать злым гением этой женщины. «Зачем я нападаю на Николая Николаевича? — неожиданно подумала она. — Ведь еще ничего не известно. У Ивана Максимовича опыт общения с главными режиссерами гораздо больше, чем у меня. И он ждет... Он надеется. А меня, как всегда, заносит!»

— Пойдемте ко мне,— предложила она Ксении Павловне.— Ничего существенного у меня дома нет. Но есть чай с конфетами и пряниками. Я переняла у своих дорогих зрителей любовь к дешевым конфетам и мятным пряникам. Им ведь все равно: леденцы или трюфеля, было бы сладкое!

— И мне все равно,— сказала Ксения Павловна.— Но скоро придет Николай Николаевич... Мы бы все втроем посидели. Это было бы для него сюрпризом!

— Не сомневаюсь,— сказала Зина. И тут же подумала: «Зачем я опять?..»

— Я очень хочу, чтобы вы были друзьями,— почти с мольбой произнесла Ксения Павловна.

— Я плохо училась по математике,— сказала Зина.— Но некоторые формулы запомнила на всю жизнь. Вот, на-

пример: две величины, порознь равные третьей, равны между собой! Мы с Николаем Николаевичем порознь любим вас, и это залог наших с ним будущих дружеских отношений.

— Я знаю... вы ко мне хорошо относитесь, — тихо и благодарно сказала Ксения Павловна.

— Поэтому идемте ко мне пить чай.

— А если вернется Николай Николаевич? Он с утра ничего не ел! Я приколю к двери записку...

— Не надо. Я сразу улавливаю шаги, которые направляются к этой двери.

Зина любила, когда Ксения Павловна приходила к ней. В такие вечера ей казалось, что она недооценивает свою комнату: не замечает, какая она уютная, как располагает к отдыху и спокойствию.

— Если бы я была мужчиной, я женилась бы только на вас, — сказала Зина, ставя на стол хлебницу с белыми, словно обсыпанными мукой, мятными пряниками и вазочку с «Театральными» конфетами. — Николай Николаевич — счастливец!

Ксения Павловна обрадовалась, что Зина упомянула о Патове: ей очень хотелось, чтоб он стал главной темой их разговора.

— А я, если бы заново начинала свою жизнь, вышла бы опять за него. Опять! Поверьте: он идеальный муж.

— Идеальный муж — это понятие не столь положительное. Если вспомнить классику зарубежной драматургии! — сказала Зина. С нежностью взглянув на Ксению Павловну, она добавила: — Я шучу. И не слишком удачно!

— Между друзьями возможны любые шутки, — сказала Ксения Павловна. — Важно знать, что человек этот — твой друг, тогда уже слова не имеют значения.

— Это верно, — согласилась с ней Зина. — На друзей обижаться смешно. Я вообще обидчивых людей не люблю. Чаще всего это недалекие люди. Они не понимают, что если говорит хороший человек, надо к нему прислушаться. А если плохой... то что же на него обижаться?

Боясь упустить главную тему, Ксения Павловна воскликнула:

— Николай Николаевич умеет быть выше обид!

«И вообще выше всего, что вокруг него происходит!» — про себя добавила Зина.

Кажется, Ксения Павловна была первым человеком, который заставлял ее кое-что произносить мысленно, про себя.

— Вы знаете, почему мы приехали в этот город? — спросила Ксения Павловна.

— Николай Николаевич захотел попробовать свои силы на сцене ТЮЗа!

— Не совсем так... И все же наш приезд связан с его любовью к детям.

— Интересно! — сказала Зина и своим немигающим взглядом уставилась на Ксению Павловну.

— Юра, наш сын, уехал учиться в Ленинград: у него ярко выраженные математические способности. И он поступил на физмат.

— Это правильно!

— Что?..

— То, что человек с математическими способностями идет на математический факультет! А не на биологический, например...

Ксения Павловна взглянула на Зину непонимающими глазами. И продолжала:

— Это было ударом для Николая: он не представляет себе жизни без ребят. Без наших детей! Потом пришло время и Лере поступать в институт. Она мечтала быть врачом. С детства!.. Представляете себе, любила болеть.

— Чтобы не ходить в школу?

— Не-ет!.. Для того, чтобы к ней пришла женщина в белом халате. Она задавала врачам столько разных вопросов, что мне становилось неудобно... В нашем городе не было медицинского. А тут как раз наш с Николаем приятель по институту предложил переехать сюда. Он занимается театрами здесь, в отделе культуры.

— В управлении, — уточнила Зина.

— Ну да... Я плохо разбираюсь в этих названиях. Николай узнал, что у вас есть медицинский. И это имело решающее значение.

— Я так и думала!

— Так и думали?.. — удивилась Ксения Павловна.

— Я понимала, что Николай Николаевич...

С Зиной происходило что-то невероятное: она подыски-

вала слова! «Милая, наивная Ксения Павловна, — думала она. — Как бы мне вам все объяснить?..»

— Я рада за ваших детей, — сказала она. — У них есть призвание. И они будут ему служить.

— Безусловно!.. Этому учил их отец. Он стремился, чтобы они поняли, чего хотят от жизни.

— А чего вы хотели, он понял? Тогда, после театрального института?..

— Он не виноват, что так получилось. Он никогда не умел переступить через свои принципы... Это достойно уважения. Поверьте мне, Зиночка!

Она защищала его с одержимостью матери. «Человек, которого так защищают, наверно, достоин защиты! — подумала Зина. — Чего-то я в нем, может быть, не разглядела?»

Она хотела напомнить Ксении Павловне о том, что они еще год назад составили подробный план ее возвращения в театр. Во взрослый, где главный режиссер не состоял с ней в родственных отношениях. Зина хотела спросить, почему Николай Николаевич до сих пор не помог подготовить какую-нибудь сцену для пробы в театре. Но спросила совсем о другом:

— А чего он сам хочет... в данный момент?

— Отдать все свои знания...

— ТЮЗ — не лекторий, — сказала Зина. — Нужно еще...

— Он все отдаст!

— Важно, чтобы было что отдавать... — задумчиво произнесла Зина.

— Что вы имеете в виду, Зиночка? Скажите мне. Я ему подскажу... Я всегда была его другом!

— Посоветуйте ему поскорей поставить спектакль для юных зрителей. Поскольку наш театр так называется: Театр юного зрителя.

— Он это сделает! Я только хочу, чтобы вы были друзьями.

«Угораздило их поселиться со мной на одной площадке! — думала Зина. — Теперь все время буду метаться между совестью и Ксенией Павловной...»

— У нас собираются ставить «Ромео и Джульетту», — сказала она. — Для меня в этой трагедии роли нет. Но я все равно буду болеть за спектакль. Николай Николаевич мог бы поставить его... А он отказался. Кстати, я слышу его шаги....

На худсовете предложение комсомольцев тоже было одобрено. Все сошлись на том, что уж если говорить со школьниками о любви, то о любви огромной, великой.

— Я — «за», — сказала заведующая педагогической частью Валентина Степановна, — но лишь при условии, что на этот спектакль о великой любви Иван Максимович не будет проводить первоклассников со служебного хода.

Валентина Степановна считала, что ТЮЗ — это три театра в одном помещении: один — для малышей, другой — для подростков и третий — для юношества. Верней сказать, так считали и все остальные, но она особенно часто это подчеркивала.

— Вспомните свое детство, — как обычно, попросила она членов художественного совета.

— Кто же о нем забывает? — задумчиво произнесла всеми уважаемая Анна Гавриловна — ветеран театра, когда-то игравшая мальчишек, а теперь бабушек.

— Кто забывает? Дирекция! — воскликнула Валентина Степановна. — Год в нашем возрасте — это двенадцать месяцев. А каждый год в детстве...

— ...это эпоха! — закончил ее фразу Иван Максимович. — Я с вами согласен.

— Теоретически! А на практике вы каждый вечер ходатайствуете за тех, кто должен ходить в театр утром.

Все в театре разговаривали с Иваном Максимовичем «на равных». И не потому, что позволяли это себе, а потому, что к этому располагали характер директора, и его лицо, и его неуклюжая, застенчивая походка. Но непосредственной и резче других высказывалась Валентина Степановна, поскольку пришла в театр с ним вместе, лет двадцать тому назад. И еще потому, что она всех убеждала: «Вот увидите: когда он уйдет на пенсию, все кончится!»

Члены худсовета посочувствовали Тонечке Гориловской: на этот раз ей не придется работать с автором над текстом произведения, что она очень любила делать. И, расходясь, поздравили Костю Чичкуна с хорошей идеей.

— Это не я. Это товарищи, — с мрачным видом ответил довольный Костя.

Иван Максимович попросил задержаться главного режиссера, Костю и Зину.

— Сейчас позвоним в Москву и узнаем насчет молодых режиссеров!

— Лучше пригласить совсем молодого, — сказал Николай Николаевич, задумчиво проверяя и поправляя свои манжеты. — Какого-нибудь дипломника!

— Таким легче будет руководить, — шепнула Зина сидевшему рядом Косте.

— Мы попросим помощи у Терешкиной из министерства, — сказал Иван Максимович и набрал номер междугородной.

— Терешкина из министерства!.. — с иронией произнес Николай Николаевич.

Зина вскочила со стула:

— Вы знаете Сусанну Романовну?

— Я столько слышал о ней, что, кажется, узнаю, если встречу на улице.

— Если встретите, передайте ей от меня привет!

— Вершит судьбы детского театра?

— Она не вершит. Она помогает...

— Терешкина нам помо-ожет! — мрачно подтвердил Костя Чичкун. — Она лю-юбит нам помогать! — Взглянув на часы, Костя добавил: — Сейчас, правда, обеденное время...

— Она не обедает, — сказал Иван Максимович.

Сусанна Романовна оказалась на месте.

Когда Иван Максимович изложил ей просьбу театра, она воскликнула:

— Вы как раз вовремя позвонили!

— В обеденный перерыв?

— Я не шучу. Есть один замечательный парень, Андрей Лагутин!.. Он ставил «Ромео». Это было его дипломной работой.

— Дипломник? То, чего хочет Николай Николаевич!

— Вот видите... Вы как раз вовремя позвонили. За Андрея дерутся!

Иван Максимович не часто обращался к Терешкиной. Но когда бы он это ни делал, она обязательно восклицала: «Вы как раз вовремя позвонили!» Создалось впечатление, что Сусанна Романовна сидела и ждала его звонков, стараясь заранее предугадать, что именно понадобится его театру.

— У Андрея есть, правда, одно небольшое условие...

— Наверно, квартира, а? Этого нет. Вы попросите его не настаивать на квартире.

— Он может спать в вестибюле. Или у вас в кабинете. Это его не волнует. Но есть одно условие, которое я прошу выполнить. Он сам вам все объяснит.

— Ну, если министерство нас просит...

— Это я прошу.

— Тем более!

Повесив трубку, Иван Максимович торжественно сообщил:

— Есть режиссер. И как раз дипломник! Терешкина пришлет его. Она просила нас выполнить одно его небольшое условие. Мы выполним, а?

Николай Николаевич нервно поправил манжеты.

— Начинаящий режиссер с условием? Мы, помнится, начинали не с условий, а с благодарности за то, что нас приглашали.

— Мы не знаем, с чего начнет он, — сказала Зина. — Иван Максимович разговаривал с Сусанной Романовной...

— А что она еще о нем сообщила? — как бы пропустив мимо ушей Зинину фразу, обратился к директору Николай Николаевич.

— Сказала: «Замечательный парень!»

— Исчерпывающая характеристика для режиссера!..

* * *

...Валентина Степановна поставила на стол в кабинете директора тарелку с бутербродами, вазу с пирожными и три бутылки нарзана. Увидев это, Николай Николаевич стал нервно поправлять манжеты, которые были в полном порядке. В общении с ними всегда проявлялось его настроение.

— Ну, непедagogично же, право, — обратился он к заведующей педагогической частью. — Он ведь не в буфет приходит, а в театр. Детство какое-то!..

— А вдруг он голодный? — сказал Иван Максимович. — С дороги-то! Это я попросил Валентину Степановну...

— Цветы, бутерброды, шампанское — все это после премьеры, мои дорогие! Если она, разумеется, будет

успешной. А такие авансы... Вообще, Иван Максимович, я бы хотел вновь подчеркнуть: не мы должны быть счастливы, что он приезжает, а он должен быть благодарен, что его пригласили. Кто из великих начинал с Шекспира? Даже не припомню. По-моему, просто никто.

В этот момент в комнату ворвалась Зина.

— Встретили! — воскликнула она. — Тут все в порядке? Действительно замечательный парень!

— Ну вот!.. — Николай Николаевич безнадежно махнул рукой и сел на стул, небрежно положив ногу на ногу, а голову устало откинув назад. Он приготовился к встрече.

— Представляете себе, — продолжала Зина, — он всем восторгается!

— Лакировщик, что ли? — пошутил Николай Николаевич.

— Лакировщики — фальшивые люди. А он от всего сердца! И вокзал ему наш очень понравился, и то, что мы его встретили... «Как, говорит, это все замечательно!» В данный момент восторгается рыбами.

Вообще-то восторженные натуры раздражали Зину тем, что искажали порой истинные события жизни, как бы «подгоняли» их под свое восприятие. Но молодой режиссер не раздражал ее. Наоборот, по дороге от вокзала до театра он все время как бы обострял восприятие Зины: заставлял ее радоваться тому, чего она по привычке давно уже просто не замечала. На пороге появился Андрей Лагутин. Он был с чемоданчиком, в свитере и кедах.

Взглянув на его лицо, не часто улыбавшаяся Валентина Степановна улыбнулась. И Иван Максимович улыбнулся. Лицо было доверчивое и приветливое.

— Здравствуйте, я приехал, — сказал Андрей.

Какое-то мгновение все молчали, предоставляя первое слово для ответа Николаю Николаевичу. Но так как он медлил, Зина воскликнула:

— Мы вас так ждали! Знакомьтесь, пожалуйста...

Понимая, что в присутствии Зины паузы очень опасны, Николай Николаевич встал и первым протянул руку. Представившись, он сказал:

— Я слышал, вам у нас нравится?

— Очень! — ответил Андрей. — Со мною в купе ехали трое мужчин. Самый молодой из них был не моложе пяти-

десяти лет. Но все они говорили: «Наш ТЮЗ!» Это замечательно! Я был горд, что меня сюда пригласили.

— Наш город славится металлургическим заводом, курортом, на котором лечатся от ревматизма, и ТЮЗом,— сообщил Иван Максимович.

— Я уверен, что серьезный экзамен, который вам предстоит, вы выдержите. С нашей помощью, разумеется,— опять вступил в разговор Николай Николаевич.

— Все экзамены он уже сдал в институте,— сказала Зина.

Костя, стоявший за спиной у Андрея, посмотрел на нее выразительным взглядом одного из своих персонажей. Зина и сама понимала, что первая встреча должна быть бесконфликтной и радостной. «Не удержалась!» — с досадой подумала она.

— Первый спектакль — всегда экзамен,— сказал Андрей.— Что такого? Я понимаю.

Валентина Степановна жестом гостеприимной хозяйки указала на тарелку и вазу.

— Именно Николай Николаевич предложил, чтобы молодой режиссер ставил этот спектакль,— сообщил Иван Максимович.— Правда ведь?

— Правда,— сказала Зина.

— Мне повезло! — воскликнул Андрей и взял бутерброд.

Одобренный директором, Патов налил себе немного нарзана, сделал один глоток и, держа стакан в руке, начал:

— Я много думал об этой трагедии. И раньше и сейчас, зная, что должен буду, как старший товарищ, время от времени протягивать вам руку помощи!

— Он заранее уверен, что Андрей будет тонуть? — прошептала Зина в Костино ухо. Готовность броситься на защиту доверчивости и доброты не покидала ее ни на минуту.

Андрей принялся за второй бутерброд.

— И вот интересно,— продолжал Николай Николаевич,— эта повесть, которой нет «печальнее на свете», была известна задолго до Шекспира. Он-то создал ее в...— Патов запнулся.

— Примерно в 1595 году,— подсказал Андрей.

— Было два варианта. Они отличались друг от друга... ну, допустим — чтобы всем здесь было понятно! — как

«Ганц Кюхельгартен» Николая Васильевича Гоголя от его же «Ревизора» или «Мертвых душ». Как фельетоны Антоши Чехонте от творений Антона Павловича Чехова!

Великих Николай Николаевич всегда называл по имени-отчеству.

— Как видим, даже гении не сразу находили себя. И почти всегда рядом были проводники, которые помогали им отыскать дорогу.

— Кажется, он хочет, чтобы Андрей написал «Ревизора» с его помощью, — шепнула Зина в Костино ухо.

— Лишь бы получился «Ревизор»! — ответил ей Костя.

— И вот интересно, — продолжал Патов, — если сейчас в одной пьесе сын не уважает отца и в другой сын не уважает отца, авторов обвиняют в отсутствии оригинальности. А то и в плагиате! Раньше же, в эпоху Возрождения, например, традиционность сюжета считалась большим достоинством. Как вам кажется?.. Простите, не знаю вашего отчества!

— Просто Андрей.

— Не очень удобно: вы меня...

— А вы меня — просто Андреем!

— Так вот, как вам кажется, Андрей, почему оригинальности сюжета раньше не придавали такого большого значения?

— Я не знаю.

— Потому что гораздо большее значение придавали средствам художественного выражения! От похожести сюжетов произведения не становились похожими друг на друга. Потому что художники в ту пору были по-настоящему самобытны!

«А ведь он называет по имени-отчеству только тех великих, которых давно уже нет...» — вдруг подумала Зина. Она хотела поделиться этим наблюдением с Костей. Но сдержалась.

Николай Николаевич еще раз глотнул уже выдохшегося нарзана. И, словно бы подкрепившись, продолжал:

— Первым этот столь близкий сейчас нашему коллективу сюжет обработал Мазуччо. Это было примерно...

Патов запнулся.

— Во второй половине пятнадцатого века, — сказал Андрей.

— Как на экзамене! — воскликнула Зина.

Патов взглянул на нее, как смотрят на зрителя, вдруг заговорившего во время спектакля. Остальные зрители молчали. Хотя по всему было видно, что и Валентине Степановне очень хотелось заговорить: она несколько раз приподнималась со стула. Патов не обращал на это внимания.

— Но у героев Мазуччо были другие имена и фамилии,— продолжал он.— А вот у Луиджи да Порто в «Истории двух благородных любовников» мы уже встречаемся с Ромео и Джульеттой. Представляете себе, если бы сегодня в двух пьесах были не только одинаковые сюжеты, но и одни и те же имена у действующих лиц?!

— Не представляю себе,— сказал Андрей.

— А раньше это было возможно! В силу того, о чем я уже говорил... У Данте же, как вы все помните, фамилии враждующих семей — Монтекки и Капулетти! Это в «Чистилище»... Ну, разумеется, как и почти во всякой истории с бродячими сюжетами, не обошлось без курьезов. Джироламо делла Корта в своей известной «Истории Вероны» выдал старый сюжет за подлинный. Или, как сейчас говорят, за документальный! А потом уж в Вероне соорудили явно фальшивую гробницу Ромео и Джульетты. Никто из вас не был в Вероне?

Валентина Степановна не выдержала.

— Лично я не была,— сказала она.

— И я, как ни странно, тоже,— добавила Зина.

— Ну зачем вы иронизируете? Сейчас столько туристических зарубежных поездок! Мне довелось... Так вот, всем туристам сейчас показывают эту гробницу. Я видел Верону! И потом расскажу вам, Андрей, и художнику спектакля о своих непосредственных впечатлениях.

— Это замечательно! — воскликнул Андрей.

— А уж потом сюжет добрался до Англии. Появилась поэма Артура Брука «Ромео и Джульетта». Представляете, если б сейчас... Да что говорить! Существуют разные мнения о том, откуда заимствовал сюжет Вильям Шекспир. Но я-то уверен, что он взял его из поэмы Брука. Известно, однако, что из одного и того же камня один высекает безделушки, а другой — чудеса! Когда вы, Андрей, читали поэму Брука, то, наверно, заметили...

— Я ее не читал.

— И ничего, как говорится, не потеряли. Но вот интересно: у Брука действие продолжается в течение девяти месяцев, а у Шекспира — с воскресенья до пятницы. То есть всего пять дней. Как вы думаете, почему он так сократил время действия?

— А вы как думаете? — спросила Зина.

— Я думаю, он хотел, чтобы напряженность и стремительность событий были под стать напряженности юных чувств!

— Может быть, — сказал Андрей. Он обвел своими добродушными, доверчивыми глазами всех присутствующих, как бы советуясь с ними.

«Чем-то он похож на Зину Балабанову, — подумал Иван Максимович. — Но чем именно?» И ответил себе: «В нем тоже есть что-то детское! И улыбается безмятежно, как наши зрители младшего возраста...»

Андрей вернулся взглядом к Николаю Николаевичу:

— Но все равно эта любовь должна казаться зрителям вечной. Не имеющей конца и начала... — Он обратился к Валентине Степановне: — Как вы думаете?

«Недавно тот же самый вопрос — «Как вы думаете?» — задал Николай Николаевич. Но Патов экзаменует, — подумала Зина. — Хотя ему не нужен ничей ответ. Он все сам знает заранее. А этот советуется... Ему интересно мнение Валентины Степановны!»

— Я думаю, — сказала заведующая педагогической частью, — что тюзовский вариант трагедии должен быть прежде всего гимном первой любви, которую именно сейчас, в это самое время, испытывают наши зрители старшего возраста. Нельзя научить их любить. Нельзя заставить их подражать чужим чувствам, но восхититься силой и красотой этих чувств они просто обязаны!

— Да... — задумчиво произнес Андрей, — хотелось бы, чтоб они восхитились!

— Ваша задача облегчается тем, что наши зрители старшего возраста очень восприимчивы, — сказала Валентина Степановна. — Хотя в отличие от малышей они стесняются проявлять это.

Почувствовав, что он перестает быть центром беседы, Николай Николаевич поднялся — статный, элегантный, красивый. И все опять повернулись к нему.

— Вы знаете, что Белинский и Пушкин писали об этой трагедии? .

Зина, как на уроке, подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста, — тихо, предвидя подвох, проговорил Николай Николаевич.

— Я не знаю, что писал Пушкин, но я знаю, что есть опера Гуно «Ромео и Джульетта», а также фантазия Чайковского и балет Прокофьева того же названия.

— Ну, это уже какое-то детство!.. — с досадой воскликнул Патов. — У нас идет серьезный, профессиональный разговор...

— Может быть, ты пойдешь на репетицию? — шепнул Зине Костя Чичкун.

— Его одного я тут не оставлю!

— Я уверен, — сказал Иван Максимович, привстав из-за стола и примиряюще разводя руки в стороны, — абсолютно уверен: во всем, что касается сути будущего спектакля, вы, Андрей, найдете с Николаем Николаевичем общий язык.

Патов решил высказаться о сути будущего спектакля немедленно.

— Мне видится все это... как рассказ о смелой и гордой личности, порывающей с оковами косных средневековых норм.

— Это, видимо, совпадает и с вашей, Андрей, точкой зрения, а? — с надеждой спросил Иван Максимович. Его взгляд, казалось, просил Николая Николаевича и Андрея: «Ну, подойдите друг к другу!»

— Мне кажется, что оковы средневековья не тяготят сегодняшних зрителей, — сказал Андрей. — И вопрос о косности средних веков их не волнует.

«Ну что ты будешь делать!» Это восклицание не вырвалось у Ивана Максимовича, но как бы возникло у него на лице. Директор опустил в кресло.

— А что такого? — с добродушным удивлением спросил Андрей. — В великом произведении каждый открывает что-то свое.

— И что же открыли вы? — устало проведя рукой по тяжелым, густым волосам, спросил Николай Николаевич.

— Я хотел бы поставить спектакль современно.

— Новое прочтение?.. Это сейчас модный термин. Но добавлять себя к Шекспиру... Удобно ли это?

— А разве только в средневековье могла быть такая битва истинного и мнимого? Такая схватка любви и добра с ненавистью, ханжеством и лицемерием?

— Любовь и ненависть — это я помню. Но ханжество? Лицемерие?.. Кто же там является носителем этих качеств?

— Кто?.. — Андрей обвел всех своим добродушным взглядом, как бы спрашивая: «И вы тоже не помните?»

Зина тут же откликнулась на этот вопрос.

— А враждующие семьи?! — воскликнула она. — Которые даже не помнят, из-за чего возникла их ссора, но делают вид, что в своей злобе страшно принципиальны!

— Я думаю, что нашим зрителям старшего возраста такой аспект действительно ближе, — сказала Валентина Степановна.

— Может быть, мы зря затеяли этот разговор? — сказал Николай Николаевич. — Такие проблемы на форумах не решаются. Мы соберемся вдвоем и выработаем общую концепцию... Я, думаю, буду полезен вам, Андрей, и в подборе кандидатур на главные роли. Ну, в частности, я уже определенно вижу в нашей труппе двух неплохих Джульетт и одного неплохого Ромео...

— А вам разве не сказали о моей просьбе? — спросил Андрей.

— О просьбе? — удивленно вскинул брови Николай Николаевич.

— Сусанна Романовна предупредила, что у вас есть какое-то небольшое условие, — сказал Иван Максимович. — И мы обещали его выполнить. Ведь правда? — обратился он к Патову.

— Я лично с Сусанной Романовной не разговаривал.

— А какое условие-то? — спросил Иван Максимович.

— Ромео я хотел бы сыграть сам.

— Вы окончили актерский факультет? — спросил Николай Николаевич.

— Нет, режиссерский. Но в своем дипломном спектакле играл Ромео.

— Мне кажется, роль режиссера спектакля так ве-

лика, что вряд ли он нуждается еще в одной роли.— Довольный своим афоризмом, Николай Николаевич склонил голову, как бы ожидая аплодисментов.

— Андрюша... вы на этом настаиваете, а? — спросил директор.

— Я бы просто очень хотел...

— Известны случаи, когда крупные артисты становились великими режиссерами. И потом совмещали обе профессии,— сказал Патов.— Всеволод Эмильевич Мейерхольд, например. Или Константин Сергеевич Станиславский... Но чтобы крупный режиссер прославился в роли?.. Что-то я не припомню.

— Он ведь еще не крупный! — сказала Зина.

Патов зашагал по кабинету в поисках аргументов. И вдруг остановился на полдороге.

— О каком Ромео может идти речь? Вы ведь сюда, к нам... на время?

— Если мой Ромео понравится, я могу задержаться. А потом подготовлю дублера.

— Значит, так...— мрачно вступил в разговор Костя Чичкун. Это было так неожиданно, что все вздрогнули и повернулись к нему. К решениям Костя приходил медленно и тяжело. Но почти никогда не менял их. Он высказывался так, будто подводил итог дискуссии. На самом же деле он подводил итог своим собственным размышлениям и сомнениям.— Я вот что хочу сказать. В молодежном спектакле должны быть эксперименты. Так что надо попробовать.

— Это было бы интересно, а? Как вы думаете, Николай Николаевич? — спросил директор.

— Не положено это... по-моему.

— Кем не положено? — спросила Зина.

Ничего не ответив ей, Патов обратился к Андрею:

— Ну, а Джульетта, Парис, Тибальд и кормилица?.. Насчет исполнителей этих ролей вы со мной посоветуетесь?

— А как же? Только сначала я должен познакомиться со всеми актерами.

— Мы устроим вам встречу с труппой,— предложил Иван Максимович.

— Лучше я просто посмотрю все ваши спектакли!

* * *

...В том же доме, где жила Зина, на первом этаже было актерское общежитие. Иван Максимович освободил там для Андрея девятиметровую комнату.

— Девять метров? Это дворец! — восторгался Андрей.

После вечернего спектакля они с Зиной шли домой вместе.

— У вас замечательный зал! — продолжал восхищаться Андрей. — Чувствуешь себя в нем, как в театре и как дома: в меру нарядно и в меру скромно.

— Ну, а спектакль?

— Он был замечательным.

— Сегодня... или когда-то?

Зина остановилась и в ожидании уставилась на Андрея своими немигающими глазами.

— Я представляю его себе таким, каким он был, наверно, в день премьеры.

— А сегодня он, значит, выглядел, как некогда красивая женщина? Почему? Объясни.

Еще утром они с Андреем как-то незаметно перешли на «ты».

— Ты играла восьмиклассницу превосходно! Ребята, сидевшие за мной, все время гадали, сколько тебе лет.

— Наверно, приезжие. Всему городу известно, что мне двадцать семь.

— И Анну Гавриловну они все время сравнивали со своей классной руководительницей. В пользу Анны Гавриловны! Но вот подумай: ты, девчонка, вступаешь в сражение за учительницу, которая хочет уйти из школы... из-за сложившихся там ненормальных условий. Режиссер, который ставил спектакль, хотел показать, что происходит трагедия. Что расстаться с учениками — это почти равносильно смерти. Но учеников, которые сегодня ходили по сцене, возле тебя, полюбить с такой силой, по-моему, трудно. Актеры подвели режиссера... Они недотягивают до его замысла.

— Раньше дотягивали. Спектакль идет два с половиной года.

— Многие ребята, сидевшие в зале, его уже видели. Я заметил... Они объясняли соседям, что будет дальше.

— Ничего не поделаешь... Наш город не такой уж большой. Нельзя же без конца объявлять премьеры!

— Не обижайся, пожалуйста... Но это всегда было традицией...— Андрей замолчал, подыскивая какое-то слово,— традицией нестолличных театров.

Зина подумала, что поддерживать эту традицию с Патовым будет трудно.

— Но если бы все актеры были на уровне режиссерского замысла,— продолжал Андрей,— ребята, я думаю, не пересказывали бы вслух содержание пьесы. Они бы смотрели на сцену!

Зина молчала. Это был ее любимый спектакль. К тому же его сюжетом стала истинная история, которую отыскал в одной школе города Петр Васильевич. Он коллекционировал подлинные истории.

— Пьеса написана местным автором? — чтобы нарушить молчание, спросил Андрей.

— Да.

— И так повезло, что там как раз в центре четырнадцатилетняя девочка?

— Мне везет почти во всех современных пьесах. Местных и неместных авторов... Потому что пьесы эти подбирает и «организует» Тонечка Гориловская.

— Кто это?

— Наш завлит и моя соседка.

— Ты не обижайся, пожалуйста...

— Я никогда не обижаюсь,— перебила Зина. И повторила свою давнюю мысль: — Если говорит хороший человек, надо прислушаться. А если плохой... Что же на него обижаться?

— Каким человеком ты считаешь меня?

— По указанию Терешкиной из министерства следует считать тебя «замечательным парнем»!

* * *

«Книги и фильмы, если они талантливы, не теряют от времени своих достоинств,— рассуждала Зина, вернувшись домой.— Они созданы как бы раз и навсегда... Создатели их умирают, а они продолжают существовать все в том же первоначальном качестве — ни одна мысль не уходит, ни одна строка не меняется. Попробуй переставить хоть один

знак препинания в каком-нибудь знаменитом стихотворении! А спектакль как живой человек: имя и фамилия все те же, но характер может со временем измениться. И каждый раз, приходя на сцену, он что-то приобретает или что-то теряет. Наши спектакли теряют... Я об этом догадывалась, но очень смутно: со сцены не видишь сцену так ясно, как если бы была в зале. Андрей же увидел из зала. И сказал правду... А ведь когда-то этими спектаклями мы гордились! О них говорили и писали не только у нас в городе. Сусанна Романовна присылала на их просмотры молодых режиссеров, чтобы учились!»

Зина стала вглядываться в фотографии, висевшие на стене. Она вроде бы просила у Петруши прощения за то, что не уберегла ценности, которые он ей оставил. И еще просила ответить ей на вопрос: «Отчего так случилось? Те же актеры, так же любят свой театр и так же стараются...»

Петр Васильевич не слушал ее: он хватался за голову, затыкал уши, кричал... Он репетировал. Ему было некогда.

Зина все пристальнее вглядывалась в фотографии и начинала ясней понимать, что происходит... Давно уже в пустом зрительном зале, где, как за столом писателя или за композиторским роялем, создаются произведения, никто не хватался за голову, не затыкал уши и не кричал.

«Если не создается новое, то и старое блекнет,— подумала Зина.— Наверно, так? Уходит творчество... Вот в чем причина. И все-таки Петрушины спектакли надо спасти! заново репетировать... В пустом зрительном зале. С режиссером, который будет хвататься за голову...»

Зина быстро принимала решения. А приняв, начинала сразу осуществлять.

На другой же день утром она притащила Костю в кабинет Ивана Максимовича.

— Репертуар, которым мы по привычке гордимся, в аварийном состоянии,— сказала она.

Костя, подобно человеку, живущему по соседству с вулканом, в сейсмически опасном районе, привык к подземным толчкам. Поэтому он спокойно и мрачно осведомился:

— Кто тебе об этом сказал?

— Зритель.

— Ну-у, знаешь,— протянул Костя,— на всех не угодишь!

— А на этого угодить надо.

— Мальчик или девочка? — привстав, поинтересовался директор.

— Мужчина.

— Ну-у, знаешь... А мы — театр юного зрителя, — не очень уверенно, как бы по инерции возразил Костя.

— Мы ведь восстановили три старых работы Петра Васильевича, — грустно сказал директор.

— Отремонтировали их... и показали! — поддержал Костя.

— Руками ассистентов-ремонтников?! — вытаращив на Костю глаза, воскликнула Зина. — Произведения искусства не ремонтируют. Их ре-ста-ври-ру-ют! Понял? И делать это умеют только художники.

— Николай Николаевич быть реставратором не согласится, — сказал Иван Максимович.

— Он просто не сумеет! — отрезала Зина.

— У них с Петром Васильевичем разные почерки... — задумчиво произнес директор.

— Совсем разные, — согласилась Зина.

— Значит, так... Сначала мы с вами должны решить: нужно ли вообще это делать? — медленно вступил в разговор Костя. — Вот вы, Иван Максимович, часто интересуетесь мнением юных зрителей. После спектаклей... Что они говорят?

— Говорят: «Нам очень понравилось», — с грустью ответил директор.

— И раньше они говорили: «Нам очень понравилось»?

— И раньше. Но... по-другому.

— А что ты хочешь, чтобы они ответили, если их спрашивает директор театра?! — вмешалась Зина. — Интеллигентными стали.

Иван Максимович вышел из-за стола. И, ступая еще тяжелей, чем всегда, стал ходить по своему кабинету.

— Нет, — возразил он, — по их глазам всегда можно понять. И по голосу... Слова не так уж важны.

— Еще бы! Кругом афиши, люстры, фотографии и аквариумы... Билетерши в синих костюмах. Это же все действует! — Зина уставилась на Костю: — А неужели ты сам-то со сцены не чувствуешь? — Она махнула рукой. — Хотя зрители «Красной Шапочки» и «Золотого ключика» всегда в полном восторге!

— Вообще-то я обратил внимание,— с трудом раскачивался Костя,— что артисты у нас... перестали петь. Раньше приходили на репетиции задолго до срока и по дороге обязательно пели. Особенно молодые... А теперь идут тихо. Некоторые даже опаздывают. Только Анна Гавриловна приходит заранее...

— Ветераны не в счет! — сказала Зина.

— Надо было бы походить на спектакли, проверить...

— Проверить? — Зина заметалась по кабинету. Столкнулась с Иваном Максимовичем. Он извинился... А она не села, а упала на стул, словно в полном изнеможении.— Если говорить начистоту, знаете, что мы делаем?

Иван Максимович и Костя замерли. Когда Зина собиралась говорить «начистоту», следовало ожидать самого страшного.

— Мы предаем Петрушу... Простите, Петра Васильевича! Он не может уже теперь защитить свои творения. Он доверил их нам. А мы бросили их на произвол судьбы!

— Ну, уж ты слишком...— проговорил Костя.

— Она права,— сказал Иван Максимович.— Мы можем терпеливо ждать, пока Николай Николаевич приступит к осуществлению своей заветной мечты. Но старые спектакли обязаны содержать в порядке. А?.. Вы согласны?

Все актеры знали, что каждый вечер в седьмом ряду сидит молодой режиссер, который будет ставить Шекспира.

Когда люстра в зале начинала тускнеть, а занавес раскрывался (Петр Васильевич любил, чтобы в театре был занавес), Андрей, как в детстве, впивался глазами в сцену. Он внимательнее всех смотрел, громче всех хохотал и дольше всех хлопал.

Он уже относился к ТЮЗу так, как относятся к близкому человеку, недостатки которого подмечают и переживают больше, чем недостатки других людей, но от этого не перестают любить и восторгаться.

Когда Андрей наконец посмотрел все спектакли, у актеров испортилось настроение: из седьмого ряда исчез самый благодарный и отзывчивый зритель.

— Какой милый молодой человек! — сказала Анна Гав-

риловна.— Я знала, что он не упускает ни одного моего жеста. Очень способный зритель!

Анна Гавриловна всю жизнь считала, что зрители, как и актеры, могут быть способными и неспособными.

— Я когда-нибудь обязательно встречусь с вашим Петрушей,— сказал Андрей Зине.— Я теперь знаю этого человека. Он мне нужен. Я люблю его! И, кажется, угадываю главное его качество: он — ребенок. Как ты, как Гайдар... Чист и добр. И при этом — мужчина, умный и твердый. Я не ошибся?

— Ты не ошибся. И поэтому именно ты должен быть реставратором!

— Кем?!

Зина ничего не ответила: она помчалась к директору.

В тот же день вечером Зина решила зайти к Патовым, чтобы поговорить с Ксенией Павловной. «Она же обещала быть добрым посредником между мной и Николаем Николаевичем,— рассуждала Зина.— Пришло время воспользоваться ее помощью!..»

Дверь открыла Лера. У нее была привычка прямо с ходу, не поздоровавшись, сообщать о том, что ее в данный момент волновало.

— Зубрю,— сказала она.— И потрясаюсь: сколько в нашем организме деталей! И каждая может испортиться, отказать... Как мы все живы-здоровы? Просто непостижимо.

— Наверно, велик запас прочности? — предположила Зина. И, следуя своей манере все переносить на дела театра, подумала: «И у нашего ТЮЗа тоже запас прочности колоссален, если он до сих пор не развалился. Спасибо Петруше!..»

— Учиться в медицинском для мнительных людей — одно наказание. Они находят в себе признаки всех болезней!

— Но ты ведь не мнительная.

— Что ты?! Это единственная черта, которая досталась мне в наследство от папы. Не считая, конечно, лица!

Зина знала, что Патов то и дело профилактически глотал пилюли и бесконечное количество раз мыл руки, вытирая их бумажными салфетками, которые всегда носил в кармане.

— Но мнительность для врача, я считаю, полезна, — сказала Лера. — Если он распространяет ее и на своих пациентов. А то приходит, знаешь, такой старичок-бодрячок и говорит больному: «Ничего! Мы с вами в воскресенье пойдем на рыбалку. Болит живот? У кого же он не болит?! Попейте салол с белладонной...» А ночью у пациента — прободение язвы желудка.

— Нагонять на человечество страх тоже, наверное, ни к чему, — возразила ей Зина. — Все люди на земле — пациенты.

— Нет! — решительно заявила Лера. — Лучше жить, прислушиваясь к себе, чем умереть, будучи уверенным, что ты абсолютно здоров. Я буду перестраховываться!

Из комнаты вышла Ксения Павловна. Застать ее врасплох было нельзя: она всегда была красиво причесана и красиво одета, будто собиралась идти в гости. Хотя большую часть своей жизни провела дома.

— Знаете, какие профессии самые опасные? — спросила Лера у матери и у Зины. — Которым нельзя ошибаться. Летчик-испытатель, например. Или врач! Актер не так исполнил роль Градобоева в комедии Александра Николаевича Островского «Горячее сердце» — испортил зрителям настроение... Ну и что? Другой актер исполнит иначе. И исправит зрителям настроение.

«Великих она тоже называет по имени-отчеству, — подметила Зина. — Но с иронией, словно бы пародирует Николая Николаевича».

— Теперь сравните! — продолжала рассуждать Лера. — Хирург не так сделал больному операцию. Даже обычную... Удаление желчного пузыря. Боюсь, что этот больной может вообще уже никогда не увидеть комедий Александра Николаевича Островского.

— Ты права... Делать не так врач не имеет права, — согласилась с ней Зина.

— Поэтому удаляюсь зубрить! — Она исчезла в комнате. Потом вновь появилась: — Ты ведь, как всегда, к маме?

— Честно говоря, да.

— Хоть бы раз ты сказала нечестно! — Лера снова исчезла.

«Сочетание Ксении Павловны с Лерой в одной семье — это завидная режиссерская находка», — подумала Зина. Она любила созвучие нежных и резких красок.

Зина опять удивилась новым обоям, тщательно отциклеванному паркету, и у нее чуть было не соскочила с языка фраза, которую она всегда мысленно произносила у Патовых в коридоре: «Пойдем-ка на кухню: поговорим об искусстве!»

— Пойдем в наш с вами укромный уголок, — предложила Ксения Павловна.

Петруша обычно заваливал кухню пьесами, которые в изобилии доставляла ему Тонечка Гориловская. На кухонном столе, на табуретках всегда лежали эскизы, стояли макеты: комнаты были заняты многочисленными членами режиссерской семьи. Теперь кухня была в полках и полочках, банках и баночках. Все сверкало подвенечным, безукоризненно белым цветом. И каждый раз Зина думала: «Если бы я была мужчиной, я женилась бы только на Ксении Павловне!»

— Ну, что у вас в театре? — спросила Ксения Павловна.

Все обращались к Зине с таким вопросом, поскольку знали, что никакой другой жизни у нее нет. И не только потому, что она фанатически предана своей профессии, а потому, что так уж сложилось...

— Об этом я и хотела поговорить!

— Да, да... Я вас слушаю.

Ксения Павловна вспыхнула, заволновалась. «Как же она тревожится за него! — подумала Зина. — Отчего? Чувствует, что он непрочен стоит на ногах? Или просто оберегает его, как ребенка? Конечно, представить себе Николая Николаевича ребенком мне лично очень трудно... Но ведь у любви искаженное зрение. Это надо учитывать!»

Подумав так, Зина на миг спохватилась: «А не слишком ли часто я последнее время что-то учитываю, от чего-то себя удерживаю?..»

Когда такое случилось впервые, она сказала об этом Петруше. «Ты становишься взрослой, — ответил он ей. — Только не становись до конца!.. А то перестанешь быть гениальной актрисой».

Он часто называл ее гениальной. И без всякой улыбки. «Надо выражать то, что в данный момент чувствуешь, — нередко повторял он. — Выверять слова очень опасно: это убивает вкус, цвет и запах. Истинные чувства — любовь ли это или ненависть — всегда гиперболичны».

— Вот мы только что говорили о медицине,— издалека начала Зина, хотя решительно предпочитала прямую линию ломаной. С Ксенией Павловной она прямолинейной быть не умела.— Если применять к театру медицинские термины, можно сказать, что пульс и сердцебиение его определяются репертуаром.— «Как же я красиво говорю!» — злилась на себя Зина. И все-таки продолжала: — Наш ТЮЗ был абсолютно здоров. И счастлив...

— Я понимаю,— сказала Ксения Павловна.

— В человеческом организме пока еще редко заменяют стареющую деталь новой, а в организме театра это должно происходить обязательно: репертуар всегда обновляют. Николай Николаевич пока еще только готовится к этому... Тогда надо подлечить то сердце, которое нам так прекрасно служило! Надо старый репертуар сделать как бы опять молодым.

— Я постараюсь убедить в этом Николая...

— Он сам режиссером-доктором быть не захочет. У них с Петром Васильевичем разные творческие манеры. Вы понимаете? — Зина вытерла лоб: роль дипломата не соответствовала ее амплу.— А сейчас к нам приехал молодой режиссер.

— Я слышала. Он вам нравится?

— Замечательный парень! Он будет ставить Шекспира. Но я уверена, что он бы не отказался одновременно... параллельно, что ли, с основной постановкой... Надо только, чтобы Николай Николаевич не возражал. Сегодня с ним и с Андреем будет говорить наш директор. Мы бы могли нажать и со стороны комитета. Но лучше все-таки через вас.

В этот момент раздался звонок. Лера побежала открывать.

Из коридора слышался ее голос:

— Ты что, как пишут у меня в учебнике, в состоянии стресса? Или, попросту говоря, нервно настроен? Поделись! Я собираюсь быть невропатологом.

— А мне впору идти к психиатру! — отбросив свой обычный размеренный тон, словно задыхаясь, ответил Патов. Вместо его обычной галантной иронии в голосе звучала откровенная злость.— Этот новоявленный Немирович-Данченко собирается не только ставить Шекспира и сам исполнять роль Ромео, но еще и восстанавливать... так сказать,

гальванизировать творения моего предшественника. Только что, поддерживая инициативу молодых сил, меня оповестил об этом директор!

Ксения Павловна побледнела. Она хотела обнаружить себя и Зину и тем самым остановить мужа. Но не решилась... А Лера отца не останавливала.

— И еще одно потрясение! — продолжал незнакомым Зине голосом Николай Николаевич. — Наш Немирович-Данченко предложил кандидатуру на роль Джульетты. Но не учел главного: зритель должен поверить, что эту Джульетту можно полюбить! Ты знаешь, кого он предложил? Немыслимо себе представить... Балабанову! Вашу Зиночку... Она выдвигает его, а он выдвигает ее!

Зина взглянула на Ксению Павловну, которая была близка к обмороку, и тихо сказала:

— Я не знала об этом. Честное слово. Андрей мне об этом не говорил... Вы верите, Ксения Павловна?

На пороге кухни появилась Лера. Она молчала, но взгляд ее вопрошал: «Здесь все было слышно?»

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — обращаясь к ним обеим, сказала Зина. — Ничего не случилось!

Она вышла в коридор и, взглянув на Николая Николаевича, который впервые на ее глазах оторопел, внятно, чтобы было слышно на кухне, сказала:

— Что касается Джульетты, вы абсолютно правы. В данном случае я с вами согласна!

И, не дав ему опомниться, она открыла и закрыла за собой дверь.

* * *

Ее всегда любили как человека. И убеждали, что эта человеческая любовь гораздо прочнее и лучше другой — «нечеловеческой». Она и сама в нескольких спектаклях объясняла своим юным зрителям, что дружба важнее любви. Но делала это без вдохновения и убежденности.

В ТЮЗ ее пригласил Петруша. Увидев ее в студенческом дипломном спектакле, он громко сказал:

— Она будет гениальной актрисой!

Педагоги стали делать Петруше условные знаки, но он не обратил на это никакого внимания.

— Некоторые считают, что главное в машине — двигатель внутреннего сгорания и коробка скоростей, а другие — что тормозная система. Я принадлежу к первым, — нередко говорил он.

И еще он любил повторять:

— О людях надо говорить не хорошо и не плохо, а как они того заслуживают!

Петруша увез Зину из ГИТИСа к себе в ТЮЗ и официально объявил ее лучшей актрисой театра.

Когда Валентина Степановна попыталась указать ему на непедагогичность подобного заявления, он возразил ей:

— Другие тоже хотят быть лучшими? Это приятно. Пусть станут — и я объявлю об этом с такой же радостью.

— Когда вы, наконец, повзрослеете? — вздохнула заведующая педагогической частью.

— Никогда! А если это случится, я тут же уйду из ТЮЗа.

Петруше было за пятьдесят. «Какой у него необъятный лоб! — говорили люди, будто не замечая, что это лысина. — Какие благородные серебряные виски!» А это была просто-напросто седина.

Петруша не обозначал Зинино амплуа словом «травести».

— У актеров на сцене не может быть «должностей», — уверял он. — Герой, героиня, простак, травести... К чему заковывать их в эти звания?

Услышав, что Костю Чичкуна называют «актером с отрицательным обаянием», Петруша вспылil:

— Опять ярлыки?! Сказочные злодеи — злодеи веселые. Разве это настоящие негодяи? Они больше смешат, чем пугают... И актер с неприятными, отрицательными чертами их бы сыграть не смог.

Если эффектную блондинку Галю Бойкову называли «поющей актрисой», он возражал:

— Она просто умеет петь. Но это не главное ее качество. Иначе она выступала бы в опере. Или в крайнем случае на эстраде.

Актера он называл просто «актером», предпочитая почему-то это слово слову «артист».

Зина влюбилась в Петрушу сразу, еще в коридоре ГИТИСа, когда он начал высказывать ее приятелям, дожи-

давшимся распределения, свои мысли об их возможностях и перспективах. После этого многие стали вздыхать: «Эх, если бы он был не в ТЮЗе!» Но он и не собирался их приглашать. Он пригласил к себе только Зину...

Петруша не замечал ее чувств. Зина ходила даже на те его репетиции, в которых сама не участвовала, — и он восторгался ее увлеченностью театром. Когда семья Петруши отправлялась на летний отдых, Зина покупала ему продукты, готовила — и он называл ее доброй соседкой. Когда однажды, в отсутствие семьи, с ним случился сердечный приступ, она сидела возле него всю ночь, достала даже те лекарства, каких не было в городе, и он стал называть ее «скорой помощью». И еще сказал, что так о нем заботилась только мама.

Уезжая куда-нибудь, Петрушина жена сама просила Зину опекать мужа. Вообще у жен Зина пользовалась безграничным доверием. Однажды эффектная Галя Бойкова, жившая на первом этаже в общежитии, принесла заболевшему Петруше пакет из театра. Жена его тихо, но твердо сказала:

— Я очень прошу: пусть это делает Зиночка.

Петруша уехал из-за жены: ей не подходил климат города. У нее была аллергия.

Сначала Зина не поверила, что он может уехать. Потом Петруша с досадой сказал, что он ее «на сцене не узнает». Потом через приятельницу в Москве она достала все новейшие медицинские препараты, которые могли помочь при аллергических заболеваниях. И, наконец, попросила Петрушу взять ее с собой. Он не взял ее. И вообще не взял никого.

— Хорош строитель, который разбирает по кирпичику созданное им здание, чтобы из этого же материала воздвигнуть где-то другое.

Вспоминая об этой его фразе, Зина подумала: «Он пожертвовал своим желанием не расставаться с нами... А здание-то все равно рассыпается. И мы наблюдаем за этим с постыдной терпимостью!»

Прощаясь, Петруша сказал ей:

— Я очень полюбил вас, Зиночка, как актрису и как человека!..

«Вероятно, и н а ч е меня полюбить невозможно», — сказала сама себе Зина, вернувшись от Патовых и вспомнив все это.

Минут через десять к ней пришла Ксения Павловна.

— Николай Николаевич хотел прийти сам, но я его не пустила... Мы с вами легче поймем друг друга. А Лера хлопнула дверью и убежала. Я не знаю, вернется ли она... Сказала, что не вернется!

— Вернется, — успокоила Зина.

— Вы должны понять: он вовсе не думает того, что сказал. Наверно, он полагает, что вы выглядите слишком уж юной. А ведь это — достоинство женщины. Это нельзя назвать недостатком. Вы согласны, Зиночка?

— То, что маленькая собачка до старости щенок, — это аксиома. И главный режиссер вправе это сказать.

— При чем тут собачка?! Мы с Лерой знаем вас немногим более года — и уже очень любим... как человека!

«Опять!..» — подумала Зина.

— Вы же такая чуткая... И должны понять: Николаю Николаевичу очень трудно. Он находит, что вы с ним мало считаетесь. Он знает, что Терешкина из министерства к нему приглядывается. И чего-то там из-за нее не утверждают. Хотя, если б она узнала его лично, они бы стали друзьями. Я уверена! И этот молодой режиссер... По мнению Николая, он берется за очень уж многое...

— Он не берется. Это мы его просим.

— Пусть так... Николаю это обидно. Он считает, что вы с ним бываете... ну, резки, что ли... Что слишком часто ставите его предшественника как бы ему в пример. Обо всем этом он думает... Но того, что он сказал, он не думает! Вернее, думает не так, как это можно было бы понять...

Ксения Павловна готова была признать существование всех претензий, которые были у Патова к Зине, кроме той, что он высказал в коридоре.

— Как раз в этом Николай Николаевич прав абсолютно, — повторила Зина. — Какая из меня Джульетта? Шекспир перевернется в гробу!

— Он имел в виду вашу слишком явную... ну, что ли, детскость, — продолжала уверять Ксения Павловна. — Я надеюсь, это никак не повлияет на ваши отношения с нашей семьей! Для нас с Лерой вы самый близкий человек в этом городе.

— Я вас тоже люблю.

— И сейчас?

— А что вообще случилось? Главный режиссер не видит во мне Джульетты. И правильно делает. Я тоже не вижу ее в себе. И скажу об этом Андрею. Почему только он не предупредил меня!

— Наверно, хотел раньше согласовать... Только вы знаете: Николай Николаевич не будет возражать! Иначе мы с Лерой...

— Не покидайте его,— попросила Зина.— У меня нет семьи... Не хватает еще, чтобы и ваша распалась!

— Вы шутите... Значит, вы не сердитесь. Это так приятно. Знаете что?..— Ксения Павловна остановилась, будто решаясь на какой-то важный для себя шаг.— Я испытываю к вам большое доверие. И обращаюсь к вам с просьбой. Помогите мне выполнить тот ваш план... Помните? Насчет пробы в драматическом театре. Мы сделаем это втайне от Николая. И вы увидите, как он будет доволен. Вы убедитесь, что он вовсе не против... Просто у него есть свои правила. Я всегда это в нем уважала. Он не любит делать то, что не принято. Не положено... Переступить через нормы...

«Чтобы я не думала, что он домашний тиран, она готова на все! — подумала Зина.— Но это ерунда... Главное, что она согласна!»

Зина обожала устраивать чужие судьбы.

— Вы мне поможете подготовить какую-нибудь сцену? — спросила Ксения Павловна.— Отрепетировать ее! С Николаем у меня не получится... Я его как-то стесняюсь. С вами мне проще. А главное, я хочу, чтобы это было сюрпризом!

— Зачем же я? У нас есть режиссер! — воскликнула Зина.

— Режиссер?..

— Ну да! Замечательный парень! Тот самый... Андрей! Он будет счастлив помочь актрисе вернуться на сцену. Я в этом не сомневаюсь!

— Тот самый?..— переспросила Ксения Павловна. Она задумалась. А потом сказала: — Вы, наверное, как всегда, правы. Николай будет ему благодарен... И, может быть, они станут друзьями?

На следующий день Зина решительно потребовала, чтобы Иван Максимович, Андрей и Костя собрались в директорском кабинете. Взглянув на нее, Иван Максимович спросил:

— Мы должны написать завещание?

— Пока что покушение совершается на меня! — ответила Зина. Пристально глядя на Андрея, она сказала: — Все-таки режиссер должен иметь опыт. Теперь я в этом не сомневаюсь! Разве Петр Васильевич мог позволить себе, не посоветовавшись с актрисой, предлагать ее на главную роль?

Андрей честно и безмятежно удивился. Потом посмотрел на Ивана Максимовича и Костю, ожидая от них поддержки.

— Но ведь Петр Васильевич был главным режиссером, — сказал он. — А я — приглашенный на постановку. И поэтому должен был сначала поговорить с Николаем Николаевичем... Если б я тебя пригласил, а он бы потом отказался?

— Он и отказался! — сказала Зина. — И правильно сделал. Редчайший случай: я стала союзницей Патова!

— Ты прости меня, пожалуйста, — продолжал Андрей. — И не обижайся.

— Я никогда не обижаюсь!

— Но ведь по поводу работы над старыми спектаклями тоже сначала поговорили с главным режиссером, а потом уже со мной.

— Большая разница! — воскликнула Зина. — Ты реставрировать эти спектакли можешь, а я сыграть Джульетту не смогу. Ни за что на свете!

— Почему ты так думаешь, а? — поинтересовался Иван Максимович.

— Да что вы... издеваетесь, что ли? Что между нами общего?!

Иван Максимович не спеша выдвинул ящик стола, достал оттуда какой-то нарядный том и раскрыл страницу, заложенную бумажкой.

— Я предвидел твои возражения. И подготовился, — сказал он. — Вот послушай, что говорит о себе Джульетта: «Хотела б я приличья соблюсти... Хотела бы, но нет,

прочь лицемерье!» А ты говоришь: «Что между нами общего?»

— Если вы решили взять меня цитатами, то я тоже... Дайте-ка книгу!

Иван Максимович неохотно протянул ей нарядный том.

— Прочитайте, пожалуйста! Буквально на любой странице... Хотя бы вот это: «Она затмила факелов лучи! Сияет красота ее в ночи, как в ухе мавра жемчуг несравненный». Теперь взгляните на меня!..

— Эта сцена,— безмятежно улыбаясь, начал Андрей,— как раз доказывает, что между вами много общего... Иван Максимович прав!

— Дать тебе книгу? — спросила Зина.

— Эту трагедию я знаю наизусть. Парис говорит Джульетте: «Твое лицо от слез так изменилось. Бедняжка!» А она ему что отвечает? «Слез не велика победа: и раньше было мало в нем красоты». Она для Ромео прекрасна! Ты понимаешь?

— Она просто скромна.

— Как ты!..

— Я — травести! — крикнула Зина.— Я умею играть только девчонок.

— А Джульетта и была девчонкой! Ей было четырнадцать лет,— радостно сообщил Андрей.

— Девочек в таком возрасте Валентина Степановна не пускает на некоторые спектакли,— сказал Иван Максимович.

— Представления о женском возрасте вообще изменились,— сказал Андрей.— Некоторые немолодые актрисы подходили ко мне: просят на роль матери Джульетты. А ведь ей было лет двадцать семь...

— Что творилось в Вероне! — воскликнула Зина.

— Одним словом, так... Четырнадцатилетних в нашем театре играешь только ты,— четко и неторопливо резюмировал Костя Чичкун.

— И соотношение сил получается очень верное! — продолжал убеждать ее Андрей.

— Какое соотношение?

— Джульетта гораздо решительней и смелее Ромео. Ведь это она предлагает немедленно обвенчаться. И она решается принять снотворное... А ты гораздо решительней и смелее меня. Как видишь, все сходится!

— Но ведь я собираюсь участвовать в спасении спектаклей Петра Васильевича! — ухватила за последний аргумент Зина.

— Андрей тоже будет делать и то и другое, — возразил ей Иван Максимович.

— Он окончательно согласился?

— Отступил перед неизбежностью. Ты тоже сдаешься?

— А Николай Николаевич? Он-то согласен на то и другое?

— Мы его очень просили. От имени дирекции. И общественных организаций... — Ивану Максимовичу было стыдно, что он так нажимал на главного режиссера. Вспоминая об этом, он страдальчески морщился, обеими руками обнимал свою большую, неказистую голову. — Что было делать? Я предложил ему: «Тогда давайте соберем художественный совет. Пусть решает...»

— А он?

— Сказал: «Ну, если проблемы искусства вы хотите решать голосованием, я отступаю».

— Значит, все-таки отступил?! — возликовала Зина.

Директор посмотрел на нее с грустью и осуждением.

— Я так скажу... Мне его было жалко, — тихо произнес Костя. — Но я подумал: сколько ребят каждый вечер приходит к нам в театр! Семьсот пятьдесят. В месяц, стало быть, более двадцати тысяч. А в год, если не считать летних месяцев, около двухсот тысяч! Вот и надо, подумал я, выбрать между этими ребятами и Николаем Николаевичем!

— И выбрал ребят? Ты молодец, Костя! — Зина похлопала его по плечу. — Мы тоже не зря тебя выбрали!

* * *

Николай Николаевич, войдя в директорский кабинет, впервые не поздоровался. Он судорожно поправлял свои манжеты.

Иван Максимович с неловкой поспешностью выбрался из-за стола и пододвинул главному режиссеру стул. Но Патов этого не заметил.

— Сегодня срывается вторая беседа из цикла «Мои встречи с великими режиссерами»! Хотя этот цикл был утвержден художественным советом, чему вы, Иван Мак-

симович, придаете такое большое значение. Оказывается, что для наших с вами артистов встреча с Андреем Лагутиным интересней, чем с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, о котором я сегодня хотел рассказать.

— Просто с этим они работают...

— Чтобы добиться хоть каких-нибудь успехов с этим, они должны знать о том. Что происходит? В репетиции участвуют пять человек, а в зале сидит вся труппа!

— Они соскучились...— тихо произнес Иван Максимович.

— По Андрею Лагутину?!

— По работе... Вы меня простите, конечно.

— Работа артиста складывается из многих компонентов. И один из главных: непрерывное постижение опыта корифеев. Без этого в актерском организме наступает авитаминоз!

— Но ведь чем больше человек потребляет витаминов, тем больше ему хочется ходить, двигаться, действовать...

— Я не думал, что вы поймете меня так буквально. С такой балабановской прямолинейностью! Кстати, балабановщина вообще затопила наш... или, вернее сказать, ваш театр. «Служенье муз не терпит суеты!» — это известно даже младенцу. А тут все бегает, носятся: из зрительного зала — в репетиционный. И обратно... «Тем, кто спешит, грозит паденье». Это строка из «Ромео и Джульетты», кстати сказать.

— Что поделаешь? Они соскучились... Застоялись! Простите меня за грубое выражение.

— Что же, мои беседы вообще отменяются?

— Видите ли, после застолья...

— Какого застолья?

— Так у нас в театре называют репетиции, происходящие за столом.

— И вас не оскорбляют эти ресторанные термины?

— Я привык к этому слову. Может быть, оно неудачно. Но дело не в нем. Дело в... самом деле... В работе... Комитет комсомола попросил меня, чтобы репетиции «Ромео» и работа над старыми спектаклями шли параллельно. В двух наших залах. Утром и вечером.

— У меня возникло одно предложение. Вполне рационализаторское,— скрестив руки на груди, произнес Николай Николаевич.

— Какое, а? Я вас слушаю.

— В афишах и программах пишите так: «Главный режиссер — Н. Патов», а чуть пониже: «Секретарь комсомольской организации — К. Чичкун, заместитель секретаря — З. Балабанова». Раз уж этот ваш комитет играет в жизни театра такую колоссальную роль. Кто доверил ему эту роль?

— Петруша, — тихо ответил Иван Максимович. — Он обожал молодежь.

— Кто же ее не любит?!

Николай Николаевич, не попрощавшись, покинул директорский кабинет.

Иван Максимович улыбнулся счастливой улыбкой. «Вернулось!..» — подумал он.

Почти весь театр цитировал шекспировскую трагедию.

Иван Максимович подмечал это с радостью. «Вот и Николай Николаевич не удержался: процитировал!» — подумал он. И, будто опомнившись, озабоченно помрачнел: «А с беседами нехорошо получается...»

На днях председатель месткома, обратив внимание директора на настроение Патова, сказал:

Ждать можно бедствий от такой кручины,
Коль что-нибудь не устранил причины.

«Причина его раздражения — это якорь спасения для нашего ТЮЗа», — подумал Иван Максимович. Но вслух ничего не высказал.

...искать того напрасно,
Кто не желает, чтоб его нашли.

Этой цитатой ответила директору заведующая труппой, когда он поручил ей срочно разыскать актера, который должен был заменить другого, неожиданно заболевшего.

Защищая актера, в способностях которого решительно усомнилась Зина, Костя Чичкун медленно, на ходу припоминая, тоже произнес две строки из трагедии:

Все — свойства превосходные хранят:
Различно каждый чем-нибудь богат.

Сама Зина, разумеется, чаще всех прибегала теперь к авторитету Шекспира. Требуя прямооты и ясности в отношениях с Патовым, она воскликнула:

Играть не надо в прятки,
Чтобы в ответ не получить загадки.

И, наконец, дежурная, сидевшая у дверей служебного входа, комментируя драку двух юных зрителей, сказала Ивану Максимовичу:

— Налетели друг на друга, как Монтекки и Капулетти. А по какой причине? И сами не знают.

Услышав это, директор снова подумал: «В е р н у л о с ь!»

* * *

Зина, Андрей и Ксения Павловна пили чай в Зининой комнате.

— Я не сомневаюсь, — сказала Зина, — что лучше всего Ксении Павловне взять сцену из «Без вины виноватых». Кручинина — уже немолодая...

— Зина, — остановил ее Андрей.

— ...очень красивая женщина!

— Зиночка! — остановила ее Ксения Павловна.

— Немолодая, красивая... И актриса! Все полностью совпадает. А главное: вы, Ксения Павловна, — вся в материнских чувствах. У вас и Лера — ребенок, и Николай Николаевич, и я. После большого перерыва актрисе, я не сомневаюсь, легче всего сыграть... просто себя.

— Я думаю, Зина права, — согласился Андрей. — Но лучше взять не монолог, а диалог с Незнамовым. В этом больше театра... Как вы думаете, Ксения Павловна?

— Я согласна. Но кто будет Незнамовым? Просить актеров из вашего театра неудобно. Это дойдет до Николая Николаевича...

— А разве он против? — удивился Андрей.

— Мы хотим сделать ему сюрприз. Он будет вам благодарен. Только благодарен! Я вас уверяю. Но просить актеров театра, где он главный режиссер, репетировать и выступать вместе со мной... С этим он может не согласиться. Это как-то не принято.

И добродетель стать пороком может,
Когда ее неправильно приложат.

Зина опять обратилась к Шекспиру.

Андрей взглянул на нее с откровенным изумлением. «Зачем же так? При жене!..» — упрекал его взгляд.

— И все же добродетель в какой-то степени всегда остается добродетелью, — мягко возразила Ксения Павловна. — Если человек ошибается, но движим благородными намерениями, его трудно осуждать.

Чтобы Зина не успела высказать своих возражений, Андрей поспешно спросил:

— Так кто же все-таки «подыграет» вам, Ксения Павловна, в этой сцене?

— Как это кто? Ты подыграешь, — сказала Зина.

— Опять я?!

— Если бы я могла выступить в роли Незнамова, я бы сделала это не задумываясь.

— Андрей, я слышала, репетирует сразу на двух сценах... — сказала Ксения Павловна.

— А вечером, после театра, он в порядке отдыха будет репетировать с вами. Я в вашем обществе всегда отдыхаю!

Андрей не умел отказывать.

— Вообще-то роль Незнамова, не знающего своих родителей, мне близка: я ведь дитя детдома.

— Да-а?.. — с добротой и сочувствием произнесла Ксения Павловна.

— Ты воспитывался в детдоме? Не может быть! — воскликнула Зина. — И не сказал мне об этом?

— Не успел еще... (Она положила руку ему на плечо.) Только не смотри на меня, как на круглую сироту, — попросил Андрей.

— Но в таком случае ты обязан сыграть Незнамова! Сцену его встречи с Кручининой... Там совсем мало реплик. Я помню.

— Человеческий организм не может выдержать такой нагрузки, — сказала Ксения Павловна.

— Чтобы он выдержал, познакомьте меня, пожалуйста, с каким-нибудь хорошим врачом, — неожиданно попросил Андрей.

— А что? — удивилась Зина. — Зачем?

— Так... Профилактически. Есть у меня одна болезнь, с которой, побратавшись, уже невозможно расстаться.

— У тебя?! Болезнь? Какая?

— У нее очень красивое, поэтическое имя. Нефрит.

— Это где?

— Это в почках.

— В почках? — переспросила Зина. — И очень опасно? Опасно, да?..

— Надо время от времени проверяться.

— Тогда, может быть, не стоит играть Незнамова? — сказала Ксения Павловна.

— На болезнях нельзя сосредоточиваться. От них надо отвлекаться!

Зине нравились люди, которые не скрывали и не приукрашивали своих болезней. Не говорили, что болит сердце, если на самом деле болел желчный пузырь.

Ксения Павловна всегда, казалось, только и ждала, чтобы ее о чем-нибудь попросили.

— У меня дочь — будущий медик. — Она стремительно поднялась с дивана. — Я сейчас ее позову... Что же вы не сказали сразу?

Через несколько минут появилась Лера.

— А это Андрей Лагутин, — сказала Ксения Павловна.

— Как говорят в плохих пьесах: «Так вот вы, значит, какой?!» По рассказам папы я представляла себе вас не таким.

— Старше? — спросил Андрей.

— Страшнее, — ответила Лера.

— Они с отцом любят друг друга. Но вечно пикируются, — объяснила Ксения Павловна.

— На что мы жалуемся? — тоном профессионального медика спросила Андрея Лера.

— Что-то в пояснице покалывает. А мне сейчас разболеться нельзя.

— Болеть никогда не стоит. У вас есть какие-нибудь хронические недомогания?

— Нефрит.

— Нефрит?.. — Лера перестала шутить. — Почему же вы в кедах? Вам нельзя простужаться.

— Поскольку простужаться нельзя, я закаляюсь!

— Завтра я отведу вас к лучшему специалисту по почкам во всем этом городе. Он читает у нас нефрологию. Я попрошу его...

— Это серьезно? — шепнула ей Зина.

— Я же сказала тебе, что буду перестраховываться.

На следующий день утром Лера повела Андрея к врачу. А днем она пришла в театр на репетицию.

Увидев ее, Зина не сбежала, а скатилась со сцены в зрительный зал.

— Ты?! Что-нибудь серьезное?..

— Врач не должен покидать своего пациента.

— Ну, что?!

— А ты у самого больного не спрашивала?

— Он сказал: «Все в порядке. Паника была преждевременной!» Профессор сразу вас принял?

— Я пообещала, что его внук в течение ближайшего месяца посетит все спектакли вашего театра.

Зина не любила, когда благодеяния совершались в обмен на что-то и, стало быть, не были бескорыстными. Но Лера всегда говорила как бы полущутя, и потому дерзость в ее устах не звучала как дерзость, а цинизм выглядел откровенностью.

— Для меня лично диагноз был страшен: я не смогла отличить почечные боли от аппендицита. Он, как сказал профессор, тоже отзывается эхом внизу спины.

— У Андрея аппендицит?

— Всего-навсего. К тому же хронический. Мне придется за ним следить.

— Но это не страшно?

— Слушай, ты переживаешь, как сестра? Или как Джульетта, если бы у Ромео был аппендицит?..

— Как товарищ по общему делу! — ответила Зина.

— Все будет прекрасно, дорогой товарищ. Он будет под моим наблюдением. И еще вопрос. Это репетиция или уже спектакль?

— Репетиция.

— А почему в зале столько людей?

— По-то-му!..

Счастливая Зина взлетела обратно на сцену.

Андрей пальцем поманил ее за кулисы.

— Я попрошу тебя... Не удивляйся, пожалуйста, когда Ромео клянется тебе в любви. Ты как будто не веришь, что в тебя можно влюбиться.

— А в меня можно влюбиться?

— Глупая! Тебя не любить невозможно!..

«Это мы уже слышали», — мысленно ответила Зина.

— Джульетта вовсе не считает, что недостойна любви. Она вообще не волнуется о том, как воспринимают ее другие. Ей нужен Ромео! Поверив однажды в его чувства, она в них уже ни на секунду не сомневается. А ты только и делаешь, что сомневаешься в каждом слове, которое я к тебе обращаю. Преодолей себя. Очень прошу! Иначе у нас ничего не выйдет...

— Я постараюсь.

— У молодых влюбленных одна цель... так сказать, сверхзадача: спасти свою любовь от ненависти и вражды. Не прибавляй им трудностей. Умоляю тебя!.. В зале я об этом не хочу говорить. Но поверь: ты — Джульетта! И я, Ромео, люблю тебя...

На сцене он продолжал убеждать ее в том же самом:

Я перенесся на крылах любви:
Ей не преграда — каменные стены.
Любовь на все дерзает, что возможно.
И не помеха мне твои родные...
Мне легче жизнь от их вражды окончить,
Чем смерть отсрочить без твоей любви.

В зале переглядывались... Зина преодолела себя. Она не могла подвести Андрея... И, заставив себя забыть о том, что она Зина Балабанова, разуверившаяся в своих женских достоинствах, отвечала с восторженностью Джульетты:

Моя, как море, безгранична нежность
И глубока любовь. Чем больше я
Тебе даю, тем больше остается:
Ведь обе — бесконечны.

— Таких страстей конец бывает страшен, — в перерыве сказала Лера, повторив слова монаха Лоренцо.

Актеры, давно знавшие Зину, поглядывали на нее с удивлением и даже с претензией, будто она от них раньше что-то скрывала.

Эффектная блондинка Галя Бойкова спросила ее:

— Ты без грима?

— Как все,— ответила Зина.

Галя пригляделась к ней и недовольная отошла.

Лера согласилась пообедать вместе с Андреем и Зиной в театральном буфете.

Сидевшая за соседним столиком молодая артистка рассказывала своим подружкам:

— Только что ко мне в вестибюле подходит Пат и спрашивает: «Вы были на репетиции?» — «Была!» — говорю. «И вам это нравится?» Говорю: «Нравится!» — «Беда в том, что вам не с чем сравнивать!» — «Почему не с чем? Я сравниваю...»

— Верочка, дай мне горчицу! — попросила Зина молодую артистку.

— У нас на столе есть горчица,— сказала Лера.— И неужели рядом с Патом в театре нет ни одного Паташона?

— В смысле роста?

— Нет... в другом смысле. Он ни с кем в театре не контактируется? Проще сказать, не дружит? Хотя я сама знаю, что нет.

— К нему многие относятся уважительно,— сказала Зина.

— Не грубят ему?

— Преклоняются перед его эрудицией. Но нельзя... Как бы это тебе объяснить? Нельзя читать футболистам лекции о пользе спорта, а на поле не выпускать!

— У меня нет папиной эрудиции,— сказала Лера.— И мне не с чем сравнивать ту сцену, которую я сегодня увидела. Только я поняла, что вы покажете не просто шекспировскую трагедию, а трагедию о юных для юных.

— Это чувствуется?! — воскликнул Андрей, не отвлекавшийся до сих пор от еды.— Я бы расцеловал вас.

— Уже?! — сказала Лера. (Андрей уткнулся в тарелку.) — На сцене вы были гораздо решительней!

— Нет, действительно здорово, если уже сейчас чувствуется, что это будет для юных! — сказала Зина.— Надо знать своих зрителей. Понимаешь?

— Понимаю,— с неожиданной грустью ответила Лера. И, обратившись к Андрею, сказала: — А вам необходима диета.

На вечернюю репетицию она тоже осталась.

Это была репетиция, которую Зина называла «рестав-

рацией». Репетировали тот спектакль, с которого Андрей начал свое знакомство с ТЮЗом.

Он бегал по сцене и умолял актеров быть обаятельными.

— Поймите, Анна Гавриловна должна всех вас любить! Иначе нет никакой трагедии... Ну, перейдет в другую школу — и все. А она не может с вами расстаться! Как с родными детьми... Но тут есть разница! Родных детей любят все равно, какими бы они ни были. А учеников только тех, которые стоят любви. Вот к вам, например, она привязана потому, что вам тяжело: неизлечимо болен отец, маленькие брат и сестра — от вас раньше времени ушло детство... А вы ей необходимы, потому что она первая разглядела ваше математическое дарование. А вы очень добры ко всем, даже к тем, кто этого не заслуживает, — и потому она к вам тоже очень добра... Только я должен поверить в то, что от вас в самом деле раньше времени ушло детство, в то, что вы действительно будущий математик, а вы и правда очень добры... Верю же я, что Зина бросится на защиту учительницы математики, которая ставила ей одни только тройки! Я верю: она выскажет в глаза все, что думает, другой математичке и даже директору школы. И не послушает тех, кто будет советовать ей «не вступать». Простите меня, пожалуйста... Я знаю, что надоели эти режиссерские «верю», «не верю», «вижу», «не вижу». Но я сейчас не могу найти других слов.

Андрей улыбнулся так честно и безмятежно, что всем захотелось выполнить его просьбу.

Когда возвращались домой, Лера сказала:

— Люди искусства умнеют в работе... Я помню, у папы был знакомый драматург. За столом он не мог связать пяти слов, а после его пьесы я целую неделю думала. Или был еще один известный актер-комик. Я помню, его пригласили на Новый год, чтобы всем было весело. А он сказал за всю ночь только два слова: «Здравствуйте!», когда к нам пришел, и «До свиданья!», когда со всеми прощался. Андрей, что вы там шепчете? Что-то, кажется, про матерей, которые бросают детей своих?..

— Готовлюсь к репетиции с Ксенией Павловной.

— К третьей... за один сегодняшний день?

— Вы же говорите, что люди искусства умнеют во время работы. Вот я и стараюсь! К тому же нам с ней послезавтра показываться.

— Что-о?! Так скоро? — уставилась на него Зина.

— Мне кажется, не стоит тянуть. А то Ксения Павловна передумает. Я это чувствую.

— Она ужасно волнуется,— сказала Лера.— Отец не может понять, в чем дело. Если это получится...

— Получится! Я не сомневаюсь,— сказала Зина.

— Я всегда мечтала, что мама вернется на сцену. Я ведь жутко тщеславная! Вот, думала, тогда я приглашу в зал всю нашу школу. Устрою общественный просмотр! А потом мама придет к нам в школьный зал, чтобы рассказать о своих творческих замыслах. А уйдем мы с ней вместе у всех на глазах. И у Мишки Баранова...

— Кто это? — спросил Андрей.

— Я его уже разлюбила. Он остался на второй год в седьмом классе.

— А на спектакли, которые ставил Николай Николаевич, ты никого не приводила? — спросила Зина.— Он вообще ставил спектакли? Я давно хотела тебя спросить...

— Вообще ставил. Для взрослых, конечно. Но больше как бы... руководил театром... Преподавал в училище. В школу я его приводила. Он нравился старшеклассницам... Они даже не слушали, что он говорил: смотрели! И я этим очень гордилась. Но все же актриса совсем другое... Я жутко тщеславная. Это стыдно?

— Да нет...— с добродушной улыбкой заверил ее Андрей.— Может быть, вы сумеете привести на спектакль, в котором будет играть Ксения Павловна, весь медицинский институт.

— Я вас тогда расцелую!

— Но не раньше,— сказала Зина.

Андрей смущенно стал объяснять:

— Мы с Ксенией Павловной объединили две сцены: первый разговор Кручининой с Незнамовым и последний, когда она узнает, что он ее сын. Я думаю, нас простят...

— Простят. Я не сомневаюсь! — сказала Зина.

* * *

Лера открыла отцу дверь. Но Николай Николаевич стремительными шагами прошел мимо нее. Заглянул в комнаты, на кухню и наконец спросил:

— А где мама?

— У Зины...

— Ну, разумеется! Утешения ищут у самых близких людей. А от чужих... от мужа, например, все держат в строжайшей тайне. Может быть, и наш Немирович-Данченко тоже там? — Николай Николаевич сделал многозначительную паузу, словно перед сюрпризом, который он собирался преподнести дочери. — Тебе известно, что его первая премьера сегодня уже провалилась?

— Это неправда, — сказала Лера. — Мама сама прервала их выступление... И ушла...

— А знаешь, что сказал по секрету своим приближенным директор драмтеатра?

— Откуда это тебе известно?

— Секреты доходят быстрее всего. А тут уж особенно поторопились мне доложить! Когда Кручинина с Незнамовым удалились, директор сказал: «Его-то мы взяли бы!»

— Не за мамин же счет Андрей хорошо играл?

— Терпеть не могу людей со множеством дарований. Это значит, что нет ни одного настоящего!

Лера задумалась. Опустила голову. И спросила:

— Не появляются ли у тебя, папа, кое-какие черты Сальери?

— Я вижу, что балабановщина успешно проникла и в нашу семью! Я терплю твои дерзости только потому, что терпеть — это удел отцов... Не забывай только, что я приехал в этот город из-за тебя!

— Это, наверно, было ошибкой.

Николай Николаевич вынул платок, стал медленно разворачивать его. Вытер лоб и глаза. Потом медленно свернул и опустил обратно в карман.

— А чтобы превратиться в Сальери, — так же медленно произнес он, — необходим рядом Моцарт, которого я пока что не вижу.

— Но боишься увидеть.

— Я боюсь за судьбу вверенного мне коллектива, который я постепенно стал превращать из ТЮЗа в театр!

— Этот город славился...

— Metallургическим заводом, курортом и ТЮЗом! Это строчка из туристского справочника, а не из театральной энциклопедии.

— Я слышала, как Иван Максимович сказал: «Мы — страна ТЮЗов». Мне понравились эти слова.

— Ты уже цитируешь Ивана Максимовича?

— Он добрый человек.

— «Добрый человек», «замечательный парень»... Этими словами притупили мою профессиональную бдительность. И я допустил самодеятельные репетиции в присутствии всей труппы. И знаменитые балабановские «реставрации»... Сегодняшний провал послужил для меня сигналом! Отныне с дилетантством будет покончено. Я — главный режиссер театра. И «замечательному парню» придется с этим считаться. Как бы Зина Балабанова ни выдвигала его в Моцарты! Кстати, у него с ней роман?

— У него с ней романа не может быть.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что роман у него со мной.

Николай Николаевич испытующим взглядом проверил, не шутка ли это. Когда дочь изменяла своей полушутливой манере, он настораживался. Сейчас она была абсолютно серьезна.

Николай Николаевич поправил манжеты, которые были в полном порядке.

— Так вот почему ты присутствуешь на всех репетициях?

— На которых ты не был ни разу...

— Я уже подозревал, что ты собираешься участвовать в этом спектакле.

— Все мы участвуем в этом спектакле, — задумчиво и печально произнесла Лера. — И я, и мама, и ты... Только наше участие спектаклю не нужно. Мы напрасно сюда приехали.

— Почему же напрасно? Ты отыскала здесь своего Ромео! А ты знаешь, как нас с ним называют в театре?

— Монтекки и Капулетти... Но это, по-моему, поверхностное сравнение. Конфликт Монтекки и Капулетти был беспричинным!

— А здесь причина во мне! Ты это хочешь сказать? И даже мамин провал ты не ставишь ему в вину.

Лере показалось, что отец говорит об этом «провале» не с горечью, а с внутренним ликованием. И она резко ответила:

— Не он виноват в том, что мама перестала быть актрисой. Не он!..

В квартире напротив Зина и Ксения Павловна, как всегда, пили чай. Вернее сказать, чай был налит в их стаканы, но давно уже остыл...

— Зачем же вы это сделали?! — в который раз вопрошала Зина.

«Не знаю», — отвечала ей раньше Ксения Павловна. А тут она, словно бы все продумав, поняв и собравшись с силами, сказала:

— Я стала изображать там... просто себя.

— И прекрасно!

— Но нужно, как говорил наш профессор в ГИТИСе, еще «плюс что-то». Иначе актрисой может быть всякая женщина, у которой есть сердце. Должно быть «плюс что-то»! А этого плюса не было... Я чувствовала и на репетициях. Андрей тоже давал мне понять... Он же говорил: «Вы, Ксения Павловна Патова, не можете переживать все точно так же, как Елена Ивановна Кручинина. Вы должны заставить себя стать ею...» А я заставить себя не смогла. Для этого мало одного только желания... Но сегодняшний просмотр не был напрасным!

— Что вы хотите сказать?

— Нужно когда-то проститься с мечтой, которая нереальна... Иначе она может замучить.

— Что вы?! — Зина заметалась по комнате. — Мы не будем сдаваться!

— Иногда сдаться необходимо. Бессмысленные атаки ведут только к бессмысленным жертвам.

Зина никогда не видела Ксению Павловну такой: наверно, это был один из самых важных дней в ее жизни. Заметив, что Зина ее не узнаёт, Ксения Павловна спохватилась:

— Николай будет очень расстроен. Поверьте, он не хотел, чтобы я расставалась с театром. Но он не мог переступить через правила...

— По-моему, есть правила поведения, а есть правила жизни. Это не одно и то же. (Ксения Павловна взглянула на нее устало и вопросительно.) Если главный режиссер не разрешает жене исполнять главные роли в своем театре только потому, что она жена, он верен правилам поведения. А если он при этом лишает ее мечты и призвания, то нару-

шает правила жизни. Которые, на мой взгляд, гораздо важнее.

«Надо было бы сегодня ее пожалеть,— подумала Зина.— Но в другой день я этого так четко не выскажу, а она не воспримет».

— Знаете, какое правило жизни я считаю сейчас самым главным?

— Какое?

— Человек должен быть на своем месте! Если это правило нарушается, приходит несчастье. И еще... Человек, который не на своем месте, всегда старается казаться не таким, каков он есть на самом деле! Он играет чужую роль...

Ксения Павловна не поняла или сделала вид, что не поняла Зину.

— Николай будет очень расстроен,— повторила она.

А Зине почему-то казалось, что Патов будет ликовать, узнав об их неудаче.

— Вы не верите, что он расстроится? — спросила Ксения Павловна.

— Давайте я налью горячего чая,— сказала Зина. И про себя подумала: «А я научилась умалчивать. Взрослею! Взрослею!..»

Зина и Лера спешили на репетицию.

— Он сказал маме... еще там, в драмтеатре: «Простите, пожалуйста, что так получилось!» А он-то при чем? Это ему надо сказать: «Простите, пожалуйста...» И бок у него разболелся.

— Я вчера вечером спустилась в общежитие,— сказала Зина.— Но Андрей уже спал. По крайней мере, у него в комнате не было света.

— Что же ты?.. Надо было постучаться... Разбудить его! Сказать, чтобы не волновался. Что он ни в чем не виноват. Абсолютно ни в чем! — Лера взглянула на часы.— Уже половина одиннадцатого! Неужели ему до сих пор никто этого не сказал!

— Сейчас скажем,— успокоила ее Зина.— Через пять минут!

— А я-то хороша! — продолжала Лера.— Не решалась зайти в общежитие, в его комнату... Потому что это, как го-

ворит папа, «не положено». Разве не все равно, что подумала бы по этому поводу Галя Бойкова? Весь вечер принимала участие в выяснении семейных историй, которые и так совершенно ясны.

— Утром я забежала, а он уже ушел в театр,— сказала Зина.

Они подошли к зданию театра, завернули за угол, где был служебный подъезд... И увидели карету «скорой помощи».

Лера остановилась.

— Это за ним...— сказала она.

— За кем? — машинально спросила Зина, хотя поняла, о ком идет речь.

Они обе рванулись к театру.

Но в этот момент дверь распахнулась и на улицу высыпали актеры, растерянные, без пальто и без шапок. Показался санитар в белом халате, надетом поверх пальто. Санитар держал за передние ручки носилки, на которых лежал Андрей. Он пытался улыбаться, но это у него не получалось. Сзади носилки держал другой санитар. А сбоку за них цеплялся Иван Максимович... Он застрял в дверях и с трудом протолкнулся.

— Андрюша,— сказала Лера.— Ты видишь? Я тут...

— Мы здесь! — подтвердила Зина.

Он преодолел боль и все-таки улыбнулся.

— Все к лучшему,— сказал он.— Человек должен немного полежать и подумать. И от проклятого аппендицита надо же когда-нибудь избавляться! А вы тем временем репетируйте...

Носилки вкатили в машину.

— Я с ним,— сказала Лера.— Я врач...

— Но там же нет места,— возразил шофер, закрывавший заднюю дверцу.

— Я с ним! — повторила Лера.

Шофер взглянул на нее и махнул рукой.

Возле машины тяжеломерно суетился Костя Чичкун. Казалось, он собирался поднять «скорую помощь» на руки и унести ее вместе с Андреем.

Щеголеватая белая машина с красными крестами на боках негромко зарокотала и тронулась.

— Как же теперь... без него? — спросила молоденькая артистка.

— Сейчас ему сделают операцию,— сказал Иван Максимович.— Вечером мы поедем к нему...

— Я поеду сейчас! — возразила Зина.

— Мне кажется, что он уже давно-давно в нашем театре...— сказала Валентина Степановна, которая тоже стояла на улице без пальто и только прикрывалась платком.

За белой стойкой сидела пожилая женщина в очках, в белом халате и белой шапочке, которая своей юной кокетливостью диссонировала со спокойным, отрешенным выражением лица дежурной. Женщина вязала и, казалось, была глубоко и всецело поглощена этим занятием.

Порой губы ее начинали шевелиться.

«Будто учит роль»,— подумала Зина, которая часто на улице вот так же шептала, вызывая удивление и легкий испуг у прохожих.

Дежурная считала петли.

Время от времени звонил телефон. Она, ничуть не меняясь в лице, снимала трубку, заглядывала в список и отвечала: «Состояние удовлетворительное... Состояние тяжелое». Сообщала температуру. Казалось, она в эти мгновения была далека от мысли, что на другом конце провода ее ответа ждут с замиранием.

«Привыкла...» — подумала Зина.

Ударение дежурная делала только на цифрах: номер отделения, номер палаты, температура.

Несколько раз Зина подходила к дежурной, и та сообщала:

— Лежит в послеоперационном отделении. Сведений нет.

Потом с длинной белой скамьи поднимался Костя, и дежурная сообщала ему то же самое. Потом поднимался Иван Максимович... Это не удивляло и не раздражало дежурную. Она, не отрываясь от вязанья, отвечала:

— В послеоперационной... Сведений нет.

Наконец Зина не выдержала:

— Но ведь вчера сказали, что операция прошла хорошо!

— А я разве говорю, что плохо? — считая петли, ответила дежурная.

— Тогда почему нет сведений?

— Будут. Вы посидите спокойненько.

Только Валентина Степановна не покидала белой скамьи. Она все время говорила на отвлеченные темы. Когда кто-нибудь из ее соседей по скамье подходил к дежурной, она чутко прислушивалась. И продолжала свой прерванный монолог... Не об Андрее, не о болезнях, а о том, как на последнюю конференцию юных зрителей вдруг пришел Патов и стал объяснять, что такое театр.

«Ищет аудиторию», — подумала Зина.

— Это было полезно, — сказала Валентина Степановна. — Правда, мы не обсудили спектакль, который накануне смотрели ребята... Но ему задавали вопросы. Кстати, с какого класса мы будем пускать на «Ромео и Джульетту»? С восьмого или с девятого?

— Надо сначала посмотреть, какой выйдет спектакль, — ответил Иван Максимович. — Посоветуемся с Андреем... Пусть он решит.

После одного из звонков дежурная ничего не ответила, что-то записала, а повесив трубку, перестала вязать.

Зина подскочила к белой стойке.

— Вы кто ему будете? — не дождавшись вопроса, спросила дежурная.

— Мы артисты... — сказала Зина.

— И он тоже артист?

— Режиссер... и артист. А что случилось? — Этот вопрос Зина не произнесла, а как бы выдохнула.

— Возьмите бирочки и поднимитесь на третий этаж. К главврачу... Пальто и сумочки сдайте в гардероб, — сказала дежурная так ласково, что лоб у Зины стал мокрым.

Они поднялись на третий этаж. Секретарь главврача, похожая на доцента или профессора, седая, в пенсне, с поспешностью, которую от нее трудно было ожидать, распахнула дверь кабинета.

Главврач, невысокий полный мужчина, чем-то напоминавший Ивана Максимовича, сразу поднялся, пододвинул Валентине Степановне и Зине стулья.

Секретарша осталась стоять в дверях, будто хотела услышать, что скажет главврач.

— Мы боремся за его жизнь, — сказал он. — Отказала почка. Потом другая... Мы подключили искусственную. Это может случиться после любой операции. С почечными больными...

Никто ничего не спросил.

— Вы посидите, пожалуйста, у меня,— предложил главврач.

Никто не сел... Все стояли. Зина поеживалась.

— Вам холодно? — спросила секретарша. И закрыла форточку.

— Не волнуйтесь... Там борются за его жизнь! — сказал главврач.

— Уже не борются...

Это сказала Лера. Она стояла в дверях.

Андрей лежал в фойе ТЮЗа.

На стенах, как всегда, висели фотографии. В аквариумах, как всегда, плавали рыбы.

Пришли все... И бутафоры, и гримеры, и даже пожарник.

Андрей был в кедах и свитере. Он уходил таким же, каким пришел в этот театр.

«Никогда и ничего для него больше не будет,— думала Зина.— Никогда и ничего...» Этого, как и того, что у Вселенной нет начала и нет конца, она не могла постигнуть. «Как же теперь... без него?» — звучал у нее в ушах вопрос молодой артистки.

Началась панихида. Зина не знала, готовил ли ее заранее кто-нибудь. Но первым заговорил Николай Николаевич.

— С чувством глубокой скорби провожаем мы в последний путь Андрея Лагутина...— сказал Патов.— Он недавно пришел к нам в театр, но многие его уже полюбили. Все вместе мы продолжим и завершим работу, которую он начал...

Он взглянул на Зину и замолчал. «Вы не можете продолжить и завершить... Потому что не любили его и того, что он делал»,— прочел он в ее глазах. И вздрогнул, будто она произнесла это вслух. И оглянулся, словно хотел проверить: не услышал ли еще кто-нибудь?

Тихо и медленно, вопреки своему желанию, но повинувшись какой-то непреодолимой силе, он произнес:

— Слово имеет Зина Балабанова...

— Человек должен быть на своем месте,— сказала Зина.— Каждый человек! Обязательно... Место Андрея было здесь, среди нас. Может показаться, что он успел сделать мало. Но он сделал очень и очень много: он вернул нам

всем радость... которую мы уже не отдадим. Ни за что! Он сказал Лере Патовой... которая была рядом с ним: «Если что-нибудь вдруг случится, оставьте меня здесь. Я — детдомовское дитя, у меня нет родных...» Он останется здесь! Мы напишем его имя на афишах и программах спектаклей, которые он репетировал. И которые будут такими, какими он хотел их видеть. И лицо его будет здесь, в этом фойе... Чтобы его видели дети, которых он очень любил. И на которых был очень похож...

Когда кончилась панихида, гроб подняли и понесли вниз.

— Осторожней... Осторожней! Здесь лестница, — услышала Зина предупредительный голос Николая Николаевича.

Она тоже хотела нести... Но не могла дотянуться.

— Надень пальто. На улице холодно, — глухо, откуда-то сверху проговорил Костя Чичкун.

Зина вспомнила, что бросила пальто и шапку на стул в зрительном зале. Она побежала туда.

На сцене устанавливали декорации. Галя Бойкова проверяла микрофон: вечером шел музыкальный спектакль.

Зина схватила свои вещи и по лестнице, усыпанной хвоей от венков, помчалась вниз. Из вестибюля, натягивая пальто, она увидела, что все уже садятся в автобусы.

Возле театра было много людей, словно перед началом спектакля.

На полу в вестибюле разместился художник. Он переписывал кистью на большой белый лист слова, которые были наскоро нацарапаны кем-то в блокноте:

«Сегодня спектакль отменяется. Билеты подлежат возврату в недельный срок».

Художник поднял голову и, увидев Зину, пояснил:

— Иван Максимович распорядился. Только что...

МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ

(ИЗ ДНЕВНИКА ДЕВЧОНКИ)



21 декабря

Почти все девочки в нашем классе ведут дневники. И записывают в них всякую ерунду. Например: «Вася попросил у меня сегодня тетрадку по геометрии. Тайно попросил и очень тихо, чтоб никто не услышал. Зачем? Почему именно у меня? Почему так таинственно и с большим волнением? Уже полночь. Но я размышляю об этом и не засну до утра».

Васька просто-напросто решил сдуть домашнее задание по геометрии. Именно у нее, потому что у меня он уже сдувал. «Тихо, таинственно!..» А кто же делает это громко? «С волнением!» Еще бы Ваське не волноваться! Девчонки обожают придавать самым обыкновенным поступкам мальчишек какой-то особый смысл.

Я тоже девчонка, но я понимаю, что дневники должны вести только выдающиеся люди. Нет, я ничего такого

о себе не думаю. Но у меня есть брат, он учится на втором курсе Консерватории. Он будет великим музыкантом. Это уж точно. И вот по моему дневнику люди узнают, каким он был в детстве.

Мой брат играет на кларнете. Почему не на скрипке? Не на рояле? Так хотел дедушка. Он умер, когда мне было всего два года. А брат Лева старше на целых пять лет, и дедушка начал учить его музыке.

Долгие годы я слышала о том, что наш дедушка «играл в фойе». Я не знала, что такое фойе, но слово это казалось мне очень красивым. «Ф о й е», — четко выговаривала я. А когда первый раз сходила в кино и увидела музыкантов, которые играют в фойе, мне стало жаль моего бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли вальс. Они прижимали к подбородку свои скрипочки и закрывали глаза: может быть, от удовольствия, а может быть, для того, чтоб не видеть, как зрители жуют бутерброды.

Мой брат не будет играть в фойе! Он будет выступать в роскошных концертных залах. Сейчас он готовился к конкурсу музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Мне жаль, что кларнет называют духовым инструментом. Когда я думаю о духовых инструментах, то сразу почему-то вспоминаю похороны и медный оркестр, который идет за гробом. Кларнет можно было бы назвать как-то иначе... Но что поделаешь!

Учусь я средне, но это не имеет никакого значения. Я решила посвятить свою жизнь не себе, а брату. Так ведь часто бывало с сестрами великих людей. Они даже не выходили замуж. И я не выйду. Ни за что! Никогда!.. Это точно. Лева уже знает об этом. Сперва он возражал, но потом согласился.

Мы договорились, что сам Лева, в отличие от меня, будет иметь право на личную жизнь, но лишь тогда, когда добьется больших музыкальных успехов. Лева весь, без остатка будет принадлежать искусству. У него не будет оставаться времени ни на какие обыкновенные человеческие дела и заботы. Все это буду выполнять за него я. Фактически я отрекусь от собственной жизни во имя брата! И поэтому мои тройки не имеют никакого значения. К сожалению, мама и папа этого не понимают.

— Ты неплохо устроилась, — как-то сказала мама. —

Значит, Лева будет учиться, с утра до вечера играть на кларнете, совершенствоваться, готовиться к конкурсам, а ты будешь всего-навсего посвящать ему свою жизнь. Какие-то у тебя иждивенческие настроения!

— А сестра Чехова, значит, тоже была иждивенкой? — спросила я в ответ.

— Ну уж... хватила!

Мама изумленно развела руки в стороны. Когда нечего сказать, легче всего разводить руками. В общем-то, я сама виновата: не надо слишком уж откровенничать со своими родителями — они обязательно используют эту откровенность против тебя.

Но зато когда-нибудь о Лева напишут книгу, и в нее войдут отрывки из моего дневника. Недавно я читала такую книгу о великом поэте. «Сестра поэта» — было написано под одной фотографией. А под моей напишут: «Сестра кларнетиста». Или лучше так: «Сестра музыканта». Это будет мне скромной наградой. Вот зачем я стала вести дневник.

«Что-то я не слышал про такую профессию — сестра кларнетиста», — сказал мне однажды папа. Он тоже, увы, не всегда меня понимает.

К несчастью, многие люди не знают, какой это важный инструмент — кларнет. Именно он начинает Пятую симфонию Чайковского! Разве многим это известно? «Незаметный герой оркестра» — так говорит о кларнете Лева. Он даже рад, что кларнет «незаметный». Он и сам бы, наверно, хотел быть незаметным. Такой у него характер. Но я этого не допущу!

Летом всему нашему дому слышны звуки кларнета. Но многие не знали, из какого именно окна летят эти звуки. Я объяснила, что это играет мой брат. Даже в холод я распахиваю окна, чтобы жильцы не отвыкали от Левиного кларнета.

Всем соседям я уже рассказала, что Лева готовится к конкурсу. Пусть меня считают нескромной: я готова ради брата на любые страдания! В общем, я уже давно решила вести дневник. Но начать его я хотела не просто так, а с какого-нибудь знаменательного дня. И вот этот день настал!

Сегодня перед первым звонком меня схватил в раздевалке десятиклассник Роберт, по прозвищу «Роберт-организа-

тор». Такая у него манера: он не останавливает, не берет за руку того, кто ему нужен, а именно х в а т а е т. За что попало: за руку, за плечо, даже за шею. Представляете?

Меня он схватил за рукав.

— Организуешь своего брата? На вечер старшеклас-
сников!

Роберт обычно лишь первую фразу произносит нор-
мально, по-человечески, а на дальнейшие разъяснения
у него уже не хватает времени. И он начинает говорить
быстро, пропуская глаголы, будто диктует телеграмму.

— Новогодний вечер! Первое отделение — стихи,
классическая музыка. Второе — джаз и танцы. Клас-
сической музыки у нас нет. Вся надежда на брата. На
твоего.

Я сразу сообразила, что никогда в жизни не будет
больше такого прекрасного случая прославиться на всю
школу. Не могу же я всем без исключения сообщить, что
мой брат учится в Консерватории, а тут все сразу узнают!
Однако я решила немного помучить Роберта, чтобы он не
думал, что заполучить моего брата так просто.

— Видишь ли, — начала я, — мой брат готовится к
конкурсу музыкантов-исполнителей...

Слова «на духовых инструментах» я опустила.

— Вечер старшекласников: только десятые! — ска-
зал Роберт. — Ты в седьмом. Но вот два билета! Тебе и
брату.

Что будет с моими подругами, когда они узнают, что
я приглашена на вечер старшекласников! Который может
им только присниться... В самом счастливом сне!

И все-таки я сказала:

— Надо узнать: у брата новогодняя ночь может быть
уже занята. Наверно, он приглашен куда-нибудь на концерт,
а потом на бал музыкантов-исполнителей...

— Наш вечер двадцать шестого, — сказал Роберт. —
Организуешь?

Новогодний вечер за пять дней до Нового года! Хотя
что же тут удивляться, если Роберт умудрился недавно
организовать воскресник в четверг!

— Ладно, — сказала я. — Это нелегко, но я постараюсь.
И взяла два билета.

Я хочу еще кое-что записать о вчерашнем дне. Когда я пришла домой, Лева играл на кларнете. Он всегда играет: и утром и вечером. Представляете? Как у него хватает терпения! Просто понять не могу. Хотя отчасти все же могу... Лева занимается любимым делом, а когда занимаешься таким делом, сразу откуда-то появляются терпение и воля. Вот если бы я, к примеру, должна была готовить уроки только по литературе, я бы могла их готовить круглые сутки и отвечала бы всегда на пятерки. Потому что я занималась бы любимым делом! Но геометрия, физика, химия... Откуда возьмешь столько терпения? И зачем заставлять людей заниматься тем, что им никогда в жизни не пригодится, что им неприятно и даже противно?! Понять не могу. Когда кто-нибудь входит в комнату, Лева не прекращает играть: он словно бы ничего не замечает. А мы ходим на цыпочках.

Но вчера я не выдержала и сказала:

— Прости меня, Лева... Но у меня важное дело. Тебя просят выступить у нас в школе на новогоднем вечере.

Лева несколько секунд помолчал. Когда его отрывают от музыки, он всегда как бы приходит в себя или, точнее сказать, возвращается к нам из какого-то другого мира. Так мне кажется...

— Тебя просят выступить у нас на новогоднем вечере, — повторила я, потому что первую мою фразу Лева мог не расслышать: он был в другом мире.

— Я готов, — сказал Лева. — В принципе я готов... Но слушать сольное выступление на новогоднем вечере?.. Кларнет выигрышной звучит в оркестре. Может быть, пригласить весь наш студенческий оркестр? Это будет эффектней.

Еще чего не хватало! Чтоб скрипки вылезли на первый план, а мой брат сидел где-то в углу? И чтоб кланяться выходил дирижер, а мой брат превратился в «незаметного героя оркестра»?

— Ваш оркестр просто не поместится на нашей сцене, — сказала я. — И никто его вовсе не приглашал. Просили тебя. Персонально! У нас в школе обожают кларнет. Вот два билета. — Я положила билеты на стол и добавила: — Значит, пойдем.

«Уж сколько лет ты пытаешься подарить ему свой ха-

рактер, а он не принимает подарка. Смирись, дитя мое, смирись!» — сказал как-то папа.

И все же Лева иногда подчиняется мне, хоть и старше на целых пять лет. Он говорит, что у меня «острый практический ум». Лева не объясняет, хорошо это или плохо. Он вообще не любит много говорить, разъяснять: он мыслит музыкальными образами. Так мыслят все настоящие музыканты.

— Я готов... — сказал Лева. — В принципе я готов. Но мой аккомпанемент?

«Мой аккомпанемент» — так Лева называет студентку Консерватории Лилю, которая всегда сопровождает его сольные выступления.

Лиля не только аккомпанирует Лева — она влюблена в него. Это всем абсолютно ясно. И поэтому она не откажется выступить у нас на вечере. Я не мешаю Лиле смотреть на Леву преданными глазами и даже иногда оставляю их вдвоем, потому что Лиля толстая, в очках и с веснушками всюду — на носу, на руках и даже на шее. Я испытываю доверие к некрасивым женщинам: они не могут отвлечь моего брата от музыки, и это так благородно с их стороны!

И мама, я заметила, тоже предпочитает некрасивых подруг. По крайней мере, когда она предупреждает папу: «Сегодня вечером ко мне в гости придет очаровательная женщина», папа почти всегда усмехается и преспокойно уходит вечером к соседу играть в шахматы. Он не верит, что мама приведет к нам в дом очаровательную женщину.

Я готовлюсь к новогоднему вечеру. И представляю себе, как все будет... Мой брат сыграет одну вещь, только одну!

— Что ты сыграешь, Лева?

— Надо что-нибудь легкое... «Полет шмеля», например.

— Нет, не такое известное. На «Шмеле» у них далеко не улетишь... Надо их поразить!

Последние слова я произнесла совсем тихо, как бы про себя. Лева таких фраз не любит.

— Может быть, из «Франчески да Римини»?

— Это пойдет!

После «Франчески» мой брат скроется за кулисы. Ему будут бешено аплодировать. Он снова выйдет, будто лишь для того, чтоб раскланяться. Но тут я поднимусь и скажу: «Сыграй, Лева, еще. Я прошу тебя».

И назову такое произведение, какого никто из стар-

шекласников никогда в жизни не слышал. Лева послушается меня и сыграет. А потом он спустится в зал и сядет возле меня. А потом будут танцы...

— Ты будешь танцевать только со мной, — сказала я брату.

— В принципе я готов... Но ты знаешь, я плохо танцую. Старомодно...

— Тем более. Чтобы не осрамиться, танцуй только со мной. Поклянись!

— Ладно, клянусь.

Конечно, мне будет труднее, чем Наташе Ростовой на ее первом балу! Ведь она была среди взрослых, а они нормальные люди и ведут себя по-человечески. Разве их можно сравнить с нашими десятиклассниками? Эти все время ехидничают, посмеиваются. И уверены, что они гораздо взрослее взрослых. По мнению моей мамы, это как раз и говорит о том, что они еще абсолютные дети, потому что, как утверждает мама, ни один взрослый человек никогда не захочет казаться старше своего возраста. Но сами-то десятиклассники не догадываются о том, что они абсолютные дети. И никто им этого не объяснит: просто никто не решится. Поэтому они и дальше будут изображать из себя утомленных «героев нашего времени», которых ничем на свете не удивишь. Это точно.

А я, может быть, их удивлю. По крайней мере они мне позавидуют!

27 декабря

Да, у Наташи Ростовой первый бал был гораздо счастливей, чем у меня. Гораздо счастливей!..

Я не знаю, как полководцы планируют свои военные операции. Пытаются ли они заранее представить себе действия противника? Может быть, и пытаются... Но от этого у них, конечно, возникает много разных трудностей и сомнений.

Когда же мой «острый практический ум» составляет какой-нибудь план, то вначале, пока я придумываю, все идет очень легко и просто, потому что участники будущих событий действуют так, как мне хочется. И в этом, я думаю, главный недостаток моих планов. Потому что потом,

в жизни, участники событий начинают поступать по-другому, как им самим хочется. И тогда все летит кувырком.

Вчера так и случилось. Об этом просто стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник. А то у будущих исследователей жизни моего брата возникнут разные неясности. И они начнут разыскивать свидетелей, расспрашивать их. А эти свидетели... Нет, уж лучше пусть всё узнают от меня. Так будет спокойнее и вернее!

Неприятности начались с самого начала.

Я была уверена, что увижу возле школы толпу своих подруг — шестиклассниц и семиклассниц, которые будут рваться на вечер. Тогда Лева должен был взять меня под руку, толпа — расступиться, а мы — гордо пройти сквозь нее к дверям школы. Там должны были стоять два старшеклассника с красными повязками на рукавах. Оба они в один голос должны были воскликнуть:

«Это вы из Консерватории? К нам на концерт? Мы вас ждем! Разденьтесь, пожалуйста, за кулисами».

Чтоб они так воскликнули, я привела Леву буквально в последнюю минуту, перед самым началом вечера.

Но никакой толпы возле школы не оказалось. Мои подружки всегда мечтали хоть немного потолкаться среди старшеклассников. Но вчера они не пришли.

Так ведь всегда бывает, всегда... Вот, например, раньше, еще до того как я окончательно решила не выходить замуж, мне иногда хотелось, чтобы какой-нибудь мальчишка увидел меня во дворе в моем новом платье. Я гладила это платье, врала маме, что я иду к подруге на день рождения. А мальчик во двор не выходил! То ли заболел, то ли родители его за что-то наказывали, то ли тетя из другого города в гости приезжала, но только он, который целыми вечерами слонялся по двору, как раз в этот вечер сидел дома. А я должна была торчать неизвестно где часа два или три: ведь не могла же я вернуться со дня рождения через десять минут! Да, к сожалению, всегда так бывает... И вчера тоже так получилось.

Но самое ужасное произошло позже, на самом вечере. Хотя лучше уж расскажу по порядку, чтоб не сбиваться.

Десятиклассник с красной повязкой на рукаве бросился нам навстречу.

— Вы из ресторана «Звездное небо»? — спросил он Леву.

— Он из Московской консерватории, — ответила я. — Это мой брат! Он будет выступать у вас на концерте.

Я указала на черный старинный футляр, который достался Леве от бабушки. Этот футляр с кларнетом Лева прижимал к себе и словно обнимал обеими руками. Десятиклассник внимательно, с подозрением оглядел моего брата. Мне казалось, он скажет сейчас: «Откройте-ка свой футляр. Посмотрим, что у вас там внутри!» Но он просто махнул рукой.

— Проходите.

И мы вошли в вестибюль. Никто не предложил нам раздеться за кулисами, и мы долго стояли в очереди возле гардероба.

Десятиклассницы, повзрослевшие от нарядных платьев, с выходными туфлями под мышкой, говорили о том, что танцы будут до двенадцати ночи, что наш школьный джаз подготовил какую-то новую программу и что, может быть, даже приедет артист, который поет в ресторане «Звездное небо».

Я презирала этих напудренных и надушенных девиц, которые не обращали на нас с Левой никакого внимания. Хоть бы старинный бабушкин футляр их заинтересовал! Наконец одна все-таки повернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась ей, поздоровалась.

— А ты как сюда попала? — спросила она.

Я презирала этих девиц, но робела перед ними. И за эту свою робость еще сильнее их презирала.

— Я с братом, — тихо сказала я.

О кларнете и Консерватории я почему-то не решилась упомянуть...

Десятиклассница прищурилась и окинула Леву таким взглядом, будто размышляла: стоит ли выходить за него замуж? Эти десятиклассницы часто оглядывают так незнакомых мужчин. А Лева еще крепче прижал к груди свой старинный футляр, словно десятиклассница собиралась отнять его.

Мой брат не произвел на нее впечатления — это было сразу заметно, — и она отвернулась. Еще бы! Ведь он не пел в ресторане «Звездное небо»!

— Я тебя уговорила в самый последний момент, — стала я шепотом объяснять Леве. — Они просто не знают, что

ты будешь выступать... А потом, наш Роберт-организатор хочет, наверно, чтобы ты был для них сюрпризом.

Лева усмехнулся: кажется, он не верил, что может стать сюрпризом для наших десятиклассниц.

— В принципе они совершенно правы, — сказал Лева. — На балу и должны быть танцы... Это вполне естественно.

Я не обратила внимания на Левины слова, потому что он часто говорит просто так, чтобы не обидеть кого-то молчанием, а сам думает о чем-то совсем другом, о чем-то своем... «Весь в себе!» — говорит о нем мама. Может быть, он мыслит в эти минуты музыкальными образами? Так было, наверно, и в этот раз.

Почему он вдруг стал заступаться за танцы?

Но самое ужасное было еще впереди!

Зал у нас в школе на пятом этаже. Мы с Левой медленно поднимались по лестнице. А навстречу нам, сверху, на высоких каблуках сбегали старшеклассницы — как-то бочком, бочком, как всегда сбегают по лестнице. Перед вечерами и балами в школе всегда начинается девчачья беготня сверху вниз: кого-то ждут, кого-то высматривают... Десятиклассницы чуть не сшибали нас с ног.

Лева о чем-то задумался. «Углубляется в музыкальные образы!» — решила я. И была очень рада: мне хотелось, чтоб в этот вечер он играл так замечательно, как никогда!

Один раз Лева поднял на меня глаза.

— Не отвлекайся! Не отвлекайся! — сказала я.

И вдруг он спрашивает:

— Самые пожилые учителя, как правило, работают в старших классах?

Леве иногда приходят в голову самые неожиданные мысли.

— Да, — отвечаю я. — А что?

— А старшеклассники учатся чаще всего на самом верхнем этаже?

— У нас на пятом. И что из этого?

— Странно как-то... Непродуманно получается: старые люди по десять раз в день должны подниматься наверх без лифта.

Нашел о чем думать перед ответственным выступлением! Представляете?

Да, иногда моему Леве приходят в голову самые неожиданные мысли. Вот, помню, однажды мы ехали с ним в

троллейбусе. Троллейбус набит битком. Останавливается возле университета, студенты рвутся к дверям, опаздывают, как обычно. Один парень в очках спрашивает у Левы:

— Выходите или нет?

А тот поворачивается, улыбается и говорит:

— Вы здесь учитесь? Интересно, на каком факультете?

Водитель уже двери-гармошки распахнул, все лезут к выходу, а он: «На каком факультете?»

Представляете?

Лева, конечно, со странностями. Но может быть, так и надо? Все великие люди были немножечко не в себе.

На пятом этаже нас встретил Роберт-организатор. Вниз он, конечно, не мог спуститься! Это было бы для него унижительно. Роберт даже не поздоровался, не познакомился слевой: он не любит терять время по пустякам. Он сразу заговорил в своей обычной манере, опуская глаголы:

— Инструмент с вами? Аккомпаниаторша тут, давно...

— Проверяет рояль! — вмешался какой-то старшеклассник. — Три клавиши западают. Всего три! Сколько там еще остается?! А она так вздыхает, словно нет ни одной целой. Это же школьный рояль: на нем все классы, от первого до десятого, что-нибудь одним пальцем выстукивают. Надо понимать: специфика местных условий.

— Теперь все прекрасно, — сказал Роберт. — Первое отделение в порядке. За кулисы!

Лева побрел за кулисы.

— Ты — в зал! — скомандовал Роберт.

Я пошла в зал.

Свободных мест уже почти не было. Только в предпоследнем ряду.

Я села, а на стул слева от меня должен был сесть Лева после своего триумфа на сцене. Я положила на это место платок.

— Разрешите высморкаться!

Сзади загоготали. Я обернулась и увидела старшеклассника Рудика — известного на всю школу балбеса, который паясничает даже на похоронах. Такие есть в каждой школе. И всегда они садятся в последний ряд. Рудик развалился и упер ноги в спинку моего стула. Теперь я поняла, почему мое место оказалось свободным: никто не хотел сидеть впереди Рудика. Мне в этот вечер чертовски везло!

И все-таки самое ужасное было еще впереди.

Роберт-организатор объявил со сцены, что первое отделение будет очень серьезным.

— Вот хорошо, посмеемся! — воскликнул Рудик.

Сперва какой-то участник драматического кружка стал читать Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу...

— Самостоятельной жизни! — крикнул Рудик.

Его приятели загоготали.

Потом какая-то участница хореографического кружка исполняла «Индийский танец».

— Хинди-руси бхай-бхай! — крикнул Рудик.

— Бхай, бхай! — подхватили его дружки.

Все стали оборачиваться, шикать на Рудика. Это его вполне устраивало: он был в центре внимания.

Своим «острым практическим умом» я сразу сообразила, что, если во время Левиного выступления Рудик будет молчать, это произведет на всех огромное впечатление. Все решат, что даже Рудика сразил Левин кларнет. Но как это сделать?

Я тут же изменила план действий. Теперь я уже не должна была показывать, что Лева — мой брат. Я должна была это скрывать! Хотя бы на время...

Я знала, что в первом отделении будет всего три номера. Когда танец подходил к концу, я обернулась к Рудику и сказала:

— Сейчас будет выступать очень талантливый музыкант. Будущий лауреат! Из Московской консерватории...

— Чихали мы на таких! — ответил мне Рудик.

— Чихать очень опасно! — сказала я. — Музыкант этот страшно нервный. Недавно во время его выступления один в зале чихнул, так он прекратил играть... И потребовал, чтобы чихающий вышел из зала.

— Вот хорошо, мне как раз надо выйти... Я еле сижу!

— Он не просто потребует выйти. Он еще осрамит на весь зал! Очень нервный. Потому что талантливый. Не советую связываться.

— Будет пиликать классику? — спросил Рудик.

— Конечно!

— «Спи, моя радость, усни!..» — пожелал Рудик самому себе.

И прямо-таки разлегся, по-прежнему уперев ноги в спинку моего стула. Я поползла вместе со стулом вперед... Но я промолчала: пусть делает вид, что уснул. Нашел-таки выход из положения!

А Лева уже вышел на сцену... Все ждали выкриков Рудика, хохота из последнего ряда, но было тихо. И как-то торжественно. Я впервые смотрела на брата из зала...

У него был совсем не артистический вид. Нет, пожалуй, артистическим было только лицо: совершенно отсутствующее. «Весь в себе!», как говорит мама. Он еще не начал играть, но уже мыслил музыкальными образами. Это мне было ясно.

А все остальное было совсем не для сцены. Фигура сутулая, словно о чем-то задумавшаяся. Костюм был отглаженный (я сама его гладила), а казался помятым и не Левиным, а чужим.

«Я сама буду ходить с Левой к портным! — твердо решила я. — И буду заказывать ему самые модные вещи! Он будет проклинять меня, отбиваться, будет считать, что я отрываю его от искусства. Но я буду приносить себя в жертву: пусть плохо думает обо мне, пусть считает меня тряпичницей! Когда-нибудь он поймет... Да, он поймет, что я брала на себя все самое будничное, самое неблагодарное, как всегда делали сестры великих людей».

Но пока еще с Левой к портным ходила мама, а у нее был отсталый вкус. И наши пижоны из первых рядов, наверно, смотрели на Леву с усмешкой.

Потом вышла Лиля с нотами. Аккомпаниаторши, я заметила, чаще всего бывают пожилыми и некрасивыми. Певцы и музыканты на их фоне выглядят особенно эффектно. Но тут как раз Лиля спасла положение. Она вела себя как на самом настоящем концерте: вышла уверенным шагом, с независимо поднятой головой, строго поклонилась. И наши пижоны захлопали. Потом она подтверже уселась на стул, разложила свои ноты. Обернулась к Леве и буквально впилась в него глазами, как это делают все аккомпаниаторы, ожидая сигнала... Это тоже было как на самом настоящем концерте. И очень подействовало на старшеклассников.

Лиля ударила по клавишам, и Лева заиграл «Рассказ

Франчески». Я не слышала, как он играл: я волновалась. И смотрела на своих соседей: некоторые закрыли глаза — так слушают хорошую музыку. Потом захлопали... Хлопали все, но не очень долго. Может быть, Леве лучше было уйти за кулисы: тогда бы его нужно было вызвать обратно на сцену и хлопали бы сильнее. А так все сразу поняли, что он будет играть еще, и не очень старались.

Я думаю, что музыкант должен казаться со сцены загадочным и недоступным. Так даже и зрителям интересней. Ну разве приятно представить себе, что он такой же точно человек, как ты сам? Что можно запросто подойти и хлопнуть его по плечу...

А Лева вдруг улыбнулся так, словно был у себя дома, махнул рукой и заиграл свой любимый «Полет шмеля».

Ему снова аплодировали, но уже меньше, чем первый раз. Неожиданно на сцену, деловито глядя на свои ручные часы, выбежал Роберт-организатор. Он что-то зашептал моему брату на ухо. Лева вновь по-домашнему улыбнулся и объявил следующий номер...

Не успел он кончить, как Роберт-организатор опять показался из-за кулис. Он по-прежнему деловито смотрел на часы и одновременно пожимал плечами. Подошел к Леве и опять зашептал ему что-то на ухо. А мой брат добродушно, безвольно закивал головой: дескать, согласен, пожалуйста... Представляете?

Мне стало страшно: неужели он будет снова играть? По плану, который я составила дома, я должна была встать и попросить: «Сыграй, Лева, еще... Я прошу тебя». Сейчас мне хотелось вскочить и крикнуть: «Я прошу тебя: перестань играть!»

В будущем я, конечно, буду ходить с братом на все его концерты. Я научу его быть гордым! Пусть зрители сначала попросят, поваляются у него в ногах... А потом уж он что-нибудь сыграет на «бис».

Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадочным и недоступным!

Наконец Лева скрылся за кулисами.

— С добрым утром! — сзади воскликнул Рудик. И сделал вид, что проснулся. Но я уже не обращала на него никакого внимания.

— Поприветствуем наших гостей! — крикнул Роберт-организатор. — Поздравим их с Новым годом!

До Нового года было еще целых пять дней, но все завопили со своих мест: «Поздравляем!»

Лева вернулся. Тут и Лиля впервые поднялась со своего стула. Неторопливо собрала ноты, сдержанно поклонилась и указала рукой на Леву: дескать, главная заслуга принадлежит ему! Она вела себя как на настоящем концерте.

А Лева вновь по-домашнему улыбнулся, будто в зале сидели его родственники. Представляете? Это было ужасно!

Но самое страшное все-таки было еще впереди. Уже совсем близко, совсем рядом...

Об этом я напишу завтра. Потому что мама уже два раза говорила, что мне пора спать. Она понять не может, что я пишу. Заглядывать ей неудобно. Другие родители не стесняются: заглядывают к своим детям в тетрадки и даже вырывают из рук. Но моя мама себе этого не позволяет: она очень интеллигентна. Лева похож на нее.

Сначала мама думала, что я пишу домашнее сочинение. И была даже рада. Но я сказала, что это не сочинение, а что именно, не сказала.

— Если б ты с таким увлечением делала уроки! — воскликнула мама. — Совсем не думаешь о своем будущем.

Но я как раз думаю о будущем! Поэтому я и веду дневник.

28 декабря

Перед вторым отделением вечера из зала вытащили все стулья. Свалили их в коридоре. И сразу коридор стал узким, а зал раза в два больше, чем был. На сцене поставили искусственные елочки с игрушками.

— Ах, какая прелесть! — визжали девчонки. — Как необычно! Оригинально! Синтетика!..

Десятиклассницы почему-то любят синтетику. Я все же не верю, что искусственные елки нравились им больше, чем настоящие — те, которые пахнут лесом и снегом, им просто хотелось визжать и выражать восторги. Они были в приподнятом настроении.

Девчонки меня вообще раздражали. Все они выглядели роскошно! В раздевалке это было не так заметно, потому что они еще были не при полном параде, а некоторые в пальто. Ну, а иметь модное пальто гораздо труднее, чем

модное платье, поэтому женщины выглядят зимой не так нарядно, как летом. Я на это давно обратила внимание. Когда девчонки сидели в первом отделении на концерте, платья были не так видны. А теперь уже все сияли своими глубокими вырезами.

Я очень сильно от всех отличалась. У меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды сшить себе платье с вырезом, но портниха сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще нечего обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какие-нибудь металлоконструкции...» Неплохо, а? Я давно обратила внимание: частные портнихи очень развязны. Потому что все перед ними заискивают и смотрят им в рот, как каким-нибудь мудрецам.

В общем, девчонки выглядели очень роскошно. И я сильно проигрывала на их фоне. Это уж точно. Но зато рядом со мной стоял мой брат Лева, будущий великий мастер кларнета! Я взяла его под руку. И девчонки поглядывали на меня с завистью. Не многим из них приходилось прогуливаться под руку со студентом Консерватории!

— Что он тебе шептал на ухо? — спросила я Леву.

— Должен был приехать певец...

— Из ресторана «Звездное небо»?

— Кажется, да. И он просил меня поиграть...

— Он бы еще пригласил какого-нибудь народного артиста... Тянуть время, пока не приедет певец из «Звездного неба»!..

— В принципе мне было нетрудно их выручить.

Это любимое Левино занятие — кого-нибудь выручать. Некоторые его приятели уже успели жениться. Представляете? Поторопились! К Леве приходят перед экзаменами и когда ссорятся с женами. И он всех выручает. Боюсь, как бы на это не ушли все его силы. А певец из ресторана так, значит, и не появился. Роберт со сцены объявил, пропуская глаголы:

— Небольшая накладка: певец из ресторана «Звездное небо» — увы! Но звезда — здесь, с нами! Наша любимица Алина в сопровождении школьного джаз-оркестра! Польские эстрадные песни!

Мальчишки завопили: «Ура!» Старшеклассницы чуть-чуть похлопали. Совсем чуть-чуть: они не любят Алину,

они завидуют ей. Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем, кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчики будут восторгаться Алиной, а соперничать с ней бесполезно.

Так иногда женщины выходят грустные из кино после картины, где главную роль играет красавица. Я обратила внимание: они даже некоторое время не смотрят на своих спутников. Наверно, боятся, что те будут сравнивать. Нет, я никогда не выйду замуж. Это уж точно. Алина на наших вечерах всегда поет джазовые песенки на польском языке. Когда она вышла на сцену, я захлопала ей изо всех сил за то, что она посадила на место всех наших девчонок.

Девочки явно грустили и со злостью поглядывали на Алину. А некоторые храбрились и неестественно хохотали. Я заметила, что женщины часто смеются тогда, когда им хочется плакать.

Вообще-то я тоже не люблю красивых девчонок. Они все время помнят о том, что они красивые, и с ними поэтому очень трудно иметь дело. Но вчера я была благодарна Алине еще и за то, что не приехал певец из ресторана «Звездное небо», которого все ждали больше, чем Леву. Хотя Алина не имела к этому ровным счетом никакого отношения. Но она выступала вместо певца, и я ей за это хлопала. Вернее сказать, и за это тоже. А еще я хотела, чтобы Леве понравился школьный вечер, на который я его притащила. И поэтому я зашептала ему на ухо:

— Алина прекрасно знает польский язык. Как русский!..

Алина не только поет по-польски, но и работает под красавицу-польку из журнала «Экран». Она яркая блондинка, с прямыми волосами, которые спадают на лицо, даже закрывая один глаз.

— У нее волосы абсолютно свои, — шепнула я Леве.

— В каком смысле?

Лева не понимает элементарных вещей, потому что он «не от мира сего», как говорит мама.

— В том смысле, что она их не красит, — объяснила я. — Это ее естественный цвет...

Алина пела тихо, и все в зале, особенно мальчишки, просто боялись дышать. А Алина дышала вовсю. Так

по крайней мере казалось, потому что она дышала в микрофон.

Я немного шепелявлю и с детства как-то враждебно отношусь к шипящим буквам. Я уверена, что это самые неблагозвучные буквы во всем алфавите. Недаром ведь в художественных произведениях положительные герои никогда не «шипят», а «шипят» отрицательные.

Но когда Алина поет свои польские песенки, мне начинает казаться, что шипящие не так уж плохи. Слова, которые она почти что шепотом произносит в микрофон, состоят от начала до конца почти из одних шипящих, а получается довольно-таки красиво и задумчиво.

Мальчишки аплодировали как безумные и даже свистели, что является у них высшим выражением радости и восторга. Лева после его «Франчески» никто не свистел. Это было обидно. Но я заметила, что, аплодируя Алине, многие тайком поглядывали на Леву. Еще бы! Всем интересно было, как оценит ее пение студент Консерватории. Профессионал! Ну и типы же эти старшеклассники: ни за что в открытую не признают, что студент Консерватории для них авторитет. Для них вообще не существует авторитетов! А исподтишка будут подглядывать, как он реагирует. Ну и типы!..

Лева заметил это и, засунув свой черный футляр под мышку, стал хлопать так, будто был на концерте Дмитрия Шостаковича. Я решила, что он хочет доставить мне удовольствие: ведь я так нахваливала Алину!

Когда Алина кончила петь, она решила прямо со сцены прыгнуть в зрительный зал. Это было, конечно, очень эффектно. Мальчишки, забыв про своих девиц, бросились ей помогать. И тут произошло что-то совершенно неожиданное: наш Лева, всегда такой медлительный и неповоротливый, тоже подскочил к сцене и протянул Алине левую руку. Правой он держал старинный дедушкин футляр.

Мне было обидно, что Левина рука как-то затерялась в толпе других рук и ничем от них не отличалась. И сам Лева как-то затерялся среди старшеклассников. Но Алина со сцены разглядела Левину руку и, представьте себе, оперлась именно на нее. Да, на нее! Наш Лева весь покрылся красными пятнами, будто кто-то надавал ему по физиономии. Вообще-то он часто краснеет. Но всегда для этого есть какие-то основания. А тут он покраснел без всяких оснований.

Когда Алина прыгнула в зал, Лева поблагодарил ее. За что, спрашивается? За что? Это она должна была сказать «спасибо»: ведь он протянул ей руку, а не она ему. Происходило что-то странное.

Наш школьный эстрадный оркестр заиграл танго. «Сейчас во время танца скажу Лева, что вовсе не считаю Алину своей подругой, — решила я, — и не требую, чтобы он ради меня так перед ней вертелся!» В эту минуту брат наклонился ко мне. «Ага, не забыл своего обещания! — подумала я. И вытерла ладони о холодную стену, покрашенную масляной краской: они у меня немного вспотели. — Сейчас я впервые буду танцевать на вечере старшеклассников!..»

— Подержи, пожалуйста, — поспешно проговорил Лева. И старинный дедушкин футляр оказался у меня под мышкой.

А Лева опять уже был возле сцены и протягивал руку Алине: он приглашал ее танцевать. Я снова вытерла ладони о холодную стену.

О, как я ненавидела Алину в этот момент! Я ненавидела даже ее имя — такое редкое, необычное. Меня-то ведь все звали просто Женькой. «Имя среднего рода, — шутил отец, — не поймешь: женское или мужское». Ничего себе представление о справедливости: сам же всучил мне это имя в честь какой-то своей любимой тетушки и сам же острит! Я не видела эту тетушку ни разу в жизни: она умерла за десять лет до моего рождения. И было непонятно: почему родители решили преподнести ей подарок за мой счет?

Все наши девицы с их глубокими вырезами сразу стали казаться мне милыми и симпатичными по сравнению с Алиной. Она заставила Леву бросить сестру, которая решила посвятить ему всю свою жизнь! Но даже не в этом дело. Она заставила моего брата вести себя так, будто он ничем не отличался от десятиклассников, которые все были в нее влюблены. И за это я ее ненавидела!

Алина все время, не отрываясь, смотрела на Леву в упор и как-то слишком многозначительно. Притворство! Сплошное притворство! Лева не мог нравиться ей, как ему не могли нравиться всерьез ее эстрадные песенки. Сутулый, нескладный, в костюме, который всегда кажется чужим и мятым, Лева абсолютно не в ее вкусе. Все дело в том, что он студент Консерватории, что у него блестящее будущее! Вот она и смотрела в упор, будто старалась его заморозить. Но, к сча-

стью, Лева не замечал этого взгляда: он опустил голову и изучал свои ноги. Он всегда смотрит на свои ноги, когда танцует.

Никто не обращал на меня никакого внимания. Я стояла одна и прижималась спиной к холодной стене, чтобы не мешать танцующим. Меня толкали и даже не извинялись. А некоторые спрашивали, как та десятиклассница в раздевалке: «Женька, как ты сюда попала?», «А ты как здесь очутилась, Женька?» И некому было меня защитить: мой брат танцевал с Алиной...

Тут я вспомнила про Лилю. Лева даже не поинтересовался, где находится его «аккомпанемент». Ничего себе рыцарь!

Я вспомнила, как Лиля однажды сказала: «Профессиональный музыкант не должен появляться среди зрителей в день своего выступления».

«Умница! Конечно, не должен! — думала я. — Тогда он будет загадочным и недоступным. А иначе он станет для всех обыкновенным человеком, абсолютно равным и неинтересным. Как мой брат, которому десятиклассники преспокойно наступают на ноги. Будто он и правда ничем от них не отличается, словно это не он будет участвовать в конкурсе музыкантов-исполнителей!»

После танго Лева подошел ко мне такой красный, будто ему надавали пощечин. Он был очень взволнован. Я его таким никогда не видела. И не хочу больше видеть!

— Ты же поклялся танцевать только со мной, — сказала я.

— В принципе ты права, — ответил он мне, еле переводя дух. — Но я умею танцевать только танго... Ты же знаешь. В другом танце я выглядел бы очень смешно...

— А вообще не танцевать с ней ты не можешь? Эта мысль тебе не приходит в голову?

Когда люди, которые «не от мира сего», совершают ошибки, с ними надо говорить резко и прямо. Во имя их же спасения!

Но я не успела спасти своего бедного брата. Оркестр заиграл твист. И Алина, отбиваясь от мальчишек, которые приглашали ее, сама подошла к Лева. Представляете? Сама подошла. Вот так красавица! Вот так гордячка! Совсем потеряла совесть. И Лева пошел танцевать твист, который он танцевать не умел.

Алина его учила. Теперь они оба смотрели на ноги. Она учила Леву всего-навсего танцевать, но вид у нее был такой покровительственный, будто она объясняла ему, как надо жить на белом свете.

А я снова прижималась к холодной стене. Меня снова толкали и спрашивали, как я пробралась на этот вечер.

Нормальные люди выставляют напоказ то, что им выгодно выставлять. А то, что невыгодно, прячут подальше. Мой брат плохо танцует, а Алина заставляла его выделять самые трудные па. Зачем? Может быть, она хотела выставить его на посмешище перед своими приятелями? Они ведь тех, кто плохо танцует, вообще за людей не считают.

По крайней мере, десятиклассники уже поглядывали на моего брата свысока и даже с насмешкой: в танцах они были сильнее его. Алина дала им возможность почувствовать превосходство над моим братом, и за это тоже я ее ненавижу. Я мечтала, чтобы наш школьный эстрадный оркестр, который я всегда любила слушать, поскорее умолк. Но он не умолкал до тех пор, пока снизу не пришла гардеробщица и не сказала Роберту-организатору:

— Я ваши вещи до утра караулить не собираюсь...

Тогда вечер закончился.

Ко мне подошел Лева и протянул руку за старинным дедушкиным футляром. Я спрятала футляр за спину и сказала:

— Кажется, он тебе уже не пригодится.

— В каком смысле?

— В том смысле, что ты, кажется, собрался поступать в хореографическое училище? Но лучше поступи в цирковое: там учат на клоунов. Ты сегодня неплохо выступал в этом жанре.

Может быть, я говорила с Левой слишком прямо и резко. Но я имею на это право. Ведь я решила посвятить ему всю свою жизнь. И я должна спасти его от Алины! Чему она может научить моего брата? Петать эстрадные песенки? Что между ними общего? Да и вообще Лева сейчас не имеет права влюбляться! Он должен готовиться к конкурсу. И заниматься с утра до вечера. А не влюбляться! Я должна спасти его, уберечь. И я это сделаю!

Но спасти Леву будет не так легко. Ведь он «весь в себе».

А когда люди, которые «все в себе», вобьют себе что-нибудь в голову, им невозможно ничего объяснить...

— Алина одна. А сейчас уже поздно,— сказал Лева.— Мы проводим ее до дома.

— Единственное, что ей не угрожает,— это одиночество! — воскликнула я.— Вот увидишь: все наши кавалеры за ней поплетутся...

Зачем я произнесла эту дурацкую фразу? На мужчин, я заметила, ничто так сильно не действует, как успех женщины сразу у многих. Это и на мальчишек тоже распространяется. Поэтому-то, я заметила, почти в каждом классе обязательно есть какая-нибудь общепризнанная красавица. И чаще всего она ничуть не лучше других. Просто однажды в нее случайно влюбились двое мальчишек сразу. А остальные подумали: раз за ней бегают сразу двое, значит, она того заслуживает. И пошла цепная реакция! Когда я произнесла роковые слова о том, что Алине не грозит одиночество, Лева как-то болезненно улыбнулся, беспомощно развел руки в стороны (дескать, что тут поделаешь!) и сказал:

— Да, я понимаю... Она пользуется успехом.

— Дешевым успехом! — воскликнула я.

Но исправить ошибку уже было нельзя. И мы пошли провожать Алину. А дом ее находился в совершенно противоположной стороне от нашего дома...

Я почти всю дорогу молчала. По правде сказать, я в присутствии Алины почему-то робела. И помимо воли иногда ей поддакивала. И Лева поддакивал всякой ее ерунде. Я поглядывала на него с изумлением. И даже с испугом: мне казалось, что он поглупел и вообще стал каким-то совсем другим человеком. Впрочем, я вспомнила, что многие великие люди любили ничтожеств и в их присутствии изрядно глупели. Неужели и моего брата ждет такая судьба? Алина же просто не закрывала рта. Но говорила она в свой меховой воротник.

— Берегу горло,— объяснила она.

Вы слышали? Значит, она воображает себя певицей! Ее горло представляет, видите ли, такую огромную ценность, что его надо беречь! В общем, мне пока что так и не посчастливилось услышать ее настоящий голос: пела она в микрофон, а говорила в меховой воротник.

— В принципе вам всегда следует держать горло в тепле,— изрек мой брат Лева.

Эта фраза Алине очень понравилась, и она в благодарность призналась Лева, что кларнет — ее самый любимый музыкальный инструмент. Представляете? Она, оказывается, может слушать кларнет с утра и до вечера.

И еще может сутками слушать саксофон.

Хорошо, что она не сравнила кларнет с барабаном. Или с какими-нибудь другими ударными инструментами. Я думала, Лева содрогнется оттого, что его любимый кларнет поставили в один ряд с саксофоном. Но Лева не содрогнулся. А наоборот, согласился с Алиной:

— Да, саксофон обладает оригинальными средствами музыкального выражения...

Но самое непонятное было то, что и я зачем-то сказала, что люблю саксофон. У этих красивых девчонок удивительная власть над людьми! И способность превращать всех кругом в абсолютных кретин!

— Сразу после Нового года, — сказал Лева, — у нас будет концерт студентов второго курса. В Малом зале Консерватории...

Меня раздражает Левина манера все уточнять. Ну какая разница, в Малом или Большом зале будет концерт! Можно было просто сказать: «В зале Консерватории». И обязательно надо уточнить, что он учится на втором курсе, а то, не дай бог, подумают, что на пятом! И свой будущий конкурс он всегда величает полным именем: Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Хотя можно сказать просто и гораздо короче: конкурс музыкантов-исполнителей. Пусть думают, что вообще всех музыкантов, и не всероссийский, а всесоюзный или даже международный! Нет, Лева должен сказать все точно, как есть. Станный характер!

— Для меня будет большим подарком, если вы придете на этот концерт, — сказал Лева.

Можно было подумать, что он приглашает Евгения Светланова: большим подарком!

— Дайте мне свой телефон: я позвоню накануне, — сказала Алина.

Как всякая красавица, она, конечно, очень занята!

— Нет, вы можете не дозвониться. Лучше договоримся прямо сейчас, — настаивал Лева. — Правда, Женя, так лучше?

— Конечно, — сказала я.

Мне хотелось обругать брата за его приглашение, а я сказала: «Конечно». Мой язык просто сошел с ума! Я была под сильным гипнозом.

Наконец Алина согласилась прийти. Еще бы: ведь она так любит кларнет!

— Мы будем ждать вас у входа,— сказал Лева.

Сомнений не оставалось: он был влюблен!

— А вы мне преподнесите ответный подарок! — уже прощаясь, кокетливо сказала Алина.

Лева сделал такое лицо, словно готов был отдать ей все, что она пожелает.

— Согласитесь солировать в нашем эстрадном оркестре! Это будет так оригинально: музыкант-профессионал выступает со школьным джазом!..

Я поперхнулась холодным воздухом. А Лева преспокойно ответил:

— В принципе это возможно...

— Замётано! — сказала она. И скрылась в дверях.

Я тут же освободилась от ее гипноза.

— Ты еще будешь играть в фойе! Как наш бедный дедушка! — крикнула я Лева. — Помяни мое слово: этим все кончится!..

29 декабря

Вся моя жизнь под смертельной угрозой. Вся моя жизнь! Если Лева станет играть в школьном джазе, ему это может понравиться: ведь у него такая опасная наследственность по линии дедушки. И потом, он в самом деле может захотеть выступать в фойе, перед началом сеансов. А люди будут жевать бутерброды. Тогда я уже не смогу посвятить ему всю свою жизнь. Музыканты, которые играют в фойе, не имеют права быть «не от мира сего», и им как-то не принято посвящать свою жизнь. На это имеют право только великие музыканты!

А если Лева не станет великим или по крайней мере известным? Что я тогда буду делать? Тогда все мои планы летят кувырком. Я, как мои одноклассницы, должна буду придумывать себе будущую профессию, и зубрить, и гоняться за отметками. Я должна буду стать такой же, как все...

Но я думаю, конечно, не о себе. Дело в Лева! Ради него

я пойду на все! Настоящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. И не требуют благодарности. Я тоже вмешаюсь! Лева забудет Алину, и хорошо подготовится к конкурсу, и завоюет там первое место! И тогда я смогу посвятить ему всю себя, без остатка!

— Неужели ты не видишь, что она вся неискренняя и фальшивая? Вся насквозь! — сказала я Лева. — Кларнет — ее любимейший инструмент! Да есть ли на свете хоть один нормальный человек, для которого кларнет был бы самым любимым инструментом? Есть ли такой человек? Нету такого!

— Это твоя личная точка зрения, — сказал Лева.

— Это факт, а не точка зрения! Я надеялась, что ты станешь первым в мире великим кларнетистом! Но напрасно... И неужели ты думаешь, что она в самом деле знает польский язык? Просто выучивает слова и бессмысленно их повторяет. Сейчас любой певец, даже откуда-нибудь из Гваделупы, поет «Подмосковные вечера» по-русски. И что же, по-твоему, он знает русский язык?.. Так и она. Просто глупо было подумать, что она понимает по-польски. И волосы у нее крашеные...

— А может быть, у нее вообще парик? — с улыбкой перебил меня Лева. Он готов был ее защищать. Это было ужасно. — Раньше ты говорила другое: и про волосы и про польский язык. Нельзя же так быстро менять свое мнение. И поддакивала ей, когда мы ее провожали.

— Я иронически ей поддакивала. Как бы в насмешку...

— Прости, я не почувствовал этой иронии. К тому же она бы была неуместной.

— Ты ее любишь?! — воскликнула я.

Он ничего не ответил. Но я понимаю: разговаривать с ним бесполезно. Я должна действовать! И я буду...

30 декабря

Сегодня последний день второй четверти. Мы, конечно, написали на доске мелом: «Последний день — учиться лень!» Учителя читают и делают вид, что сердятся.

Завтра каникулы! Я обожаю каникулы. Учителя отдохнут от нас, а мы отдохнем от них. И у всех поэтому хорошее настроение.

На переменках старшеклассницы носятся по коридору, шушукуются, договариваются, кто с кем будет встречать Новый год. Я давно заметила, что о самых простых вещах они почему-то любят говорить шепотом и с таинственным видом. Так им интереснее!

И учителя, конечно, тоже будут встречать Новый год. На уроке литературы я старалась представить себе, как они это будут делать. Я вообще часто стараюсь представить себе жизнь наших учителей. Особенно учительниц. Какие у них мужья? И как у них дома? Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыбнулась и называет нас всех на «вы», дома тоже целует мужа? И он целует ее?.. Интересно, как это происходит? Но это же происходит, потому что у нее на руке кольцо. Толстое, старомодное, но все-таки обручальное! Значит, дома она целуется... Представляете? И у нее, может быть, даже есть дети...

У всех хорошее настроение. Даже химичка пожелала нам полезного отдыха. Не счастливого, а полезного!

Но у меня на душе тяжело. Что-то висит. Это висит Алина! Я ведь нарочно развлекаю себя разными посторонними мыслями, чтобы забыться.

Но забыться я не могу: Лева будет играть с нашим школьным джазом! Солировать! А потом докатится до фойе. Если я его не спасу!

Пишу на уроке... Я заметила: последние дни и часы (в пионерлагере, или в поезде, или в школе) всегда тянутся страшно медленно. Просто сил нет.

Но вот наконец звонок! Не забыл нас, родименький! Иду на перемену...

Начался самый последний урок. Математичка терпеть не может, когда отвлекаются. Если заметит, тут же вызывает к доске. Конечно, обидно погибнуть в последнем бою, но я должна немедленно записать все в свой дневник. Я должна рассказать о том, что произошло буквально минуте тому назад, на перемене. Я сделала смелый, решительный шаг! Ради Левы, ради его музыкального будущего! Оценит ли он это когда-нибудь?

На последней перемене старшеклассницы продолжали носиться по коридору, шушукаться и обниматься (они очень любят обниматься друг с другом).

Алина ни к кому не подбегала, все подбегали к ней, потому что она у нас прима, она вне конкурса.

Но ко мне Алина направилась сама, и я даже не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей навстречу. Она улыбалась мне своим длинным красивым глазом, который почему-то напоминал мне вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой золотистой прядью волос.

Она притянула меня к себе, чуть-чуть нагнулась и прижалась ко мне щекой. Представляете? Наши семиклассницы просто попадали от зависти. Мысленно, конечно, попадали. А я даже не шелохнулась.

— Какие у нас показатели? Дед-Мороз будет доволен? — спросила Алина.

Я решила на этот раз ни за что не поддаваться ее гипнозу. Ни за что! Показатели, то есть отметки за вторую четверть, у меня очень неважные.

— Какое это имеет значение? — ответила я.

Она снова прижалась ко мне щекой. И наши девчонки снова попадали. Но я была холодна и спокойна.

Я знаю, что невесты обычно хотят подружиться с родителями своих женихов, заполучить их себе в союзники. Алина до мамы с папой еще не добралась, она начала с меня. Это мне было понятно. И я к ней прижиматься не стала.

— Поздравляю тебя с Новым годом, — сказала Алина. — И всех наших общих знакомых!

На общих знакомых она сделала такое ударение, что мне стало просто не по себе. Никаких общих знакомых у нас не было: она говорила о Лева.

— Увидимся в новом году, — продолжала она. — Место встречи и время все те же?

Тут я сделала свой решительный шаг.

— Вы знаете, Лева очень просил извиниться... — сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой. — Наша встреча не состоится.

— Не состоится? — Словно желая разглядеть меня лучше, она отбросила золотистую прядь, и я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в этот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления. И мне ее стало даже немножко жалко. Но я подавила в себе эту слабость. Если Лева действительно нравится ей, то тем хуже: не хватало еще, чтоб у них началась любовь накануне конкурса музыкантов-исполнителей!

— У него есть невеста,— сказала я.— И ей было бы неприятно... Вы понимаете?

— Он обручен? — спросила она уже с насмешкой. Но эта насмешка была какая-то беспокойная, нервная.

— Ну да... Можно сказать, обручен. Очень давно, прямо с детского возраста. Со своей аккомпаниаторшей.

— С этой...

— Ну да,— перебила я,— она некрасива. Но у них общие идеалы! Их сблизила музыка. Они любят друг друга...

Это была ложь во имя спасения брата. Оценит ли он это когда-нибудь?

3 января

Вчера был концерт студентов Консерватории... Он начался в семь тридцать вечера, но мы слевой пришли на час раньше и мерзли на улице. Лева, видите ли, боялся, что Алина может перепутать и тоже прийти на час раньше, потому что некоторые концерты начинаются в шесть тридцать. Представляете?

Мы бы, наверно, совсем окоченели, если бы Лева не казалось, что каждая со вкусом одетая девчонка, которая появлялась вдали, это Алина. Мы бежали навстречу, девчонки испуганно останавливались или шарахались в сторону. А мы извинялись и возвращались на свой пост к подъезду. Так мы хоть немного согрелись.

— Интересно, как ты будешь держать кларнет замерзшими пальцами? — сказала я.— Хорошо еще, что ты играешь не на рояле. И не на скрипке. Иди!.. Я сама ее встречу.

Куда там! Лева и слышать об этом не хотел. Мама всегда говорит, что он очень цельный человек. Вообще-то это неплохо. И даже хорошо. Но когда цельный человек влюбляется, с ним ничего невозможно поделать. Ему ничего нельзя объяснить.

Великие люди имеют право на странности, и эти странности им надо прощать. Потому что великий человек, с одной стороны, «весь в себе», а с другой — немножечко не в себе. Это я понимаю. Но ведь Лева вчера был не в себе не как выдающийся человек, а так же, как все наши мальчишки-десятиклассники, которые тоже влюблены в Алину.

Вот почему я не хотела прощать! У необычных людей должны быть необычные странности. Когда у Левы появлялись такие странности, я их сразу буду прощать! Не задумываясь... Честное слово! А вчера я не прощала...

Лиля считает, что настоящий артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления. А Лева прямо-таки бежал навстречу зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдали появилась Алина. Среди зрителей было много Левиных знакомых, и все они спрашивали:

— Кого ты тут ждешь?

И Лева начинал подробно объяснять, что ждет одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Знакомые ухмылялись и глупо подмигивали. Но Лева и в следующий раз отвечал подробно и точно. Он всегда говорит чистую правду, одну только правду. Как будто нельзя было сказать, что мы ждем тетю, дядю или каких-нибудь других родственников. Или, например, маму с папой.

Если Леве звонят по телефону, он всегда подходит, как бы ужасно он ни был занят. Я ему говорю иногда: «Можно сказать, что тебя нет дома?» — «Но ведь я дома», — отвечает он. И подходит, хоть ему очень не хочется. Представляете?

Человек не может всю жизнь говорить одну только правду. Мало ли какие бывают случаи! Я уже твердо решила, что во всех этих случаях я буду врать за брата. Раз он сам не умеет! Что тут поделаешь? Пусть это будет еще одной жертвой!

— С ней что-то случилось, — сказал мне Лева. — С ней что-то случилось... А? Как ты думаешь?

— Ничего не случилось! — ответила я. — Она терпеть не может классическую музыку. И кларнет! Ведь я говорила тебе. Предупреждала! Я была уверена, что она не придет...

В этот момент появились мама и папа. Они были торжественные, нарядные и так гордо поглядывали по сторонам, будто все вокруг должны были знать, что их Лева выступает сегодня в Малом зале Консерватории. А этот Лева, которым они гордились, прыгал на одном месте, как воробей.

Папа, когда волнуется, всегда начинает шутить. Но волнение мешает ему быть остроумным.

— Боюсь, твой кларнет будет сегодня чихать и кашлять,— сказал он.

— В чем дело? — воскликнула мама.

Что бы стоило Леве сказать, что мы ждали на улице своих любимых родителей! Что мы продрогли, но ждали! Как бы им это было приятно! Но, к несчастью, Лева всегда говорит одну только правду. И он снова стал объяснять, что мы ждем одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Мама ничего не поняла. Но она была в ужасе от того, что Лева еще не за кулисами. Ему пришлось отправляться за кулисы. А я обещала подождать Алину.

— Она не придет! — сказала я Леве.— Ей противны классическая музыка, и твой кларнет, и Малый зал Консерватории... И даже Большой ей тоже противен! Но я подожду. Раз ты просишь, я подожду!

Я постояла на улице еще минут пять или десять. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: «У вас есть лишний билетик?» Мне очень хотелось, чтобы на концерт, в котором участвует Лева, стремилась попасть вся Москва. Но никто за билетами не охотился, и мне оставалось только мечтать.

Я мечтала о том дне, когда Лева будет выступать не в общем концерте, а один, в сопровождении большого оркестра. Государственного оркестра СССР! Мы подведем с Левой к служебному подъезду, там будут его поклонники (не какие-нибудь девицы, которые охотятся за тенорами, а серьезные пожилые люди — ценители музыки!), и я услышу за спиной шепот:

«Это его сестра! Она посвятила ему всю свою жизнь. Он без нее, как без кларнета!» Представляете?! Но вчера «лишних билетов» никто не искал. Хотя когда я вошла в зал, он уже был абсолютно полон. Ни одного свободного места! Нет, одно свободное было... Рядом со мной, где должна была сидеть Алина.

Мама, конечно, стала тут же упрекать меня за то, что я заставила Леву ждать на улице какую-то свою подругу. Я заставила! С ума можно сойти...

И еще она возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое место». Так она и сказала: «Зияет»!

Я, конечно, ничего ей объяснять не стала. Ей тогда вообще ничего нельзя было объяснить. Она была очень напряжена. И все делала неестественно: неестественно долго и

внимательно читала программу, в которой было указано, что Лева выступает предпоследним в первом отделении, неестественно улыбалась родителям других участников концерта, которые все сидели в нашем ряду. Весь ряд состоял из одних только родственников. И это было как-то противно. Не могли уж рассадить нас по разным углам.

Мама все время, словно какой-нибудь гид в музее, общала мне: «Вон там сидит лауреат! А там сидит трижды лауреат! А там профессор Консерватории...» Мамочка очень волновалась. И мне хотелось успокоить ее. Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не слышала и не воспринимала.

И вдруг она схватила меня за руку:

— Что это? Что это значит?!

Я увидела, что из-за кулис выглядывает наш Лева. Он искал нас глазами. Потом нашел, увидел рядом со мной пустое место... Помрачнел, то есть буквально изменился в лице. И скрылся. Мама взглянула на меня. Но что я могла ей объяснить?

Наконец начался концерт. На сцену вышел мужчина с утомленным лицом.

— Он всегда ведет симфонические концерты,— шепнула мне мама.— Ты видела, наверно, по телевизору?

Вид у мужчины был такой, будто он был главным участником концерта. И фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, что я не сразу их узнавала.

Скрипки, рояли и виолончели казались мне в тот вечер просто невыносимыми. Я впервые заметила, что великие композиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения! Их вполне можно было бы сократить! Когда раздавались аплодисменты, я злилась и думала: «Не хватает, чтобы упростили играть еще!» И стоило только мне так подумать, как обязательно играли еще.

Мне казалось, что никогда не дойдет очередь до нашего Левы. Но она наконец дошла. Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это была чужая фамилия. Вышел Лева, а через несколько секунд после него вышла Лиля. Она держалась как настоящая аккомпаниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под собой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды.

А наш Лева выглядел, как и на школьной сцене, каким-то слишком домашним. В нем не было никакой недоступ-

ности и загадочности. И костюм опять казался не новым, а мятым, хотя я вчера полдня чистила и отглаживала его.

Я не слышала, как он играл, потому что все время тайком разглядывала зрителей. Но трудно было что-нибудь угадать: смотрели внимательно на Леву — и все... А некоторые закрывали глаза. Потом раздались аплодисменты. Хлопали не очень сильно, как всегда бывает после первого номера. Все и так знали, что Лева будет играть еще. Но когда аплодисменты затихли, я услышала сзади глухой мужской голос:

— Он сегодня не в форме...

И другой голос, тоже старческий, глуховатый:

— Да, как говорят шахматисты, играет не лучшим образом.

Мама еще до концерта успела мне сообщить, что сзади сидели Левины профессора. Я боялась взглянуть на маму. Но увидела, как она схватилась за ручку кресла.

Мне хотелось обернуться к Левиным профессорам и сказать: «Поверьте, это я во всем виновата. Я!..»

Ночью я слышала, как Лева ворочался и даже что-то шептал. Вроде бы рассуждал сам с собой. Потом встал и пошел на кухню. Когда он вернулся, я спросила:

— Что? Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет... Просто хочется пить. Жажда какая-то... А почему она не пришла? Как ты думаешь, Женька?

И тут я не выдержала.

— Все это по моей вине, Лева... — сказала я.

— По твоей?..

Мне показалось, что в его голосе была радость. Или, вернее, надежда.

— По моей! По моей! — подтвердила я. И все рассказала. В комнате было темно. Я не видела Левиного лица, и так было легче рассказывать.

— В принципе ты поступила подло, — сказал Лева.

Когда резкие слова произносятся громко, это значит, что их говорят сгоряча. И, может быть, вовсе не думают то, что говорят. А Лева сказал совсем тихо, спокойно... Значит, он был уверен, что я совершила подлость. Он был уверен... Мне стало холодно под одеялом.

— Но ведь я хочу посвятить тебе всю свою жизнь, — тихо сказала я. — Я готова пожертвовать...

— Это манера деспотов, — перебил меня Лева.

— Какая манера? — не поняла я. — При чем же тут деспоты?

— Они превращают в свои жертвы тех, ради которых хотят всем на свете пожертвовать.

— Значит, я не имела права вмешаться?!

— А может быть разве такое право? — спросил Лева как бы самого себя. — Хоть у кого-нибудь... Может быть разве такое право?

Лева снова лег и поплотней укрылся одеялом. Я села к нему на постель.

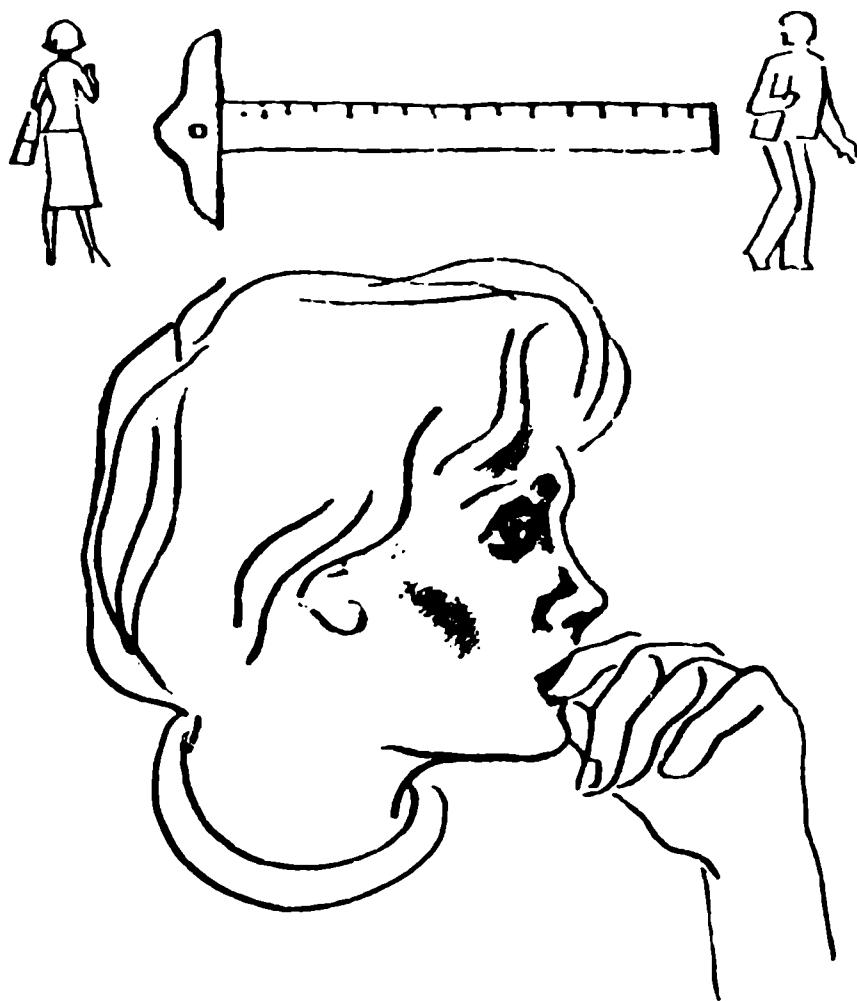
— Все-таки хорошо, что она не пришла из-за меня... А не сама по себе. Все-таки хорошо?.. — тихо сказала я.

Лева пожал плечами. Это было под одеялом, но я почувствовала, что он ими пожал... Потом он вдруг улыбнулся. Было темно, но я увидела, что он улыбнулся. И пошла к себе...

Я больше не буду вести дневник. А то, пожалуй, в книге о брате могут не поместить мой портрет со словами «Сестра музыканта».

1967 г.

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК



1

Меня ждали шестнадцать лет...

Ужасно быть поздним ребенком. Я-то уж знаю! Ранние дети появляются быстро, сами собой, как отметки в дневнике, если ты пошел в школу. А позднего ребенка ждут не дождутся и, когда наконец дождутся, начинают проявлять такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света, а то еще и подальше.

Родители ему говорят: «Мы тебя ждали! Так ждали!..», будто он задержался в кино или на улице.

Я — поздний ребенок. Мои родители сразу хотели иметь мальчишку, а заимели Людмилу... Это моя сестра. Все втроем, вместе с Людмилой, они мечтали, чтоб я родился. И вот через шестнадцать лет мечта их сбылась! Поздновато, конечно. Но что же я мог поделать?

Я не помню, с какого возраста я себя помню. Но в ту пору, с которой помню, я часто, казалось, слышал: «Ты —

сюрприз! Ты — драгоценный подарок!» Теперь мои родители стесняются таких фраз. Может быть, и раньше они таких точно слов не говорили. Но какие-то вроде этих... Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая нарядная и чистая стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай.

Меня берегут! Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого взрослого в нашей семье свой характер.

Вот, например, если я собираюсь куда-нибудь в лыжный поход, мне запрещают все трое. Но запрещают по-разному.

Первым, конечно, отец. Он — огромный мужчина. Похож на Хемингуэя, который висит над столом у Людмилы. Только без бороды. Но такой же седой и в морщинах.

В жизни ему приходилось трудно, и поэтому он хочет, чтобы я от всего получал удовольствие. Нет, он не откажет впрямую: он попытается, чтоб и это мне было приятно. Даже отказ!

— По долинам и по взгорьям... — пропоеет он так, что будет слышно внизу, во дворе: у отца громкий, раскатистый голос. И он любит цитировать песни. Не стихи, не пословицы, а именно песни. — В движение мельник жизнь ведет, в движение!..

Отец обязательно пропоеет что-нибудь на подходящую тему. В эти минуты, мне кажется, он усиленно соображает: придумывает, как бы не огорчить меня своим отказом, а, наоборот, доставить мне удовольствие. От напряжения лицо его становится красным. Краска ползет к ушам, заливает всю шею. Из-за белых волос это особенно заметно.

Он говорит так громко, будто объявляет со сцены:

— А я хотел пойти с тобой завтра в кино. Ты ведь тоже хотел?

Я соглашаюсь. Хотя меня гораздо больше тянет в лыжный поход. Я не спорю с отцом. Бесполезно: я — поздний ребенок, меня берегут.

— Хочешь, любое, мой сын, выбирай! — поет отец мощным голосом хана Кончака из оперы «Князь Игорь». Иногда он переиначивает слова арий и песен по-своему, чтобы они подходили: — Любое, мой сын, выбирай!.. Но раз ты хочешь идти в кино, я ликую!..

Он долго еще ликует. Так, что слышно внизу, на улице.

По правде сказать, не только отец — все в нашем доме говорят громко, потому что мама не очень хорошо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, поздние дети, которых так ждут, приносят не только радость... Мне не сказали, что это из-за меня, чтобы не огорчать. Но я-то уж знаю! Однажды я слышал, как доктор сказал: «Последствия родов. Вряд ли пройдет». Уж лучше бы я не родился!

А сама мама говорит очень тихо. Иногда она тоже шутит, но с какой-то грустной улыбкой. Что бы у нас ни случилось, она всегда считает, что это к добру. И не поймешь, действительно ли она так считает.

— Это даже хорошо, — говорит она, — что я многое пропускаю мимо ушей: мало ли говорят ерунды!

«Это даже хорошо...» — мама часто так начинает.

— Это даже хорошо, что ты хочешь в лыжный поход: значит, ты не боишься!

Но потом она обязательно стыщит причину, по которой мне лучше остаться дома: я — поздний ребенок, меня берегут.

Бережет и Людмила... Она архитектор. «Мастер четких линий» — называет ее отец. И говорит моя сестра четко и прямо: она уж не станет переиначивать арии.

— Если бы ты всерьез занимался спортом и хорошо катался, я бы тебя поддержала, — скажет она. — А так — не могу.

Но если я даже научусь кататься, как мастер спорта или чемпион, они все равно найдут причину, чтобы меня не пускать. Это уж факт.

Когда в доме у нас происходит что-нибудь неприятное, от меня все скрывают. Я сразу чувствую, а мне говорят: «Ты — ребенок! Ты этого не поймешь». Они ждали ребенка, и им приятно, что он у них есть. И мне было бы очень приятно, что им так приятно, если бы этим ребенком был кто-нибудь другой, а не я.

Подслушивать я не люблю. И никогда бы не стал. Но раз от меня что-то скрывают, а я в этом деле, может быть, даже могу помочь, я должен подслушивать. Тем более, что отец и по секрету всегда говорит так громко, что хочешь не хочешь, а все равно будешь знать.

Однажды я услышал такой разговор. Секретный... Что говорила мама, я не мог разобрать, а отец запел ей в ответ из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана...

Я не так уж хорошо разбираюсь в музыке, чтобы сразу угадывать, что из какой оперы. Но ведь даже у каждого знаменитого певца есть свой особый репертуар, к которому можно привыкнуть.

— Привычка свыше нам дана... — повторил отец. И добавил: — После стольких лет? На другую работу? Нет, не могу!

Потом что-то сказала мама. Потом отец снова запел, но уже из Девятой симфонии Бетховена. Это — странная симфония: в ней поют.

— О бра-атъя, довольно печали! — пропел отец. И добавил одну фразу обыкновенно, по-человечески: — Двести двадцать на сто — это еще не смертельно.

2

Я давно уже заметил, что люблю встречать на улице старых людей. Чем старей человек, тем больше я радуюсь. «Значит, можно долго, очень долго прожить на свете!» — думаю я.

Как-то я прочитал в журнале, что в одном горном селе несколько человек уже дотянули до ста десяти лет. И продолжают жить дальше... Я всем показывал эту заметку.

— Так то же в горах! — говорили мне. — А ты живешь на Третьей Машиностроительной улице.

Мы действительно живем на улице с таким длинным названием.

Когда в газетах печатают сообщения в черных рамках, я всегда их читаю. Особенно мне интересно, сколько лет было тому, кто умер. Или, как пишут, на каком «году жизни скончался». Если человеку было лет восемьдесят семь или девяносто, мне бывает приятно. Не потому, конечно, что умер, а потому, что удалось человеку так много прожить. Другие ребята об этом не думают. У них молодые родители.

Особенно я всегда волнуюсь за маму. Ведь она плохо слышит.

Если мама где-нибудь хоть ненадолго задерживается, я все время выглядываю в окно, которое выходит на улицу. Потом спускаюсь вниз и хожу взад-вперед возле подъезда.

Я воображаю себе всякие несчастные случаи, уличные катастрофы. Руки у меня становятся мокрыми, и я забываю здороваться со знакомыми и соседями.

— Это даже хорошо, что я плохо слышу,— говорит мама.— Иначе бы ты меня не встречал!

Я хватаю мамину сумку.

— Тебе нельзя таскать тяжести! — говорит она.

Ей, значит, можно, а мне нельзя. Еще бы: ведь я же ребенок — не подниму, не пойму, не смогу!..

Уже после, дома, мама меня успокаивает:

— Плохой слух обостряет внимание. Человек становится зорче! Спроси у любого врача. И не волнуйся. Тебе волноваться нельзя!

Почему мне нельзя волноваться?..

В тот день, когда я подслушал, мама почти шептала: мне ведь нельзя волноваться. Хорошо, что отец тихо говорить не умеет! Это мне помогло.

Когда разговор их окончился, отец вошел в комнату, где я нагнулся или, как пишут, склонился над учебником, который мне в тот день был совсем не нужен.

— О радость! Я знал, я чувствовал заранее... — пропел отец из «Руслана и Людмилы». — Мой сын делает уроки!..

— Это даже хорошо, что композиторы, которых ты исполняешь, давно уже скончались,— сказала мама.

— Почему? — удивился отец.

— Они бы тебя растерзали! А я не хочу остаться вдовой. Не хочу!

Последние слова она сказала совсем без улыбки. И я испугался. Теперь за отца.

В тот же вечер я спустился тайком к дяде Лене.

Дядя Леня живет под нами, на втором этаже. Он врач. Правда, зубной. Но об этом все у нас в доме забыли и вызывают его к себе при любой болезни. А дом наш огромный, целых семь этажей. Всегда есть больные: у кого сердце, у кого грипп, у кого воспаление легких. И все обращаются к дяде Лене. У него есть прозвище: «Дядя Леня — ноль-один». Вообще-то по телефону «ноль-один» вызывают не «скорую помощь», а пожарную команду. Но дяде Лене дали такое именно прозвище...

Он очень добрый. И даже застенчивый. «Видите ли, я ведь только дантист...» — всегда начинает он. «Дантист» — это значит попросту зубной врач или техник. Но дядя Леня

всегда называет себя этим красивым словом. А в остальном он очень скромный и даже застенчивый...

Меня дядя Леня встретил в женском фартуке и со сковородкой в руке. На сковородке шипела яичница. Раньше мне казалось, что дядя Леня слишком много думает о еде: всегда я встречаю его с промасленными свертками, которые он держит в вытянутой руке. Но мама мне объяснила, что все холостяки очень много возятся с продуктами, а едят гораздо меньше женатых: просто они не способны вести хозяйство. Ну, как некоторые ученики, которые часами возятся дома с тетрадями и учебниками, корпят над ними, зубрят, а отвечают на двойки или на тройки, потому что у них нет способностей.

— А-а, тезка! — воскликнул дядя Леня — ноль-один как-то растерянно и даже испуганно.

Меня тоже зовут Леонидом. Или, вернее, Ленькой... И у меня тоже есть прозвище. Только оно хуже, чем у дяди Лени. Неблагозвучное! Даже не хочется вспоминать.

— Ты один? — спросил дядя Леня все так же испуганно. И схватил сковороду другой рукой: она, наверно, была горячая.

— Я... один. Я по делу.

Но дядя Леня выглянул на лестницу, будто за моей спиной мог кто-то скрываться. Потом он пригласил меня в комнату. На подоконниках почему-то стояла посуда, а в буфете, за стеклом, где обычно бывает посуда, почему-то стояли книги. Я решил, что ни за что на свете не буду холостяком.

— Дядя Леня, я на минутку.

— Кушать не хочешь? У меня есть яичница. Глазунья: два глаза. Могу с тобой поделиться...

Я понял: он по доброте своей предлагает мне то, что достается ему с наибольшим трудом, — еду, яичницу. И отказался.

— Мне надо сказать только два слова. Мне надо узнать... Ну, посоветоваться. Насчет отца. Я услышал сегодня, что у него двести двадцать на сто...

Так примерно начал я разговор, сделав вид, будто знаю, что это такое: «двести двадцать на сто».

— Видишь ли, — сказал дядя Леня, — я ведь только зубной врач...

«Всегда называет себя дантистом, — подумал я, — а тут — зубной врач... Боится, я не пойму, что такое дантист.

Считает меня кретином! Или, вернее сказать, ребенком. Это для взрослых одно и то же».

— Скажите, дядя Леня, это опасно: двести двадцать на сто? Вы ведь знаете!..

Он стянул очки с носа и засунул концы пластмассовых дужек в рот. Так ему всегда удобнее думать.

— Как бы это тебе объяснить? — проговорил он не очень внятно, потому что дужки были во рту.

Почему мне нужно все объяснить? А просто сказать нельзя?

— Как бы это тебе объяснить, чтобы ты меня понял?

Ну конечно, ведь я же ребенок, то есть кретин!

— Отец выглядит абсолютно здоровым! — сказал я. — А когда смеется, то становится даже румяным...

— Я бы с удовольствием к вам зашел и посмотрел твоего отца, но лучше уж вызвать специалиста. Тем более, что Людмила не приглашала. Мне самому неудобно...

— Но это опасно?

— Как бы тебе объяснить... Это высокое кровяное давление. Его надо сбить! Врачи выпишут лекарства: порошки, уколы, таблетки. Но главное — положительные эмоции! Понимаешь?

— Еще бы! — соврал я. И подумал: «Хорошо бы, чтоб он мне не поверил. И объяснил».

Он не поверил. Или пропустил мои слова мимо ушей.

— Положительные эмоции — это значит радость, веселье, надежда... Ведь главное — нервы. Им нужно питание.

Я посмотрел на яичницу. Он улыбнулся:

— Да, да! Им нужен витамин хорошего настроения. Они это любят, нервы. Отец работает на строительстве? Всю жизнь он на стройках! Это уже, прости меня, не для него: сроки, задания, планы. И еще... Может, его что-нибудь мучает, угнетает? Это надо решительно снять!

Я подумал немного.

— Нет, его ничего не мучает. У нас дома все хорошо. И на работе его уважают. Ему будет трудно уйти... Привычка выше нам дана. Сами знаете!

— Может быть, ты и прав. А Людмила что думает? В смысле его работы.

— Не знаю. Я у нее не спрашивал. Но его не угнетает... никто! Я уверен.

— Что ж, хорошо. Это важно! Если Людмила захочет, я зайду посмотрю...

Теперь я понял, почему он выглядывал на лестницу: не хотел, чтобы Людмила увидела его в женском фартуке.

Они вместе учились в школе. Их считали женихом и невестой. Это было бы прекрасно, если б они поженились: Людмила осталась бы в том же доме, только спустилась бы на этаж. А у него книги не стояли бы там, где должна быть посуда...

Но Людмила не хочет. Она вообще не думает о замужестве: ее это не интересует. Она у нас «мастер четких линий» и думает только о своих чертежах.

Я однажды сказал:

— Вот если бы ты вышла замуж за дядю Леню...

— Две пары очков в одной молодой семье — это слишком много, — ответила мне она. Пошутила. Хотя вообще-то шутить не любит.

А мама с отцом промолчали. И посмотрели на меня нежно и с жалостью, как на любимого дурачка: ты, дескать, мал еще, не понимаешь!..

Странное дело: не заботятся о будущем дочери! Наверно, потому, что она — ранний ребенок. Но разве она виновата? Какая несправедливость! Все втроем они заботятся обо мне. Просто уж нету сил.

3

Я слышал, как некоторые взрослые говорят: «Я сумасшедшая мать! Я сумасшедший отец!..» И всегда как бы гордятся своим сумасшествием.

Мои родители не похожи на этих людей. Они абсолютно нормальные. И даже стесняются того, что прямо-таки дрожат за каждый мой шаг. Поэтому они дрожат как бы в шутку, а не всерьез. И поэтому, думаю я, отец кажется иногда грубоватым. Просто родители слишком долго ждали меня. Вот в чем все дело! О себе они не заботятся никогда. Даже удивительно: про меня всё знают — что вредно, чего нельзя. Даже полезное может им показаться вредным. А на себя словно рукой махнули.

«Больше я этого не допущу!.. Начну с отца. Буду все время подбрасывать ему положительные эмоции». С таким твердым решением я вернулся домой.

Раньше меня упрекали за то, что я часто бываю мрачным. Мама молча и внимательно заглядывала мне в глаза. Отец напевал: «Что ты, молодец, невесел? Что ты нынче нос повесил?», «О чем задумался, детина?..» Или что-нибудь вроде этого.

А Людмила спрашивала в упор:

— Ты нас готовишь к чему-то плохому? Что-то случилось в школе? А может быть, во дворе? Скажи прямо. Прямота многое искупает.

Сама прямая, «мастер четких линий», Людмила от всех кругом требует точности и прямоты.

А я, как правило, ни к чему особенному их не готовлю... Просто мне хочется попросить что-нибудь такое, вместо чего, я уверен, мне предложат все сокровища мира: музей, цирк или даже театр. А мне хочется поехать с ребятами за город, на озеро Бездонку, где все загорают и плавают, а не только с утра до вечера тонут, как считают мои домашние.

Но в тот день я всем улыбался. И без конца повторял: «Не волнуйся, папа! Не беспокойся!.. Прошу тебя не волноваться!»

Мама молча и пристально заглядывала мне в глаза.

— О чем волнуешься, детина? — привычно переиначил слова отец, хотя никакого волнения на моем лице не было: я улыбался.

— Ты нас к чему-то готовишь? — в упор спросила Людмила.

Найти положительные эмоции в доме, где все тебя обожают, не так легко, как думает дядя Ленья.

Отец любит слушать радио, особенно музыкальные передачи. Но ему редко удается насладиться вдоволь: то я делаю уроки, то читаю (тут уж все просто не дышат!), то Людмила выполняет срочную работу, готовится к каким-нибудь зачетам.

Она всегда учится: или на курсах, или в университете культуры, или еще где-нибудь.

Но в тот вечер я сел возле приемника, стал настраивать его на концерты и делал вид, что сам получаю огромное удовольствие.

— Я знал, что в конце концов музыка тебя приймет. Ты ведь мой сын!

— Твой, твой! — сказал я отцу.

Он улыбнулся счастливой и гордой улыбкой: дескать, долго мы тебя ждали, но такого стоило подождать!..

Положительные эмоции прибывали с каждой минутой!

Когда пришла мама, я включил приемник погромче, чтобы и она могла насладиться музыкой.

Из соседней квартиры постучали нам в стену.

В нашем доме толстые стены и высоченные потолки. Мама как-то сказала:

— Это хорошо, что наш дом строился в пору, когда архитектура еще не достигла огромных успехов. Теперь ведь стены, бывает, рассчитаны на таких вот, как я. Которые плохо слышат...

Мама часто подшучивает над своим, как говорят, «физическим недостатком».

— Новая архитектура служит не разъединению, а объединению семей, живущих в разных квартирах! — сказал отец.

— При старых нормах многие остались бы в старых квартирах, — спокойно объяснила Людмила.

— Только слышно за стенкою где-то... — тихо пропел отец.

За нашими стенами трудно что-нибудь уловить. Но сосед, я уверен, специально прикладывает ухо, чтобы при первом же удобном случае постучать. Если мы громко разговариваем, чтоб слышала мама, он всегда возмущается. А тут ему музыка помешала! Бывают же люди, которым все на свете мешает. Особенно если кто-нибудь рядом получает положительные эмоции.

— На сегодня закончим, — сказал отец. — Иди погуляй. Тебе надо побольше дышать свежим воздухом!

Почему именно мне надо побольше дышать? Как будто у меня двести двадцать на сто! Но я решил не уничтожать положительных эмоций и не стал спорить с отцом. Я пошел дышать воздухом.

Вскоре во двор вышел Костик. Он длиннее меня на целых полголовы, хотя учителя со мной в одном классе. Не подумайте, что он огромного роста. Просто я невысокий. Может быть, поздние дети медленно развиваются? А Кос-

тик — не поздний, он самый обыкновенный. И родители у него молодые. Но очень противные! Это его отец стучит в стенку.

Костик имеет такую привычку: если увидит ребят, которые во что-нибудь играют или о чем-нибудь договариваются, обязательно подкрадется и крикнет: «А-а, попались, попались! Все видел, все видел! Все слышал, все слышал!» И отойдет. Хотя никто его не просил смотреть и слушать не приглашал.

Мне давно хотелось надавать Костику по физиономии. Ударить три раза и тихо сказать: «Это за папу! Это за маму! Это за тебя самого!» — как говорят маленьким, которые плохо едят.

Костик давно уж напрашивался на это. Я его предупреждал: «Не напрашивайся! Не напрашивайся!..» А он продолжал.

Но напрашивался он всегда как-то не до конца. Не было еще настоящего повода надавать ему и тихо сказать: «За папу! За маму!..» Ну, и так далее. А без повода драться неинтересно.

Костик вышел во двор — и сразу ко мне:

— А-а, попались! Все слышал, все слышал: как стукнул вам папа, так сразу радио выключили. Испугались! Больше орать не будете. Что у вас там — какая-нибудь глухая тетеря?

— Как ты сказал? — спросил я Костика.

И, испугавшись, что он повторит свои слова громче, что все их услышат, быстро смазал ему по скуле. Мне пришлось подняться на цыпочки, потому что Костик выше меня на целых полголовы.

Он тут же удрал обратно в подъезд...

Я, наверно, очень разволновался и все сделал не так, как хотел: ударил его не три раза, а только один. И не стал приговаривать: «За папу! За маму!..»

Очень разволновался! Поэтому все забыл. Не ожидал, что он скажет эти слова...

«Не бить же его сначала?» — подумал я. И не стал догонять.

Минут через десять Людмила высунулась в окно:

— Леня, иди домой!

Я пошел... Уже с первого этажа я услышал, как на третьем шумит папа Костика:

— Он избил его! Он избил... Хулиган! Призовите его к порядку. Или я сам... Недаром его зовут... Недаром ему дали это прозвище!..— И он выкрикнул мое прозвище.— Заслужил!

Я не стал подниматься, пока не услышал, что папа Костика хлопнул дверью.

Тогда я поднялся.

Дома все были взбудоражены. Мама поглядывала на отца. Я знал этот взгляд, он как бы просил отца: «Помни, что мы его долго ждали! Не кричи на него! Разберись...» Отец же поглядывал на маму и словно просил о том же. Они всегда обмениваются такими взглядами, когда я в чем-нибудь виноват. Будто сдерживают друг друга.

— За что ты его избил? — спросила Людмила.

— Так... Ни за что. Я давно хотел.

— Ты хотел?! — Людмила нервно чертила что-то на огромном листе. У нее такая привычка: когда идет неприятный разговор, не прекращать работу, водить карандашом или рейсфедером по бумаге.

Я молчал.

— За что ж ты его избил? Ведь была же, наверно, причина? Скажи нам. Прямота многое искупает!

— Нет... Просто так. Он очень противный.

— Мало ли противных людей на свете! Ты всех будешь бить?

Я пожал плечами:

— Не знаю.

— Если была бы причина, я, возможно, могла бы понять...

Любит она рассуждать: «Если бы было, тогда бы...»

— Не было. Нет!..

— Жестокость вообще отвратительна,— не прекращая чертить, сказала Людмила.— А беспричинная жестокость безнравственней вдвое. Нет, в тысячу раз!

Подсчитала!..

4

Если по-честному говорить, гордостью нашей семьи должна быть Людмила. Она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской.

А гордятся все в доме мною. Это несправедливо. Но что можно поделать?

Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. А иногда грубовато. Из-за его грубоватости и появилось на свет мое прозвище, которое я до сих пор не решался произнести.

Даже за тройки меня не ругают.

— Вот ведь способный какой, мерзавец! Совсем вчера не учил уроков, у телевизора просидел, а на тройку ответил! — Свои восторги отец обязательно закончит словами из песни. Глядя на меня, он пропоет на какой-то свой собственный любимый мотив: — И в воде он не утонет, и в огне он не сгорит!..

Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, которую мы оба читали.

— Память какую имеет, мерзавец! Все помнит, как будто вчера читал... — И радостно восклицает: — Я вот все позабыл, все перепутал!

Мне кажется, отец просто счастлив, что забывает и путает.

На следующий день после того, как я смазал Костику по скуле, отец не выдержал и сказал:

— Дратся, конечно, плохо. А все-таки смелый какой, мерзавец! Ниже на две головы, а пошел в наступление, решился! Ниже на целых две головы!..

И потом он еще долго не мог успокоиться, все повторял:

— Смелый, мерзавец!..

Слово «мерзавец» он всегда произносит ласково, даже нежно. Но мне от этого, конечно, не легче, потому что это самое слово и стало давно моим прозвищем. «Ленька-мерзавец» — зовут меня во дворе.

Вот до чего доводит любовь!

И вообще мне вовсе не нравится, что дома мною все восхищаются. Трудно, что ли, ответить на тройку? Или запомнить содержание книги? Кретин я, что ли, какой-то?

И почему надо радоваться, что я «на целых две головы» ниже Костика? (Хотя на самом деле я ниже всего на полголовы.)

Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я не высокий. Они бы хотели, наверно, чтоб я и вовсе не рос:

они-то ведь ждали ребенка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. Но я не хочу!

Как-то я услышал по радио, что если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять. С воспитательной точки зрения! Я сказал об этом родителям.

— Другой бы гордился, что его выделяют, а этот заботится о сестре! — воскликнул отец. — Добрый, мерзавец!..

— Это даже хорошо, что ты сделал нам замечание, — согласилась мама. — Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом. Мы очень рады.

Вот вам и всё! Они очень рады. А я?

И то, что Людмила до сих пор не выходит замуж, мне кажется, не волнует моих родителей. По крайней мере, когда я сказал о зубном враче дяде Лене, они промолчали. «Поддержали бы меня в тот момент, — думал я много раз, — и, может быть, наша Людмила жила бы сейчас на втором этаже, прямо под нами. И мы ходили бы в гости друг к другу! У нее была бы семья... В книжках пишут, что каждая женщина стремится иметь семью. Может, Людмила этого не понимает? И родители не объяснят! Потому что я заслонил Людмилу, я, поздний ребенок. А это несправедливо...»

За драку отец хвалил меня, когда Людмила еще не вернулась с работы. Сестру у нас в доме побаиваются. Потому что она, как говорит отец, «человек без слабостей».

Но одна слабость у сестры все же есть. Это — я! Что поделаешь? Снова я...

Нет, Людмила не станет хвалить меня за тройки или за драку. Она сделает замечание, отчитает. А дня через два или три принесет мне подарок, словно бы извинится. Так бывает почти всегда.

И на этот раз так получилось.

Вернувшись с работы, сестра меня будто не замечала. Когда она сердится на меня, у нее сразу находится тысяча дел: чертит, стирает, переписывает какие-то лекции. И всем этим она занимается, чтобы не встречаться со мной глазами, не разговаривать.

На этот раз она тоже целый вечер работала. А перед сном вдруг сказала:

— Завтра не вздумай долго валяться в постели!

— Но ведь завтра же воскресенье,— ответил я.

— Мы идем с тобой в театр.

Она сказала так, будто собиралась отправить меня в милицию.

— Хорошо,— сказал я.— Пойдем.

Благодарить ее в такие минуты нельзя.

Я даже не спросил Людмилу, какую пьесу мы будем смотреть. Это мне все равно. Важно, что я иду в театр!

Взрослые начинают выпрашивать: «Что за спектакль? А не потеряем ли мы времени даром? Что о нем пишут? Что говорят? Интересно ли это?» Им можно так кочевряжиться, потому что они ходят когда пожелают и куда пожелают. Просто избаловались. А мама с папой еще не хотят, чтоб я рос, чтобы стал взрослым!..

Отец решил проводить нас до театра... Он держал меня за руку. Он любит вести меня за руку, как раньше, когда я был еще маленьким и он заходил за мной в детский сад. Обычно я вырываю руку (смешно тащить на буксире тринадцатилетнего парня!) и сейчас бы не позволил, если бы у отца не было двести двадцать на сто. Я не имею права отбирать у него положительные эмоции!

Людмила уже немного смягчилась, но еще окончательно не простила меня. Теперь было похоже, что она решила отвести меня не в милицию, как накануне, но все же в место не очень приятное: например, на урок, хотя у всех был день отдыха, воскресенье.

По ее строгому виду никак нельзя было угадать, что мы идем в театр.

Я тайком наблюдал за Людмилой.

«Какая же,— думал я,— все-таки несправедливость: Людмила, женщина,— высокая и, как говорят, «со спортивной фигурой», а я, мужчина,— маленький, ниже среднего роста. И отец сгибается пополам, чтоб вести меня за руку. Нет, я не хочу отбирать у Людмилы ее фигуру, но пусть и у меня будет не хуже!»

У Людмилы не только фигура спортивная — она и в самом деле занимается спортом: играет в теннис и волейбол. Вообще она, на мой взгляд, интересная. Очки ничуть ей не мешают, а даже чуть-чуть украшают ее: лицо получается строгое, умное. Вот только не знаю, нравятся ли мужчинам строгие и умные лица?

Я видел, что молодые люди, которые шли нам навстре-

чу, почему-то не обращали на Людмилу внимания. Это было обидно. Может быть, они угадывали по лицу сестры, что она не стремится иметь семью, к чему должна стремиться, как я читал, всякая нормальная женщина.

Так я думал, поглядывая тайком на сестру...

Навстречу шли женщины под руку со своими мужьями. Это ведь сразу видно: муж или не муж. Некоторые везли коляски, а мужья их шагали рядом. Или даже сами везли...

Мне хотелось спросить у всех встречных женщин: «Вы кандидат наук? А вы — кандидат?»

Уверен, что никто не ответил бы: «Да». А моя сестра — кандидат. Почему же только она одна шла одна? То есть со мной и с отцом, но это же не считается. Все потому, что не хочет замуж!

У театра мы встретили каких-то знакомых Людмилы.

— Двадцать лет не виделись! — закричали почти в один голос мужчина и женщина. — Почти двадцать! Мы из пятого «В». Ты помнишь? Нас потом перевели в новую школу. И мы разлучились. На столько лет! Живем в одном городе — и ни разу не встретились. Непостижимо! А сейчас сразу узнали... Непостижимо! Мы давно поженились. Уже очень давно. Просто не помним себя неженатыми. Непостижимо! Просто не помним...

Можно было подумать, что они поженились еще в пятом классе. Они перебивали друг друга. И готовы были восклицать свое «непостижимо» по поводу всего — и хорошего и плохого.

— Это твой сын? — воскликнула женщина. — Копия! Просто одно лицо!.. Это ваш внук? — обратилась она к отцу. — Очень похож на дедушку! Очень... Просто непостижимо! Ну, поздравляем. Прекрасный внук!

«Неужели я выгляжу настолько моложе своего возраста, что меня можно принять за сына Людмилы? — с огорчением подумал я. — Или Людмила выглядит старше? Нет, они знают, сколько ей лет: вместе учились. Значит, дело во мне!»

Но еще больше меня поразило то, что отец промолчал, когда его поздравили с таким замечательным внуком. Он только залился краской так сильно и густо, как не заливался, кажется, никогда: и уши, и шея, и даже затылок (это было видно сквозь белые волосы) — все стало крас-

ным. Я вспомнил слова дяди Лени с нижнего этажа: «Может, его что-нибудь мучает, угнетает?»

А может, отца действительно что-то мучает? И он только виду не подает? Мне казалось, он хотел, чтоб бывшие пятиклассники и дальше принимали меня за сына Людмилы.

Да, он хотел... Это мне было ясно.

Я взял сестру за руку и, хотя она еще не совсем простила меня, прижался к ее руке.

Бывшие пятиклассники готовы были вспомнить все, что с ними случилось за последние двадцать лет!.. Есть ведь такие люди: думают, что всем интересны любая мелочь и чепуха из их жизни, словно они великие композиторы или писатели.

— Мы опоздаем,— сказала Людмила.

— Где вы сидите? Где вы сидите? — опять зашумели мужчина и женщина из пятого «В». — Ах, в десятом ряду? Непостижимо! Мы совсем рядом. Это прекрасно! Познакомим твоего сына со своими дочками. Они уже там, внутри. Сидят чуть ли не со вчерашнего дня. Они тоже в четвертом классе. Двойняшки! Твой ведь в четвертом?

— В четвертом,— ответил я, хоть на самом деле учился в шестом.

— Да, да... — тихо подтвердила сестра. И мне показалось, посмотрела на меня с благодарностью.

Я уже не отпускал ее руку.

Когда мы вошли в вестибюль, Людмила шепнула:

— Ладно... можешь называть меня мамой. Раз они так хотят!

Я так и не узнал, какой мы будем смотреть спектакль, пока не купили программу. Потому что все время думал — и в вестибюле, и когда поднимались по лестнице...

— Хочешь в буфет? — каким-то чужим, словно заискивающим голосом спросила меня сестра. Уж лучше б сердилась!

Я согласился... Я люблю получать от театра все удовольствия: съесть пирожное, купить программу и всю ее прочитывать, походить по фойе, поглядеть на портреты артистов... И еще посмотреть пьесу. Чуть не забыл!

Сестре часто звонят. Если она уходит из дому, то оставляет блокнот и по-особому тщательно очиненный карандаш («Мой инструмент!» — говорит сестра). Она просит нас аккуратно записывать, кто ей звонит, откуда и по какому вопросу.

Выполняя просьбу Людмилы, отец часто повторяет:

— Все по делу! Только по делу! — И напевает из своего любимого «Князя Игоря»: — Ни сна, ни отдыха измученной душе!..

Прежде мне казалось, отец поет от радости, что его дочь такой деловой, такой занятой человек. А теперь я подумал: «Откуда же радость? Ведь князь Игорь поет эту арию в половецком плену!.. Правда, отец иногда переиначивает по-своему песни и арии. Но тут, кажется, он ничего не меняет, а поет так же, как временно побежденный князь: грустно, с досадой... Почему я раньше этого не заметил?»

Однажды, дней через десять после того, как мы были в театре, раздался странный звонок. Вернее, звонок-то был самый обычный, а разговор сразу начался как-то не так... Мужской голос позвал Людмилу. Всегда ее называют по имени-отчеству. Даже старые люди у нас в доме, которые помнят сестру девчонкой, зовут ее, как говорит отец, «не забывая про папу». Я всегда был уверен, что отец этим гордится: если молодую женщину зовут по имени-отчеству — значит, ее уважают! «Или перестали считать молодой? — неожиданно подумал я после театра. — И откуда я взял, что отцу это нравится?..»

Я ответил мужчине, что Людмилы нет дома, и спросил, как всегда, откуда он и что передать.

— А это кто говорит? — спросил он в ответ.

Так никогда и никто не спрашивал. «Называет сестру по имени, интересуется мною, — подумал я. — Интересуется, как те, возле театра... Наверно, тоже какой-нибудь бывший пятиклассник из Людмилиной школы. Конечно!.. Кто же еще может звонить ей без всякого дела?» Мне показалось, мужчина не хочет сказать ничего такого, что нужно было бы записать в Людмилин блокнот. И захлопнул его.

Я вспомнил, как в театре сестра шепнула: «Ладно... можешь называть меня мамой».

«Сестре приятно, чтобы приятели, которые не видели ее двадцать лет и сами давно уже переженились, думали, что и она тоже замужем... и имеет ребенка», — рассуждал я. Все эти мои размышления продолжались секунду. И, не успев еще ничего решить, я брякнул в трубку:

— Это ее сын...

— Какой сын? — спросил мужской голос.

— Какой?.. — Я ответил: — От первого брака!

Сам не знаю, зачем я это сказал. Должно быть, мне хотелось, чтоб школьный друг Людмилы подумал: «Я женат всего один только раз, а она вон какая: сумела быть в браке целых два раза! А может, и больше... Значит, пользуется успехом!»

Нет, пожалуй, в тот миг я не успел ничего подобного захотеть. Просто не было времени... Но то, о чем я в последнее время мечтал, как-то само собой слетело у меня с языка.

— Спасибо, — сказал мужчина. И сразу ухо мне закололи тонкие, короткие гудки.

«Ну ничего, — думал я. — Ничего не случилось... Несколько раз может выйти замуж только красивая женщина! Значит, я не унизил сестру. А даже наоборот. Пусть ей завидуют! Все правильно. Все прекрасно».

Так я думал до той минуты, пока Людмила не вернулась домой... Она на меня даже не посмотрела. А прямо в пальто прошла в другую комнату, где мама читала книгу. И плотно закрыла дверь.

Людмила, всегда такая спокойная и аккуратная, забыла снять в коридоре пальто: случилось что-то ужасное!

Вскоре я узнал, почему так волновалась сестра. Я не хотел подслушивать. Но снова подслушал... Или, вернее сказать, услышал. Людмила, как и мы с отцом, говорит так, чтобы мама не напрягалась. Тут уж и в другой комнате хочешь не хочешь, а все разберешь.

— Я должна с тобой поделиться, — сказала Людмила. — Только ты не волнуйся.

Наверно, мама сразу заволновалась, потому что сестра сказала:

— Нет, нет, ничего особенного!

Мама что-то ответила. Но ее слова оставались в той комнате, я их не слышал.

— Ивану кто-то сказал, что я была замужем. И даже два раза... Что у меня большой сын.

Потом стало тихо: что-то сказала мама. А я в это время успел подумать: «У сестры есть какой-то Иван, которого от меня все скрывают. Ну да, ведь я же ребенок!..»

— В самом факте нет ничего такого...— продолжала Людмила.— Просто сплетня, и все. Или глупая шутка.

Мама что-то спросила.

— Нет, кто именно, не сказал. Но поверил! Унизительно было доказывать... И расспрашивать! Понимаешь?

Следующую фразу мамы я угадал по ответу Людмилы. Мама, наверно, сказала так: «Это даже хорошо: ты сможешь проверить теперь его чувства». Я думаю, она так сказала, потому что сестра ей ответила:

— Это даже хорошо? Не считаю! И не собираюсь проверять его чувства. А вот реакция его была отвратительной: он не сдержался, он мне нагрубил. Он даже кричал... Понимаешь?

Я боялся, что вернется отец... И услышит. А потом шея его, и затылок, и уши снова залиются краской, как тогда, возле театра.

Что же я натворил?!

— Если бы он попросил объяснить, я бы могла понять...

Любит сестра рассуждать: если бы да кабы... Как будто нельзя простить!

Опять что-то сказала мама.

— Нет уж, все кончено!

Что-то сказала мама.

— Почему будет трудно каждый день видеть? У меня будет сознание правоты!

Мне казалось, Людмила нарочно отвечала какими-то жесткими фразами, чтоб не расплакаться. Мне было жалко Людмилу. И в то же время я злился: разве нельзя простить?

Значит, они работают вместе: каждый день видеть!..

— Нет, ни за что! — сказала Людмила.— Можно все попытаться понять, но когда унижают твое достоинство... Да, ты права: это даже хорошо, что он так раскрылся. Я вовремя останавлиюсь!

Где она остановится? В каком это смысле? Не выйдет замуж?.. Я должен предотвратить ее остановку! А то

ведь она — «мастер четких линий»: как говорит, так и делает.

Сестра вышла из маминой комнаты. Я усиленно делал уроки...

Пальто уже было у нее на руке: ей стало жарко.

Сестра улыбалась, но фигура у нее была не такой спортивной, как всегда: Людмила чуть-чуть сутулилась, словно на плечах у нее была тяжесть. Мне опять стало жалко ее... Захотелось помочь.

— Людмила, — сказал я тихо, — я кое-что слышал...

— Ты слышал?

— Не мог же я заткнуть уши! Я хотел убежать на улицу, чтоб не слушать... Но уроки! Сама понимаешь...

— Ты должен был войти в комнату и сказать нам, что слышишь. Это было бы честно.

— Я думал, что ничего не пойму... И поэтому не вошел. Но потом я все-таки понял. А когда понял, что понял, поздно уже было входить.

— Что же ты понял?

— Знаешь, Людмила, когда люди кричат, значит, они волнуются. А если они волнуются, значит, переживают... Ты разве не замечала?

— Какая-то чепуха! — сказала Людмила. Но продолжала слушать.

— Когда волнуются, могут сказать что угодно! Вот мама иногда говорит: «Глаза бы мои на тебя не смотрели!» Это она про меня говорит. Но разве она хочет, чтоб я исчез?

— Это все? — спросила сестра.

«Это все?» — так спрашивает наша математичка, когда у доски плетут ерунду. Но сразу не ставит двойку, а, нахмурившись, ждет: может, все же удастся услышать что-то толковое.

И Людмила ждала.

— Раз он кричал, значит, он волновался... А раз волновался, значит, переживает. Ну, а если переживает...

— Это я уже слышала!

Так тоже говорит наша математичка: «Это я уже слышала!» И вслед за тем сразу же ставит двойку.

— Это я уже слышала! — еще раз твердо повторила сестра.

Ясно: поставила двойку.

Ведь она слушала меня, как слушали бы шестиклассника, который пришел сдавать экзамен в институт.

— Ничего ты не понял, — сказала Людмила. — И не мог понять!

Еще бы, ведь я ребенок!

Почему она этого не добавила? Забыла, должно быть. Просто забыла.

Людмила пошла в коридор, чтоб повесить пальто.

Я снова склонился над книгой. Но думал совсем о другом. «Я должен помочь ей!» — вот какое я принял решение.

6

Я уже говорил, что если сестра отчитывает меня, то есть портит мне настроение, она дня через два или три обязательно извиняется. Не признается, конечно, в этом, но извиняется: покупает билеты в театр, или берет меня на стадион, где играет в теннис и волейбол, или приносит домой подарок.

В таких случаях подарок она не называет подарком, а говорит мне примерно так:

— Пора тебе уже заняться спортом. Сначала посмотри, как играют другие. Пойдем сегодня на стадион.

Или так:

— С математикой ты не дружишь. Кем же ты хочешь стать в будущем? Разве можно об этом не думать? Испытай свои силы в художественном творчестве. Для начала хоть в фотографии. Я купила тебе аппарат...

Сестра говорит очень строго: как бы не мирится, а воспитывает меня. Но подарок остается подарком.

Я тоже испортил сестре настроение. Даже хуже: я заставил ее страдать! И чем больше она храбрилась (например, надевала платье, которого я раньше не видел!), тем яснее мне было, что ей сейчас не до платьев.

В тот день, когда я случайно подслушал ее разговор с мамой, уже вечером, перед сном, я не выдержал и сознался:

— Людмила, это я сказал Ивану, что у тебя есть сын от первого брака. По телефону... Он позвонил и спрашивает: «Это кто говорит?» На меня вдруг что-то такое нашло

непонятное... Я и ответил: «Это ее сын». Он говорит: «Какой сын?» А я: «От первого брака!..» Пошутил, понимаешь?

Я сказал так и испугался: «Неужели она подумает, что я вовсе не пошутил, а сказал... специально? Из-за той ее фразы... в театре».

Но сестра так и не подумала. И даже не рассердилась! Не рассердилась.

— Дело совсем не в этом, — сказала она. — Дело в реакции... Впрочем, ты не поймешь!

— Но ведь если человек кричит — значит, он волнуется, а если волнуется...

— Это я уже слышала!

Больше я советов ей не давал.

Я прекрасно во всем разобрался, все, мне кажется, понял, но, по мнению Людмилы, не должен был разбираться и понимать. Не имел никакого права! И не мог я помочь ей открыто. «Почему? — злился я. — Почему?!»

Я должен был действовать тайно от мамы и от Людмилы. Отец ничего не знал: у него — двести двадцать на сто...

И вот я начал исправлять положение.

Я знал служебный телефон Людмилы и, когда никого не было дома, позвонил.

— Можно Ивана? — сказал я.

— Какого Ивана? — ответил смешливый девичий голос.

— Не знаю...

— А фамилия?

Я молчал.

— Какой-то ребенок! — объяснила она сотрудникам. — Мальчишка или девчонка...

Снова ребенок! И неужели нельзя по голосу отличить меня от девчонки?

— Предлагаю на выбор! — сказал мне веселый голос. — Ивана Петровича, Ивана Сергеевича и Ивана Ивановича!..

Я выбрал Ивана Ивановича. Но когда он сказал: «Алло!», я сразу повесил трубку. Вдруг не тот? А я назову ему имя сестры и начну извиняться!..

И потом, в мастерской, наверное, много разных отделов. Откуда я взял, что Людмили́н Иван работает с ней в одной комнате?

Что было делать?

Узнать фамилию у Людмилы? Она мне не скажет: не мое это дело! Спросить тайно у мамы? Она мне, конечно, ответит так:

«Это даже хорошо, что ты волнуешься за сестру. Благодарно с твоей стороны! Но в данном случае вмешиваться не стоит».

Оставался один только выход...

В день, когда у сестры был отгул и она ушла играть в теннис, я отправился к ней на работу. Не совсем «на работу», а к дому, где была архитектурная мастерская.

Я знал этот дом — весь из стекла, металла, пластмассы. Таких домов еще мало у нас в городе. Но смешно, если мебельщики будут сидеть на плохой мебели, а архитекторы работать в некрасивом и старом доме.

Я пошел пешком, чтоб по дороге набраться храбрости. Но чем дальше я шел, тем страшнее мне становилось: «Как узнаю его, Ивана?.. О чем я ему скажу, незнакомому человеку?»

Делать что-нибудь смелое надо сразу, не думая, раз уж решил.

И мне лучше было бы ехать туда на троллейбусе или трамвае. Слишком уж много времени я оставил себе для сомнений и всяких мыслей.

Наконец я дошел...

Я знал, что рабочий день кончается в половине шестого. Архитекторы стали сыпаться из подъезда, как мы высыпаемся из школы после уроков. Только немного потише и помедленней.

Двери были из некрашеного дерева, с разводами, как на пнях, напоминавшими мне почему-то водяные подтеки... Эти двери моя сестра распахивала каждый день по два раза. Нет, по четыре: она еще ходит обедать в столовую. Я с интересом разглядывал двери и лестницу...

Сперва из дверей посыпались девушки. У нас из школы первыми выскакивают мальчишки. Девушки были в ярких платьях, на модных каблуках, с сумками через плечо. У некоторых в руках были рулоны. Все они казались очень красивыми. Это меня огорчило.

Но ни у кого из них не было такой спортивной фигуры, как у Людмилы. И такого умного или, как говорит мама, значительного лица. Только вот нравятся ли мужчинам значительные лица? Этого я не знал.

В мастерской Людмила работает меньше года, раньше она училась в аспирантуре. У нее еще нет здесь близких друзей, которые ходили бы к нам домой. И от этого было спокойнее, — никто не мог крикнуть: «Леня, а ты что тут делаешь?..»

Потом показались мужчины. Как мне узнать Ивана? По дороге я кое-что изобрел... Наверно, это выглядело очень смешно и глупо, но как только вышли мужчины, я крикнул, глядя куда-то вверх, словно голубю или скворцу:

— Ива-ан!..

Никто не откликнулся.

Из дверей выходили группами: то женщины, то мужчины. Иногда вперемешку, но редко... Будь что будет, я быстро стал повторять:

— Иван! Иван! Иван!

Нет, так не годится: собаку я кличу, что ли?

— Ива-ан...

Я произнес имя протяжно и медленно, словно дальше должно было следовать отчество.

— Вы меня? — ткнул себя в грудь мужчина.

Он сказал «вы» просто от неожиданности.

Нет, это был слишком уж старый и лысый. Я помотал головой: не вас! И снова крикнул, глядя на небо:

— Ива-ан!..

— Ты меня?

Если б он и нравился нашей Людмиле, я бы решительно выступил против: он был сестре до плеча. И то бы не дотянулся!..

— Нет, я не вас...

И снова:

— Ива-ан...

— Это не тебя? — сказал кто-то кому-то в группе мужчин.

Один из них обернулся, взглянул на меня.

— Ива-ан! — снова крикнул я. Уже, наверное, от испуга.

Тогда он подошел ко мне.

— Видишь ли... — начал он где-то на полпути.

Я вздрогнул: «Видишь ли» — так часто начинает фразы дядя Леня с нижнего этажа. Но дядя Леня произносит свое «видишь ли» неуверенно, растягивая слоги, словно бы вслух

рассуждая, а этот сказал как-то насмешливо. Пока он шел ко мне, я успел подумать: «Наверно, не ниже Людмилы... Ведь мужчина среднего роста, можно считать, равен высокой женщине!»

— Видишь ли,— повторил он все так же насмешливо,— у меня к тебе огромная просьба: называй своего приятеля просто Ваней. Чтобы не было путаницы.

Первым из трех Иванов, работавших в мастерской, он понял, что не мог его звать незнакомый, а тем более мальчишка. Не стал тыкать себя в грудь и спрашивать: «Вы меня?»

«Настоящий Иван! — думал я.— Русоголовый, светлоглазый... Родители, когда давали имя, не промахнулись! Конечно: ведь в сказках Иван, если даже Иван-дурак, то все равно далеко не дурак, а сообразительный, смелый и благородный. Ну как же могли родители назвать Иваном того вон, лысого? Или того, низкорослого? Сообразили! Хотя, когда человеку дают имя, трудно с точностью определить, будет он лысым или не будет...»

Обо всем этом я думал ровно секунду.

— Ну что же, договорились? — спросил он.— Поскольку твой Иван пока еще здесь не работает...

— Работает! — неожиданно для самого себя перебил я его.

— Ну-у, брат! Создается просто безвыходное положение. И часто ты будешь его вызывать?

— У меня тут еще кое-кто работает...

— Тоже Иван?

— Людмила...

Я нарочно назвал имя сестры, чтоб посмотреть, какое это произведет на него впечатление.

Он не вздрогнул, не побледнел и не схватился за сердце, как делают, услышав имя любимой, герои в пьесах или романах. Просто исчез его насмешливый взгляд, сразу куда-то пропал. И я догадался: это тот самый. Тот!

Он глядел на меня уже абсолютно серьезно и даже чуть-чуть подозрительно, будто я мог обмануть его или разыграть.

— Какая Людмила?

Я назвал нашу фамилию.

— Ну, брат...

— Вот именно: брат! Я ее брат... И даже похож на нее немного лицом. Так говорят... Присмотритесь!

Я забыл, что можно быть похожим не только на сестру, но и на мать. Чтобы он не успел об этом подумать, я стал убеждать:

— Да брат же я! Брат! Это я разговаривал с вами и пошутил... У Людмилы нет сыновей! И не было браков... Ей тысячи раз предлагали, но она не хотела!

— Тысячи раз?

— Ну, десятки!.. Она сама не хотела... И сейчас не хочет. Так мне кажется... А я просто-напросто пошутил.

Он мне поверил, потому что обернулся к друзьям и сказал:

— Не ждите меня.

Он не повысил голоса, но они слышали, потому что голос у него и так был достаточно громкий. «Вполне подходит для нашей семьи!» — решил я.

— Идите! — Он махнул сослуживцам рукой.

— Что, отыскал пропавшего сына? — спросил кто-то из них.

— Вот видите! — обрадовался я. — И они пошутили: назвали меня вашим сыном. А кто-нибудь может услышать и подумать, что в самом деле. Как вы подумали.

— Так ты и есть Ленька?

— Она вам рассказывала?

— Говорила, что есть младший брат. А ты, оказывается, вполне взрослый парень!

С этой минуты я его полюбил.

— Почему вы ни разу к нам не пришли? Просто в гости...

— Не приглашала. Пойдем-ка обсудим с тобой ситуацию.

Он обнял меня за плечи. И мы с ним пошли: по улице, не спеша, как ходят приятели. Сперва он молчал... А я обо всем на свете забыл: мы шли, как приятели!

Потом я взглянул на него и подумал, что он бы ни за что не вышел на лестницу в фартуке, как дядя Леня, с которым я почему-то его мысленно сравнивал. На нем была замшевая куртка и рубашка, такая белая, что лицо казалось уже загорелым, хотя была еще только весна. А может, и правда успел загореть?

— Мы ведь с Людмилой в мастерской почти друг друга не знали: она — на втором этаже, а я — на пятом. Познакомились на теннисном корте, — сказал он. — Вот уже полторы недели, как забросил ракетку...

«Он забросил ракетку, а Людмила стала ходить на корт еще чаще, — подумал я. — Значит, он может не видеть ее, а она его, значит, не может?..»

— Людмила тоже не ходит на теннис, — сказал я. — Она ходит в театр... В кино. Почти каждый вечер...

— Вот видишь! Я так и знал. Почти каждый вечер?..

Заволновался!

— Ну, в крайнем случае, через день.

— В этом-то все и дело! Не в том, что ты пошутил, а я ей устроил сцену... Дело в том, что она даже не пытается мне объяснить...

— У нее есть сознание собственной правоты! — сказал я. — И потом... Должна у нее быть гордость?

— Ну-у, брат, ты меня удивил! Разве можно с этим считаться? Подошла бы и объяснила: так, мол, и так, мой брат пошутил. А то ведь даже слова не произнесла! Ничего объяснить не желала... И спокойно ходит в кино!

«Людмила считает, что он не имел права разволноваться и накричать, — размышлял я. — Он считает, что она обязательно должна была ему все объяснить... Почему взрослые придают такое значение мелочам и все усложняют?.. Они слишком много думают — вот в чем несчастье. А иногда надо поступать не думая, просто как хочется! Я вот, например, не могу быть в ссоре с друзьями больше, чем день или два... А взрослые все усложняют! Иногда я могу им помочь. Но они не верят, что я могу. И я не могу! Хотя Иван, кажется, верит...»

— Слушай, ты сам-то влюблялся? — спросил он меня.

«Сам-то? Влюблялся?..»

Значит, он в Людмилу влюблен!

Я улыбнулся, хоть не хотел улыбаться.

— Вижу по твоей блаженной физиономии, что уже успел!

— Я? Нет еще...

— Ну, брат! Неужели ни разу?

— Точно не помню... Но, кажется, нет...

— Вспомни! Не может быть!..

— То есть однажды я испытывал кое-какие чувства... Но потом это прошло.

— Ну конечно!

Почему же конечно? Может быть, и у него чувства всегда проходят?

Когда я ответил, что не влюблялся, я сказал Ивану неправду. Потому что не привык, чтоб взрослые задавали мне такие вопросы. А на самом-то деле почти все мальчишки у нас в кого-нибудь влюблены. Один мой друг даже остался на второй год из-за любви. Не мог писать диктантов, контрольных по математике...

Разве нормальный взрослый в это поверит? А Иван бы поверил... Я чувствовал это. И все-таки не смог ему честно ответить.

— А я знаешь где первый раз влюбился по-настоящему? — спросил вдруг Иван.

По-настоящему? Должно быть, в этой самой архитектурной мастерской?..

— Знаешь где?

— Нет, я не знаю...

— В детском саду! Мы выезжали летом за город. И там одна девочка заболела. Ее звали Норой. Даже имя запомнил! Необычное такое: легче запоминается. Ей было шесть лет. В нее были влюблены все поголовно. Ну конечно, из тех, которые умели влюбляться в шесть лет! Она заболела, и я ей носил в изолятор букетики ягод. Огромное счастье, что она меня презирала!

— Почему?

— Оказалось, что я ей носил волчьи ягоды. Дикие. На вид они были весьма привлекательными и съедобными...

Всю дорогу я мечтал сказать что-нибудь умное.

— Внешняя красота не всегда совпадает с внутренней, — сказал я.

— Она поняла это еще раньше, чем ты: в шестилетнем возрасте. И выбрасывала мои подарки. Иначе бы ей не выздороветь никогда! Сообразительная была девчонка... И все-таки я к ней охладел. Тогда все было просто.

«Теперь уже, значит, не просто!» — с радостью решил я. И сказал:

— Это нельзя назвать серьезной любовью. Ну, увлечение... Такое со мной бывало сколько угодно раз!

— Тогда ты должен меня понять. И помочь!..

Я читал в книжках, что ребята во время войны часто помогали взрослым. Иногда даже спасали от смерти. А так, в обычные дни, взрослые почти никогда не обращаются к нам за серьезной помощью. Сбегать за чем-нибудь, что-нибудь принести — это пожалуйста. А по серьезному делу, от которого зависит их жизнь, не обращаются. Иван обратился... И я готов был сделать для него что угодно!

— Разве у вас сейчас... увлечение?

— А у нее?

Раньше мне очень хотелось ему сказать, что Людмила абсолютно спокойна, совсем не страдает. Но теперь я не мог соврать и сказал правду:

— Она тоже переживает.

Он даже остановился!

— Где же логика? — вроде бы злился он. Но голос был радостный. — Где же простая логика?! Ничего не сказала... Не объяснила!..

Обычно, когда я мирюсь с приятелем, то для начала предлагаю ему что-нибудь приятное. Подхожу и как ни в чем не бывало говорю: «Пойдем на каток!»

— А вы бы просто так подошли к ней и сказали: «Пойдем в кино!» Или: «Пойдем играть в теннис!»

— Я предлагал.

— А она?

— Не реагирует.

Зачем все так усложнять?!

— Она очень переживает? — тихо спросил он.

— А вы думали — нет?

— Кончай с этим вы! — крикнул он.

Вот как обрадовался!

— Говори просто ты! Я — за полное равноправие.

Равноправие... Вот чего мне всегда не хватало!

Часто взрослые говорили мне: «Давай побеседуем, как мужчина с женщиной!» Или: «Поговорим с тобой, как приятели!» Это самое «как» подчеркивало, что на самом-то деле я не мужчина и мы еще пока не приятели. Разве может быть равноправие на какое-то определенное время? Разве можно быть приятелем на одну беседу?

Иван предлагал равноправие навсегда. Так мне казалось.

Мне захотелось немедленно отблагодарить Ивана. И я

рассказал о плане, который придумал еще до нашей с ним встречи:

— Сделаем так!.. Я скажу, что пригласил к себе товарища... Совсем нового! Все будут дома: они любят изучать моих новых друзей. А придете к нам вы.

— Я?..

— Ну да! А потом уж я все объясню: разыскал вас — и пригласил. Дома Людмила не сможет пройти мимо и не ответить. Она очень гостеприимная. На себя все возьму... Раз из-за меня это случилось!

Я боялся, он скажет так, как сказала бы мама: «Это хорошо, что ты обо мне заботишься. Благородно! Но в данном случае твой план не подходит...»

Он ничего подобного не произнес. Обнял меня посильнее за плечи, и мы снова пошли.

— Я всегда говорю, что нет безнадежных положений! — воскликнул Иван.

— А до этого заговаривать с Людмилой не надо, — сказал я. — Она ведь может опять не ответить. Пройдет мимо, и все! Вполне может быть... Она у нас тоже с детского сада пользуется огромным успехом. Как ваша Нора... Мне мама рассказывала. И поэтому она очень гордая!

— А я ведь ей не сказал про тебя ни слова. Не выдал! — похвастался он, как мальчишка. — Она так и не знает, кто это мне наврал про сына и двух мужей.

— Я сам сознался...

— Значит, ей известно, как все получилось? И все-таки не подходит? Не объясняет?.. И мириться не хочет? Ну, это уж слишком! Ну, знаешь, брат, это уж...

— Она первая не подойдет! Потому что она очень многим нравится. Вот, например, дяде Лене, который под нами живет. Он очень известный врач: все болезни умеет лечить. А недавно мы с ней шли в театр, так все кругом на нее смотрели. И оборачивались...

— Это я сам замечал, — грустно сказал Иван. И добавил: — Она уж, наверно, дома? Ты ее скоро увидишь?

Он мне завидовал. И я его понимал... Вот, например, когда я в последний раз был влюблен, то очень завидовал брату этой девчонки. Ему было всего лет семь или восемь, а я к нему даже подлизывался. Заговаривал с ним. И очень ему завидовал: ведь он видел ее каждый день — и утром и вечером, с ней вместе обедал и ужинал. И вместе ездил

на дачу, а я летом с ней разлучался. «Он всегда будет знать о ней — через десять лет, через двадцать... куда бы она ни уехала» — так думал я. Ведь я же не знал, что скоро к ней охладю. А если бы кто-нибудь мне сказал, я б ни за что не поверил! Мне, когда я влюбляюсь, обязательно кажется, что это до самой смерти, на всю жизнь, навсегда!

— Значит, договорились? Вы приходите к нам в гости потому, что я вас пригласил!

— Не вас, а тебя!

Кстати, я часто думал о том, что неравноправие между нами и взрослыми начинается с этого самого: они нас — на ты, а мы их — на вы.

7

Мама, отец и Людмила, как я уже говорил, очень любят изучать моих новых друзей. Если приятель им не понравится, они обязательно дадут мне это почувствовать. Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого из них свой характер.

Отец постарается, чтобы то, что мой новый приятель ему неприятен, мне было приятно. Или, по крайней мере, чтоб я не очень расстроился.

— У тебя же есть просто замечательные друзья, — скажет отец. — Слишком уж расширять этот круг — все равно что разбавлять вино водопроводной водой, оно крепче от этого не становится. У тебя же есть такие отличные друзья. Такие надежные! Все к тебе тянутся... Любят тебя, мерзавца!

— Это даже хорошо, что ты прощаешь ему все недостатки, — скажет мама про моего нового друга. — Значит, ты добр...

Таким образом я пойму, что у приятеля есть недостатки.

Ну, а Людмила и в этом случае не станет переиначивать арии.

— Что касается друзей, то тут я не за количество, а за качество, — скажет она. — Не знаю, так ли уж великолепны твои другие товарищи, но этот проверки на качество не выдерживает.

Если же я все равно захочу проводить время с новым

приятелем, они начнут отвлекать меня от него всеми существующими на земле удовольствиями: фильмами, пьесами, футбольными матчами...

В общем, я знал, что в тот вечер, когда должен будет прийти мой новый товарищ, они все трое окажутся дома.

— Надень, пожалуйста, свой тренировочный синий костюм,— попросил я Людмилу.

У нее был новый спортивный костюм, который мне очень нравился.

— Зачем,— спросила сестра,— ходить по квартире в спортивном костюме?

— Он тебе очень идет. Гораздо больше, чем платье.

Людмила пожала плечами.

— Понимаешь, я рассказывал этому другу, что ты спортсменка... Что ты играешь в теннис и волейбол. Я хочу, чтобы он поверил.

— А он считает тебя лгуном?

За полчаса до того, как должен был явиться мой друг, Людмила стала заниматься гимнастикой, хотя всегда занимается ею по утрам. Нет, она и не думала выполнять мою глупую просьбу, но когда Иван позвонил к нам в дверь, она случайно оказалась в том самом спортивном костюме.

Я побежал открывать...

Когда Иван вошел в комнату, все усиленно занимались своими делами: отец, прикрыв глаза, слушал музыку (в этот день он купил огромные пластинки, на которых умещались целые оперы и симфонии), мама вязала мне свитер, а Людмила водила рейсфедером и линейкой по своей чертежной доске. Одним словом, они и не собирались уделять моему другу какое-то особенное внимание.

Иван сказал:

— Здравствуйте!

Тогда они все отвлеклись от своих занятий. Мама с отцом переглянулись. А Людмила не удивилась. Как будто знала, что Иван должен прийти... Она никогда не удивляется.

— Заходи,— сказала она. Потом обратилась к маме, отцу и ко мне: — Познакомьтесь: это Иван. Леня ждет своего друга. Он думал, что ты — это он, поэтому так разбежался,— пояснила она Ивану.

Иван растерялся. И я решил тут же ему помочь.

— Заходи, Иван, заходи! — сказал я еще более громко, чем всегда разговаривал дома. — Мы тебя ждали!..

Накануне я никак не мог произнести это самое ты, и вдруг оно очень легко и просто слетело у меня с языка.

— Вы знакомы? — спросила мама.

— Да, мы знакомы, — ответил я. Людмила и этому не удивилась. — Я разыскал Ивана — и пригласил... Должен же он наконец познакомиться с нашей семьей!

— Прекрасная инициатива! — воскликнул отец.

Он ничего ведь не знал о ссоре, и Людмила должна была улыбнуться Ивану:

— Я рада, что вы познакомились.

Что бы стоило ей сказать: «Я рада, что ты пришел!»

Отец выключил радиолу. Мама бросила мой будущий свитер и побежала в соседнюю комнату.

А через минуту она вернулась оттуда причесанная и даже губы чуть-чуть подкрасила.

— Мы с Иваном встретились и подружились! — объяснил я всем членам нашей семьи. — Это и есть мой новый товарищ.

— Все точно, — сказал Иван.

И тут я заметил, что в руках у него гвоздики и коробка конфет. Он и сам от волнения забыл о них. Я решил разгрузить Ивана.

— Давай это все!

— Ты уверен, что это тебе? — спросила меня Людмила.

— Нет, тебе! — сказал я уверенно.

— А может быть, маме?

— Наверно, обеим. Иван, это обеим? Скажи, не стесняйся!

Я старался его ободрить: ведь он же был моим гостем.

— Давно вы на ты? — спросила Людмила.

Она не могла чертить или читать свои лекции. Она постукивала карандашом по чертежной доске, как всегда делает, если чем-нибудь недовольна. И обращалась только ко мне: она не любит встречаться глазами с тем, на кого сердита.

— Это даже хорошо, что вы явились так неожиданно, — сказала мама. — С хозяйки нет спроса! У скромного ужина есть оправдание!..

— Да, прошу вас за стол, — пригласил отец.

— Садись, Иван! — поддержал я отца. — Чувствуй себя как дома!

— Тогда я сниму куртку! — сказал Иван так громко, словно знал законы нашей семьи.

На буфете у нас стоят фарфоровые фигурки. Их расставила бабушка, которая умерла года три назад. Людмиле фигурки не нравятся, но она их не трогает: это считается памятью о маминой маме.

А в тот вечер мама сама вдруг взяла фарфоровые фигурки и унесла в соседнюю комнату. Она все время оглядывала наши стены и вещи, то и дело что-нибудь вытирала. Она, когда нервничает, всегда водит тряпкой по мебели, ищет пыль, которой там нет. Мама не подготовилась к встрече гостя, мнение которого было для нее, оказывается, так важно. Но не мог же я рассказать обо всем заранее?

«Не твое это дело! Ты этого не поймешь!» — сказала бы мне Людмила.

Все волновались.

Отец снова и снова включал радиолу и каждый раз спрашивал:

— Не мешает?

— Ну что вы! — отвечал Иван.

Тогда отец выключал... Да и сам Иван, я уверен, снял куртку просто для храбрости.

Людмила помогала маме на кухне. Когда они внесли в комнату тарелки с сыром, ветчиной и салатом, мы, все трое мужчин, сидели уже за столом.

Людмила взяла куртку Ивана и, отряхнув рукав, перевесила на свободный стул.

С этой минуты всем стало легко.

Отец достал графин, в котором плавали желтые корки.

Я поймал мамин взгляд. «Надеюсь, ты пить не будешь», — молча сказала она отцу.

А он ответил ей вслух:

— Врач разрешил... в исключительных случаях.

— Но сегодня ничего исключительного не происходит, — сказала Людмила.

Иван взял графин и налил в рюмки маме, себе и Людмиле.

— За мир и дружбу! — сказал он.

— Между народами? — спросила Людмила.

— В том числе и между народами.

Людмила улыбнулась и выпила. Мы с Иваном переглянулись.

Потом мы долго еще сидели. Отец опять заводил свои огромные пластинки.

А Иван терпеливо их слушал. Может быть, он даже получал удовольствие.

Потом Людмила переоделась и пошла провожать его.

Когда они стояли в коридоре, возле двери, я с радостью сказал сам себе: «Все-таки он чуть-чуть выше сестры. А еще ведь надо учесть ее каблуки!»

— Иван и Людмила! — сказал вдруг отец.

«Иван и Людмила... Руслан и Людмила... Отец за весь вечер ни разу не цитировал песни и арии. Ни единого раза! И ни разу не назвал меня гордо мерзавцем, — подумал вдруг я. — Почему? Наверно, стеснялся Ивана. Дорожит его мнением?.. Значит, Иван понравился?»

Но ведь взрослые не торопятся высказывать вслух то, что думают друг о друге. И всегда боятся перехвалить. Обругать они не боятся, а вот прежде, чем похвалить, будут долго присматриваться, приглядываться. Даже если все сразу ясно!

— Это хорошо, что ты устроил такой спектакль, — унося на кухню тарелки, сказала мама.

— И как ты это придумал? — воскликнул отец. — Умный, мерзавец! Изобретательный!..

Опять они обо мне!

8

Прошло два с половиной месяца.

Иван теперь бывал у нас часто. И дом наш как-то повеселел. На окна и двери мама повесила новые портьеры, которые много лет лежали в шкафу. На столе теперь всегда была яркая скатерть, которую раньше мама стелила только по праздникам. Вкуснее всего мама кормила нас теперь по вечерам: Иван иногда ужинал вместе с нами.

Однажды дядя Леня с нижнего этажа остановил меня на лестнице и спросил:

— Это ваш родственник? Такой... загорелый.

— Да, — ответил я. — Родственник... Мамин племянник.

— Я так и думал: ты с ним на ты.

— Что, симпатичный?

— Видишь ли, издали трудно определить. Но производит хорошее впечатление.

— Он архитектор. Талантливый!

— Это стало в вашей семье семейной профессией. Впрочем, это профессия века: строят, строят... — Дядя Леня засунул дужки очков в рот: призадумался. — Кем же он Людмиле приходится? Двоюродным братом?

— Ну да. Они дружат с детского возраста.

Он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Мне показалось, от радости... И сказал на прощанье:

— Если Людмила захочет, я зайду посмотреть отца. Или привезу к вам специалиста. Если захочет...

Я не успел еще похвастаться во дворе, что сестра скоро выходит замуж. Как хорошо!.. Зачем огорчать дядю Леню?

Ивану я сказал:

— Прямо под нами живет один врач. Я уже, кажется, говорил... Очень влюблен в Людмилу.

— Давно?

— С детского возраста. Я объяснил, что ты наш двоюродный брат. Чтоб он не расстраивался... Понимаешь? Так что будь в курсе дела.

— Добрый ты, брат! — улыбнулся Иван.

Вместо слова «мерзавец» он говорил мне «брат». Это было приятнее.

Дома у нас никто о свадьбе даже не упоминал. Отец и мама боялись спрашивать у Людмилы.

Когда сестра возвращалась домой, мы смотрели на нее вопросительно.

— Играли в теннис, — сообщала она. — Иван снова выиграл.

Или что-нибудь вроде этого.

Конечно, я мог узнать у Ивана. Но получилось бы, что мы ждем не дождемся.

Однажды вечером Людмила сказала:

— Жить я хочу рядом с вами. Где-нибудь здесь, поблизости.

— Какое это имеет значение! — Отец вскочил со стула. Мы с мамой тоже вскочили. Ожидание прорвалось, и

мы стали убеждать Людмилу, что транспорт у нас в городе работает хорошо, что отцу и маме врачи прописали прогулки и что район поэтому не имеет никакого значения.

«Не хватает, чтоб из-за этого она затянула все дело!» — думал я. Но сестра повторила так твердо, что все мы сразу притихли:

— Нет, я буду жить только где-нибудь рядом. Это уже решено.

Кем решено? Ею?.. Или ими обоими? Никто спросить не решился.

Ивану недавно дали комнату в совсем новом доме. Это было далеко: минут сорок от центра, если ехать на троллейбусе. Один раз Иван, как он выразился, затащил меня к себе.

Правда, я не очень сопротивлялся. Так, для приличия сказал:

— А может быть, лучше поедem к нам?

Это было на стадионе, где Иван с Людмилой играли в теннис.

— Нет, — ответил Иван, — ты прорубил мне окно в ваш дом, а я должен прорубить тебе — в свой.

Мы поехали на такси. Первый раз в жизни я в автомобиле не сел рядом с шофером: мне приятнее было сзади, вместе с Иваном.

Иван тоже был холостяком... Как дядя Леня. Но посуда у него стояла там, где должна быть посуда, а книги — в книжном шкафу.

Мы сидели на балконе и видели реку и лес.

Иван сказал:

— Вот что значит квартира со всеми удобствами: хочешь — купайся в ванне, а хочешь — в реке; хочешь — дыши газом на кухне, а хочешь — березой в лесу! Но главное, нет телефона! Это величайшее из удобств: сберегается время. Кого не хочешь слышать — не слушаешь, а кому надо сказать два слова — звонишь из автомата. Он под самыми окнами.

В тот вечер он еще много раз восторгался:

— Дачный климат! Просто курорт!..

«Захочет ли Иван уехать отсюда? Скажет еще: «Где же логика? Где же простая логика? Здесь лес и река!..» Это меня волновало.

«И чего сестре взбрело в голову? — раздумывал я. — Наверно, потому, что у отца двести двадцать на сто. И мама неважно слышит. А может, ей и со мною жаль расставаться?..»

— Пусть Иван переедет к нам! — сказал я однажды, словно был главою семьи. — Я буду спать на кухне. Пожалуйста... А если хотите, то в коридоре.

— В нашем доме, в нашем доме!.. — переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Да, в нашем доме... — задумчиво сказала Людмила. — У Ивана есть комната. Он готов обменяться: переехать в любую квартиру нашего дома.

На следующий день я сочинил объявление:

«Срочно меняю комнату в доме со всеми удобствами: балкон, ванна, душ, газ, лес, река, дачный климат, телефон под самыми окнами! С предложениями обращаться в любое время...» И написал номер нашего телефона.

Но никто с предложениями не обращался, хоть объявление я расклеил во всех подъездах нашего огромного дома. И еще в доме напротив. Неужели никому не нужен был дачный климат?

Никто не звонил... Только дядя Леня остановил меня во дворе и сказал:

— Там висит объявление. И ваш телефон... Я помню его еще с детства. Прочитал и не понял: кто хочет меняться?

— Это двоюродный брат. Хочет быть с нами рядом! Он любит маму... Она — его единственная тетя.

— Это понятно: каждый хочет быть рядом с родными людьми.

Однажды Иван попросил меня проводить его. На улице он обнял меня за плечи, как тогда, в день знакомства.

— Ну, брат, затеяла Людмила историю. Может быть, ты поможешь? Я говорю: «Давай переедем ко мне, а потом подыщем что-нибудь на вашей Машиностроительной улице». А она отвечает: «Если мы переедем, тогда уж не обменяемся: стимул ослабнет!» Где же тут логика? Где же простая логика? Может быть, ты что-нибудь придумаешь? Как тогда, с этим твоим приглашением...

Уже второй раз он нуждался в моей помощи!

— Ладно, подумаю, — сказал я.

— Подумай, брат. Очень прошу!

Но подумать я не успел. Через три дня, вечером, сестра нам сообщила:

— Срок поисков продлевается! Мы с Иваном уезжаем на полгода в командировку.

— Вместе? — переспросила мама.

— Вместе. Конечно! — сказала Людмила. — За это время Леня обклеит объявлениями всю нашу улицу, и что-нибудь да найдется!..

Она говорила бодро и даже весело, потому что мама начала искать тряпкой пыль там, где ее не было, а у отца по шее и по лицу поползла красная краска.

Отец не пропел, а как-то почти прошептал на свой особый мотив:

— В движение мельник жизнь ведет, в движение...

9

Я уже говорил, что не помню, с какого возраста я себя помню. Но с той поры, с какой помню, никто из нас четырех никогда не уезжал на целых полгода.

Сколько написано разных музыкальных произведений про людей, которые уезжают! Отец цитировал сейчас эти песни и арии. Композиторы почему-то очень радуются, когда люди уезжают из дома. Но отец пел эти веселые песни невесело. И мне было как-то не по себе.

— Это даже хорошо, что ты уезжаешь, — сказала мама Людмиле. — Наконец мы узнали, как Леня к тебе относится!

Чтоб не грустить, я пытался вспомнить все случаи, когда Людмила была несправедлива, а вспоминал фильмы и пьесы, на которые водила меня сестра. Хотел вспомнить приятелей, которые мне нравились, а ей нет, но вспоминал об Иване, с которым никогда бы не встретился, если бы не она.

К Ивану мы тоже привыкли. Он все время подбрасывал нам положительные эмоции.

— Вы провожаете нас с Людмилой в наш первый путь, как провожают в последний, — сказал Иван. — Где же логика? Где же простая логика? Надо радоваться, а вы?..

— Чему радоваться? — спросил я.

— Раньше вы не получали от нас писем, а теперь будете получать! Это во-первых. Во-вторых, до сих пор вы не ждали нашего возвращения, а теперь будете ждать. И в-третьих, мы действительно к вам вернемся. Это же будет праздник!

— Слишком уж до-олго... — промямлил я.

— Долго? Вспомни какой-нибудь случай, который произошел с тобой полгода назад. Что-нибудь такое... значительное!

Я подумал, что примерно полгода назад дал Костику по физиономии.

— Вспомнил?

— Ну вспомнил...

— Давно это было?

— Нет... как будто вчера.

— Вчера? Значит, мы вернемся к вам завтра! Все познается в сравнении.

— Я понимаю.

— Эти шесть месяцев промчатся так же быстро, как те. Ты хозяин своих собственных мыслей?

— Наверно, хозяин.

— Вот и переключи их с отъезда на возвращение. Переключил?

— Постараюсь.

— Ну вот! Беснадежных положений не существует.

— О бра-атья, довольно печали!.. — пропел отец из той самой странной симфонии Бетховена, в которой поют. И добавил: — Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет дома жить!..

Иван опять подбросил нам положительные эмоции.

Накануне отъезда мы все — мама, отец и я — с его помощью переключили мысли и думали о дне возвращения. Как это будет здорово — получим телеграмму: «Встречайте! Целуем!» — и помчимся встречать!

Мама опять устроила ужин... Иван пришел с чемоданом, чтобы на следующий день рано утром вместе с Людмилой отправиться на вокзал.

Два чемодана стояли возле стены, прижавшись друг к другу: один — огромный, перепоясанный ремнями и чуть-чуть покорябанный, а другой — аккуратный, без единой царапинки и даже пахнущий духами (я почувствовал это, когда ставил его к стене).

Мне казалось, что кто-то ввинтил в люстру новые лампочки, так сверкали на столе рюмки, бокалы, тарелки.

Я не видел раньше этой посуды. В последнее время мама доставала из шкафа все, что берегла для какого-нибудь особого, торжественного события.

В центре стола был любимый отцовский графин, в котором плавали желтые корки. Иван поставил рядом с ним бутылку шампанского и коньяк.

Мама отозвала меня в сторону и попросила сбегать в магазин за фруктовой водой.

— Для отца, — шепнула она. — Я не хочу, чтобы он сегодня пил это... Очень волнуется!

Когда я возвращался с тремя бутылками лимонада, меня встретил на лестнице дядя Леня. Мне казалось, он только и делает, что ходит по лестнице, отпирает и запирает дверь: очень уж часто я встречал его.

— У кого-нибудь день рождения? — спросил дядя Леня. — Утром мама несла бутылки, теперь ты...

— Да, день рождения!

— Кто же родился?

«Если сказать, что Людмила или кто-нибудь другой из нашей семьи, он побежит за подарком», — решил я.

— У кого же сегодня праздник? — повторил дядя Леня.

— У маминого племянника. Он одинок. И вот мы устроили... Для него!

— Это понятно, — сказал дядя Леня. И, как всегда после моего ответа, полез ключом в замочную скважину.

Дома все ждали меня. Мама вытерла бутылки лимонада и поставила их на стол.

— Твой напиток, — тихо сказала она отцу.

— Куда ты, удаль прежняя, девалась?.. — пропел отец из «Царской невесты». И добавил обыкновенно, по-человечески: — Да никуда не девалась! Вот она, здесь...

Отец взял два чемодана, стоявшие у стены, и вскинул их вверх, как спортсменов, поднимающий гири.

— Иван и Людмила! — воскликнул он, потрясая в воздухе чемоданами.

— Есть еще порох в пороховницах, — восхитился Иван.

— Есть!.. — ответил отец.

Чемоданы рухнули на пол... Отец застыл с поднятыми руками.

— Что такое? — тихо спросила мама.

Отец открыл рот, но не смог ничего ответить. Он шевелил губами, словно вспоминал про себя какую-то арию или песню...

Иван подошел к отцу. Я не понимаю, как это получилось, но через какую-нибудь минуту отец уже лежал на диване. Как Иван перенес его? Взял ли себе на плечи? Или взял на руки, как ребенка? Я просто не видел.

Отец был выше Ивана, шире в плечах, тяжелее, и я не представляю себе, как Иван смог его дотащить. Так быстро, так осторожно... А мы застыли на месте, будто состояние отца передалось нам, и даже не помогли.

Потом все трое, как по команде, мы ожили и очутились возле дивана.

— Кол... — прошептал отец. — Кол... загнали сюда... — и положил руку на сердце.

— Не шевелись, — приказала Людмила. И побежала в другую комнату.

Мама стала водить тряпкой по спинке дивана — тихо, бессмысленно.

— Это бывает... — Иван тяжело дышал, но улыбнулся. — Пройдет!

Он сказал так уверенно, будто с ним это случалось уже не раз.

— Что же делать? — спросила мама.

Людмила вошла в комнату с пузырьком и кусочком сахара. По всему куску расползлась желтая капля. Отец взял сахар в рот, под язык.

— Сейчас сбегая! За врачом... — сказал я. И бросился в коридор, потом вниз по лестнице. Только бы он был дома!.. В этот миг дядя Леня казался мне самым нужным, самым важным, самым значительным человеком на свете. Мне казалось, что все, все в мире зависит сейчас от него!..

Должно быть, он понял это, потому что не стал задавать вопросов: хочет ли Людмила, чтоб он пришел, или не хочет?

Он взял коричневую пластмассовую коробку, потом блестящую металлическую, еще что-то засунул в карман и побежал за мной прямо в чем был — в ковбойке с распахнутым воротом и засученными рукавами, в пижамных штанах и тапочках.

Когда он вошел к нам, то чуть-чуть зажмурился от яркого света. Все было праздничным и нарядным: рюмки, тарелки, бутылки, графин с желтыми корками, шампанское

и коньяк, Людмилино и мамино платье... Даже отец лежал на диване в каком-то парадном виде: мама гладила сегодня пиджак и брюки, дала ему новую нейлоновую рубашку.

Людмила сидела рядом на стуле и держала в своей руке руку отца. Мама присела на край дивана и по-прежнему водила тряпкой по его деревянной спинке.

Иван уже отдышался, но стоял все на том же месте. Когда мы вошли, он сказал:

— Вот сейчас врач подтвердит: это спазм. Простая история! Спазмы проходят. Вообще нет безнадежных положений. А тут — простая история...

Я верил Ивану. Мне казалось, в его присутствии не может случиться ничего страшного, непоправимого.

Людмила выпрямилась, поднялась, указала на стул дяде Лене.

Дядя Леня измерил отцу давление. Аппарат был в той самой коричневой коробке. Потом расстегнул отцу нейлоновую рубашку, снял галстук, засунул себе в уши концы резиновых трубок и стал слушать сердце.

Наконец он поднялся и спросил у отца:

— Что вы чувствуете?

— Кол... — прошептал отец. — Будто загнали кол...

— Так... Понятно. Вы не волнуйтесь. Племянник правильно говорит: это спазм. Просто спазм... Сейчас сделаю вам укол. И все сразу пройдет! Но вставать нельзя. И нельзя шевелиться. В первое время...

Никто даже не удивился, что он назвал Ивана племянником. Только я это заметил.

После укола отцу стало легче. Он заулыбался — так, еле-еле...

Тогда дядя Леня увидел чемоданы, валявшиеся посреди комнаты, будто кто-то их расшвырял. Он удивленно посмотрел на один чемодан, потом на другой, потом на меня... А потом заметил свои пижамные брюки. И сразу заторопился:

— Я больше не нужен.

— Спасибо тебе, — сказала Людмила.

Они были на ты. Еще с детства.

Мы с Людмилой пошли провожать дядю Леню. В коридоре он засунул дужки очков в рот, словно нарочно, чтобы было не очень ясно слышно то, что он скажет:

— Может быть, это инфаркт... Надо бы «неотложку».

— Уже позвонили,— сказала Людмила.— Значит, ты думаешь...

Войдя в комнату, сестра улыбнулась отцу:

— Вот видишь: все не так страшно.

А я опять пошел в коридор. Я ждал «неотложку», чтобы врачи при отце подтвердили слова Людмилы: «Все не так страшно...»

10

Иван уехал один... дней через пять, когда отцу стало лучше.

Отец так и лежал на диване, куда принес его на руках Иван.

Приходили врачи, один раз мы с Иваном привезли профессора на такси. Нам советовали отправить отца в больницу.

После врачей мы бежали за дядей Леней.

— Видите ли...— говорил он.— Лучше уж дома обеспечить уход... Я буду к вам заходить.

Он заходил каждый день. По вечерам, когда дома была Людмила. У себя, на втором этаже, он все время теперь был в таком виде, будто собирался на концерт или в театр: а вдруг мы за ним прибежим?

Дядя Леня был всего лишь зубным врачом, но мы делали то, что советовал он.

— Домашняя обстановка,— рассуждал он, засунув в рот пластмассовые дужки очков.— Это — положительный фактор. А положительные эмоции ему очень нужны!

— Если б у вас было что-то серьезное,— объяснял потом отцу Иван,— вас бы сразу же отвезли в больницу. Все познается в сравнении! Знаете ли вы хоть одного инфарктника, которого бы не отвезли?

— Убедительно,— говорил отец. И напевал из «Сомнения» Глинки: — Усни, беспокойное сердце!..

— Правильно,— соглашался Иван.— Повернитесь на правый бок и усните. Благо вам теперь можно ворочаться. Сон — лекарство номер один!

Профессор говорил:

— Тяжелое состояние. Может быть, предынфарктное... Надо сказать ему об этом. Тогда мобилизуются нервы, он устремит себя на борьбу!

Профессор был стар, но отстаивал новые методы.

— Видите ли... — рассуждал дядя Леня, когда профессор ушел. — Человеку свойственно верить в лучшее. И надеяться... Есть точка зрения, что и о самых ужасных недугах следует сообщать. Но ведь даже врачи забывают о симптомах страшной болезни, когда сами ею болевают. Мы всегда оставляем место надежде... Так зачем сообщать? Нужны положительные эмоции!

— Все познается в сравнении! — объяснял позже отцу Иван. — Хоть от кого-нибудь из ваших знакомых сердечников разве скрывали диагноз? Нет, не скрывали? Вот видите. Новые методы побеждают! И для вас бы не сделали исключения. Значит, нет ничего опасного. Обидно, конечно, болеть не самым серьезным образом. Но что тут поделаешь? Просто спазмы сосудов... На всякий случай вас выдерживают в постели. Верней сказать, на диване!

— Да, да... Я понимаю, — соглашался отец.

В присутствии дяди Лени Иван и Людмила всегда оказывались в разных концах комнаты. И вроде бы не замечали друг друга. Они не сговаривались — так само собой получалось.

В день отъезда, уже на вокзале, Иван сказал Людмиле:

— Писать буду регулярно. Но коротко! На бумаге все как-то не так получается... Но ты не считайся с этим — пиши подлиннее! Ведь вы тут все вместе, а я буду один... — Потом повернулся ко мне: — Тебе, Ленька, буду писать отдельно. И ты мне пиши почаще: о доме, о школе и об отце, конечно. И о Людмиле. Сам понимаешь! Это все меня особенно интересует... И постарайся поселить нас с Людмилой поближе к вашему дому.

Людмиле хотелось по привычке сказать, что Иван обращается не по адресу, что я не смогу, не сумею: ребенок! Я чувствовал, что она хотела это сказать, но не сказала. Вскоре с появлением Ивана я в глазах всех домашних вдруг повзрослел. Он разговаривал со мною, как с равным, и все ему начали подражать.

— Значит, постарайся... — повторил Иван. — Иначе я останусь холостяком!

Людмила утвердительно кивнула: да, мол, останешься. Он уехал.

Дней через десять пришли два первых письма: «Людмиле Нечаевой (лично)», «Леониду Нечаеву (лично)». Иван

писал, как устроился, как начал работать. В письме, адресованном мне, на отдельном листке он обещал отцу, что научит его играть в теннис и волейбол.

В тот же день я послал ответ. Иван просил меня писать о доме, о школе, об отце, о Людмиле. Я решил в первом же письме выполнить все его просьбы. Письмо получилось длинным. «Другие будут короче, — решил я. — Это же самое первое!..»

Потом сел и переписал. Но все равно на бумаге получается как-то не так... Иван абсолютно прав!

«Дорогой Иван! Твое письмо получил. Расскажу обо всем по порядку.

Сперва об отце. Ему уже разрешили садиться. Он мне сказал: «Никогда не представлял себе раньше, что это так здорово, так приятно: просто сидеть на диване. Как будто начинаю жить заново!» Как только мама чуть-чуть нахмурится, он сразу поет: «О братья, довольно печали!..» Он вообще теперь больше всего поет не из опер, а из этой самой Девятой симфонии. Значит, думаю, поправляется.

Вчера к нему товарищи приходили с работы. Трое с цветами. Цветы отцу принесли, но как Людмилу увидели, так сразу ей передали. И весь вечер возле нее вертелись, как будто забыли, зачем пришли...

Сперва сказали: «На пять минут! Не будем его утомлять!..» — а просидели до позднего вечера.

«Ну, говорят, иметь такую дочь и болеть — просто стыдно! Иметь такую дочь и не выздороветь — невозможно!..» Потом дядя Леня пришел. И сказал: «Видите ли, ему пора отдохнуть...» Наверно, из ревности это сказал. Тогда они сразу ушли.

Теперь расскажу немного о школе.

У нас было родительское собрание. Мама не смогла пойти: она все время с отцом. И пошла наша Людмила.

А на следующий день математичка (самая строгая в школе!) сказала: «Сестра-то у тебя, оказывается, интересная женщина. Такое значительное лицо! А это гораздо больше, чем просто красивое!..»

Я даже представить себе не мог, что она об этом заговорит. А потом и ребята стали подходить: «Слушай, Ленька, наши родители в твою сестру вчера все влюбились!» Ну, я стал с ними спорить, сказал, что они немного преувеличивают. Но они даже слушать не хотели. «Мы, гово-

рят, своим родителям больше верим. Они лучше в таких делах разбираются!»

А в доме у нас, в помещении красного уголка, товарищеский суд состоялся. Объявление повесили, что в тридцать пятой квартире ссора произошла и что ее будут в красном уголке обсуждать. Все за два часа начали места занимать, как будто на заграничную кинокартину.

А к нам домоуправ специально зашел. «Вы, говорит, Людмила Андреевна, как член товарищеского суда, обязательно должны быть. Вас ведь избрали единогласно!» Людмилу действительно все избрали, еще полгода назад. Хоть она ужасно отказывалась, отбивалась. Она тебе об этом из скромности не рассказала.

На другой день после суда все во дворе восхищались: «Как ваша Людмила выступила, так сразу нам ясно стало, кто прав, а кто виноват. Совсем молодая, а так во всем разбирается!»

И дядя Леня на другой день приходил смотреть отца не один раз, а целых три. И тоже хвалил Людмилу. Ну, он-то понятно: влюблен в нее с детского возраста. А вот другие... Совсем же чужие люди! И в таком были восторге. Мне во дворе уже второй день уступают очередь на бильярде. Из-за Людмилы!

Дорогой Иван! Ты просил написать о доме, о школе, и об отце. Я все это выполнил. Ты просил еще о Людмиле. Но она же сама тебе пишет.

Стараюсь поселить вас с Людмилой поближе к нам. Объявления написал большими печатными буквами и расклеил почти во всех домах, кроме одноэтажных.

Отец и мама тебя целуют. И я тоже! Леня».

В конце месяца Людмила меня спросила:

— Ты сколько писем получил от Ивана?

— Два.

— Что ж, пять — два в мою пользу!

Как будто она была на волейбольной площадке!..

11

— Мне кажется, что время остановилось, — сказал как-то отец.

— Это даже хорошо, — тихо сказала мама. — Значит, мы

не будем стареть. Ты ведь всегда горевал, что годы, как шофер-лихач, «превышают скорость».

— Да-да... Мчатся годы, вьются годы... — переиначил отец романс на стихи Пушкина. Иногда он и Пушкина переделывает по-своему. — А теперь вот сутки кажутся мне целой неделей.

Я знал, что, когда ничего не ждешь, время катится очень быстро, а если чего-нибудь ждешь, то оно ползет как улитка. И все-таки я решил утешить отца.

— Все познается в сравнении! — сказал я. — Вот вспомни: что было месяц назад? Тебе разрешили выйти на улицу! Но ведь это было буквально вчера. Правда?

— Действительно... Будто вчера, — согласился отец.

— Значит, Иван вернется к нам завтра! Потому что это будет как раз через месяц. Все познается в сравнении!

— Умный, мерзавец! — восхитился отец. — Просто философ...

На самом деле я почти слово в слово повторил то, что говорил мне перед отъездом Иван. Но я не сказал об этом отцу: пусть думает, что сын у него философ. Ему нужны положительные эмоции.

— Когда есть какое-нибудь дело, дни идут гораздо быстрее, — продолжал я философствовать. — Ты сейчас ничего не делаешь, и поэтому тебе кажется, что время остановилось. Помоги мне переселить Ивана!..

— Я готов, — согласился отец. — Пожалуйста... Я готов. Но радиус моих действий очень уж ограничен: двор и бульвар.

— Вот и прекрасно! — воскликнул я. — Там гуляют пенсионеры. Старые, усталые люди... Они вполне заслужили отдых с видом на реку и с дачным воздухом! Зачем им жить на Машиностроительной улице? Они с удовольствием переедут.

В тот же день вечером отец грустно пропел из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана...

— В каком смысле? — спросил я.

— Пенсионеры не желают покидать насиженных мест.

— Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет дома жить! — не пропел, а с досадой прокричал я. — Ты это им объяснил?

— Объяснил.

— А они?

— Привычка свыше нам дана, замена счастью она!..

— Действительно, отказываются от своего собственного счастья! Это же глупо. Ты как считаешь?

— Надо искать среди молодых, — ответил отец.

Я искал среди людей всех возрастов. Всем одиноким я объяснял, что, переехав к Ивану, они будут жить одновременно и в городе и на даче, что им не придется покупать путевки на курорт. Иван дал мне задание — и я должен был его выполнить. Но оказалось, что люди не любят переезжать с места на место. И еще оказалось, что они почему-то очень ценят разные удобства. Для них имеет большое значение, например, чтобы остановка троллейбуса была рядом. Как будто трудно пройти один километр по свежему воздуху! Но особенно для них важно, чтоб в квартире был телефон.

В объявлениях, которые я расклеил по всем подъездам нашего дома, было крупными печатными буквами написано: «Телефон под самыми окнами».

— Что это значит: под самыми окнами? — несколько раз спрашивали меня. — Вы его там повесили, что ли?

— Нет, это телефон-автомат.

— Ах, автомат... Тогда вопрос отпадает.

— Отсутствие телефона — это же величайшее из удобств, — повторил я как-то дяде Лене слова, которые услышал от Ивана. — Сколько можно сберечь времени! Кого не хочешь слышать — того не слушаешь, а кого хочешь — тому позвонишь из автомата. Он под самыми окнами. Очень удобно! Почему люди не понимают?

— Видишь ли, телефон — это для некоторых избавление от одиночества, — сказал дядя Леня. — Я предполагаю, что у Ивана комната не очень большая...

— Не очень. При чем тут это?

— Значит, на твои объявления откликаются главным образом одинокие люди. Телефон для них особенно важен. Им ведь дома не с кем поговорить. Они хотят иметь связь с внешним миром.

— Внизу автоматная будка!

— Видишь ли, это — односторонняя связь... А люди предпочитают двустороннюю.

— Пусть выйдут в коридор или на кухню и там связываются с внешним миром. У Ивана ведь не отдельная квар-

тира, в которой можно умереть со скуки. У него есть соседи! Кажется, даже две или три семьи.

— Сосед — это тот, кто оказался рядом случайно. Друзья и соседи — понятия разные.

Мне стало ясно, что выполнить задание Ивана будет совсем не легко.

Часто я слышал, как Людмила рассказывала по телефону о комнате «на краю города». Она говорила вполголоса, словно стеснялась, словно боялась, что кто-нибудь из нас услышит.

Я злился!.. Ну зачем было подчеркивать, что Иван живет так далеко? И что до троллейбусной остановки нужно идти пятнадцать минут... А может, кто-нибудь дойдет за десять! Или даже за пять!.. «Мастер четких линий»! — злился я про себя. — «Прямота многое искупает»! И так далее... Но если она уж такая прямая, то почему не говорит о дачном воздухе, о реке, о курортном климате? Почему это скрывает? Неужели она не хочет, чтоб Иван переехал? Неужели не ждет?..»

Однажды я полез в ящик Людмилиного стола за бумагой: мне казалось, что письма, написанные на тетрадных листах в клеточку или линейку, выглядят как домашние сочинения или как контрольные по математике. В ящике были аккуратно сложены в стопку все письма, полученные от Ивана, и на каждом конверте четким Людмилиным почерком были обозначены месяц, число.

Сестра не любит хранить то, что ей не нужно. Она всегда с удовольствием рвет на мелкие клочки старые записи и тетради: «Человечеству это не пригодится!»

Прогулки отца по двору и бульвару становились длиннее.

Дядя Леня сказал тихо и даже с грустью:

— Заметное улучшение. — А потом добавил: — Но еще долго будет необходим ежедневный врачебный контроль.

Он привык бывать у нас ежедневно.

Один раз я заметил, что у дяди Лени совсем грустное настроение. «Может, отец уже выздоровел? — подумал я. — И ему не нужен ежедневный врачебный контроль».

— Что с обменом? — спросил меня дядя Леня в коридоре, возле самой двери. — Никто не хочет ехать туда, на край города?

— Нет, не хотят,— с досадой ответил я.

— Видишь ли, больше по этому поводу можешь не волноваться.

— Почему? — удивился я.

— Видишь ли... я все продумал. И согласен туда переехать.

— Вы?!

— Ну да, готов обменяться с этим самым молодым человеком, которого ты выдал за двоюродного брата.

— Как это выдал?

— Видишь ли, получилось не очень удобно... Мне нужно было оставить пámятку: как принимать лекарства, в какой последовательности. Отец попросил меня открыть ящик стола, где лежит бумага. Там я увидел... Случайно, конечно. Как-то неловко вышло... Я вроде бы подглядел. Хотя это не очень существенно... Видишь ли, от двоюродного брата так много писем не получают. И их так бережно не хранят. Но, в общем, это все не существенно. Я согласен отсюда уехать... Хоть завтра.

Я обрадовался. А потом спохватился и стал отговаривать дядю Леню:

— Мы к вам привыкли!..

Он решительно распахнул дверь и сказал каким-то не своим, твердым голосом:

— Значит, считайте, что я согласен.

Иван и Людмила будут жить прямо под нами, на втором этаже!

— В нашем доме, в нашем доме!..— весело переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Мы будем перестукиваться по трубе! — крикнул я.

Мама стала искать тряпкой пыль там, где ее никогда не было. А Людмила начала чертить что-то на своей доске, хотя за пять минут до этого сказала, что весь вечер будет свободна.

— Надо сейчас же написать об этом Ивану! — воскликнул я.

— Напиши,— сказала сестра.

А когда я сел рядом с нею за стол, тихо спросила:

— Сколько ты в этом месяце получил писем?

— Два!

— Значит, два — один в твою пользу.

Я потверже уселся на стуле и гордо огляделся по сторо-

нам. Но мама и отец не слышали Людмилиных слов и не могли понять моей гордости.

А через два дня счет в мою пользу увеличился. Я получил третье письмо от Ивана. Правда, оно было совсем коротким:

Здравствуй, Ленька! Я прилечу на один день. Есть важное дело. Пока никто не должен знать об этом. Никто, кроме тебя! Ты помнишь, где я живу? Жду тебя двадцатого в три часа дня. Надеюсь, что самолет не опоздает. Мужской уговор: никому ни слова. До скорой встречи! Иван.

12

Больше всего в письме Ивана мне понравились слова: «мужской уговор». Я много читал о священных союзах, которые заключали между собой мужчины. Они всегда договаривались кого-то спасти, выручить или преподнести кому-нибудь неожиданный подарок, сюрприз.

«Наверно, Иван тоже решил поразить Людмилу, а может, и маму с отцом чем-то необычайным! И хочет, чтобы я ему в этом помог. Как мужчина мужчине!.. — так рассуждал я в троллейбусе, конечная остановка которого была примерно за километр от Иванова дома. — Иван верит в меня. Знает, на что я способен. Он ни разу не сказал: «Ты ребенок! Не поймешь, не сумеешь, не сможешь!..» И никогда так не скажет. Все познается в сравнении! Иван прекрасно помнит самого себя в моем возрасте. Разве он считал себя в те годы ребенком?»

Я ехал прямо из школы, с портфелем. Дома я сказал, что у нас будет собрание. Многие не любят собраний, ругают их. Но это же просто-напросто черная неблагодарность! Собрания бывают не так уж часто, но зато как часто можно на них сослаться. Куда бы ни пошел после школы, к товарищу или на стадион, всегда можно сказать: «Было собрание!» И никто не станет ворчать: «Сколько часов без обеда! Все ждали, все волновались...»

В прошлый раз я ехал к Ивану на такси. Это было летом, дорога была быстрой, приятной. А троллейбус тащился не спеша, потому что была гололедица, и делал слишком уж частые, длинные остановки. Потом усы его соскочили

с проводов, водитель выскочил из кабины и долго дергал усы за веревку. Потом какой-то грузовик буксовал на дороге. Водитель снова выскочил и, вместо того чтоб подтолкнуть грузовик, зачем-то ругал шофера.

Оба раза я выскакивал на улицу вместе с водителем. «Все норовит подсобить!..» — похвалила меня старушка. Она не знала, что я еле-еле поспевал к трем часам.

«Никому, кроме меня, не известно о приезде Ивана, — рассуждал я. — В письме так и написано: «Никто, кроме тебя!» Значит, я один ему нужен. И, может быть, именно в три часа. Ровно в три!..»

Чтоб сократить расстояние, я бежал от остановки до дома прямо через сугробы. Падал, проваливался, отряхивался и снова бежал...

Дом Ивана нельзя было спутать с другими домами: он стоял один среди белого поля, которое летом было зеленым. С двух сторон от него начинали расти еще два кирпичных корпуса, словно братья-близнецы, родившиеся совсем недавно: летом их не было. Невдалеке, за шоссе, была замерзшая река с невысокими берегами и лес, который летним вечером казался мне совсем темным и мрачным, а в зимний день стал серебристо-синим, нарядным.

Вдруг я увидел Ивана. Он стоял на балконе в пальто, но без шапки. И махал мне, будто поторапливал. Зимой редко выходят на балкон, а он вышел.

«Значит, не зря я бежал по сугробам. Значит, я нужен ему ровно в три!..» — так думал я, то и дело спотыкаясь на лестнице: очень спешил.

Дверь квартиры была открыта. Иван стоял на площадке. Я гордился, что первым вижу его в день возвращения. Раньше Людмилы! Раньше отца и мамы. Его, которого все так ждали!.. Иван притянул меня к себе и поцеловал. Я тоже вытянул губы, но попал в плечо его зимнего пальто. Я никогда еще не видел его в этом пальто. Как все, что он носил, оно выглядело совсем новым. «Почему все на нем кажется только что купленным?» — не раз уже думал я.

Он не был дома больше пяти месяцев, а комната была убрана, растения в горшках были зелеными, свежими. На тумбочке возвышалась кipa несмятых и, видно, не читанных еще газет и журналов.

— Соседка следит, — объяснил мне Иван. — Я оставил ключи.

Он бросил свое пальто на диван. Потом бросил туда мое пальто и мою ушанку. «Наверно, волнуется,— решил я.— А то бы вынес пальто в коридор и повесил на вешалку».

— Как здоровье отца? — спросил он.

Я ответил, что отец целые дни дышит воздухом на бульваре и во дворе.

— Хорошо, что мы тогда оставили его дома... — сказал Иван.— Молодец этот ваш дядя Леня!..

— Он согласен переехать сюда, к тебе! — торжественно сообщил я.— А вы с Людмилой переедете к нему, на второй этаж. Будем перестукиваться по трубе!

— Как мама? Чуть-чуть успокоилась?..

— За дядю Леню переживает... Он согласился из-за Людмилы. А мама его с самого детства знает, и ей его жалко. Сколько лет любит Людмилу!

— Ты бывал без меня на стадионе?

— Один только раз. Мы пришли с Людмилой, а тот красавчик в белых трусах спрашивает: «Где ваш партнер?» Людмила сказала: «Уехал». Он взмахнул ракеткой и крикнул: «Это прекрасно! Я чувствую себя в блестящей спортивной форме!» Людмила его быстренько обыграла, и мы ушли.

Иван забыл закрыть балконную дверь. Наверно, от волнения. «Все-таки мы не виделись целых пять месяцев. Разволновался!..» — думал я.

Мне было холодно, но я терпел и молчал. А он подошел прямо к открытой двери и стал смотреть туда, куда мы смотрели с ним летом: на речку и лес.

— Видишь ли...

Он произнес это «видишь ли» не твердо и не насмешливо, как всегда, а медленно, растягивая слоги, как дядя Леня.

— Видишь ли... — повторил он.— Все познается в сравнении. Ты сам был влюблен, а потом... Нет, не то! Стыдно, брат, просто стыдно: никогда ничего не боялся, а сейчас не знаю, как тебе объяснить. Страшное дело, Ленька... Честное слово! Встретил я девушку... Понимаешь? Пошло звучит, а иначе не скажешь: встретил. Там, на строительстве. И ничего не могу поделать. Ты понимаешь?

Я его понял.

«Нет безнадежных положений!» — говорил он мне рань-

ше. Но сейчас оно было передо мной, безвыходное положение. Разве я мог упросить Ивана? Уговорить?..

«Если бы он переехал к нам, на второй этаж, хоть на время,— думал я.— Просто так, чтобы попробовать... Он бы остался. Я бы все сделал, чтоб ему там понравилось. Я бы все сделал... Все!..»

— Вы уезжаете прямо сегодня? — спросил я.

— Почему вы? Я еду один.

А я и спрашивал про него одного...

Раньше мне казалось, что мы с Иваном будем друзьями, что бы там ни случилось! Что бы ни произошло...

Но только не это.

Это вообще казалось мне невозможным. Ну, как если бы мама сказала вдруг: «Я встретила другого мальчишку. Он лучше тебя. Теперь он будет моим сыном».

— Людмила поймет,— сказал Иван.— Конечно, со временем. А как быть с отцом? Ему нельзя говорить. И матери тоже. Я сам к ним привык. Нарочно продлил командировку еще на полгода. Чтоб отец совсем уж поправился. Ты подготовь их. Так, постепенно...

— Как... подготовить?

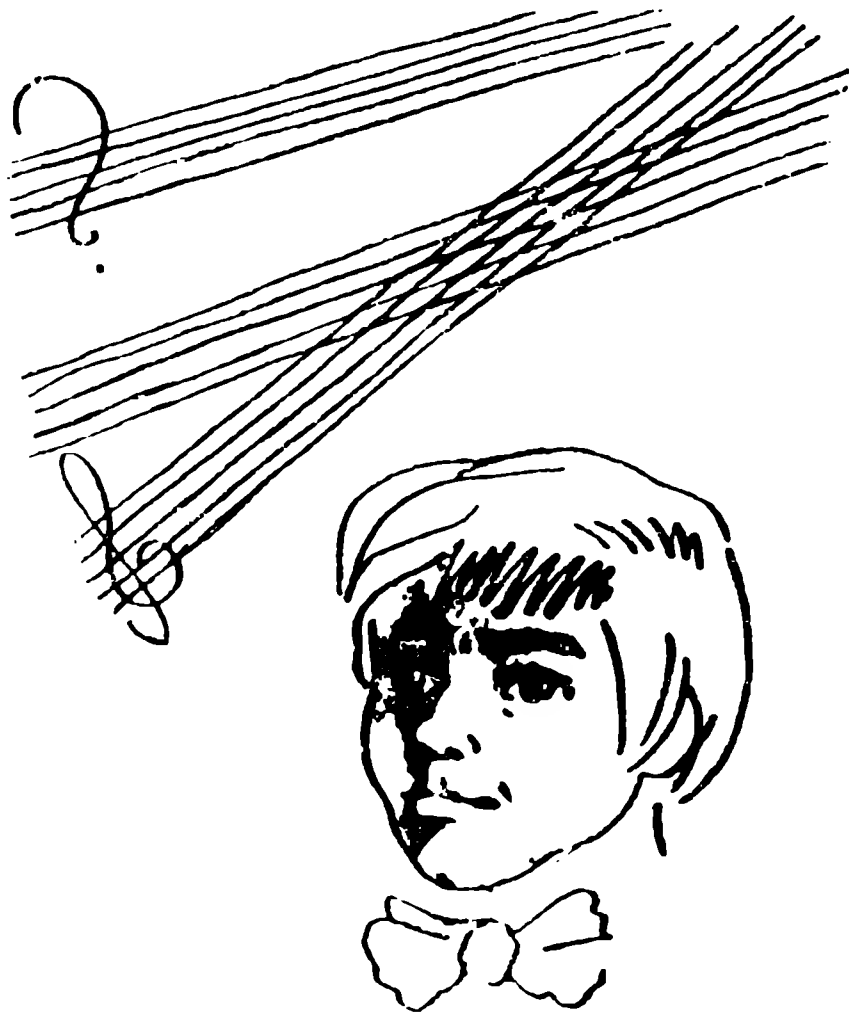
— Нет, ты не думай, что я собираюсь взвалить на тебя все это. Я сам все скажу. Но не сейчас. Сейчас не могу. Когда отец забудет про сердце... тогда. Отвлеки их немного... подготовь. Этим ты мне поможешь. Как мужчина мужчине... Ведь ты уже совсем взрослый!

— Какой же я взрослый?

— Теперь должен им быть. Ты и сам ведь хотел...

Часа через полтора я возвращался домой. Первый раз в жизни я должен был подняться к нам на третий этаж взрослым, совсем взрослым. Я никогда не думал, что это так трудно...

ПОЗАВЧЕРА И ПОСЛЕЗАВТРА



1

— Я хочу, чтобы ты не повторял в жизни моих ошибок! — часто говорила мама.

Но чтобы не повторять ее ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. И мама мне регулярно об этом рассказывает.

Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. Я знаю, что мама «погибла для большого искусства». Зато в «малом искусстве» она проявила себя замечательно!

«Малым искусством» я называю самодеятельность. Папа спорит со мной.

— Нет больших ролей и нет маленьких! Так утверждал Станиславский. И ты не можешь к нему не прислушиваться, — сказал как-то папа. — В Москве рядом с Большим театром находится Малый. Но он так называется вовсе не потому, что хуже Большого.

— Но ведь мама сама говорит, что погибла для большого искусства,— возразил я.

— Она имеет право так говорить, а ты нет. Искусство — это искусство. И талант — это талант!

Папа считает, что почти все люди на свете талантливы.

В той или иной степени... Все, кроме него. Но особенно талантлива мама!

С годами я понял, что в «малом искусстве» можно проявить себя гораздо полнее и ярче, чем в большом. Ну, например, профессиональные драматические артисты — это артисты, и всё. Мама же успела проявить себя и в драматическом кружке, и в хоровом, и даже в литературном.

Иногда, после самодеятельного концерта, мама спрашивает отца, что ему больше всего понравилось. Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. Все песни он исполняет на один и тот же мотив.

У нас дома никогда и ничего не запирают на ключ. Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы. «Мама в ролях» — написано на одной обложке. «Мама поет» — написано на другой. «Мама в поэзии» — написано на третьей.

Мы довольно часто переезжаем из города в город. Потому что папа — строитель, он «наращивает мощности» разных заводов. Мы приезжаем, наращиваем и едем дальше...

Но прежде чем перебраться на новое место, папа обязательно узнает, есть ли там клуб или Дом культуры. Когда выясняется, что есть, он говорит:

— Можем ехать!..

Переезжать с места на место — нелегкое дело. Но мама делает вид, что это очень приятно.

— Видишь, там есть хоровой коллектив,— сказала она однажды папе.— А я так давно не пою!

— Кто виноват, что я умею делать только то, что я делаю? — словно бы извинился отец.

— Путешествовать гораздо лучше, чем сидеть на одном месте,— сказала мама.— Об этом пишут в стихах и поют в песнях.

И хоть папа прекрасно знал, что мама успокаивает его, он поверил стихам и песням.

Вот уже около трех с половиной лет мы живем в большом городе, где папа наращивает мощности металлургиче-

ского завода. Прежде чем переехать, он, как всегда, навел справки насчет Дома культуры. Выяснил, что при нем активно работают все кружки, какие только существуют на свете. И что «детская работа» там тоже прекрасно налажена.

— Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку и приобрел к миру прекрасного слишком поздно, — сказала мне мама. — Пора!.. Что ты предпочитаешь: пение или танцы?

Я выбрал пение.

Через несколько дней после приезда мама повела меня в Дом культуры строителей. Предварительно мы узнали, что дирижирует хором «замечательный педагог», которого зовут Виктором Макаровичем.

В большой комнате, на дверях которой было написано «Малый зал», мы увидели девочку. Положив на черную-пречерную крышку рояля ноты, она что-то тихонько мурлыкала.

— Где найти руководителя хора? — спросила мама.

Девочка захлопнула ноты, и я прочел на обложке: «Иоганн Себастьян Бах».

— Они поют Баха! — успела шепнуть мне мама. И спросила: — Где найти Виктора Макаровича? Вы нам не подскажете?

Девочку, которая общалась с Бахом, мама назвала на «вы».

— Он в коридоре, — ответила девочка. — Идемте... Я вас провожу.

Мы вышли в коридор, увешанный фотографиями. На стенах пели, плясали, изображали купцов из пьесы Островского.

Мама оглядывала Дом культуры так, как, наверное, опытный морской волк, повидавший на своем веку много разных кораблей, осматривает новое судно, на котором ему придется поплавать.

Я чувствовал, что мама боролась с собой. Ей не хотелось ничему удивляться, потому что опытные морские волки не удивляются. Но в то же время она хотела заразить меня своей любовью к самодеятельному искусству и потому время от времени «похлопывала» Дом культуры строителей по плечу:

— Интересно... Это они молодцы! Неплохо придумали.

Девочка с Бахом под мышкой завернула за угол. Там

была как бы окраина коридора, заканчивавшаяся двумя туалетными комнатами.

— Вон он,— сказала девочка.— Прыгает!..

Худощавый, седой человек перепрыгнул через одного мальчишку, пригнувшего спину, и сел на спину другому. Тот поднялся, а человек пригнулся и встал на его место.

— Что это... он делает? — спросила мама.

— Играет в чехарду,— объяснила девочка. И, прижав к себе Иоганна Себастьяна, ушла.

Мы подошли к невысокому пожилому человеку, через которого в этот момент перепрыгивали. Лицо у него было такое, будто он занимался своим самым любимым делом.

— Простите, пожалуйста. Вы... Виктор Макарович? — неуверенно спросила мама.

Все еще пригнувшись, он взглянул на нее снизу вверх.

— Да, это я. У нас тут... разминка.

— Я понимаю,— сказала мама, будто все знакомые ей дирижеры любили играть в чехарду.— Мой сын хотел бы записаться к вам в хор.

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович, точно я был знаменитым певцом и он давно уже ждал моего появления. Потом, приняв нормальную позу, он спросил: — Как тебя зовут?

— Миша Кутусов...

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович. И вдруг как-то смутился, стал заправлять в брюки рубашку, которая вылезла оттуда, когда он прыгал.

Мы с мамой оглянулись и увидели строгую женщину, с очень правильными, как сказала мама, чертами лица. Я представил себе эти черты в тяжелой музейной раме с дощечкой внизу: «Она когда-то была красавицей».

Есть лица, которые совсем не напоминают о своем прошлом. А это как бы все время напоминало.

— Не пора ли нам начинать? — спросила женщина.

И я сразу понял, что она тоже дирижирует — всем хором или одним только Виктором Макаровичем. Точно я в первый момент определить не сумел.

Почувствовав это, Виктор Макарович сообщил:

— Наш аккомпаниатор и дирижер — Маргарита Васильевна...

— Второй дирижер,— пояснила она. Словно хотела ска-

зять: «Не нужно преувеличивать мои звания, потому что не в званиях дело!»

— А вот Миша хочет записаться в наш хор,— сказал Виктор Макарович.

В отличие от него Маргарита Васильевна не воскликнула, что это прекрасно. Она удивленно спросила:

— Сейчас?! В часы репетиций?

— Но ведь нам же нетрудно его послушать? Остальные пусть еще отдохнут.

— Ну, если вы так считаете...

Маргарита Васильевна повернулась и пошла к Малому залу. Виктор Макарович догнал ее и стал на ходу не то извиняться, не то что-то доказывать. При этом он тайком, у нее за спиной, несколько раз махнул нам: дескать, не отставайте!

Мы вошли в Малый зал.

— Возьми себя в руки,— шепнула мама.

И мне показалось, что я потерял голос.

Маргарита Васильевна села за рояль, который блестел, как черное зеркало. В его крышке я увидел свое лицо и лицо Виктора Макаровича. Мама стояла чуть-чуть в стороне, подчеркивая этим, что она меня только сопровождает.

Я подумал, что рояль в таком блестящем порядке потому, что за ним следит Маргарита Васильевна, у которой все было в порядке: и руки, и платье, и волосы.

— Значит, ты у нас — Миша? — сказал Виктор Макарович.

— Миша Кутусов.

— Прекрасно! Почти Кутузов!..

Я и сам не раз думал, что фамилия наша когда-то была Кутузовы, но папа или какой-нибудь его предок (такой же, как он!) из скромности изменил пятую букву.

— Спой что-нибудь, Миша,— предложил Виктор Макарович.

Мама еще дома предупредила, что я должен буду повторять за руководителем хора разные музыкальные фразы. Но он попросил меня спеть.

— Он у нас так часто поет! — сообщила мама. Хотя в действительности у нас дома пела только она.

— А что ты любишь петь больше всего? — спросил Виктор Макарович.

— Больше всего? — повторила мама. — Из классики? Или из современного? Он поет и то и другое.

Накануне мы отрепетировали любимую мамину песню «Аист» и песенку мальчиков из «Пиковой дамы».

— Спой что-нибудь из Чайковского, — предложила мне мама таким тоном, словно мне ничего не стоило спеть что-нибудь и из Шуберта, и из Мусоргского, и из Римского-Корсакова. — Ну, вот хотя бы из «Пиковой дамы»! Песенку мальчиков...

Маргарита Васильевна, казалось, только и ждала этой фразы: она сразу ударила по клавишам. Я запел... И тут же остановился.

— Лучше про аиста, — предложил я.

Маргарита Васильевна, не дав мне опомниться, сразу же заиграла. У меняхватило духу на первый куплет.

— Может быть, лучше без аккомпанемента? — точно извиняясь перед Маргаритой Васильевной, предложил дирижер хора.

— Как вам будет угодно, — сказала она.

Я понял, что без аккомпанемента мой голос будет совсем уж беззащитным и одиноким. Со страху я громко, будто конферансье, объявил:

— Бизе! Детская песенка из оперы «Кармен»!

Эту песенку мы разучили на уроке пения в школе.

— Правильно! — воскликнул Виктор Макарович. — Оперу «Кармен» написал Жорж Бизе. — И, обратившись к Маргарите Васильевне, добавил: — Он любит музыку!

Она негромко хлопнула крышкой рояля, словно поставила точку.

— Мы с вами никогда не обманываем детей, Виктор Макарович. У мальчика нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!

«Весь в отца!» — сказал я себе.

Повернувшись к маме, Маргарита Васильевна повторила:

— Ни голоса и ни слуха! Но от этого не умирают.

Мама взяла меня под руку и гордо выпрямилась.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — поспешил успокоить ее Виктор Макарович. — Голос у него, безусловно, есть...

— Голос и слух есть у каждого человека. Кроме, конечно, глухонемых! — объяснила Маргарита Васильевна.

Мама опять выпрямилась.

Виктор Макарович остановил ее: кажется, ему не хотелось со мной расставаться.

— А ну-ка, произнеси еще раз: «Бизе»! И так далее...

Я произнес.

Виктор Макарович победоносно взглянул на свою помощницу:

— Слыхали?! А вы говорите: «Нет голоса». Нам ведь нужен ведущий программу — мальчик с открытым и приятным лицом!

Мама застегнула мою куртку на все пуговицы.

— Вы согласны, чтобы он стал ведущим? — спросил Виктор Макарович.

— Ведущим? Согласна, — ответила мама.

Сама она на следующий день записалась в литературный кружок, поскольку в тот период сочиняла стихи.

2

По профессии мама бухгалтер. И не простой бухгалтер, а главный! Слово «бухгалтер» маме не нравится, и она называет себя «финансистом».

— Мама — талантливый финансист! — говорит папа.

Очень давно, еще до моего появления на свет, кто-то сказал о маме: «Финансы поют романсы». Мы переезжали с места на место, и это длинное прозвище загадочным образом следовало за нами. Словно кто-то сообщал о нем по радио или по телефону.

— Ты понимаешь, — объяснил мне отец, — мама талантлива во всем, за что бы она ни бралась. Абсолютно во всем! Это — одаренная натура. Такие натуры типичны для Руси... Ну, вспомни хотя бы Шляпина или Бородина. Один по воскресеньям сочинял музыку, а другой между делом великолепно рисовал. Для них это было как бы самодеятельностью!

Отец говорит тихо. Он считает себя не вправе повышать голос. От этого слова его кажутся очень продуманными и убедительными. Когда человек кричит, я всегда думаю, что голос неточно передает его мысли и чувства: наверно, мешает волнение...

О маминых талантах отец говорит почти шепотом, будто раскрывает какую-то священную тайну.

Мама действительно, как я уже говорил, и своей бухгалтерией руководит, и поет, и сочиняет стихи... Она умеет чинить телефон и дверной замок, если они ломаются.

Есть у мамы еще одна удивительная особенность. Она помнит имена, отчества и фамилии всех сослуживцев, с которыми когда-либо работала, всех наших дальних и близких родственников. Она помнит все важные даты в жизни этих людей: когда родились, когда поженились... Эти даты записаны у мамы в особом блокнотике, в который она почти никогда не заглядывает.

— Уникальная память! — тихо восхищается папа.

И всех этих людей мама поздравляет с разными торжествами. Перед Новым годом, к примеру, мама до глубокой ночи просиживает над горой поздравительных открыток. Ей отвечают. Правда, не все... Но и тем, кто не отвечает, мама продолжает писать.

— Не подумай только, что это бухгалтерская дотошность, — объяснил мне отец. — Они живут в ее сердце... А не просто в памяти. Понимаешь?

У папы есть другая особенность: он любит восторгаться людьми. А в некоторых просто влюбляется.

На строительстве металлургического завода папа влюбился в Лукьянова. Это — заместитель начальника стройки.

— Одаренная натура. Творческая личность! — говорил отец.

У отца тоже есть прозвище: «Тайный советник». Его придумала мама. И только она его так называет.

С отцом и правда часто советуются — главным образом одаренные личности и творческие натуры.

Лукьянов же советовался то с отцом, то с мамой.

— Ты заметил: он здоровается только с тем, кто ему на этот раз нужен? — спросила как-то у отца мама.

Так как я не был нужен Лукьянову никогда, он со мной вообще не здоровался.

— Представь себе масштаб его забот! — тихо воскликнул отец. — Просто нет времени на лишнее слово, на лишнюю фразу.

— Он хоть раз спросил, как ты себя чувствуешь? Лично моим здоровьем он не интересовался ни разу.

— У него нет времени на этикет. Но если бы мы заболели, он бы помог. Не сомневаюсь.

— А почему он не приходит к нам в гости? — спросил я. Мне было интересно посмотреть на Лукьянова.

— В наш век телефон все чаще заменяет живое человеческое общение, — объяснила мне мама.

— В сутках всего двадцать четыре часа... И в этом Лукьянов не виноват, — возразил отец.

— Нет времени? — задумчиво произнесла мама. — Это правда... На нем держится стройка!

— Ну, почему же? — не согласился отец. — У нас много одаренных людей. — Он назвал несколько имен и фамилий. И, обратившись к маме, добавил: — А ты сама? Ни одно правительство не может обойтись без министра финансов!

Мама как будто не услышала последней фразы.

— Лукьянов — голова! — сказала она. — На лету схватывает.

— При этом он советуется, звонит... И всегда смотрит вперед! — согласился отец.

Действительно, разговаривая с Лукьяновым, папа и мама то и дело повторяли:

— Вы правы: это — пройденный этап. Надо смотреть в будущее!

Лукьянов даже приснился мне однажды с подозрительной трубой в руках: он разглядывал, что делается... там, впереди.

Я не влюбляюсь в людей так часто, как папа. Но одного человека я любил уже больше трех лет. Это был дирижер нашего хора, Виктор Макарович.

Взрослые люди утверждают, что трудно объяснить, за что именно любишь человека. Но я бы, мне кажется, мог объяснить...

Во-первых, он раньше всех заметил, что у меня открытое и приятное лицо. Во-вторых, он умел показывать фокусы, играть не только в чехарду, но вообще во все игры. И обязательно побеждал!

Директора Дома культуры, которого мы прозвали Дирдомом, он обыгрывал на бильярде. Дирдом очень нервничал и объяснял свои поражения тем, что на нем «вся культура».

«Если бы Лукьянов проиграл Виктору Макаровичу, —

подумал я, — он бы, наверное, сказал, что «на нем вся стройка». Неплохо устроились!..»

Я продул Виктору Макаровичу несколько партий в настольный теннис. После чего мне сообщили, что в обыкновенный теннис он играет гораздо лучше, чем в настольный...

Однажды, когда Виктор Макарович обыграл в шахматы девочку из младшей группы нашего хора, я услышал, как Маргарита Васильевна сказала:

— Ну, ей-то вы могли бы и проиграть!

— Зачем унижать ее? — ответил Виктор Макарович. И, испугавшись, что Маргарита Васильевна обидится, стал объяснять: — Вы же сами говорите, что детей следует уважать... И нельзя обманывать!

С маленькими участниками нашего хора он любил играть в прятки. И они никогда не могли его отыскать.

— У меня и фамилия-то для игр подходящая: Караваев! — говорил он. — Каравай, каравай! Кого хочешь, выбирай...

Только одну игру Виктор Макарович отверг прямо у меня на глазах. Он не захотел играть в поддавки.

— Это какая-то антиигра! — сказал он. — Победа состоит в поражении... Стремиться к тому, чтобы тебя уничтожили? Не понимаю.

У него на многое были свои особые взгляды. Вот, например, ему не нравилось слово «конференсье». Слово «ведущий» казалось ему нескромным. И он прозвал меня «объявлялой».

«Объявляла» — так меня все и звали.

— Ты как бы разведчик, — объяснил мне Виктор Макарович. — Ты первый начинаешь общение с залом. Твой голос звучит еще до того, как я взмахну рукой, до того, как зазвучит музыка... Ты должен зарядить людей вниманием, интересом. Это очень ответственно! Ты как бы наша обложка. А обложка в книге — не последнее дело. Можно даже сказать, первое: с нее все начинается. Надо не просто произносить фамилии композиторов и названия песен, а голосом своим выражать отношение и к сочинителю и к его музыке... А чтобы иметь свое отношение, ты должен **з н а т ь!**

В общем, я сидел на всех репетициях.

Виктор Макарович репетировал без пиджака. Он то

и дело засовывал рубашку в брюки, как тогда, после игры в чехарду.

— Вы — хор! — напоминал он ребятам. — А что является синонимом слова «хор»? Кол-лек-тив! Я так считаю... Маргарита Васильевна, вы согласны со мной?

Она никогда не отвечала на эти его вопросы. Но он упорно продолжал задавать их.

— Никто не может жить на сцене как бы сам по себе. И в то же время каждый должен себя ощущать солистом. В том смысле, что нельзя прятаться за спины впереди стоящих. И за их голоса! В смысле чувства ответственности... каждый из вас солист! Вы согласны, Маргарита Васильевна?

Она склоняла голову, почти что укладывала ее на подставку для нот, которую, как я узнал, называют пюпитром. Она беззвучно бродила пальцами по клавишам. Одним словом, всем своим видом показывала, что вопросы его ни к чему.

Особенно он переживал, когда нужно было петь без сопровождения, то есть без аккомпанемента Маргариты Васильевны. Такое пение называется красивым иностранным словом «а капелла». Тут уж он десять раз извинялся:

— Простите, пожалуйста, Маргарита Васильевна... Мы сейчас споем «а капелла». Чтобы вы отдохнули немного. Простите, пожалуйста...

Мне казалось, что он побаивается ее. «Не может же он ее до такой степени уважать?! — думал я. — Побойвается, наверное... Есть за что! Ведь это она обнаружила, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!»

Маргарита Васильевна называла нас по фамилиям. А Виктор Макарович — по именам, хотя это было рискованно: одних только Сережей в хоре было пять или шесть. Виктор Макарович поворачивал голову в сторону того, к кому обращался. Но мне казалось, что и без этого один Сережа отличал бы себя от другого: к каждому из нас Виктор Макарович относился как-то по-особому.

Например, кроме меня, в хоре было еще два Миши. Но Мишенькой он называл только меня. Не знаю, почему... Может быть, потому, что только один я во всем хоре не пел и он хотел своей нежностью как-то сгладить этот мой недостаток.

И отчитывал он меня только наедине.

— Ты исходи не из звучания фамилий, а из характера произведений. Ведь если тебя послушать, получается, что самый прекрасный композитор на земле — Орландо Лассо. Он сочинил очень колоритную песню «Эхо». Не спорю... Но ты объявляешь его прямо-таки с упоением. А почему? Потому что красиво звучит: Ор-лан-до Ла-с-со! А фамилию «Бородин» произносишь так, между прочим. Почему? Может быть, потому, что у нас в хоре поет Люда Бородина? Стало быть, никакой экзотики? Это, если... не заглядывать вглубь. Запомни: имя творца создают его произведения. Вы согласны, Маргарита Васильевна? Прости... Ее же здесь нет. Запомни... твои интонации должны незаметно, как бы исподволь давать характеристику произведения. Этаким полупонамеком... Нельзя же абсолютно одинаково объявлять фугу Баха, и прелюдию Генделя, и «Песнь о лесах» Шостаковича, и «Мелодию» Рубинштейна. Но чтобы чувствовать, чем они отличаются друг от друга, ты должен знать!

И я продолжал сидеть на всех репетициях.

Мама считала, что хоть я и не пою, но присутствие на репетициях меня «музыкально развивает». Она была права. Кроме «Орландо Лассо», «пюпитр» и «а капелла», я узнал много других очень красивых слов. Ну, например, «сольфеджио». Оказалось, что это название урока, на котором все ребята поют по нотам. Я даже подумал, что не мешало бы и школьные уроки называть такими же прекрасными именами: приятней было бы ходить в школу!

У нас в шкафу, на самом почетном месте, висит мамино «концертное» платье. В нем мама выходит на сцену, чтобы читать стихи или петь. Платье время от времени перешивается, потому что оно должно, как говорит мама, «шагать в ногу с модой».

«Шагающее платье»... Это образ, созданный мамой. На стройках, где мама с папой работали, были шагающие экскаваторы. А в шкафу висело «шагающее платье». Будни и праздники...

— Символично! — однажды тихо воскликнул папа.

Теперь рядом с концертным платьем, как бы рука об руку с ним, в шкафу висела и моя концертная форма: синие брюки и голубая куртка с золотой лирой на боковом кармане.

Вообще все в моей жизни стало более праздничным! Соседи, встречая меня, спрашивали, когда будет следу-

ющий концерт. Наиболее интеллигентные учителя, вызывая к доске, узнавали, не устал ли я накануне от репетиций. Если я не знал урока, то говорил, что устал. И меня отпускали на место... А после выступлений нашего хора по телевидению мне просто не давали прохода. Самые красивые девочки в школе, увидев меня, начинали ни с того ни с сего хохотать. Это было приятно.

Все три с лишним года меня сопровождали аплодисменты и ослепляли прожектора! И хотя Виктор Макарович предупреждал: «Это аплодируют Шостаковичу и лишь на пять процентов нам с вами!», мне вполне хватало и этих пяти процентов.

После репетиций и после концертов я все время вертелся неподалеку от Виктора Макаровича, чтобы он заметил меня и спросил:

— Что, Мишенька, пойдем домой вместе?

Его никто не провожал в Дом культуры и никто не встречал. Он жил один. На той же улице, что и мы.

Я думаю, у него просто не хватило времени завести свою семью и своих детей, потому что утром он репетировал с младшей группой хора, днем со средней, а вечером — со старшей. Или наоборот... Так было всю жизнь. Значит, из-за нас, из-за наших песен он жил на свете один.

По Малому залу Виктор Макарович носился бодро и молодо. Когда же мы возвращались домой, он слегка прихрамывал, часто останавливался и просил меня не торопиться.

А говорил он все время о будущих программах и о том, что Маргарита Васильевна всех нас очень любит, но из педагогических целей не хочет этого проявлять. И о том, что я, выходя на сцену, не должен делать вид, будто преподношу залу какой-то подарок. Это уж по ходу концерта должно выясниться: преподнесли мы подарок или нет.

Он тоже, как и Лукьянов, все время смотрел вперед... В последнее время там, впереди, замаячили два отчетных концерта — один для юных граждан нашего города, а другой для взрослых.

Думая об этих концертах, Виктор Макарович так волновался, что даже на улице заправлял рубашку в штаны.

Мама и папа не признают политики невмешательства. Поэтому, если мама задерживается на работе, папа сходит с ума:

— Наверно, она опять вступила в борьбу с хулиганами!

Стараясь успокоить отца, я вспоминаю, что у мамы в этот день занятия литературного кружка, которых на самом-то деле нет.

А если отец задерживается, мама восклицает:

— Он опять помогает какому-нибудь новоявленному Эдисону!

Когда папа наконец возвращается домой, мама говорит примерно так:

— Нельзя столько времени уделять чужим дарованиям. Собственное увянет!

— Не может увянуть то, чего нет, — отвечает отец.

— Помогать другим — это тоже талант! — возражает мама. — Но не самый рентабельный для семьи.

Мама часто употребляет привычные для нее бухгалтерские словечки.

— А сама-то ты разве не вмешиваешься, когда нужна помощь? Причем в гораздо более рискованных ситуациях. Хотя ты, женщина, могла бы пройти мимо...

— Чему ты учишь меня?! — возмущается мама.

Они часто уговаривают друг друга «не вмешиваться». Во время таких разговоров то и дело звучат фразы: «А ты сам?», «А ты сама?!», «Ты бы не уважал меня, если бы...», «Ты бы не уважала меня...»

И оба продолжают бороться с «политикой невмешательства».

Иногда по вечерам у нас во дворе раздавались звуки музыки. Это играл Володька по прозвищу Мандолина. Он жил в соседнем подъезде. Отец и мама сразу же оказывались у окна: она — потому что обожала самодеятельность, а он — потому что не мог пройти мимо чужих дарований.

— Будущий виртуоз! — сказала однажды мама.

— Почему б у д у щ и й? — возразил отец.

Но многие жильцы встречали Володькину игру без восхищения. Особенно потому, что вокруг Мандолины всегда собиралась толпа.

— Концентрируется шпана! — услышали мы с папой однажды.

— Почему, если много ребят собирается в школе, то это — класс или отряд, а если во дворе, то это шпана? — спросил папа. И пожал плечами: — До чего изменяет память! Детство свое и то забывают.

Сосед, который сказал о шпане, очень любил обращаться за помощью к газетам и журналам.

— Всюду пишут о праве человека на тишину!

— Ну, если для вас музыка и шум — это одно и то же...

— Он уже мать свою уложил в больницу, этот ваш музыкант!

— Как он мог уложить?

— Вы сначала узнайте, а потом уже заступайтесь!

Кивнув в сторону Мандолины, отец сказал мне:

— Надо бы переместить его на другую сценическую площадку! Но при чем тут больница? Не понимаю.

Через несколько дней я опять возвращался из Дома культуры вместе с Виктором Макаровичем. И рассказал ему про Мандолину.

— По мнению папы, гибнет талант, — сказал я.

Виктор Макарович ничего не откладывал в долгий ящик.

— Надо послушать. Приведи его завтра. Если это хорошо, определим его в струнный оркестр.

— Он не пойдет... Я уже предлагал.

— Отказался? Почему?!

— Не знаю... Он вообще парень неразговорчивый.

— Неразговорчивый? Это прекрасное качество. А где он живет?

— Рядом с нами. В соседнем подъезде.

— Ну, если Магомет не идет к горе...

Мандолины не было дома. Но если бы даже он был, все равно в первый момент его бы никто не заметил. Потому что в коридоре разыгралась сцена, которую невозможно было предвидеть.

Абсолютно лысый человек, у которого из-за отсутствия волос щеки, и подбородок, и лоб, и затылок — все сливалось во что-то одинаково круглое, голое и доброе, открыв нам дверь, нервно поправил очки и воскликнул:

— Виктор Макарович?!

А Виктор Макарович поспешно заправил рубашку в штаны и воскликнул:

— Неужели... Димуля?!

Войдя в комнату, Димуля сразу стал что-то смахивать со стола, что-то накрывать, что-то прятать... Но Виктор Макарович не обращал на беспорядок никакого внимания.

Он подбежал к стене и впился глазами в фотографию, которая висела на ней.

— Это я! — сказал Виктор Макарович. И указал пальцем на спину, изображенную на переднем плане.

В углу фотографии стояла дата... И хоть прошло, как я быстро высчитал, тридцать лет, спина у Виктора Макаровича была такая же, как и теперь: подвижная, вся устремленная вперед, навстречу хору, который на фотографии пел.

— А это — Дима и Римма! — сказал Виктор Макарович. И ткнул пальцем в солистов, стоявших с раскрытыми ртами впереди хора.

В одном из них я сразу узнал Димулю. Черный вихор не делал его лицо менее беззащитным и добрым.

— Дима и Римма... Римма и Дима! — мечтательно произнес Виктор Макарович. — Имена рифмовались... И пели дуэтом!

— Она в больнице, — растерянно и грустно сказал Димуля. — Вот у нас с Володькой тут и творится...

Он продолжал что-то запихивать в ящик, что-то прятать под скатерть.

Виктор Макарович резко повернулся и уставился на Димулю:

— Вы что... поженились?

— Семнадцать лет назад.

— И мне об этом не сообщили? И не зашли ни единого раза?! А ведь были любимчиками! Маргарита Васильевна обвиняла меня в предвзятости: «Нельзя отделять детей от детей!»

— Поэтому мы и стеснялись, — растерянно объяснил Димуля. — Вы же предсказывали нам музыкальное будущее. А мы ничего этого... не оправдали. Я вообще с десятилеткой остался. А Римма кончила техникум. К тому же торговый... Сейчас Римма в больнице.

— Разве я вас за голоса ваши любил? — задумчиво

произнес Виктор Макарович.— Дима и Римма... Значит, навсегда срифмовались? Сохранили дуэт! Я очень рад...

Он вдруг встрепенулся:

— Ты сказал, Римма в больнице? А что такое?

— Сердце у нее... Всю жизнь сердце.

— Да, да... Я помню. Она болела ангинами. Я все боялся за ее голос!

— Рожать ей нельзя было. А она родила.

— Мандолину? — неожиданно спросил я.

Виктор Макарович взглянул на меня с изумлением.

— Это прозвище нашего сына,— объяснил Димуля. И успокоил меня: — Ничего, ничего... Ты его знаешь?

— Его весь дом знает,— сказал я.

— Но не весь дом его любит...

Димуля огорченно развел руками.

— Кто-то сказал: «Человек, который всем нравится, вызывает у меня подозрение!» — успокоил его Виктор Макарович.

— По-моему, неплохой мальчик... Как ты считаешь? — обратился ко мне Димуля.

— Будущий виртуоз! — уверенно сказал я.

— И до сих пор мы с ним незнакомы? — Виктор Макарович с укором взглянул на Диму и Римму, которые на фотографии пели под его управлением.— Забыли меня. Совсем, значит, забыли...

Димулины руки прижались к груди.

— Мы?! — Он обхватил руками свою круглую голову.— Римма все время приводит вас в пример. И сыну и мне. А я привожу вас в пример ей и сыну.

— Представляю, как ваш сын меня ненавидит!

— Вас?! Да мы воспитываем его «по Виктору Макаровичу». Так Римма недавно сказала.

— И какой результат?

— Учится плохо.

— Вот те на!

— А в остальном я доволен. Добрый... Играет на мандолине. Мы его с младенчества музыке обучаем. Сами, домашними средствами... Ведь вы нам внушили, что музыка — радость, а иногда и спасение.

Виктор Макарович снова обратился к фотографии, висевшей на стене:

— Но почему же не привели его?

— Стыдились... В дневнике — тройка на тройке. С математикой очень не ладит.

— Я с ней тоже не ладил, — сказал Виктор Макарович.

— И я с ней не лажу! — с гордостью сообщил я.

— Ты, оказывается, нас слушаешь? — спохватился Виктор Макарович. — Музыкант — это призвание. Он может, в конце концов, позволить себе... А «объявляла» должен успевать по всем дисциплинам.

— Мы ведь знаем, что с тройками в Дом культуры не полагается... — грустно сказал Димуля. — Всегда говорят: «Сначала — отметки, а потом уж кружки!»

— Может быть и наоборот... Не при Мишеньке будь сказано! — возразил Виктор Макарович.

— Мы сходили к директору Дома. Так, для очистки совести...

— К Дирдому? — воскликнул я.

— У него такое прозвище? — почему-то обрадовался Димуля. — Он нам решительно отказал.

— На каком основании? — спросил Виктор Макарович.

— Мы, говорит, должны думать о репутации Дома культуры. О его лице!

— Тут бы вы ко мне и зашли!

— Постыдились мы... Подошли к Малому залу, в щелочку поглядели. Всё, как прежде... И Маргарита Васильевна за роялем. Римма заплакала — и пошли домой.

— Как же так? Как же так? — допытывался Виктор Макарович у фотографии на стене.

— А через три дня Римма в больницу слегла. И это тоже на Володьку списали.

— Кто списал?

— Так получилось... Он двойку за контрольную по алгебре получил. Ну, Римма покричала на него. Как полагается... А слышимость у нас в доме прекрасная! Сосед один за стеной живет...

— Знаю его, — вставил я.

— Он на следующий день утром сказал: «Таких, как ваш сын, в газетах трудными детьми называют». А вечером с Риммой приступ случился... Не из-за Володьки, конечно. Но приписали ему! Он с сумками по двору идет, а ему вслед: «Сперва уложил, а теперь беспокоится!» Если что-нибудь случается, говорят: «Из компании Ман-

долины!» Разве он может отвечать за всех... которые вокруг него собираются? Как-то обидно...

Когда мы вышли на улицу, Виктор Макарович попросил меня проводить его.

Но разговаривал он по дороге с самим собой. Часто останавливался, тер икры ног. Даже присаживался на скамейки. И продолжал рассуждать:

— Удивительно! Постыдились... Будто я их в певцы готовил. Люди хорошие получились — и замечательно! Получились хорошие люди?

— Получились, — ответил я.

Но он задал вопрос самому себе и на мой ответ не обратил никакого внимания.

— Человек с тройками не должен петь! Надо же до такого додуматься... Не справился с алгеброй — бросай мандолину. Где тут логика?

— Нету логики, — тихо ответил я.

— И почему все думают, что я готовлю певцов? Гриша Дубовцев стал начальником конструкторского бюро, заслуженным деятелем науки. А сообщает об этом так, будто извиняется, что стал заслуженным деятелем, а не заслуженным артистом республики. Хотя один из моих учеников все-таки и в заслуженные артисты пробился... Горжусь!

Вдруг Виктор Макарович остановился и воскликнул:

— Прекрасно, Мишенька! Я знаю, что надо делать.

— Что? — спросил я.

— Мы выпустим Володю в наших отчетных концертах. Пусть это будет сюрпризом!

— Для Дирдома?

— И для него тоже! Представь себе... «Дунайские волны»! Или, допустим, гурилевский «Колокольчик»... Исполняют мандолина и хор... Великолепно! Ведь тембр мандолины, Мишенька, близок к детскому голосу. Особенно в среднем регистре. Та-ак... — Виктор Макарович ничего не откладывал в долгий ящик. — Вернемся обратно! И сообщим...

— Я могу сам зайти.

— Нет, я должен сделать официальное приглашение! Мы побежали обратно.

Трудно было определить, кто готовится к отчетным концертам, — я или мама.

Мама вслух произносила фамилии композиторов и названия песен, стараясь подсказать мне, как они должны прозвучать со сцены.

Она заставляла меня по вечерам пить валерьянку, чтобы я хорошо спал и вообще привел в порядок свою нервную систему.

— Ни один годовой бухгалтерский отчет не стоил мне такого напряжения, как отчеты вашего хора! — говорила мама. И тоже пила валерьянку.

О предстоящих концертах мама регулярно напоминала всем нашим знакомым. И если оказывалось, что кто-то болен или уезжает в командировку, она очень расстраивалась.

Возле телефона лежал разделенный надвое красной чертой лист бумаги. В одной графе значилось — «Дети», в другой — «Взрослые». Мама записывала имена всех, кого следовало пригласить на утренник и на вечерний концерт.

— Подведем баланс! — заявляла она. — Практически я включила всех!

А через минуту она бежала дополнять список новыми именами. Из-за этого маме приходилось то и дело обращаться к администратору Дома культуры, который распределял пригласительные билеты.

Собираясь наполовину заполнить зал своими знакомыми, мама тем не менее предупреждала:

— Не повторяй моих ошибок: не смотри в нашу сторону. И вообще не вспоминай о том, что мы тебя слушаем. Сразу же возникнут натянутость и неестественность. А это практически все сводит на нет! Поверь моему опыту...

Мама часто перенимает у людей, которые ей нравятся, их любимые словечки и выражения. «Практически» — это было слово Лукьянова. Еще он любил говорить — «пройденный этап» и короткое слово «дело».

Я никогда не видел Лукьянова, но мне казалось, что я узнал бы его, даже встретив где-то на улице. Особенно если бы это было поблизости от управления строительства, где Лукьянов работал. Я бы сразу понял, что это он: вы-

сокий, стремительный, никогда не оглядывающийся назад. И его манера говорить, его любимые выражения тоже были мне хорошо известны, потому что у мамы есть еще одна интересная особенность: разговаривая, она иногда повторяет последние фразы своего собеседника. Ну, например, обсуждая с Лукьяновым по телефону разные финансовые вопросы, она задумчиво повторяла его последние мысли: «Значит, вы считаете, что это практически пройденный этап?», «Для пользы дела мы должны считать это пройденным этапом? Вы так считаете?..»

Повторяя за собеседником его последние слова, мама как бы обдумывает, верны они или нет, может ли она согласиться или должна возразить. С Лукьяновым мама порою вступала в решительный спор. И чем больше горячилась, тем чаще употребляла его словечки:

«Практически вы не правы! Если думать о пользе дела, мы должны...»

Споры иногда заканчивались и маминой победой. Но она не ликовала по этому поводу: она уважала Лукьянова.

— Ну что ты волнуешься? — сказал я маме в день первого отчетного концерта, на который были приглашены дети. — Ведь я всего-навсего объявляю...

— Всего-навсего о б ъ я в л я е ш ь? — повторила мама. — Нет уж! На этих концертах ты должен доказать всем и самому себе, что ты вовсе не «объявляла», что ты — артист!

Наверно, из-за того, что я должен был это доказать, мама и испытывала такое большое нервное напряжение.

— Особое внимание обрати на пересказ содержания песен, которые вы исполняете на иностранных языках, — предупредила мама. — Мы должны почувствовать, что с твоей помощью путешествуем по земному шару...

Путешествовать наша семья привыкла!

А папа волновался за Мандолину:

— Если будет провал...

— Виктор Макарович тоже за него беспокоится, — сказал я. — Вы садитесь, пожалуйста, рядом с Димулей!

— Ты бы узнал все-таки его имя и отчество. Нам с мамой не очень удобно... Ведь мы с ним не пели в хоре!

Чтобы Володька не долго мучился, Виктор Макарович выпустил его в начале программы. «Дунайские волны» были нашим четвертым номером.

Я громко назвал Володьку «Владимиром» и «солистом». Он вышел, сел, склонился над своей мандолиной, как над ребенком... И словно бы стал баюкать ее.

Как только я вернулся за кулисы, на меня налетел Дирдом. Каким образом он успел за две или три минуты добраться из ложи до меня — до сих пор понять не могу. Вид у Дирдома был такой, будто он только что выпил стакан рыбьего жира.

— Ему... — он указал на Виктора Макаровича, который, казалось, плыл в этот момент по Дунаю, — ему я не могу сейчас высказать... Но у тебя же в руках программа, которая утверждена! Где тут «Дунайские волны»? Покажи мне...

— Это идет сверх программы, — объяснил я.

— А кто это «сверх» утвердил?

— Мандолина — одаренная личность! — сказал я. — Послушайте, как он играет...

— Есть правила приема в хор! Есть утвержденный порядок! Я объяснил это его родителям. А они, значит, с черного хода?

У Дирдома была манера долго втолковывать людям то, что они уже давно поняли. Он продолжал объяснять мне, что правила на свете для всех одни, что не может быть исключений... Проверил, не вписано ли в программу еще что-нибудь такое, чего он не слышал.

— У нас во дворе... — начал я.

— Здесь не двор! — вскрикнул Дирдом.

И тут «Дунайские волны» кончились. Как Володька играл, я так, к сожалению, и не услышал. Но важней для меня было другое...

— Послушайте! — снова воскликнул я.

Я знал, что ребята из нашей школы сейчас будут кричать «бис!» и скандировать. Об этом мы твердо договорились.

Они начали кричать... И даже слишком громко. Некоторые стучали ногами, о чем уговора не было.

— Триумф! — сказал я.

Но Дирдом испарился. Он не хотел быть свидетелем нашей победы.

Володька заиграл снова... На «бис» в первом отделении исполнялись только «Дунайские волны». А Виктору Макаровичу Дирдом ничего не сказал о Мандолине.

Ни слова... «Значит, мы действительно победили!..» — ликова́л я.

Но главным в тот день было не это...

5

Главным было то, что я услышал от Виктора Макаровича, когда мы возвращались домой.

Он очень устал. Останавливался чаще, чем всегда, и дольше, чем всегда, растирал икры ног.

Мы шли и молчали... Потому что все восторги по поводу концерта я успел высказать ему еще в Доме культуры.

Когда мы уже подходили к дому Виктора Макаровича, он вдруг печально сказал:

— Я счастлив.

— Да! Мы сегодня рванули!..

— Не в этом дело. Я слышал, как Димуля звонил в больницу жене. Ее не позвали. Тогда он попросил сестру передать, что Володю вызывали на «бис». Я счастлив... — Он помолчал. И добавил: — Но как этот Мандолина похож на Димулю! Когда он первый раз пришел на репетицию, мне показалось, что я помолодел лет на тридцать. Вот сейчас, показалось мне, появится Римма в красном галстуке, встанет рядом — и они запоют!

— Голова такая же круглая, — согласился я. — Только с волосами и без очков. А Дирдом говорил, что его лицо нам не подходит. Он считает наши дневники нашими лицами!

— Пушкин тоже не мог овладеть математикой, — сказал Виктор Макарович. — И что же, если бы Пушкин поступал к нам в литературный кружок...

— Дирдом бы его не принял! Потому что его лицо могло бы испортить лицо Дома культуры...

— И мое лицо может испортить. А верней, мои ноги, — с печальной улыбкой сказал Виктор Макарович. — Поэтому я сегодня дирижировал вашим хором последний раз.

Виктор Макарович умел показывать фокусы и любил розыгрыши... Я посмотрел на него с недоверием.

— Последний раз, — повторил он.

— Как... последний?!

— Был консилиум, — продолжал он. — Это — грозный совет докторов! И самое страшное, когда он выносит решение единогласно. Неизлечимая болезнь ног...

— Отчего это?

— Говорят, от курения. Но я никогда не курил. Говорят, от неподвижного образа жизни. Но я всю жизнь двигался. А теперь... Долго ходить нельзя, долго стоять нельзя. Дирижировать можно сидя...

— Ну и что же? — воскликнул я — Ну и что же?! Это будет отличать вас от всех остальных. Вы сидите, а они перед вами стоят! Учитель, когда разговаривает с учеником, тоже сидит, а ученик перед ним стоит.

— Но Дирдом считает, что сидячий дирижер пионерского хора — это для его Дома культуры не подойдет. И думаю, в данном случае можно с ним согласиться. Я и так невысок... А если сяду на стул, меня и вовсе не будет видно. Так что приходи теперь ко мне домой... Времени будет много — в шахматки сыграем.

— Но ведь вы можете выздороветь!

— Добрый мой мальчик... — сказал Виктор Макарович.

— Ведь есть же какие-то средства?

— Меньше стоять, не перегружать свои ноги... Перехожу на «сидячие игры». Пора уже: я ведь вошел в пенсионный возраст.

«Вбежал!» — захотелось мне поправить его. Потому что он всегда очень стремительно двигался.

— Как же... теперь? — спросил я.

— Будете «под управлением» Маргариты Васильевны. Она вас знает и любит.

— Маргариты Васильевны?! Но ведь она тоже... немолодая.

— Разве это заметно? — медленно и с удивлением спросил он. Я ничего не ответил. — Пусть она как дирижер проявит себя прямо на следующем отчетном концерте! В присутствии общественности и ваших родителей. Чтоб они были спокойны.

— Через неделю?

— А что же тянуть?

«Нет! Лучше он — сидящий, чем она — стоящая!» — твердо решил я в ту минуту.

Мои родители были потрясены этой новостью не меньше, чем я.

— Он не должен уйти: он же талант! — тихо воскликнул папа.

— Неужели ничего нельзя придумать? — сказала мама. И выпрямилась.

Когда она произносит эту фразу, мы с отцом сразу начинаем верить, что выход найдется. Безвыходных ситуаций мама не признает.

— Я буду думать... — произнесла она.

— Очень прошу тебя, — сказал я.

— Надо доказать, что без него ваш хор петь не сможет! — решительно заявила мама.

Эта фраза натолкнула меня на неожиданную и смелую мысль. «Да, мы докажем, что без него петь невозможно! — решил я. — Пусть мама ищет свой выход из положения. Но и я не буду сидеть сложа руки!»

План, который родился у меня в голове, я открыл участникам средней группы нашего хора. Средней группа была не по качеству, а по возрасту: в нее входили ребята, которые учились в четвертых, пятых и шестых классах. С представителями этого возраста договориться мне было легче всего. Младшие могли мой план не понять, а старшие — не принять.

Средняя группа, как я и предполагал, поняла меня сразу! Хотя план был рискованный и опасный...

Мама как-то сказала, что ребята в моем возрасте очень смелы, потому что у них нет опыта и они еще не успели набить себе шишек. Мама очень хочет, чтобы я учитывал ее опыт, ее ошибки. Но я все больше убеждаюсь в том, что на ее шишках мне трудно будет чему-нибудь научиться. «И вообще, — рассуждал я, — не очень-то получится благородно, если один будет набивать себе синяки, а другой на этих синяках... на чужом, значит, горе будет учиться!»

И вот наступило то самое воскресенье.

Взрослые собрались в фойе Дома культуры задолго до начала концерта... Родители и родственники наших хористов были очень возбуждены. Некоторые мамы целовались и неизвестно с чем поздравляли друг друга.

Пришли и бывшие участники нашего хора. Среди них, как успел сообщить Дирдом, были и такие, которые очень многого в жизни достигли! Ну, например, заслуженный артист республики, о котором однажды упоминал Виктор Макарович... Фамилия его была Наливин. Эту фамилию

знали все в нашем городе. И поэтому, когда Дирдом привел Наливина за кулисы, все очень переполошились.

Только Маргарита Васильевна встретила Наливина хмуро. Он торжественно, раскинув руки, поплыл ей навстречу. Но она увернулась, еле слышно пробормотав:

— Здравствуйте, Женя.

И после этого внятно произнесла:

— Уже был первый звонок!

Она, должно быть, боялась, что Наливин отвлечет нас от предстоящего выступления. «Хочет проявить себя!» — подумал я о Маргарите Васильевне.

Наливин был высоким и толстым. И было странно, что от его огромного тела отрывался и как бы журчал в воздухе тонкий женский голос. Когда он первый раз открыл рот, я даже вздрогнул и огляделся: мне показалось, что говорил кто-то другой.

— А где же наш бесценный Виктор Макарович? — спросил Наливин. И развел руки в стороны, готовясь обнять его.

— Он, вероятно, в зале, — скороговоркой сообщил Дирдом. — Сегодня будет дирижировать Маргарита Васильевна.

— Значит, мы с ним в антракте увидимся? — зажурчал голос Наливина. — Боюсь только, он опять будет журить меня, как в те невозвратные годы... — Певец обмерил взглядом свою фигуру. — Молодых влюбленных мне играть уже трудно: за кресло не спрячешься, с балкона не спрыгнешь!

Он снова обмерил себя осуждающим взглядом.

Я заметил, что есть люди, которые в шутку торопятся сказать о своих недостатках, опасаясь, что другие сделают это всерьез.

Наливин обращался сразу ко всему нашему хору. Он делал это очень легко: привык, наверно, делиться своими переживаниями с огромным залом театра оперы и балета!

— Напоминаю: уже был второй звонок! — деловито проходя мимо, произнесла Маргарита Васильевна.

— Но третий мы можем и оттянуть. Всё в нашей власти! — ответил ей вдогонку Дирдом.

— Ни в коем случае!.. — испуганно зажурчал Наливин. — Из-за меня?! Если Виктор Макарович узнает... Что же он не пришел за кулисы?

— В антракте увидите. В моем кабинете, — скороговоркой пообещал Дирдом.

Виктор Макарович сидел в девятом или десятом ряду. Я думаю, он хотел показать всем, что хор справится с программой без всякого воздействия с его стороны. Но я решил доказать нечто совершенно противоположное!

Вышел на сцену и, стараясь, чтобы лицо мое было как можно более открытым и приятным, сообщил, что концерт начинается, что дирижировать будет Маргарита Васильевна. Объявил название первой песни и фамилии ее авторов.

Маргарита Васильевна взмахнула руками и как бы дала сигнал: «На старт! Внимание... Марш!»

Младшая и старшая группы рванулись вперед. А средняя немного замешкалась на старте и вступила не вовремя. Зато в другом месте она, будто испугавшись и стремясь наверстать упущенное, начала чуть-чуть раньше, чем полагалось...

Я наблюдал за всем этим из-за кулис. Но Маргариту Васильевну я старался не замечать, чтобы не подпустить к себе чувство жалости.

Мой план начал осуществляться!

Потом я объявил второй номер. И опять вернулся на свой наблюдательный пункт.

На этот раз все началось благополучно. Средняя группа не отставала... Хоровое многоголосье разливалось по залу. Но когда Маргарита Васильевна дала знак к окончанию песни, средняя группа, внимательно смотревшая на нее, этого знака не заметила и продолжала тянуть... У песни как бы образовался хвост.

Когда я вернулся на свой наблюдательный пункт в третий раз, там уже был Виктор Макарович... Он опирался на палку, которую я увидел впервые, и, казалось, стал еще ниже ростом.

— Неужели я ничему не научил вас за все эти годы? — тихо спросил он.

— Вы-то нас научили! Но вот без вас...

Он перебил меня:

— В одной стране, мне рассказывали, есть такая традиция... Главного врача больницы обязательно отправляют в длительную командировку. И если без него все идет как при нем, он возвращается на прежнее место. А если хоть

что-нибудь ухудшается, его переводят в рядовые врачи. В ординаторы... Прекрасный обычай!

— Что вы хотите сказать?

— Я должен буду публично принести извинения залу, вашим родителям... Маргарите Васильевне...

Тут уж я перебил его:

— Ни за что! Я не пущу вас!

Третья песня подходила к концу... Я знал, что средняя группа готовила Маргарите Васильевне новый сюрприз.

— Одну минуточку!..— сказал я Виктору Макаровичу. И принял такую позу, чтобы средняя группа обратила на меня внимание. Но она готовилась... И на меня не глядела.

В следующее мгновение Виктор Макарович побледнел. И еще тяжелее оперся на палку, потому что на сцене успешно продолжал воплощаться мой замысел.

Я не знал, как поступить. Но, вероятно, мама права, когда отрицает безвыходные ситуации. Я вдруг придумал!

Третья песня уже закончилась. А я на сцене не появлялся... Я быстро царапал карандашом на газетном клочке: «Ребята! Кончайте!»

Когда я вышел на сцену, кто-то захлопал. Вероятно, нервы не выдержали долгого ожидания. Может быть, это были мои родители?..

— Уже поступают заявки... с мест! — объявил я так громко, как никогда еще не объявлял ни одного номера.— Я передаю эту просьбу хору. Она, конечно, будет исполнена!

На последних словах я сделал особое ударение. И передал записку... Но не Маргарите Васильевне, как полагалось, а своему однокласснику Лешке, который был моим главным союзником в средней группе.

Вернувшись за кулисы, я сказал Виктору Макаровичу:

— Теперь все будет в порядке.

Не поверив мне, он стал внимательно слушать и шевелить губами: весь наш репертуар он знал наизусть. Я тоже прислушался... Особенно к средней группе. Хотя можно было уже не волноваться: просьба друга была для Лешки законом!

— Что это значит? — спросил Виктор Макарович.

Мама просит меня не повторять в жизни ее ошибок. Я и не повторял... Я вообще не был уверен, ошибкой ли

был мой план. Просто я не мог допустить, чтобы Виктор Макарович... И шепотом все объяснил ему.

— Значит, это ты сделал? — медленно произнес он. — Мой добрый мальчик?

— Мы не хотели расставаться с вами!

В этот момент кончилась песня. Я вышел на сцену с лицом, которое, я думаю, было не таким открытым и приятным, как обычно. А когда вернулся за кулисы, Виктора Макаровича уже не было.

В антракте я помчался искать его. Но меня все время задерживали рукопожатия и похвалы. Почти все называли меня молодцом. Но у каждого это звучало по-своему... «Ты — молодец!» — восклицал один. «Ну, сегодня ты был молодцом!» — похлопывал меня по плечу второй. «Молодец-то ты молодец, но впереди еще целое отделение!» — предупреждал третий.

— Вам с Мандолиной, мне кажется, было трудней всего: вы оба солировали, — сказал папа. — И делали это вполне талантливо.

— Только не повторяй моей ошибки: не выкладывайся до конца на первой дистанции! — предупредила мама. — Ведь именно в конце второго отделения ты будешь пересказывать содержание зарубежных песен! Прошу тебя: постарайся оттенить специфику каждой страны... — Прижав мое ухо к своим губам, мама спросила: — А что это там происходило... вначале?

— Ничего не заметил! — ответил я.

— Значит, Маргарита Васильевна была права: у тебя не все благополучно со слухом и чувством ритма.

В фойе, в буфете и в зрительном зале Виктора Макаровича я не нашел... Зато я встретил Димулю. Он вытирал платком свою добрую круглую голову и что-то искал.

— Как бы мне позвонить... Римме? — спросил он.

— Телефон у директора!

— Прошлый раз я звонил оттуда. Но сейчас там...

— Автомат внизу, возле кассы! — перебил я. Потому что в эту минуту вспомнил, что Дирдом обещал Наливину встречу с Виктором Макаровичем у себя в кабинете.

Я помчался туда.

Наливина еще не было. Виктор Макарович, Маргарита Васильевна и Дирдом стояли посреди кабинета. Мужчины

нервничали, а Маргарита Васильевна только поправляла огромный пучок на затылке.

— Зайди, Миша, зайди,— позвал Виктор Макарович, когда я приоткрыл дверь. Кажется, впервые он не назвал меня Мишенькой.

Дирдом тоже, мне показалось, с нетерпением поджидал меня.

— Я убежден, что это безобразие вначале... произошло не случайно! — сказал Дирдом. — Это была попытка сорвать наш отчет. Ничего подобного раньше, до появления вашей... или вашего Мандолины не было! Говорят, он родную мать уложил в больницу. А теперь уложит наш хор!

— Володя тут ни при чем. Во всем виноват я...

Дирдом опять как бы проглотил стакан рыбьего жира:

— Ты?

Маргарита Васильевна так же неторопливо, как она приводила в порядок свой огромный пучок на затылке, произнесла:

— Зачем... чтобы кто-то брал на себя вину? Все было естественно: ребята не привыкли ко мне. Они волновались.

Я хотел возразить. Но Виктор Макарович удержал меня за руку.

В эту минуту из приемной донесся журчащий голос Наливина:

— Дирекция у себя?

Дирдом сразу же запил рыбий жир стаканом сладкого морса.

Прямо с порога Наливин обрушился на худенького Виктора Макаровича, накрыл его собой.

— Фотографа бы сюда! Фотографа!.. — сладким голосом воскликнул Дирдом.

Потом Наливин стал обнимать меня, потом Дирдома. Когда с объятиями было покончено, я заметил, что мы, мужчины, остались одни: Маргарита Васильевна незаметно ушла.

— Десятилетия промчались, как миг,— разводил руками Наливин. — И вот сегодня меня вернули в невозвратную пору детства. Только уже вот такого... — Он опять окинул себя критическим взглядом, как бы опережая в этом смысле Виктора Макаровича. — Поверьте, учитель, это не на почве

переедания, а от неправильного обмена веществ! За болезнь ведь не судят...

— Победителей вообще судить не положено, — сказал Виктор Макарович. — Я счастлив, что ты — знаменитый и заслуженно заслуженный!

— Но это и вами заслужено! — ответил Наливин. — Ведь это вы у меня обнаружили... — Он погладил себя по горлу. — Если б не вы!.. Вы первый услышали мою увертюру. Мою прелюдию... А сейчас уже опускается занавес.

— Ты сошел с ума! — весело воскликнул Виктор Макарович. — Карузо тоже был полным! А Джильи?

— Врачи советуют перейти на концерты. А может быть, на педагогическую работу.

— И у тебя тоже... врачи?

— Что день грядущий мне готовит? — пропел Наливин. Дирдом зааплодировал.

— Ну, голос твой абсолютно здоров! — обрадовался Виктор Макарович.

— Увы... Извечный конфликт между формой и содержанием. Хотя у вас никакого конфликта не происходит: вы — в образцовой форме. — Он с добродушной завистью оглядел худенького Виктора Макаровича. — Общение с ними не дает вам стареть! — Наливин ткнул пальцем в мою сторону. — А мне бы сейчас петь басом! Или, в крайнем случае, баритоном... — Оглядев себя, он вновь зажурчал: — Вас, учитель, сегодня не хватало на сцене! (Дирдом стал усиленно копать в бумагах.) Кстати, где наша бестрепетная Маргарита Васильевна? — Наливин оглядел кабинет.

— Она не виновата, — твердо сказал я. Виктор Макарович опять удержал меня за руку.

— Я всегда восхищался, учитель, что вы столько лет... среди этого бушующего океана! — Наливин указал на меня. — Я бы и дня не выдержал.

— Как же ты собираешься переходить на педагогическую работу?

— Буду учить вокалу. Только вокалу... А ваше призвание — весь их мир! — Наливин опять ткнул в меня пухлым пальцем.

Дирдом совсем зарылся в бумаги. «Есть люди, которые воспринимают чужой успех, как большое личное горе!» — как-то сказала мама. Не знаю, был ли Дирдом таким чело-

веком, но авторитет и успехи Виктора Макаровича его раздражали. Я давно уж заметил.

— И вдруг сегодня вы покинули пост,— продолжал Наливин.— Почему?

— Ноги, Женечка... Все тот же неправильный обмен, который производит время: здоровья на нездоровье. И мне тоже придется поискать новое место в жизни.

— Оно только здесь, в этом Доме! — уверенно заявил Наливин.— Среди них! — В который уж раз он ткнул в меня пальцем.— Без вас Дом культуры утратит первое слово в своем имени: он перестанет быть д о м о м. По крайней мере, для н и х!

Тут я захлопал.

— Маргарита Васильевна по образованию дирижер. И педагог по призванию,— четко проговорил Виктор Макарович.— Я в какой-то степени преграждал ей путь... Теперь она быстро найдет с ними общий язык! — Он тоже указал на меня.

Я напоминал самому себе экспонат, который принесли на урок или на лекцию.

— У нее есть этот талант,— уверенно закончил Виктор Макарович.

— А у меня нет! — признался Наливин.— Но она не будет играть с ними в чехарду, показывать фокусы... Помните, как я через вас перепрыгивал?

6

Часа через полтора мы с Виктором Макаровичем, как всегда не торопясь, возвращались домой. Мои родители не сочли возможным разлучить нас в такой вечер и ушли после концерта с Димулей и Мандолиной.

— Мы хотели, чтобы все было, как прежде,— объяснял я по дороге Виктору Макаровичу.— Чтобы вы остались главным дирижером — сидящим или стоящим... Мы только этого и хотели!

— Во-первых, есть средства, которые могут убить благородную цель... — медленно произнес Виктор Макарович.— Это ты запомни на всю свою жизнь. Чтобы когда-нибудь тебе не сказали, что «благими намерениями дорога в ад вымощена». А во-вторых... — Он так понизил голос, что я

еле расслышал: — Во-вторых, я любил Маргариту Васильевну.

— Ее?! — Я остановился от неожиданности. — Наверно... давным-давно? Когда вы еще молодым были?

— Неважно, когда это было. Важно, что было.

— И прошло?

— Прошло — не значит кануло, Мишенька. Это во-первых. А во-вторых... Что-то я сегодня все раскладываю по полочкам? Видимо, потому, что ты задаешь слишком много вопросов.

И все-таки я осмелился прошептать:

— А почему вы на ней... не женились?

— Это сделали до меня.

— А она... вас?..

— Она любила со мной работать. И, если говорить словами Дирдома, не думала о своем собственном творческом лице. Теперь наконец... Это в какой-то степени было моим долгом.

— Может быть, вы уходите из-за этого?!

— Из-за «неправильного обмена»... Но нет худа без добра, как говорят. Пойми: она была в моей жизни целой эпохой. Ты скажешь: прошлой эпохой. Но прошлое и забытое — разные вещи. Вообще помнить всегда лучше, чем забывать, Мишенька. Плохое иногда еще можно вычеркнуть. Но хорошее... — Он помолчал, потер ногу. — Тот, кто не помнит вчерашнего, тот и сегодняшнее забудет... А на самом деле позавчера и послезавтра в жизни неразделимы!

Виктор Макарович заметно устал. Но, мне показалось, не оттого, что у него были больные ноги, а от своих мыслей. Мы с ним присели.

— Если из книги, Мишенька, выбрасывать прочитанные страницы и главы, вся книга рассыплется. Впрочем, вернемся к Дому культуры... — сказал он. А сам вернулся к Маргарите Васильевне: — Сколько черновой работы она брала на себя! А лавры в основном доставались хору и мне. Говорят, что в один из самых страшных кругов ада... того самого, дорога к которому вымощена твоими рухнувшими намерениями, попадают «предатели своих благодетелей». То есть люди, не помнящие добра... Не будем принадлежать к их числу, Мишенька!

— Не будем!.. Я вот вас никогда не забуду!

— Спасибо тебе.. Память может продлить человеческую

жизнь. Ты понимаешь? Даже угасающую или давно угасшую...

Мы помолчали. Потом я сказал:

— А моя мама помнит все даты в жизни наших родственников и знакомых. И всех поздравляет. Я даже смеюсь над ней.

— А что тут смешного?

— Всё и всех помнить?.. Это надо иметь такой склад! — Я постучал пальцем по голове.

— Память — не склад и не хранилище, — возразил Виктор Макарович. — Это — святилище... Прости за громкое слово.

Мы еще помолчали.

— Хорошо, что Дирдом ничего об этом не знает, — сказал я. — А то бы он не назначил Маргариту Васильевну дирижером... с таким удовольствием.

— Может быть.

— А детей у вас никогда не было? — спросил я.

— Я всю жизнь был таким многодетным отцом в нашем Доме культуры, что построить свой собственный дом... не успел как-то... А Маргарита Васильевна заплакала, когда узнала, что я должен уйти.

— Заплакала? Она?! Не представляю себе.

— Тем дороже для меня это событие!

Мы поднялись со скамейки и пошли дальше.

— Но вот кто мне поможет отыскать... как говорится, новое место в жизни? — ни к кому не обращаясь, сказал Виктор Макарович.

Как раз одна из замечательных особенностей моей мамы состоит в умении отыскивать то, чего другие найти уже не надеются: достать какое-нибудь редчайшее лекарство, или принести друзьям книгу, изданную лет сорок назад, или разыскать боярские костюмы для самодеятельного спектакля, хотя спектакли про бояр в городе вообще никогда не шли. Она может починить пробки вечером, когда уже все приготовились сидеть в темноте, потому что у монтера рабочий день кончился.

— Я нашла выход из положения! — через несколько дней сообщила мама.

Мы с папой притихли.

— Я вспомнила, что в Доме культуры «Горизонт» был детский ансамбль. В него входили и хор, и хореографическая труппа, и струнный оркестр. А в ансамбле, кроме дирижеров, балетмейстеров и прочих, был еще и художественный руководитель. Он все объединял. Вы помните?

Мы с папой не помнили этого, потому что мама увлекалась в ту пору драматическим кружком и никакие другие самодеятельные коллективы нас тогда не интересовали.

Альбом «Мама в ролях» относился как раз к тому времени.

— Так вот... мы с Лукьяновым придумали, как учредить эту должность в нашем Доме культуры! Дирдом уже знает... Потому что должен подготовить кое-какие бумаги. Я и имя ансамблю придумала: «Взвейтесь кострами!..» Лукьянов одобрил. Конечно, не в имени дело. Надо пробить штатную единицу! Я объяснила Лукьянову, что это нужно «для дела». Он быстро изучил вопрос и сказал, что «практически это возможно». Художественный руководитель ансамбля «Взвейтесь кострами!..». Звучит, а? Ну-ка, Миша, выйди и объяви!

Я вышел на середину комнаты, сделал свое лицо открытым и приятным и произнес:

— Начинаем концерт ансамбля «Взвейтесь кострами!..». Художественный руководитель — Виктор Макарович Караваев! Дирижер — Маргарита Васильевна...

— Прозвучало очень эффектно, — сказала мама. — Да, Лукьянов у нас — голова! Сразу вошел в контакт с профсоюзами. Все поставил на деловую основу. Я думаю, дней через пятнадцать наш проект осуществится.

— Я был уверен, что мама отыщет выход, — сказал отец. — Если надо помочь, для нее не существует непреодолимых джунглей и лабиринтов!

Когда маме удастся в очередной раз «починить пробки» (так у нас дома называются все мамины действия, связанные с починкой, помощью и розысками), отец всегда выглядит именинником. Он бывает счастлив и оттого, что мама что-то исправила, кому-то помогла, но главным образом, мне кажется, оттого, что мама опять проявила себя одаренной натурой, чем он так гордится.

— Только не повторяй моей обычной ошибки: не рассказывай об этом Виктору Макаровичу раньше времени, — продолжала мама. — Ты знаешь, что я суеверна!

— А мне кажется, надо ему сказать,— возразил папа.— Пусть знает, что кто-то волнуется за него, хлопочет... Сам этот факт будет ему приятен. Для него важны не только результаты наших усилий, но и наши намерения. Он понимает, что результаты могут от нас не зависеть...

— Говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена! — сказал я.

— Это когда благие намерения осуществляются не благими средствами,— ответил отец.

— Как раз это и было...

— Когда? — удивился отец.

Я не ответил на его вопрос. Вместо этого я воскликнул:

— Сейчас же надо сообщить Виктору Макаровичу! Чтобы он не страдал ни одного лишнего часа. Мама с Лукьяновым своего добьются. Я абсолютно уверен!

— И я,— сказал папа.

Виктора Макаровича дома не оказалось. К двери была приколотая записка: «Я у Димули». Значит, он ждал кого-то...

Не кого-то, а только меня! Потому что только я знал, что Димулю зовут Димулей.

Я ринулся обратно к своему дому. Ведь Димуля, Римма и Мандолина жили в соседнем подъезде.

Дверь мне открыл Володька.

Он не упал в обморок от радости, что увидел меня. Он посмотрел так, будто я приходил к нему каждый день в это самое время. У меня же вид был, наверно, такой торжественный, я так горел нетерпением поскорей рассказать всем мамину новость, что Володька спросил:

— Что с тобой?

— Ничего... Сейчас узнаешь!

— Проходи,— сказал он.— Есть хочешь? — и пошел на кухню.

— Куда ты?! — воскликнул я.— Сначала послушай...

— Подожди немного. У меня пригорит...

Мандолина был хозяйственным парнем.

Перед первым отчетным концертом он очень волновался, конечно, но все же заметил, что у Лешки из средней группы на куртке оторвана пуговица.

— Хочешь пришью? — спросил он.

— А нитки с иголкой?

— Найдутся.

Оказалось, что у Маргариты Васильевны действительно есть и то и другое.

— А пуговица? — спросил Лешка.

— От заднего кармана брюк оторвем. Там никто не увидит.

Он оторвал и пришил.

Когда я сообщил об этом маме, она сказала:

— Значит, в будущей своей семье он будет играть те же две роли, которые я исполняю в нашей.

— Какие две? — спросил я.

— Мужчины и женщины!

Володька не любил восклицаний и суеты. Когда в день концерта его вызвали на «бис», он вышел так, будто ребята из нашей школы не надрывались и не выходили из себя от восторга. Казалось, он был наедине со своей мандолиной. Сел, снова склонился над ней, как над ребенком, и во второй раз заиграл «Дунайские волны».

Я, конечно, не сказал ему о том, что наша школа выполняла данное мне обещание. Он бы этого не простил...

Мне хотелось, чтобы в момент, когда я буду объявлять свою новость, все были в сборе. Поэтому я подождал в коридоре, пока Володька не появился с огромной кастрюлей в руках.

— Будем есть суп, — сказал он. — Есть хочешь?

— Сейчас вам будет не до еды. Не до супа! — сказал я.

Володька взглянул на меня с недоумением.

— Потерпи! Сейчас узнаешь! — сказал я. Хотя знал, что Мандолина был очень терпелив и мог ждать сколько угодно.

Мы вошли в комнату... Виктор Макарович и Димуля на диване играли в шахматы.

— Мишенька! — воскликнул Виктор Макарович. — Как раз я выигрываю.

— Хоть бы раз мне удалось не проиграть... — с досадой, поглаживая свою круглую голову, сказал Димуля.

— Сегодня мы все победили! — сказал я.

— Кого? — спросил Виктор Макарович.

— И ваш консилиум... И Дирдома!

— Что ты имеешь в виду?

— Будет создан ансамбль «Взвейтесь кострами!...». А у ансамбля будет художественный руководитель. Догадайтесь кто? На фотографии мы видим сейчас его спину! — Все

установились на фотографию. А я продолжал: — Художественный руководитель не должен сидеть и не должен стоять — он должен только руководить!

Володька поставил кастрюлю на стол так тяжело, что я понял: моя новость произвела на него впечатление.

— Осталось только выбить штатную единицу. Ее выбивают Лукьянов и моя мама. Так что можно не сомневаться!

Все молчали.

— А Маргарита Васильевна будет дирижировать... — сказал я.

И тут понял, что поговорка «Как гора с плеч» очень точная. Виктор Макарович встал, распрямился.

— Если так... — сказал он. — Если так...

И заходил по комнате. А я ходил за ним и объяснял, что, если Лукьянов и мама за что-нибудь берутся, можно быть абсолютно спокойным.

— Как это хорошо! Как хорошо!.. — повторял Димуля. — Значит, и Володя останется... А то директор говорит: «Когда исправишь тройки по математике, тогда и будешь играть...» А если он их никогда не исправит?

— Не в этом дело, — пробурчал Мандолина.

— Я твой отец... Я за тебя радуюсь... Надо Римме позвонить. Рассказать...

Он поднялся с дивана.

— Суп остынет, — остановил его Мандолина.

— Хозяйственный он у тебя! — похвалил Виктор Макарович. Ему хотелось говорить людям приятное.

— Если быть объективным... — начал Димуля.

Володька сразу отправился за чем-то на кухню.

— Очень заботливый! — повторил Виктор Макарович.

— Мать часто в больнице. Так что приходится...

— А вот пусть Римма... — начал я. И приостановился.

— ...Григорьевна, — подсказал мне Димуля.

— Пусть Римма Григорьевна расскажет этому вашему соседу... Сама пусть расскажет! Тогда все во дворе...

— Она говорила. А он в ответ: «Что же еще мать может сказать о своем сыне!» Даже вспомнил какую-то старую притчу. В ней сын, стараясь доказать одной жестокой девочке свою любовь, вырывает у матери из груди сердце. Бежит с ним, спотыкается, падает... А сердце спрашивает: «Мой сын, не больно ли тебе?»

— До чего же люди иногда умеют видеть в других только то, что хотят видеть! — сказал Виктор Макарович. — И статьи тянут себе на помощь и старые притчи...

— Я думаю, они просто не любят музыку. Мандолина их раздражает... Не Володька, а инструмент, — застенчиво согласился Димуля.

Он махнул рукой и ушел в коридор звонить по телефону.

Володька тут же вернулся. И разлил суп по тарелкам.

Когда человек волнуется, у него нет аппетита... Мандолине было неудобно напоминать нам, что суп стынет. А мы с Виктором Макаровичем стояли и смотрели на фотографию, на которой Дима и Римма пели.

— Почти для всех них это было вроде игры... — неожиданно сказал Виктор Макарович. — Но я всегда думал: человек, который любит песни, не может быть злым человеком. Это для меня было главным... Давайте-ка и мы устроим игру! Поскольку все хорошо, что хорошо кончается. Вот сейчас Димуля вернется, и тогда...

Димуля вернулся и сказал, что дежурная медсестра уже направилась к Римме в палату с радостным сообщением.

— Я предлагаю устроить концерт, — сказал Виктор Макарович. — И чтобы каждый исполнял привычную для него роль. Ты, Мишенька, объявишь. Я буду дирижировать, Димуля по старой памяти будет петь, а Володя — играть на мандолине... — Он обратился к Володьке и его отцу: — Вы ведь наверняка исполняли что-нибудь вместе?

— Было... — сознался Димуля. — Мы с Риммочкой в два голоса, а Володя аккомпанировал. Но так... для себя.

— Что же вы пели?

— Вспоминали репертуар нашего хора. Ну, вот гурилевский «Колокольчик», к примеру...

— Прекрасно! Володя, бери мандолину! (Володька взял.) Мишенька, на авансцену!

Второй раз в этот день мне предлагали вести себя дома, как на концерте.

«Доставлять радость одному человеку или целому залу — большой разницы нет. Была бы, Мишенька, радость... — объяснил мне как-то Виктор Макарович. — Настоящий артист никогда не откажется выступить из-за того, что

нет полного сбора. Даже если пришло всего несколько зрителей, он выйдет на сцену. Они же не виноваты!»

Передо мной были три зрителя и одновременно — три участника. Я сделал свое лицо еще более приятным и открытым, чем это было сегодня дома. И объявил:

— Композитор Гурилев... «Колокольчик»!

Виктор Макарович по-настоящему, как на концерте, взмахнул руками. Володька склонился над мандолиной и стал баюкать ее.

Димуля запел застенчивым, нежным голосом:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка...

Я переводил взгляд с фотографии на Димулю. Я люблю с помощью фотографий наблюдать, как с годами меняются лица людей. Но выражение лиц с годами почти не меняется. По крайней мере у Димули характер остался тот же...

7

После того как мне стало ясно, что Виктор Макарович никуда не уйдет, я полюбил Маргариту Васильевну. А она, мне кажется, полюбила меня. Потому что знала, что это моя мама вспомнила про Дом культуры «Горизонт», где был детский ансамбль и художественный руководитель.

Раньше я не очень хорошо представлял себе, как Маргарита Васильевна разговаривает на обычные человеческие темы. В моем присутствии она произносила лишь те фразы, которые имели непосредственное отношение к репетициям или концертам: «Мы можем начинать, Виктор Макарович?», «Ты, Миша, произносишь фамилию Мусоргский так, будто это твой товарищ по школе. Никакого благоговения... С гениями так обращаться нельзя!»

И вдруг она изредка начала улыбаться, чего я раньше почти никогда не видел. А один раз даже потрепала меня за волосы. Я наклонил голову, чтобы ей удобнее было трепать. Такое я получал удовольствие!

— А ловко ты это придумал — сорвать мой дебют! — сказала она. — Значит, ты любишь Виктора Макаровича?

— Мы все его любим, — ответил я и пристально на нее посмотрел. — А? Разве не так?..

Но она опять стала, как говорится, непроницаемой.

...В тот день у нас была репетиция концерта «Перелистаем страницы опер!..». Эту программу придумала Маргарита Васильевна. Наши ребята становились то крепостными девушками из «Евгения Онегина», то охотниками из оперы «Волшебный стрелок», то свитой грузинского князя из «Демона», то казаками из «Тихого Дона»...

Все эти песни наш хор исполнял и раньше, при Викторе Макаровиче. Но Маргарита Васильевна объединила их все в отдельную программу. И сочинила пояснительный текст, который я должен был произносить.

Маргарита Васильевна объясняла нам, что нет, по ее мнению, профессии «певец», а есть профессия «артист». Только артист обладает даром перевоплощения, которым все участники нашего хора обязательно должны обладать.

— Бывают не артисты, а исполнители арий. Вы не должны брать с них пример,— убеждала нас Маргарита Васильевна.

С тех пор как Виктор Макарович ушел из хора, она все время ссылалась на него, цитировала то, что он говорил тридцать лет назад, и двадцать лет назад, и совсем недавно.

— Представьте себе, что нас слушает Виктор Макарович! — восклицала она.

Ребята представляли себе это, и Маргарита Васильевна хвалила их:

— Вот так... Совсем другое дело. Вы чувствуете?

«Должно быть, раньше она просто не хотела отвлекать наше внимание от Виктора Макаровича,— думал я.— И поэтому вела себя незаметно. Выходит, он действительно чуть-чуть преграждал ей дорогу?»

Особое внимание Маргарита Васильевна уделяла средней группе. Она даже высказала мнение, что Лешка может иногда запевать.

— Вот видишь,— сказал я Лешке.— Как хорошо, что вы не вовремя вступали на отчетном концерте!..

— Сознаться, что ли? — ответил мне Лешка.

— Я уже сознался. Так что запевай абсолютно спокойно!

У нас с Маргаритой Васильевной было хорошее настроение: мы ждали художественного руководителя.

Маргарита Васильевна требовала, чтобы программа на репетиции выглядела точно так же, как на концерте. Поэтому я выходил на авансцену, объявлял номера и произ-

носил объяснительный текст. Когда я объявил «Ноченьку» из оперы Рубинштейна «Демон» и сказал все, что нужно было, о поэме Лермонтова, которая «легла в основу», в Малом зале появился Дирдом.

— Я пришел, чтобы сообщить вам наиприятнейшее известие! — начал он. Испугался, что мы не поняли, и пояснил: — Если перефразировать реплику городничего из комедии «Ревизор». — Потом он гордо оглядел нас всех: — Только что я подписал приказ о создании ансамбля «Взвейтесь кострами!..». Он органично включит в себя вас, всю нашу хореографию и оркестр.

— Ура! — крикнул я. Меня поддержала средняя группа.

— Вы на репетиции, — произнесла Маргарита Васильевна, взглянув на меня.

— Продолжайте работать, — сказал Дирдом. И удалился.

— Маргарита Васильевна, разрешите мне выйти, — сказал я.

— Но ведь репетиция не окончена.

— Я должен выйти. Простите, пожалуйста...

Она сделала вид, что очень удивлена.

Я вышел из Малого зала и помчался по коридору. Внизу, возле кассы, был автомат... Я должен был сообщить Виктору Макаровичу о том, что мы победили!

Пробегая мимо доски приказов, я притормозил, остановился...

В центре доски висел новенький приказ по Дому культуры. Он сообщал о том, что создается пионерский ансамбль «Взвейтесь кострами!..».

А во втором пункте было написано: «Художественным руководителем утвердить Евгения Аркадьевича Наливина, заслуженного артиста республики».

— Ты что, уснул? — спросила меня уборщица, подметавшая коридор.

Я десятый или двадцатый раз перечитывал второй пункт приказа. Нельзя сказать, что я не верил своим глазам... Я не верил тому, что это кто-то мог написать, кто-то напечатать на машинке и вывесить в коридоре.

«Как же так? — спрашивал я себя. — Как же так?!»

Я без разрешения вошел в кабинет. Дирдом разглядывал афиши, висевшие на стене.

— Художественным руководителем должен был быть Виктор Макарович... — сказал я. — Это ведь было решено!

— Кем решено? — спокойно спросил Дирдом.

— Об этом все знали. И мама и я...

— Вы с мамой? — рассмеялся Дирдом. — Вы назначили художественного руководителя? Исходя из чего?..

— Виктор Макарович всю свою жизнь... Он сорок лет...

— Стаж работы — это еще не все, — ответил Дирдом. — Исходить надо из интересов Дома культуры. Заслуженный артист, всему городу известный певец приходит к детям! Руководит нашим ансамблем!.. Неужели ты не понимаешь, как это прекрасно? Для афиши, для лица нашего Дома, для зрителей...

— Это невозможно, — сказал я.

— То есть как... невозможно? В коридоре висит приказ.

— А Наливин? Неужели он согласился?!

— Я ему объяснил. И он понял. В отличие от тебя... Искусство — жестокая вещь.

— Это вы — жестокая вещь! — сказал я.

Дирдом испугался. Наверно, у меня было такое лицо... Он ничего не ответил, не выгнал меня из комнаты.

— Но ведь Наливин сказал, что не хочет работать с детьми. Я сам слышал...

— Он пошутил. Кто же не любит детей? Ты пойми... Виктор Макарович — это пройденный этап. Будущее — за Наливиным!

— Потому что он — заслуженный?..

— Заслуженно заслуженный! Как сказал Виктор Макарович, которого я уважаю не меньше, чем ты. К тому же и молодой! Или, как говорят, перспективный. На таком и меня наш «костер» взойдется гораздо выше и ярче.

Очень довольный последней фразой, Дирдом как бы опять проглотил стакан сладкого морса и заулыбался.

— Но Наливин собирался идти туда, где учат... вокалу. Я сам слышал.

— На наше счастье, там не оказалось вакантного места!

— А Лукьянов?

— Откуда ты знаешь Лукьянова? — Дирдом внимательно взглянул на меня.

— И он согласился?

— Он всегда исходит из интересов дела. А откуда ты его знаешь?

Мне казалось, что ждать нельзя, что дорога каждая ми-

нута. Как будто речь шла о спасении тяжелобольного. «Надо разыскать маму и папу! Немедленно!..» — решил я. И выбежал из кабинета.

Бухгалтерия находилась на втором этаже управления строительства, а отец работал на третьем. Но я не только поэтому решил сперва побежать к маме. Просто я знал, что она-то уж не растеряется и найдет выход из положения. И потом... в трудные минуты мама всегда умеет взять себя в руки. «Собратся», как говорит отец.

«Этого не может быть! — рассуждал я сам с собой по дороге. — Мама придумала все это ради того, чтобы Виктор Макарович... не уходил, не расставался с нами. Разве сможет Наливин?.. Но он согласился! А Виктор Макарович обнаружил у него голос... Наливин сам говорил. Называл учителем... Он, должно быть, не знает, что в ад попадают «предатели своих благодетелей». Люди, не помнящие добра... Но не в этом дело! Надо исправить... Пока Виктор Макарович не узнал!»

Нужен был пропуск. Я стал звонить снизу... Но телефон бухгалтерии, конечно, был занят.

И вдруг я увидел маму. Она шла как ни в чем не бывало, держа в руках пачку бумаг.

— Что случилось? — спросила она, заранее беря себя в руки.

— Вывесили приказ! Его Дирдом написал... Художественным руководителем будет Наливин!

— Что? Что?!

— Наливин... Он согласился! Дирдом ему объяснил, что это хорошо для афиши. А Виктора Макаровича... мы обманули.

— Не повторяй моей обычной ошибки. Не паникуй раньше времени!

На самом деле мама никогда не впадает в панику. Просто в последнее время она все чаще стала приписывать себе то, чего я, по ее мнению, не должен был делать. Маме кажется, что до меня быстрее дойдет, если я буду знать, что она испытала эти ошибки на себе самой и сама убедилась в их ужасных последствиях.

— Надо идти к Лукьянову; — сказала мама. — У него совещание. Но это неважно. Пойдем... Ты скажешь свое мнение от имени хора!

— И папу захватим.

— Он разволнуется. А впрочем...

Отец переводил взгляд с мамы на меня, будто спрашивал: «Правда ли это?..»

— А Лукьянов разве не знал? — уже вслух спросил папа. — Ты не говорила ему о Викторе Макаровиче?

— Говорила... Но не акцентировала на этом. Я знаю Лукьянова. У него свои принципы. Ставку надо было выбивать не ради определенного человека, тем более пенсионного возраста, а ради дела. Но ведь другой кандидатуры и не было!

— Идем к нему! — решительно заявил отец. И пошел впереди, хотя обычно в таких случаях нас за собой ведет мама.

У Лукьянова шло совещание.

— Я загляну... — сказал папа.

Секретарша как бы защитилась от него обеими руками:

— Ну, это уж на вашу ответственность!

Через минуту Лукьянов вышел в приемную.

Как я и предполагал, он был высоким, стремительным. Лицо его было не просто приятным и открытым, как у меня на концертах, но еще и красивым. И мужественным.

— Что такое? — не здороваясь, спросил он.

— Надо вам рассказать... — начала мама.

— Это срочно?

— Да! — сказал я.

Он взглянул на меня с удивлением, но даже не спросил, кто я такой.

— Давайте!

Он распахнул дверь, которая была напротив его кабинета.

— В чем дело?

— Речь идет о художественном руководителе ансамбля, — сказала мама.

— Этот вопрос решен положительно.

— В том-то и дело, что нет!

— Как нет? Единица утверждена.

— Но персональное назначение... неверное, — продолжала мама. — Утвержден не Виктор Макарович, а другой человек.

— Ну, в такие детали я вникать не могу...

Тут произошло неожиданное: папа повысил голос.

— Нет, вы прекрасно знаете, что любой проект, любая машина состоит из деталей. И вы постоянно вникаете... Но и художественное произведение, и человеческая жизнь — все, все состоит из деталей!

— Директор Дома сообщил мне вчера, что Виктор Макарович сам решил отдохнуть. Что ему врачи запретили...

— Дебет с кредитом явно не сходятся! Он обманул вас, — сказала мама.

Отец передвинул письменный прибор на столе:

— Тот же самый директор Дома сказал, что Виктор Макарович — уже «пройденный этап». Это ваше любимое выражение. Но человек не может быть пройденным этапом! — Отец решительно вернул письменный прибор на прежнее место. — И вообще я должен сказать... Что значит «пройденный этап»? Наша с вами жизнь покоится на «пройденных этапах». Как на фундаменте! Не надо быть строителем, чтобы знать, что без фундамента здание рухнет.

Недавно я слышал что-то очень похожее. Но Виктор Макарович говорил о книге, а отец — о фундаменте. Потому что был инженером.

Лукьянов папу не узнавал.

— А я считал вас чересчур деликатным человеком. Это мне нравится!

Отца многие считают чересчур деликатным.

«Ты немного недопонимаешь», — говорит мне папа в тех случаях, когда я вообще ничего не понимаю. Например, если он помогает мне решать математические задачи. «Вот видишь, как у тебя все получилось!» — говорит он. А на самом деле все получилось не у меня, а у него. «Это не совсем так», — говорит папа, когда что-нибудь совсем уж не так.

Он умеет подсказать, вроде бы не подсказывая. Так бывает и с моими задачами, и со звонками Лукьянова.

— Вот видите, как вы отлично придумали! — говорит он Лукьянову по телефону.

— Это же ты придумал, — возражает мама, когда папа вешает трубку.

— Он и без меня все это знал.

— Знал бы, так не звонил!..

И возражает папа людям так, что, кажется, он просто дополняет их собственные мысли.

А тут он почти кричал. И на кого? На Лукьянова!..

— Разве можно не ценить людей, которые уже сыграли свою роль, выполнили, так сказать, свою функцию? — продолжал папа. — Так, простите, и мать с отцом недолго вычеркнуть из памяти. Они ведь тоже выполнили свои функции: родили нас, подняли на ноги. Оглянуться назад — во все не значит отступить! (Лукьянов продолжал не узнавать его.) А Виктор Макарович мог бы еще долгие годы исполнять свою роль. Назвать его «пройденным этапом»?!

— Это не я назвал, а директор Дома культуры.

Лукьянов оправдывался перед отцом!

— Виктора Макаровича я давно знаю, — сказал он, — очень давно! Я пел у него в хоре.

— Вы... пели? — переспросила мама.

— Недолго. Певцом я не стал. Так что практически это не имело значения.

— Это не могло не иметь значения, — сказал папа. — Не надо делать вид, что мы появились на свет такими же, какие мы с вами сейчас. Все имело значение! Мы часто слышим: «Никто не забыт и ничто не забыто!» Разве это должно относиться только к военным подвигам? По-моему, ко всему доброму, что делают люди... Я это давно вам хотел сказать.

— Вот и сказали, — ответил Лукьянов.

— Но как же, если вы пели... можно было не позвонить Виктору Макаровичу? Не проверить?.. — спросил отец.

— Вы знаете, какие сейчас напряженные дни! — ответил Лукьянов. — У меня на календаре... там, в кабинете, записано: «Позвонить Караваеву». Хотел узнать о здоровье. В таком вот плане. Потому что директор Дома меня заверил... — Лукьянов зашагал по комнате. — Давно я не видел Виктора Макаровича. Должно быть, лет двадцать. В Дом культуры хожу главным образом на совещания. Времени нет. К сожалению... — Лукьянов остановился. — А он-то что же, не мог о себе напомнить?

— Неудобно, наверно... напоминать, — сказала мама.

— У меня тоже одна голова! И в ней иногда не хватает места...

— Сердце в этом смысле гораздо вместительней, — уверенно сказал папа.

— Да, понимаю. — Лукьянов сел за стол, на котором стояли разноцветные телефоны. Он уже не был таким напряженным, стремительным. И хотя в кабинете у него шло

совещание, он как будто не торопился.— Нехорошо получилось...

— Дирдом во всем виноват! — сказал я.

— Кто?

— Директор...

— Дирдом? — Лукьянов громко захохотал.— Это мне нравится! Очень подходит... Я думаю, еще не поздно переиграть!

Лукьянов нажал на кнопку. Вошла секретарша, и он сказал, чтобы она соединила его с Дирдомом.

Я думал, что Лукьянов будет кричать на Дирдома, стучать по столу. Но он не кричал.

Не поздоровавшись, он тихо и четко произнес:

— Вы ввели меня в заблуждение. Виктор Макарович мог остаться! (Дирдом что-то ответил.) Консилиум? (Дирдом опять что-то сказал.) Сейчас у меня нет времени. Потом я вникну во все детали. А пока отмените приказ... То есть как поздно?

Дирдом что-то объяснял.

Ничего больше не сказав ему, Лукьянов повесил трубку.

— В сегодняшней вечерней газете будет заметка: «Из театра — в самодеятельность. Заслуженный артист приходит к детям!» Или что-то в этом роде, — сообщил он. И взглянул на часы.— Уже пять... Газета печатается.

— Виктор Макарович говорил: «Я счастливый человек: никогда не расстаюсь с детством!» Теперь, значит, придется расстаться... — сказала мама.

— Ни в коем случае! — Лукьянов поднялся.— Мы найдем другое место.

— Другого места для него быть не может, — сказала мама.

— А не вернуть ли его на прежнюю должность?

— Дирижером? Там ведь Маргарита Васильевна... — осмелился возразить я.

— Она вернется на свое прежнее место.

— Виктор Макарович не согласится.

— Почему?

— Я вам не могу... объяснить...

Лукьянов почему-то поверил мне.

— Надо пораскинуть мозгами! — По примеру отца он чуть не смахнул на пол письменный прибор. И обратился к маме: — Вы зайдите ко мне завтра по этому вопросу.—

Потом обратился к отцу: — А вы зайдите сегодня. По поводу третьего цеха... Надо пораскинуть мозгами!

Он ушел к себе в кабинет, так и не поинтересовавшись, кто я такой. Может быть, он догадался?

— И все-таки я люблю его,— сказал папа.— Он — голова.

— А душа?..— тихо спросила мама.

— И душа есть. Только ей некогда себя проявлять...

8

Когда я вечером пришел к Виктору Макаровичу, он уже все знал.

— Откуда?..— спросил я.

— Мне позвонил Петя Лукьянов.

Своих бывших учеников он называл так же, как называл раньше, когда они были детьми.

— Но почему же вы не сказали нам, что Лукьянов пел у вас в хоре?!

— Он сам об этом никогда не вспоминал... Я думал, что эта страница биографии ему почему-либо неприятна.

— Неприятна? Ничего подобного! Просто он не стал певцом. Значит, практически это для него не имело значения!

— Он был очень способным мальчиком. Не у меня... А потом. Побеждал на математических олимпиадах. Я на него не сержусь.

— А на этого певца?

— На Женю Наливина? — Виктор Макарович помолчал.— В ошибках учеников, вероятно, и учителя виноваты.

— Ну, уж нет! — возмутился я.— Только он виноват. Только он! И еще Дирдом...

— Хорошо, что Маргарита Васильевна дирижирует хором,— неожиданно сказал Виктор Макарович.— Она все сбережет... Я уверен.

— Сбережет! Она сбережет,— закричал я.— А с этим художественным руководством... Лукьянов сказал: «Нехорошо получилось». Он хотел все абсолютно переиграть. Но опоздал...

— Это было бы невозможно,— сказал Виктор Макарович.

— Почему?

— Ну, во-первых, Женя Наливин мой ученик. А во-вторых, победа за чужой счет... это почти поражение.— Он подошел к окну. Мне показалось, для того, чтобы скрыть от меня лицо.— Кажется, пора подводить итоги...

— Ни за что! — закричал я.— Ни за что... Лукьянов с мамой еще такое придумают! А вы пока отдохните... Вот если бы мне предложили сейчас отдохнуть, я был бы счастливейшим человеком! А помните, вы сочинили две песни? Они ведь имели огромный успех. Еще сочините!.. А мама напишет текст. Она сейчас как раз в литературном кружке!

— Добрый ты мой «объявляла»,— сказал он, не отрываясь от окна.

1973 г.

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!..



1. НЕ МОЕ ДЕЛО

Я учусь в той же школе, где когда-то учились мама и папа. Папу почему-то никто не запомнил. А маму запомнили многие. «У нее были прекрасные внешние данные!» — сказала как-то учительница литературы, которая заодно руководит у нас драматическим кружком. И придирчиво оглядела меня. Это было бы еще ничего: за «внешние данные» пока что отметок не ставят. Но оказалось, что и внутренние данные у мамы тоже были гораздо лучше, чем у меня. К примеру, все помнили, что мама никогда не гоняла клюшкой консервные банки и не любила играть в «расшибалочку».

Больше я не знал никаких подробностей о мамином прошлом. Но вот однажды бабушка, которая пришла помочь маме по хозяйству, сказала:

— А Сережа-то стал лауреатом Всероссийского конкурса!

— Какой Сережа? — спросил я.

— Сережа Потапов. Его знают все культурные люди!

— Первый раз слышу. А кто это? — сказал я.

И вдруг заметил, что папа взглянул на меня с любовью. А верней сказать, с благодарностью. Я ничего не понял...

И только потом на кухне бабушка объяснила мне, что Сережа Потапов учился когда-то в школе для музыкально одаренных детей и мама любила его, когда была в пятом классе.

Музыкальная школа находится прямо напротив нашей, через дорогу. Если из нашей школы выходит ученик, то трудно сразу определить, одаренный он или неодаренный. А если из дверей школы, которая через дорогу, тут уж сразу ясно: идет одаренный!

Мы выходим из своей школы с портфелями, а музыкально одаренные — с футлярами. Сначала Сережа Потапов привлек мамино внимание тем, что его футляр был больше, чем у других, потому что он играл на виолончели. А потом, уже в пятом классе, она его полюбила. Мама, наверное, тоже была одаренной, потому что я вот хоть и учусь в шестом классе, но еще ни разу никого не любил.

— Да, Сережа далеко шагнул! — сказала за ужином бабушка.

И папа закурил в комнате, хотя обычно выходил для этого в коридор или на кухню.

— Ну что ты?! Это такое далекое прошлое... Это глупое детство! — сказала мама. И рассмеялась. Ей было весело. А папа за весь вечер ни разу не улыбнулся.

— Далеко шагнул! Далеко!.. — повторила бабушка, убирая посуду.

Бабушка очень любила нас воспитывать. Но делала это как-то по-своему.

«А сын нашей соседки научился варить суп», — говорила она, и я должен был понять, что мне тоже не мешало бы этому научиться.

«А Коля, который вместе с тобой кончил медицинский институт, стал заведующим отделением», — сообщала она папе. И папа должен был сделать вывод, что ему тоже не мешало бы стать заведующим. «Да, Сережа далеко шагнул!» — эта фраза должна была подсказать папе, что и ему пора было уже куда-то шагнуть.

Два года назад мне удалили гланды. «Чепуховая операция!» — говорили все. Но я как-то этого не почувствовал... Хирург, который их удалял, казался мне удивительным человеком. Он причинял мне ужасную боль, и я должен был бы его ненавидеть, а я относился к нему прямо-таки, как говорят, с восхищением. Со страхом и восхищением! И трудно мне было представить, что он снимет свой белый халат, свои резиновые перчатки и станет таким же, как все. А может быть, даже пойдет в буфет...

Папа делает операции почти каждый день. И наверно, каждый день кто-то смотрит на него так же, как я смотрел на того хирурга.

— Тебе когда-нибудь делали операцию? — спросил я у бабушки.

Оказалось, что ей за шестьдесят лет не сделали ни одной операции! Разве она могла как следует оценить папу?

— Добиваются же люди таких успехов, как Сережа Потапов! — причитала бабушка, уже натягивая пальто.

— Вот когда у тебя опять будет приступ мигрени, — сказал я, — вызывай не врача, а этого своего... виолончелиста! Пусть он тебе поможет!

Перед самым сном я чистил зубы в ванной комнате и вдруг услышал, как мама сказала папе:

— Это смешно... — Ей все еще, в отличие от папы, хотелось смеяться. — Ну несерьезно, честное слово. Это же было в пятом классе!

— Началось в пятом... — тихо сказал папа. И я почувствовал, что рука его снова полезла в карман за папиросами.

Я, как говорят, содрогнулся.

Значит, только началось в пятом классе? Интересно, а в каком кончилось? Хорошо, если в шестом. А если в седьмом или даже в девятом?

«Ведь папа учился с мамой в одном классе, — рассуждал я. — А школа для одаренных, как и сейчас, была через дорогу. И папа, значит, был свидетелем их любви. Как же он, бедный, переживал! А если он и сейчас страдает?»

Надо было что-то предпринять. Но что? Разве я мог с кем-нибудь посоветоваться?

К примеру, если бы я посоветовался с бабушкой, она бы сказала: «А сын моей соседки никогда не вмешивается в дела старших!»

Может быть, это действительно было не мое дело? Может быть...

Через несколько дней, собираясь в школу, я услышал в программе передач, что Сергей Потапов будет выступать вечером по телевизору. К счастью, кроме меня, этого никто не услышал.

Вечером, за четверть часа до концерта лауреатов Всероссийского конкурса, я уселся делать уроки в той комнате, где стоит телевизор.

— Завтра контрольная! — сообщил я. И все стали передвигаться на цыпочках.

Еще через неделю я обнаружил, что Сергей Потапов собирается выступать по радио. За пятнадцать минут до его выступления я разложил тетради на кухне, где у нас стоит радиоприемник.

— Завтра снова контрольная! — сказал я.

И приемник молчал весь вечер.

Но Сергей Потапов продолжал преследовать нашу семью!

Как-то, возвращаясь из кино, я увидел афишу с его портретом на том самом месте, где мама и папа каждое утро садились на трамвай. Сперва я хотел сорвать афишу и уничтожить ее. Подходил, примерялся, прилаживался... Но все-таки не сорвал.

Вернувшись домой, я стал убеждать своих родителей, что ездить на троллейбусе гораздо удобнее, чем на трамвае.

— Но троллейбусная остановка далеко, — возразил папа.

Ах, если б он знал!

— Я проведу вас проходными дворами, и вы увидите, как это близко. Совсем рядом! — сказал я.

— В проходных дворах всегда бывает темно и опасно, — вмешалась бабушка. Как будто она нарочно хотела столкнуть маму лицом к лицу с ее прошлым!

Утром я повел маму и папу проходными дворами.

— Вот видите, как удобно, — говорил я. — Совсем близко! И вы садитесь на современный вид транспорта... Правда, не на метро, но по крайней мере и не на трамвай! И еще одно преимущество. Мы вместе идем почти до самой моей школы!

— Да, мы так мало видим тебя, что уже из-за одного

этого стоит... — согласилась мама. — Что же ты раньше нам не сказал?

Вообще-то мне не хотелось, чтобы мои родители каждое утро прямо у всех на глазах провожали меня, шестиклассника, в школу. Но теперь я был готов абсолютно на все! И я уводил их от афиши с портретом...

Конечно, мама могла увидеть эту афишу и где-нибудь в другом месте. Но тут уж я ничего поделать не мог!

Еще через несколько дней я сообщил:

— Мы писали сочинение на тему «Кем быть?». И представьте себе, почти все ребята хотят стать врачами! Почти все... Не летчиками, не водолазами... не виолончелистами, а врачами! Учительница сказала, что в этом нет ничего удивительного. Самая благородная профессия в мире! Хотят лечить, исцелять, спасать. Это естественно!

— Да, конечно, — сказала мама.

А папа с бабушкой промолчали.

Как-то в воскресенье я привел к нам домой своего приятеля Ваську-Паганини.

Паганини — это, конечно, прозвище. Васька играет на скрипке и учится в школе для одаренных.

— Ты любишь Святослава Рихтера? — спросил я у Васьки, когда вся наша семья была в сборе.

— Еще бы! — ответил Васька.

— А Софроницкого?

— Тоже люблю. Но он умер...

— А Сергея Рахманинова?

— Кто же его не любит?

— А Сергея Потапова?

— Не знаю такого...

— Ни разу не слышал? Подумай как следует! Вспомни...

— Нет, о нем я не слышал. А почему ты интересуешься именно этим... как его фамилия? Почему? — удивлялся Васька так естественно, будто мы с ним не репетировали эту сцену в ванной комнате пятнадцать минут назад.

— Ну уж если Паганини его не знает! — воскликнул я и обвел взглядом всех членов нашей семьи.

Но мамино прошлое не сдавалось, не отступало!

Однажды по почте пришли сразу две открытки из нашей школы. Я вообще не люблю, когда моим родителям из

школы присылают открытки. И как-то нечаянно прочитал... На этот раз речь шла не обо мне. Маму и папу приглашали на традиционный «объединенный» вечер выпускников сразу двух школ: нашей и музыкальной. Приглашали заранее, за неделю, и просили сообщить о вечере всем бывшим одноклассникам, о которых они что-нибудь знают.

Я сразу понял, что там будет присутствовать Сергей Потапов. «Вечер устраивают для того, чтобы доставить бывшим ученикам радость, — рассуждал я. — Но какую же радость испытает мой папа, если у мамы возникнут разные воспоминания? А они обязательно возникнут... хоть на минуту. И папа будет курить, не выходя в коридор...»

Я спрятал открытки. Сунул их в свой портфель.

Первое, что я увидел в школьном вестибюле, было огромное объявление о традиционном «объединенном» вечере. Внизу черным по белому было написано: «В художественной части примет участие лауреат Всероссийского конкурса С. Потапов».

«Так, понятно... — подумал я. — Значит, он будет у всех на глазах демонстрировать свое искусство. Ему будут аплодировать. А папа продемонстрировать свое искусство у всех на глазах не сумеет. Ведь не сможет же он прямо на сцене вырезать кому-нибудь аппендицит! Или, точнее сказать, аппендикс... Да, С. Потапов будет в гораздо более выгодном положении!»

Я раскрыл портфель и запрятал открытки поглубже.

На следующий день после традиционного вечера учительница литературы, которая так хорошо помнила о маминих внешних данных, спросила:

— А почему не было твоей мамы?

Спросила так, будто папы у меня вообще не было. Я вопросительно развел руки в стороны.

Я давно уже знал этот способ: когда не хочется врать, не хочется говорить «да» или «нет», надо вопросительно развести руки в стороны. Пусть думают что хотят!

В тот же день мама, вернувшись с работы, вошла в комнату прямо в пальто. Когда она так стремительно, не задерживаясь в коридоре, проходит в комнату, я знаю, что ничего хорошего ждать не следует.

— Нам с папой ничего не присылали из школы? — спросила она.

Я попытался неопределенно развести руки в стороны. Но она повторила:

— Нам ничего не присылали?

— Что-то, кажется, было, — ответил я.

— Как это «что-то»? Ты не помнишь, что именно?

— Ах да! Вспомнил! Вам прислали открытки. Я их по рассеянности сунул в портфель. В тот день была контрольная работа и я как-то...

— Что, у вас теперь каждый день контрольные работы?

— Не каждый день. Но довольно часто. А вот и эти открытки... Пожалуйста!

Я протянул маме открытки. Но она даже не взглянула на них. Она не могла оторвать глаз от меня!

— Что же ты натворил, если так боялся нашего появления в школе?!

— Ничего я не натворил. И не боялся. Я просто забыл, и все.

— Но ведь там, говорят, висело объявление!

— Я на него как-то не обратил внимания...

— Забыл! Не обратил внимания! Это хуже всего. Потому что говорит о твоём равнодушии. Оно меня убивает! Неужели ты не понимаешь, какое удовольствие доставила бы мне встреча с друзьями? Которых я не видела столько лет!..

Мама, не снимая пальто, даже не расстегнув его, тяжело опустилась на стул.

— Ну хорошо... Мне ты не пожелал доставить радость. Но подумал бы об отце! Неужели и он тебе безразличен?

Что я мог ей ответить?

К счастью, в этот момент в комнату вошла бабушка и сказала:

— А сын моей соседки опять получил пятерку. И научился варить компот!

2. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК

Иногда ночью раздаются необычные звонки — то слишком долгие, то слишком короткие. Это из других городов: бывшие папины пациенты или его бывшие товарищи

по институту. Папа разговаривает с ними так, будто никто у нас дома еще не ложился спать. Мама удивляется, а папа объясняет:

— Они знают, что именно в это время человека легче всего застать дома! Разве можно их осуждать?

Или:

— Разве можно их осуждать? Звонят издалека! Там уже утро. Их можно понять.

— Но пусть и они поймут, что у нас еще ночь,— отвечает мама.

«Разве можно осуждать?» — Папа часто повторяет эти слова.

— Тебе нужно было бы стать защитником,— как-то сказала мама.

— Это приятней, чем обвинителем.

— Смотря в каких случаях! — возразила мама.

И папа продолжал работать хирургом.

Иногда по ночам вслед за слишком длинными или слишком короткими звонками выясняется, что папин приятель собирается приехать в наш город.

— Вот и хорошо,— говорит в таких случаях папа.— Прямо с вокзала — к нам! У нас есть раскладушка.

— Хорошо, что только одна! — вздыхает мама.— Странные люди! Хотя бы для виду отказались. Хоть для приличия! Ведь есть же гостиницы...

— В гостиницу не попадешь,— отвечает папа.— Кроме того, каждому хочется побывать среди близких людей.

— Среди близких! Ты и в лицо-то его не помнишь.

Бабушка на следующий день начинает воспитывать папу. Но делает это, как обычно, по-своему.

— А муж моей соседки,— говорит она,— никогда не принимает серьезных решений, не посоветовавшись с женой.

И папа должен понять, что ему тоже не следует быть таким уж самостоятельным.

— А Петя, который был старше тебя всего на два курса, но уже стал профессором,— говорит бабушка,— с головой ушел в науку и не позволяет, чтобы ему мешали посторонние люди!

Отсюда папа должен сделать вывод, что если он не будет приглашать к нам своих приятелей из других городов, то вскоре тоже станет профессором.

...Когда опять раздались длинные, прерывистые звонки из другого города, мы все, конечно, проснулись, и мама сказала мне:

— Готовь раскладушку!

Она не ошиблась, потому что папа через минуту сказал в трубку:

— Ну что за вопрос?! Пусть приезжает... Остановится прямо у нас. Я покажу его специалистам. Устроим консилиум! Если понадобится...— А положив трубку, объяснил маме: — У ее сына что-то серьезное...

— А до их города медицина не добралась?

— Это маленький городок. Там нет крупных специалистов.

— Обязательно нужны крупные?

— Вот если бы он заболел,— папа кивнул в мою сторону,— разве ты не подняла бы тревогу? Она плакала в трубку: «Посмотрите моего мальчика...» Разве можно ее осуждать?

Мама вздохнула и ничего не ответила.

Утром она спросила:

— А кто эта женщина... которая звонила тебе?

— Дальняя родственница.

— Очень дальняя?

— Кажется, очень.

— Но кем она все же тебе приходится?

Папа думал в течение всего завтрака, но так и не вспомнил.

— Знаю только, что... по отцовской линии,— сказал он.— Впрочем, какое это имеет значение... если ее мальчик серьезно болен?

Мальчик приехал через три дня. Это был мужчина лет тридцати.

— Я буду называть вас по имени-отчеству,— сказал он,— потому что мать никак не могла вспомнить, кем мы друг другу приходимся.

— Какое совпадение! Мы тоже не вспомнили,— сказала мама.

— Ну почему же? — возразил папа.— Кое-что мы все-таки установили. Я точно знаю, что это родство по отцовской линии.

— Понимаю,— сказал приезжий,— дальний родственник — это даже меньше, чем просто знакомый. Знакомого,

например, невозможно не знать в лицо. А дальнего родственника можно ни разу в жизни не увидеть и не услышать. Я бы, честно говоря, не отважился к вам вторгаться. Если бы они не сказали матери про этот свой «предполагаемый диагноз». Я должен немедленно доказать ей, что «предполагаемый диагноз» предположили напрасно.

— А что у вас... предполагают? — спросила мама. — Какую болезнь?

— Ту самую! — ответил приезжий, которого звали редким именем Игнатий.

— Какую... «ту самую»? — не поняла мама.

— Ну, которая неизвестно от чего начинается, но зато известно, чем чаще всего кончается.

— Почему «чаще всего»? — возразила бабушка. — В этой области много открытий!

— Да, безусловно! — громко подтвердил папа. Хотя вообще говорил тихо, а когда бабушка начинала высказываться о медицине, почти всегда уходил курить в коридор. На этот раз он остался в комнате.

Бабушка за всю свою жизнь ничем, кроме мигрени, пока не болела, но очень боялась, как бы не заболел кто-нибудь из ее близких.

Она подробно изучала «Беседы врача», которые печатались в разных газетах. После этого в течение нескольких дней дома невозможно было закашляться или чихнуть.

«У тех, про кого я читала, тоже все началось с обыкновенного кашля», — говорила бабушка.

Игнатию же она сказала:

— Вы абсолютно не похожи на больного той болезнью, которую у вас ошибочно подозревают. Трое моих знакомых были больны этим самым. Вы абсолютно на них не похожи. Кстати говоря, все они излечились. То есть им вырезали... И все замечательно!

— А откуда вы знаете о «предполагаемом диагнозе»? — спросил папа.

— Врачи как-то сразу забегали. Стали уверять, что нет ничего серьезного. Я не волновался, а они меня успокаивали. Потом я тайком заглянул в их бумаги. Но не испугался. Там рядом с диагнозом стоял большой знак вопроса. Ну, а если врачи ставят вопросительный знак, зачем же я сам буду ставить знак восклицательный? Но они матери

зачем-то сказали, Тут уж я разозлился! Зачем было ей говорить?

— Формально они были правы, — сказал папа. — Родственникам положено сообщать.

— Но они же не родственнице сообщили, а матери! — воскликнул Игнатий. — Поэтому я и приехал. Чтобы разубедить ее. Понимаете? И к вам вторгся. Но не волнуйтесь! Я могу спать на кухне. Или в коридоре на раскладушке.

— На раскладушке будет спать он... — сказала мама и кивнула в мою сторону. — А вы будете спать на кровати. Здесь, в этой комнате.

— Только не заботьтесь обо мне, а то я буду считать, что диагноз уже подтвердился, — сказал Игнатий. — Понимаете, — продолжал он, — мать одна тянула меня... без отца. Трудно ей приходилось. И мы все подсчитывали: «Еще два года в школе, потом пять лет в институте. Всего, значит, семь!» Потом сбавляли по годiku. Наконец я институт окончил, начал работать, и вдруг... Разве это возможно? Мать ждала столько лет! Наконец дождалась, а я ей такой подарок... Это была бы жуткая неблагодарность с моей стороны! Скорей бы дать ей телеграмму: «Доброкачественно! Вылетаю!»

— Она телеграмме не поверит, — сказала мама.

— Я поклялся, что сообщу чистую правду. Есть у нее эта слабость... Любит клятвы. Ну я, чуть что — клянусь своим здоровьем. А она: «Моим поклянись! Тогда не обманешь». Обычно я уклоняюсь. Но тут пошел ей навстречу.

На следующий день рано утром папа повел Игнатия в какой-то институт, а оттуда к себе в больницу.

— Вечером вы узнаете о результатах, — сказал нам папа.

— Нет, позвони мне на работу, — сказала мама. — Если я вдруг выйду из комнаты, передай: все хорошо.

— Или все плохо, — бодро сказал Игнатий.

— Это исключается! — воскликнула мама. — Я уверена...

— С любой болезнью можно бороться, — сказал папа.

— А победить? — спросил Игнатий.

— Разумеется... И победить! Мать, конечно, потеряла покой. И ждет клятв! Разве можно ее осуждать? Но вы, как мужчина, должны поверить: эту болезнь побеждают довольно часто.

— Но лучше все же обойтись без нее, — сказал Игнатий.

Он все время улыбался — и я понял, что он волнуется.

— Мне тоже сообщите, пожалуйста, — попросил я.

Папа кивнул.

После пятого урока у меня был фотокружок, но я не остался.

Бабушка обычно приходит помогать маме по вечерам. А тут пришла днем и стала вытирать тряпкой телефон, потом круглый столик, на котором он стоит. А потом все, что находится в коридоре возле столика.

Дома у бабушки нет телефона. И поэтому по вечерам, когда она приходит помогать маме по хозяйству, позвониться к нам невозможно. После каждого телефонного разговора бабушка сообщает, с кем она разговаривала. Такая у нее привычка. Чаще всего она говорит: «Это моя школьная подруга!» И непременно вздыхает. У нее так много школьных друзей, будто она недавно училась в десятом классе. А на самом деле она училась в гимназии.

Но в тот день бабушка никому не звонила. Она ждала. И я ждал.

Наконец мы дождались: позвонил папа. Обычно бабушка не любит, когда я вмешиваюсь в дела взрослых. Но тут она сама стала передавать мне каждую папину фразу:

— «Этого у Игнатия нет. Точно установили. Он болен серьезно. Надо делать сложную операцию. Но этого нет!» Слава богу! — сказала бабушка. Пошла в комнату и легла на диван. Вид у нее был очень усталый.

И я тоже как-то сразу устал...

Но когда через полчаса или минут через сорок раздались необычные звонки — слишком длинные и слишком короткие, я бросился в коридор и схватил трубку.

— Это городок, где живет Игнатий, — сообщил я бабушке. — Велели не вешать трубку и ждать. Я первый скажу его матери... Первый!

— А сын моей соседки никогда не перебегает дорогу старшим, — сказала бабушка.

Отсюда я должен был сделать вывод, что трубку надо отдать ей. Но я такого вывода не сделал. А она не встала с дивана, только вопросительно приподняла голову... Она уступила мне.

— Он будет жив и здоров! — крикнул я в трубку. —

Этого у него нет. Точно установили! Этого нет. Клянусь своим здоровьем! И вашим тоже!..

Мать Игнатия заплакала на другом конце провода.

В этот момент раздался голос телефонистки. Она хотела что-то сказать, но сказала только одно слово: «Вы...» — И замолчала, хотя междугородные телефонистки могут влезать в чужой разговор как хотят.

Мать Игнатия плакала.

Тогда я радостно заорал:

— Он серьезно болен! Ему будут делать сложную операцию! Но этого нет. Клянусь своим здоровьем. И вашим! Не волнуйтесь. Он будет жив и здоров!

В школе мы часто пишем сочинения на тему «Кем быть?».

Чтобы не повторяться, я один раз написал, что мне очень хочется стать геологом, в другой раз — что хочется стать биологом, а в третий — что космонавтом. Но на самом деле я еще не выбрал профессию.

В тот день мне тоже было неясно, кем я в будущем стану. «Но как это здорово, — думал я, — выйти из операционной или из рентгеновского кабинета, увидеть глаза матери, которые прямо остановились от страха и ожидания, устало так улыбнуться и тихо сказать: «Он будет жив... и здоров. Не волнуйтесь... Он будет жить!»

3. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Учительница Валентина Георгиевна сказала:

— Завтра наступают зимние каникулы. Я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень счастливым. Вас ждут выставки и музеи! Но будет и какой-нибудь самый счастливый день. Просто обязан быть! Вот о нем напишите домашнее сочинение. Лучшую работу я прочту вслух, всему классу! Итак: «Мой самый счастливый день!»

Я заметил: Валентина Георгиевна любит, чтобы мы в сочинениях обязательно писали о чем-нибудь самом: «Мой самый надежный друг», «Моя самая любимая книга», «Мой самый счастливый день».

А в ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю из-за чего, потому что Новый год они встречали где-то

у знакомых и вернулись домой очень поздно. А утром не разговаривали друг с другом...

Это хуже всего! Уж лучше бы пошумели, поспорили и помирились. А то ходят как-то особенно спокойно и разговаривают со мной как-то особенно тихо, будто ничего не случилось. Но я-то в таких случаях всегда чувствую: что-то случилось. А когда кончится то, что случилось, не поймешь. Они же друг с другом не разговаривают! Как во время болезни... Если вдруг поднимается температура, даже до сорока — это не так уж страшно: ее можно сбить лекарствами. И вообще мне кажется, чем выше температура, тем легче бывает определить болезнь. И вылечить... А вот когда однажды врач посмотрел на меня как-то очень задумчиво и сказал маме: «Температура-то у него нормальная...», мне сразу стало не по себе.

В общем, в первый день зимних каникул у нас дома было так спокойно и тихо, что мне расхотелось идти на елку.

Когда мама и папа ссорятся, я всегда очень переживаю. Хотя именно в эти дни я мог бы добиться от них всего, чего угодно! Стоило мне, к примеру, отказаться от елки, как папа сразу же предложил мне пойти в Планетарий. А мама сказала, что с удовольствием пошла бы со мной на каток. Они всегда в таких случаях стараются доказать, что их ссора никак не отразится на моем жизненном уровне. И что она вообще никакого отношения ко мне не имеет...

Но я очень переживал. Особенно мне стало грустно, когда за завтраком папа спросил меня:

— Не забыл ли ты поздравить маму с Новым годом?

А потом мама, не глядя в папину сторону, сказала:

— Принеси отцу газету. Я слышала: ее только что опустили в ящик.

Она называла папу «отцом» только в редчайших случаях. Это во-первых. А во-вторых, каждый из них опять убеждал меня: «Что бы там между нами ни произошло, это касается только нас!»

Но на самом деле это касалось и меня тоже. Даже очень касалось! И я отказался от Планетария. И на каток не пошел... «Пусть лучше не разлучаются. Не разъезжаются в разные стороны! — решил я. — Может быть, к вечеру все пройдет».

Но они так и не сказали друг другу ни слова!

Если бы бабушка пришла к нам, мама и папа, я думаю,

помирились бы: они не любили огорчать ее. Но бабушка уехала на десять дней в другой город, к одной из своих «школьных подруг».

Она почему-то всегда ездила к этой подруге в дни каникул, будто они обе до сих пор были школьницами и в другое время никак встретиться не могли.

Я старался не выпускать своих родителей из поля зрения ни на минуту. Как только они возвращались с работы, я сразу же обращался к ним с такими просьбами, которые заставляли их обоих быть дома и даже в одной комнате. А просьбы мои они выполняли беспрекословно. Они в этом прямо-таки соревновались друг с другом! И все время как бы тайком, незаметно поглаживали меня по голове. «Жалеют, сочувствуют... — думал я, — значит, происходит что-то серьезное!»

Учительница Валентина Георгиевна была уверена, что каждый день моих зимних каникул будет очень счастливым. Она сказала: «Я в этом не сомневаюсь!» Но прошло целых пять дней, а счастья все не было.

«Отвыкнул разговаривать друг с другом, — рассуждал я. — А потом...» Мне стало страшно. И я твердо решил помирить маму с папой.

Действовать надо было быстро, решительно. Но как?..

Я где-то читал или даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Конечно, доставить радость труднее, чем горе. Чтобы обрадовать человека, сделать его счастливым, надо потрудиться, поискать, постараться. А испортить настроение легче всего! Но не хочется... И я решил начать с радости.

Если бы я ходил в школу, то сделал бы невозможное: получил бы четверку по геометрии. Математичка говорит, что у меня нет никакого «пространственного представления», и даже написала об этом в письме, адресованном папе. А я вдруг приношу четверку! Мама с папой целуют меня, а потом и сами целуются...

Но это были мечты: никто еще не получал отметок во время каникул!

Какую же радость можно было доставить родителям в эти дни?

Я решил произвести дома уборку. Я долго возился с тряпками и со щетками. Но беда была в том, что мама накануне Нового года сама целый день убиралась. А когда

моешь уже вымытый пол и вытираешь тряпкой шкаф, на котором нет пыли, никто потом не замечает твоей работы. Мои родители, вернувшись вечером, обратили внимание не на то, что пол был весь чистый, а на то, что я был весь грязный.

— Делал уборку! — сообщил я.

— Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме, — сказал папа, не глядя в мамину сторону.

Мама поцеловала меня и погладила по голове, как какого-нибудь круглого сироту.

На следующий день я, хоть были каникулы, поднялся в семь утра, включил радио и стал делать гимнастику и обтирание, чего раньше не делал почти ни разу. Я топал по квартире, громко дышал и брызгался.

— Отцу тоже не мешало бы этим заняться, — сказала мама, не глядя на папу.

А папа погладил меня по шее... Я чуть не расплакался.

Одним словом, радость не объединяла их. Не примиряла... Они радовались как-то порознь, в одиночку.

И тогда я пошел на крайность: я решил объединить их при помощи горя!

Конечно, лучше всего было бы заболеть. Я готов был все каникулы пролежать в постели, метаться в бреду и глотать любые лекарства, лишь бы мои родители вновь заговорили друг с другом. И все было бы снова как прежде... Да, конечно, лучше всего было бы сделать вид, что я заболел — тяжело, почти неизлечимо. Но, к сожалению, на свете существовали градусники и врачи.

Оставалось только исчезнуть из дома, временно потеряться.

Вечером я сказал:

— Пойду к Могиле. По важному делу!

Могила — это прозвище моего приятеля Женьки. О чем бы Женька ни говорил, он всегда начинал так: «Дай слово, что никому не расскажешь!» Я давал. «Могила?» — «Могила!» — отвечал я.

И что бы ни рассказывали Женьке, он всегда уверял: «Никогда! Никому! Я — могила!» Он так долго всех в этом уверял, что его и прозвали Могилой.

В тот вечер мне нужен был человек, который умел хранить тайны!

— Ты надолго? — спросил папа.

— Нет. Минут на двадцать. Не больше! — ответил я. И крепко поцеловал папу.

Потом я поцеловал маму так, будто отправлялся на фронт или на Северный полюс. Мама и папа переглянулись. Горе еще не пришло к ним. Пока была лишь тревога. Но они уже чуть-чуть сблизились. Я это почувствовал. И пошел к Женьке.

Когда я пришел к нему, вид у меня был такой, что он спросил:

— Ты убежал из дому?

— Да...

— Правильно! Давно пора! Можешь не волноваться: никто не узнает. Могила!

Женька понятия ни о чем не имел, но он очень любил, чтобы убегали, прятались и скрывались.

— Каждые пять минут ты будешь звонить моим родителям и говорить, что очень ждешь меня, а я еще не пришел... Понимаешь? Пока не почувствуешь, что они от волнения сходят с ума. Не в буквальном смысле, конечно...

— А зачем это? А?! Я — никому! Никогда! Могила!.. Ты знаешь...

Но разве я мог рассказать об этом даже Могиле?

Женька начал звонить. Подходили то мама, то папа — в зависимости от того, кто из них оказывался в коридоре, где на столике стоял наш телефон.

Но после пятого Женькиного звонка мама и папа уже не уходили из коридора.

А потом они сами стали звонить...

— Он еще не пришел? — спрашивала мама. — Не может быть! Значит, что-то случилось...

— Я тоже волнуюсь, — отвечал Женька. — Мы должны были встретиться по важному делу! Но, может быть, он все-таки жив?..

— По какому делу?

— Это секрет! Не могу сказать. Я поклялся. Но он очень спешил ко мне... Что-то случилось!

— Ты не переживай, — предупредил я Могилу. — У мамы голос дрожит?

— Дрожит.

— Очень дрожит?

— Пока что не очень. Но задрожит в полную силу! Можешь не сомневаться. Уж я-то...

— Ни в коем случае!

Мне было жалко маму и папу. Но я действовал ради высокой цели! Я спасал нашу семью. И нужно было переступить через жалость!

Меня хватило на час.

— Что она сказала? — спросил я у Женьки после очередного маминого звонка.

— «Мы сходим с ума»! — радостно сообщил Женька. Он был в восторге.

— Она сказала: «Мы сходим...»? Именно — мы? Ты это точно запомнил?

— Умереть мне на этом месте! Но надо их еще немного помучить, — сказал Женька. — Пусть позвонят в милицию, в морг...

— Ни за что!

Я помчался домой!..

Дверь я открыл своим ключом тихо, почти бесшумно. И на цыпочках вошел в коридор.

Папа и мама сидели по обе стороны телефона, бледные, измученные. И глядели друг другу в глаза... Они страдали в месте, вдвоем. Это было прекрасно!

Вдруг они вскочили... Стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга.

Это и был самый счастливый день моих зимних каникул.

От сердца у меня отлегло, и на завтра я сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я ходил в Третьяковскую галерею. Хоть на самом деле я был там полтора года назад.

4. ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ФЕВРАЛЯ

Говорят, что любовь облагораживает человека. С того дня, как я полюбил, мне все время приходилось кому-нибудь врать. Я делал это не нарочно. Просто мне задавали вопросы, на которые я не мог отвечать честно.

— Почему ты столько времени уделяешь прическе? И рубашки стал менять чуть ли не каждый день?

— У нас в школе работает санитарная комиссия.

— О чем ты все время думаешь? У тебя отсутствующие глаза. Из-за чего ты вздыхаешь?

— Из-за отметок... У меня появились двойки.

— Их же не было? Откуда они?

— Вот об этом как раз я и думаю.

Но на самом деле я думал о Лиле Тарасовой.

Она пришла к нам из другой школы. Помню, на большой перемене подбежал ко мне Владик Бабкин и таким безразличным-безразличным голосом говорит:

— Да, кстати... Ты новенькую видел?

— Какую новенькую?

— Тут одна... ученица. Рядом с тобой есть свободное место. Если она захочет на него сесть, ты скажи, что оно уже занято. Ладно? И пошли ее ко мне. Я тоже один сижу... Ладно?

— А зачем это?

— Я не могу объяснить... Но поверь — это важно!

Минут через пять новенькая подошла ко мне и сказала:

— Здесь свободное место?

Я посмотрел на нее — и на миг потерял сознание. По крайней мере, я совершенно забыл о Владике и о его просьбе.

— Можно, я сяду? — спросила она.

— Можно, — прошептал я. И на том же уроке схватил первую двойку. Я схватил ее потому, что очень хотел получить пятерку. Получить на глазах у Лили Тарасовой!

С тех пор я все время хотел, чтобы у нее на глазах со мной произошло что-нибудь необычайное или просто хорошее. Одним словом, хотел, как говорится, предстать перед ней в выгодном свете.

Но наконец я понял, что в таком свете я могу предстать перед ней только на катке. Потому что я хорошо катался! И я пригласил ее на каток.

Я где-то читал, что выдающийся человек всегда имеет «свое лицо».

Лиля ни в чем не была похожа на остальных! Портфель у нее был мягкий, вишневого цвета, с двумя золотыми замочками.

Тетрадки и книжки были обернуты в розовую бумагу с разводами, и не было на них ни одной кляксы и вообще ни одного пятнышка. Самописка была, как говорится, миниатюрная, карандаш с оранжевым ластиком на конце, блок-

нотик изящный, с календарем на обложке. А уж о глазах я и не говорю!

Лиля заглянула в этот самый блокнотик с календарем и сказала:

— Двадцать восьмое февраля — это суббота. Вот и прекрасно! Пойдем на каток в воскресенье — двадцать девятого.

— А почему так не скоро?

— Чтобы ты успел заслужить это право!

— Какое... право?

— Пойти со мной на каток! — Она взглянула мне прямо в глаза и спросила: — На что ты способен ради меня?

Я ответил:

— На все!

— Вот и прекрасно! Я буду тебя испытывать. Для начала выполни одну мою просьбу.

— Любую! — воскликнул я.

— Я раньше дружила с Вале́й. А потом мы поссорились. И у меня осталась Валина книжка. Я не хочу сама заходить...

— Понимаю! — воскликнул я. — Где живет Валя? Укажи только адрес. Я отнесу книгу, чего бы мне это ни стоило!

— Вот и прекрасно. Валя живет прямо подо мной, на втором этаже...

— А ты, значит, на третьем? — быстро сообразил я.

А еще я сразу сообразил, что увижу дом, в котором живет она, поднимусь по той самой лестнице, по которой каждый день ходит она...

Все это имело для меня очень большое значение! Такое большое, что я сначала поднялся на седьмой этаж, потом спустился на третий, постоял немного возле ее квартиры, вздохнул и спустился еще на один этаж...

Дверь мне открыл парень лет четырнадцати или пятнадцати. Я слышал, что внешность для мужчин не имеет большого значения. И все же сразу подумал о том, что парень этот выше меня и гораздо красивее. Мне стало грустно... Но я взял себя в руки и спросил:

— Валя дома? Мне нужно отдать ей книжку.

— Не ей, а ему! — сказал парень. И протянул руку.

Так, значит, это с ним она раньше дружила? Мне стало совсем тяжело.

— Ты что, ее паж? — спросил Валя.

Высокие и красивые люди могут задавать любые вопросы.

Я молча удалился к себе домой...

Я знал, что дома уже обо всем догадались. Бабушка старалась повлиять на меня. Но, как всегда, необычно, по-своему.

— А сын моей соседки, который учится в седьмом классе, решил сначала окончить школу, потом институт, потом прочно встать на ноги и только после этого думать обо всем остальном! — сообщила бабушка.

Отсюда я должен был сделать вывод, что и мне нужно пригласить Лилю Тарасову на каток после окончания института.

Маме бабушка в тот вечер сказала:

— Когда тебе в пятом классе понравился Сережа Потапов... это, я помню, помогло тебе стать отличницей. Это вдохновило тебя!

Я понял, что и мне не мешало бы стать круглым отличником.

На следующий день я получил по физике тройку с минусом.

— Не узнаю тебя! — сказала физичка.

Я и сам себя с трудом узнавал!

Мне нужно было с кем-нибудь посоветоваться. Я вспомнил о студенте-геологе Юре, который жил в соседнем подъезде. Его родители тоже были геологами и часто уезжали в командировку. Однажды, когда они уехали, Юра заболел чем-то серьезным.

Я, конечно, мог заразиться. Но, пренебрегая опасностью и возражениями бабушки, ухаживал за Юрой, бегал за лекарствами и даже один раз поставил ему горчичники.

— Если у тебя в жизни возникнет какая-нибудь трудность, приходи ко мне, — сказал Юра.

Я пришел и все ему рассказал. Он рассмеялся.

— Ну, брат, это не трудность! Ты в шестом классе? Помню, помню... Случалось! Но все это несерьезно. Ты же рисковал ради меня. И я хочу ответить тебе тем же самым! А тут и помогать нечего. Все само рассосется, рассеется. Как дым, как утренний туман...

Примерно через неделю Лиля сказала мне:

— Не хочешь ли подежурить в моем подъезде?

— Хочу! А что это значит?..

— Ну вдруг мне в чем-нибудь понадобится твоя помощь? А ты рядом, в подъезде...

— Я готов стоять там круглые сутки!

— Зачем же так много? Часа полтора или два в день. И хватит!

Она продолжала меня испытывать.

— Не бойся. Тебе там не будет скучно,— сказала Лиля.— Вместе с тобой будет дежурить и Владик Бабкин! Значит, и он тоже проходил испытания.

Мы с Владиком стали дежурить. Лилия спускалась сверху, и мы сопровождали ее в магазин или на рынок. Мы шли сзади и несли сумки. Она проходила через двор, где Валя со второго этажа как раз в это время играл в хоккей.

Он останавливался, махал клюшкой и обязательно как-нибудь нас с Владиком называл. То «почетным эскортом», то «прилипалами»...

Встречая нас в подъезде, он каждый раз спрашивал:

— Ну что? Заступили?..

Я все терпел. Я ждал двадцать девятое февраля!..

Один лектор, которого я слышал в парке культуры и отдыха, говорил, что если мальчишка моего возраста влюбится, то обязательно таскает за косы девочку, в которую он влюблен, или даже бьет ее.

Мне вовсе не хотелось таскать Лилию Тарасову за косы. Тем более, что кос у нее вообще не было. Мне очень хотелось пойти с ней на каток. И я ждал...

Однажды, спустившись сверху, Лилия сказала:

— А не кажется ли вам, что здесь, в подъезде, должен остаться кто-то один?

— Кто?! — спросил я.

— Вы должны решить это в честном бою. Как мужчины!

Владик подошел и стукнул меня по носу...

В один миг Лилия взлетела на второй этаж и закричала:

— Валя! Разними их! Они же убьют друг друга!

Валя неторопливо спустился, увидел мой нос и сказал:

— Ну вот, Лилия, из-за тебя уже пролилась кровь!

Он посмотрел на нее не то с уважением, не то даже как-то еще серьезнее...

Мой платок был в крови. Но я не замечал ни крови, ни боли, потому что все это произошло в субботу, двадцать восьмого февраля.

Вечером я позвонил Лиле Тарасовой и сказал:

— Сегодня двадцать восьмое! Значит, завтра двадцать девятое... Мы с тобой идем на каток!

— Ты ошибся,— ответила Лиля.— Завтра первое марта!

Я забыл... Я совсем забыл, что год этот не високосный и что нет в этом году двадцать девятого февраля.

— Я тоже забыла,— сказала Лиля и рассмеялась.

— Ну и что же?.. Но ведь завтра все равно воскресенье! — сказал я.— Двадцать девятое февраля или первое марта — какая же разница?

— Очень большая! — сказала Лиля.— Первое марта у меня уже занято. Я обещала пойти на каток...

— Кому? — перебил я.

В ответ она опять рассмеялась. А я, к сожалению, не смог ей ответить тем же.

На следующий день утром я спрятался за углом Лилиного дома и стал наблюдать.

Было холодно. Но мне было жарко...

Она вышла на улицу вместе с Вале́й, который жил на втором этаже.

Я так и думал! Он держал в руках две пары коньков — ее и свои. И смотрел на нее так же, как и вчера: не то с уважением, не то как-то иначе... А она улыбалась.

В ту минуту я понял, что любить нужно только того человека, который достоин любви!

Я понял это очень ясно и твердо... Но мне от этого было ничуть не легче.

Я пришел к студенту-геологу Юре и сказал:

— Ты просил, чтобы я... когда будет очень и очень трудно...

— Все то же самое?

— Да...

— Перестань! Это даже смешно. В твоём возрасте? Не-серьезно!

Но это было серьезно. Так серьезно, что на следующий день я опять схватил двойку. И не потому, что не выучил урока, а потому, что ни о чем другом не мог думать. Одним словом, плохо соображал...

5. КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?

Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом прямо. Но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, профессорами или в крайнем случае кандидатами медицинских наук. Бабушка всегда так громко радовалась успехам папиных друзей, что после этого в квартире становилось тихо и грустно. Мы понимали, что папа был «отстающим»...

— Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами. Ты им подсказывал на экзаменах! — воскликнула как-то бабушка.

— Они и сейчас приносят ему свои диссертации, — тихо сказала мама, не то гордясь папой, не то в чем-то его упрекая. — Они получают творческие отпуска для создания научных трудов! А он и в обычный отпуск уже три года не может собраться. Каждый день эта больница! Операции, операции... И больше ничего. Хоть бы на недельку взял бюллетень: заболел бы, отдохнул, что ли...

Вскоре мамино желание сбылось: папа заболел гриппом. Ему прописали лекарства.

— А еще, — сказал врач, — нужен покой, тишина...

Телефон у нас стал звонить каждые две минуты.

— Как его здоровье? Как он себя чувствует? — спрашивали незнакомые голоса.

Сперва меня это злило: папа не мог заснуть. И вечером я сказал маме, которая вернулась с работы:

— Звонили, наверно, раз двадцать!

— Сколько? — переспросила мама.

— Раз тридцать, — ответил я, потому что почувствовал вдруг, что мама как-то приятно удивлена. — Они мешают ему спать, — сказал я.

— Я понимаю. Но, значит, они волнуются?

— Еще как! Некоторые чуть не плакали... от волнения... Я их успокаивал!

— Когда это было? — поинтересовалась бабушка.

— Ты как раз ушла за лекарством. Или была на кухне... Точно не помню.

— Возможно... Звонков действительно было много, — сказала бабушка и с удивлением посмотрела на дверь комнаты, в которой лежал папа.

Она не ожидала, что будет столько звонков. Они обе не ожидали!..

«Как здорово, что папа заболел! — думал я. — Пусть узнают... И поймут. Особенно мама!» Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе волнуются совершенно посторонние люди.

— Однажды мне довелось ухаживать за студентом Юрой. Ну, который живет в соседнем подъезде... — сказал я. — Вы помните? (Мама и бабушка кивнули в ответ.) Он тоже был болен гриппом. И ему тоже звонили. Человека два или три в день. Не больше. А тут прямо нет отбоя!

В эту минуту опять зазвонил телефон.

— Простите меня, пожалуйста... — услышал я в трубке тихий, какой-то сдавленный женский голос. — Я с кем разговариваю?

— С его сыном!

— Очень приятно... Тогда вы поймете. У меня тоже есть сын. Его завтра должны оперировать. Но я хотела бы дождаться выздоровления вашего папы. Если это возможно... Попросите его, пожалуйста. Если возможно... У меня один сын. Я очень волнуюсь. Если это возможно. Я хотела, чтобы ваш папа сам, лично... Тогда я была бы спокойна!

— Повторите, пожалуйста, это его жене, — сказал я. — То есть моей маме... Я сейчас ее позову!

И позвал.

Еще через час или минут через сорок мужской голос из трубки спросил:

— С кем я имею честь?

— С его сыном!

— Отлично! Тогда вы не можете не понять. Моей супруге будут вырезать желчный пузырь. Обещали, что вырежет ваш отец. Именно поэтому я и положил ее в эту больницу. Хотя у меня были другие возможности! Мне обещали, что ваш отец... И вдруг такая неприятная неожиданность! Как же так? Надо поднять его на ноги! Может быть, нужны особые лекарства? Какие-нибудь дефицитные? Я бы мог... Одним словом, я хотел бы его дождаться. Это не театр: здесь дублеры меня не устраивают!..

— Скажите все это его жене. Вот так, как вы говорили мне... Слово в слово! Может быть, она сумеет помочь.

Я опять позвал маму.

В последующие дни я говорил всем, кто интересовался папиным самочувствием:

— Сейчас ничего определенного сказать не могу. Вы позвоните вечером. Как раз его жена будет дома! Она вам все объяснит...

Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика с телефоном и беспрерывно разговаривала с теми, кого я днем просил позвонить.

Иногда я говорил бабушке:

— Может быть, ты ей поможешь?

И она «подменяла» маму у столика в коридоре.

Больные, врачи, медсестры, которые звонили папе, каждый раз спрашивали:

— А какая температура?

К сожалению, температура у папы была невысокая. А мне хотелось, чтобы все продолжали волноваться о его здоровье!

Однажды я сказал:

— Температура? Не знаю... Разбил градусник. Но лоб очень горячий. И вообще мечется!

Так я в тот день стал отвечать всем. Я говорил шепотом в коридоре, чтобы папа не слышал.

Мой шепот на всех очень действовал. Мне отвечали тоже чуть слышно:

— Все еще плохо?

— Да... Позвоните попозже, когда будет его жена!

Вечером нам принесли целых три градусника.

— Хочется, чтобы у него была нормальная температура,— тихо сказала та самая женщина, сыну которой папа должен был что-то вырезать. И протянула мне градусник.— Он все еще мечется?..

— Нет, уже лучше,— сказал я.— Гораздо лучше. Не волнуйтесь, пожалуйста...

— Поставьте ему этот градусник,— попросила она. Будто от градусника что-то зависело.

— По-моему, есть заметное улучшение,— вновь успокоил я женщину.

Она вынула платок, опустила голову и ушла...

— Неужели вы думаете,— сказал я маме и бабушке,— что, если бы этот ваш... виолончелист заболел гриппом, ему бы столько звонили? И купили бы столько градусников?..

— Ну, что ты!.. Разве можно сравнить? — воскликнула бабушка. — Тут же речь идет о человеческих жизнях!

— Да, он нужен людям! — сказал я.

— Безусловно! — воскликнула мама.

Не заболел бы папа вирусным гриппом, она бы ни за что этого не воскликнула. То есть она произнесла бы, может быть, то же самое слово, но не так громко, не так уверенно.

Во всех газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно бороться. А я думал об этих вирусах с нежностью и даже с любовью... Что поделаешь? Если они мне так помогли!

В тот день я твердо решил, что если меня и дальше будут дома недооценивать, я тоже тяжело заболею. Хорошо было бы умереть... На время, чтобы все поняли, кого они потеряли! Но так как это, к сожалению, невозможно, я обязательно заболею! И весь наш класс (все сорок три человека!) будут звонить. Уж я постараюсь! Тогда все сразу поймут...

6. ЕГОРОВ

— Ты знаешь, я почти физически ощущаю страдания своих пациентов, — сказал мне однажды папа. Сказал тихо, чтобы мама и бабушка не слышали. Он даже тихо стесняется говорить им такие слова, потому что они кажутся ему слишком громкими. А может быть, он просто не хочет, чтобы мама знала, как часто он «физически» ощущает страдания.

А мне папа рассказывает обо всем! Даже о том, что всю жизнь, начиная с четвертого класса, он любит одну только маму.

— Некоторые приятели удивляются этому, — сказал как-то папа.

— Пусть удивляются! — сказал я. — Несчастные! Просто они никогда не встречали таких женщин, как мама...

В общем, от меня у папы не бывает секретов.

Мне кажется, что если когда-нибудь мне будут делать тяжелую операцию, я перенесу ее очень легко. Потому что обо всех тяжелых операциях, которые приходится делать папе, он мне подробно рассказывает, и я к ним как-то уже привык.

Ведь надо же ему с кем-то делиться! Женщин он не хочет расстраивать. А мужчина, кроме него, в доме только один. Это я!

Всех тяжелых больных я знаю по имени-отчеству. И родственников их знаю, потому что они без конца звонят нам по телефону. Папа им сообщает: «Сегодня мы вашего мужа начали поворачивать!», «Ваш сын научился ходить! Да, опять... И уже дошел до окна! Поздравляю!..»

— Можно подумать, что у вас в больнице нет справочного бюро, — сказала однажды бабушка.

— Близкие люди иногда переносят операцию трудней, чем сами больные, — ответил папа. — Ведь им не дают наркоза! Вот я и стараюсь хотя бы по телефону производить «обезболивание».

Папе всегда известно, где и кем работают его пациенты, о чем мечтают и сколько у них детей.

— Нельзя вторгаться в чужую жизнь, не зная ее! — говорил он. — Особенно так решительно, как делаем это мы, хирурги...

Папа всегда очень боится разволновать маму и бабушку. Поэтому, когда по утрам он весело и громко поет, я знаю, что на душе у него очень грустно. Или, вернее сказать, тревожно. Тогда я тихонько затаскиваю папу на кухню и спрашиваю:

— Что, сегодня тяжелая операция? Ты волнуешься?

— Легких операций не бывает, — почти всегда отвечает папа. А потом говорит: — Да, много отягощающих обстоятельств... — Или что-нибудь вроде этого.

Ну, я в ответ говорю, что верю в него, — на душе у папы сразу становится легче, и он перестает петь.

Днем я сообщаю бабушке:

— Надо узнать, как у Женьки дела с геометрией!

Набираю номер больницы и, когда папа подходит, спрашиваю:

— Ну как? Ты решил задачу?

Папа сразу меня понимает. Мы с ним вообще понимаем друг друга.

И когда вечером он приходит домой, я по его лицу точно угадываю — есть осложнения или нет, очень высокая температура или не очень...

Но однажды папино лицо было таким, что я ничего не понял. Папа был не грустным и не веселым. Он был ни-

каким. И походка была чужая. Верней сказать, и походки тоже никакой не было... Я испугался.

— Что-нибудь случилось? — прошептал я.

— Он умер, — ответил папа.

— Кто?

— Егоров... Иван Павлович.

Раньше я про Егорова ничего не слышал. И утром в тот день папа не волновался, не пел. Правда, мама с бабушкой уехали на три дня за город. Но все равно — я бы почувствовал!

— А сколько ему было лет?

— Ну да... Это первый вопрос в таких случаях. Какая разница, сколько лет! Он должен был жить.

— А что у него было... такое?

— Ничего особенного. В том-то и дело, что ничего особенного! Операция прошла хорошо. А потом... Как бы тебе объяснить? Образовался маленький сгусточек крови. Тромб.

— Значит, ты не виноват? (Папа взглянул на меня.) То есть я не это хотел сказать. Но ведь ты все сделал правильно!

— Он умер. А позавчера ко мне его мать приходила... Ты понимаешь?

— Значит, он молодой?

— Пятьдесят семь лет.

— И... мать?

— Ей семьдесят восемь. Но быстрая и глаза не усталые... «Хорошо, говорит, что жена Ванина в санатории, а дети ихние в других городах. А то испугались бы, когда ночью этот приступ случился!» А я еще пошутил: болезнь, говорю, на приступ пошла не страшная. Мы отобьемся!

— Она уже знает?..

— Я сказал ей, что операция будет дней через пять. Так меня Егоров просил. Чтобы не волновалась...

«Иван Павлович все-таки, значит, позаботился о наркозе для своей матери», — подумал я. И спросил:

— Что ж теперь будет?

— Теперь я пойду к ней. И сам все скажу.

— Я тоже пойду!

— Идем. Это недалеко. Во дворе кинотеатра «Заря»... Она мне сказала: «Когда Ваня придет домой, и вы приходите!..»

Я взял папу под руку. И повел его. Он не удивился, не

вырвался. Я, значит, был ему нужен! Или просто ему было тогда все равно.

— Она мне рассказывала о нем. Матери почти всегда делают это. Чтоб я полюбил их детей — и старался...

Папа говорил о Егорове так, будто тот был приблизительно в моем возрасте, а мать его была в возрасте моей мамы.

— Больше всего на свете матери боятся пережить своих сыновей, — сказал папа. — Они верят, что мы, врачи, этого не допустим. А тут, видишь, как получилось...

Я шел и думал: «Почему маленький сгусточек крови оказывается сильнее всех на свете? Почему жизнь человека должна зависеть от какого-то тоненького сосудика? Почему?» Когда я поделился этими мыслями с папой, он ответил:

— Мы вот и стараемся, чтоб не зависела!

Папа очень старается. Это я знаю...

— Скажи, пожалуйста: ты мог это предвидеть?

— Врач должен предвидеть все, — сердито ответил он. И все-таки я снова задал вопрос:

— А сделать так, чтобы этого не случилось... ты мог?

— Был обязан!

Я понял вдруг, что папа злится не на меня, а на себя самого. Этого я не мог допустить!

— Ты был обязан? Или ты мог? Скажи мне, пожалуйста...

— Ты никогда не станешь врачом, — сказал папа.

— Почему?

— Потому что все время думаешь обо мне. То есть и о себе! Вместо того, чтобы... Да ладно!.. — Папа махнул рукой.

— Должен же о тебе кто-то думать, раз ты сам о себе никогда не подумаешь, — повторил я фразу, которую не слышал от мамы.

Мы вошли во двор. И тут выяснилось, что папа не знает номера квартиры. Он помнил только про кинотеатр, а про номер забыл.

Полный седой мужчина поливал кусты и траву. По тому, как он держал в руках шланг, я сразу понял, что он не дворник, а поливает двор по собственному желанию. Мужчина заметил, что мы оглядываемся по сторонам.

— Вам кого?

— Где тут квартира Егорова? — спросил папа.

— А-а, сына ведете на исправление? — почему-то обрадовался мужчина. — У нас в доме как только парень споткнется, так его к Ивану Павловичу ведут. Имеет он к ним подход! А теперь, значит, из других домов потянулись?.. Он в первом подъезде живет. На втором этаже... Квартиру не помню! Но сейчас он в больнице. — Мужчина вздохнул. Вода из шланга лилась на один и тот же куст. — Без него вон ребята стол поломали... Стойку делали. Акробаты! Мы до его возвращения чинить не будем. Пусть они ему в глаза поглядят! При нем бы не поломали. Ни за что! Уважают... О цветах и кустах они будь здоров как заботятся! А почему? Иван Павлович посадил. И яблоня эта — его... Он в первом подъезде живет... А в какой квартире-то? — обратился он к женщине, которая тащила мимо нас сумки.

— Вы про кого?

— Про Егорова.

Женщина сразу опустила сумки на землю. Грустно так опустила, тяжело.

— Он в том подъезде живет! Седьмая квартира. Скорей бы уж возвращался! У меня сын к математике неспособный. Так он Ивана Павловича полюбил, а потом уж — из-за него! — математику. Четверки стал приносить. Я отсюда никуда не уеду. Пока сын не вырастет! Давайте я вас провожу. Мать его дома, наверно...

Мне было страшно, что папа скажет: «Ивана Павловича уже нет...» Но папа молчал. Наверно, он хотел хоть немного продлить жизнь Егорова для этих людей.

Мы пошли за соседкой. Я тащил одну ее сумку, а папа другую. Она все рассказывала:

— Тут из школы приятели приходили к сыну. Очень без Ивана Павловича соскучились. Я ведь тоже в школе училась. Помню... Когда у нас урок отменяли, мы от радости не знали куда деваться! А эти тоскуют. В больницу к нему собрались идти. Я здесь, на первом этаже... А вы поднимайтесь выше. Он там живет!

Не глядя, она ткнула пальцем в кнопку звонка. Дверь ей открыла соседка, ужасно какая-то недовольная и озабоченная.

— Что же вы ключи с собой не берете? От дел отрываете...

— Тут вот люди квартиру Ивана Павловича ищут,— зачем-то сообщила женщина с сумками.

Соседка заулыбалась, словно ей было стыдно перед людьми, которые ищут его квартиру.

— Иван Павлович над нами живет. Прямо над нами!

Мы стали подниматься... Медленно, будто считали ступени или были после какой-нибудь тяжелой болезни.

«Живет... Живет... Живет!..— стучало у меня в ушах.— Живет...»

7. «ВЗРОСЛЫЙ» ВЕЧЕР

Мне кажется, человека можно считать взрослым тогда, когда его вместо утренников начинают приглашать на вечера.

Однажды папа пригласил меня на праздничный вечер в больницу, то есть к себе на работу... Я согласился — и сразу почувствовал себя как-то уверенней и взрослее.

Прощаясь и внимательно оглядывая нас напоследок, мама и бабушка очень просили меня не говорить в больнице никаких глупостей и все время помнить о том, что я уже в шестом классе. Но если бы даже я и хотел об этом забыть, мне бы в тот вечер это не удалось, потому что каждый из папиных сослуживцев обязательно говорил:

— Ну, и в каком же мы классе?

— В шестом,— отвечал я.

— Не может быть!

Потом каждый обязательно обращался к папе и восклицал:

— У вас уже такой большой сын?! Трудно поверить... Хотя очень на вас похож. Очень!

Маме тоже всегда говорили, что я на нее очень похож. Поэтому я никак не мог составить о своей внешности какого-либо определенного мнения.

Мама была красивая, а о папе бабушка как-то сказала:

— Красавцем его, конечно, трудно назвать...

— И не называй, если тебе трудно! — ответил я.— Пожалуйста... Но его все равно любят!

— Я с этим не спору,— сказала бабушка.— Что ты разволновался? Внешность для мужчин вообще не имеет большого значения.

«Действительно, не имеет»,— думал я, видя, как все

женщины, которые были в зале, по очереди подходили к папе и, стараясь сделать ему приятное, говорили, что я на него очень похож.

На меня в тот вечер тоже все обращали внимание. И не только потому, что я пришел с папой... Учительница литературы часто просит, чтобы все мы, ее ученики, были по возможности «яркими индивидуальностями». В том зале, украшенном плакатами и цветами, мне первый раз в жизни удалось быть таким, каким хотела меня видеть наша учительница: ни одного шестиклассника, кроме меня, в зале не было. И поэтому я чувствовал себя вполне яркой индивидуальностью. Наконец все расселись... Я услышал свою фамилию и чуть было не вскочил, как на уроке. Но оказалось, что это папу избрали в президиум.

— Правильно... — сказала старушка, которая сидела рядом со мной. Лицо у нее было сердитое, глаза придирчивые. От таких людей особенно приятно бывает услышать какой-нибудь комплимент.

Другие, услышав нашу с папой фамилию, вслух ничего не высказали, но громко захлопали. И я понял, что они со старушкой вполне согласны.

«Как жаль, что мама и бабушка не видят всего этого! — думал я. — Конечно, я расскажу им... Но, во-первых, папа обязательно будет мне возражать. И даже если я стану что-то преуменьшать, он скажет, что я сильно преувеличиваю. А во-вторых, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это давно известно!»

Я первый раз в жизни слушал доклад! Он был коротким.

— Молодец! — с мрачным видом сказала старушка, сидевшая рядом. И кивнула в сторону трибуны, которую покидал докладчик: — Быстро управился.

А я бы мог слушать еще!

— Сейчас мы поговорим о лучших людях нашей больницы, — сказал председатель.

Все в зале притихли и слегка напряглись. Я тоже заволновался. Не за себя, конечно... За папу.

— Мы пригласили сюда наших бывших больных, — продолжал председатель. — Пусть они скажут...

Я пристально огляделся, но не смог отличить бывших больных от просто здоровых.

— А кто тут... болел? — тихо спросил я у сердитой старушки.

— Ты что, не поймешь?

— Не пойму...

— То-то и оно! — сказала она. Помолчала. А потом губы ее немного разжались: так она, наверное, улыбалась.

К трибуне зашагал огромный мужчина. Мне показалось, что здоровее его в зале не было ни одного человека.

— Это Андрюша... — сказала старушка. И опять по-своему улыбнулась.

В разных концах зала тоже зашептали:

— Андрюша... Андрюша...

— Его тут все знают? — спросил я старушку.

— А как же! Он был совсем слабый. Совсем...

Я тоже знал об этом бывшем папином пациенте.

«Если бы удалось поставить его на ноги! — говорил папа. — Если бы мне удалось!..» Ему удалось... Бывший больной стоял на ногах!

Трибуна была Андрюше по пояс. Он схватил ее обеими руками, словно хотел поднять и подбросить вверх.

— Я работаю! — заявил с трибуны Андрюша. — Я играю в хоккей! А потому, что есть на свете такие люди... Есть такой человек...

Я посмотрел в президиум и понял, о ком идет речь: папы не было видно. Он и раньше-то сидел там, на сцене, в самом последнем ряду, а теперь уж совсем пригнулся и скрылся за чьей-то спиной.

И еще двое бывших больных сказали, что с помощью папы они «второй раз родились». Я понимал, что им бы не хотелось больше рождаться с папиной помощью... Но все они смотрели на папу так, будто с ним были связаны какие-то очень хорошие, радостные воспоминания. А ведь он, между прочим, их оперировал...

Я сидел и делал разные фантастические предположения. «Вот если бы я учился на одних только пятерки — чего на самом деле никогда в жизни не будет! — и меня бы стали вдруг хвалить на школьном собрании, многим ребятам это бы не понравилось. Я уверен...» А тут все врачи, медсестры и нянечки так улыбались, словно их самих за что-то благодарили. «Почему? — думал я. — Наверное, потому, что они любят папу...» А потом был концерт. А потом были танцы... И снова к папе подходили женщины: они приглашали его танцевать. И я опять ужасно страдал оттого, что мама и бабушка не видят всего этого.

— Я не умею танцевать... — извинялся папа. — Пригласите лучше Андрюшу!

— К нему не пробьешься! — ответила папе молодая женщина в белом халате, которая в тот вечер, наверно, дежурила и забежала на минутку.

К Андрюше и правда было трудно пробиться. Он больше всех танцевал, громче всех смеялся и разговаривал. Словно хотел доказать самому себе, что может все это...

Папа не стал унижать меня: он ни разу не взглянул на часы, не сказал, что уже пора домой, потому, мол, что мне надо спать или делать уроки. Мы пошли в гардероб вместе со всеми.

Когда мы спустились вниз и папа уже протянул номерок, к нему вдруг подбежал запыхавшийся мужчина в белом халате и что-то шепнул на ухо.

— Проводите, пожалуйста, моего сына... — попросил папа не то Андрюшу, не то сердитую старушку, не то кого-то еще.

Все согласились меня провожать.

— Я останусь здесь... ненадолго, — проговорил папа и побежал вслед за мужчиной в белом халате.

— Зачем он... остался? — спросил я.

— Для своего дела, — ответила старушка с придирчивыми глазами.

— Для какого... дела?

— Спасать кого-нибудь будет...

Я шел по улицам, которые были совсем уже готовы к празднику, хотя до него оставалось еще целых три дня. Бывший папин больной, Андрюша, шел рядом. Он так радовался разноцветным огням, словно было время, когда он уже не надеялся их увидеть.

Подходя к нашему дому, Андрюша тоже не удержался и сказал:

— А ты похож на отца! Честное слово... Похож!

Сказал так, будто наградил меня.

А я в ту минуту подумал, что, наверное, похож на папу только с виду. Или, как говорится, внешне... «А чтобы быть на него похожим по-настоящему, — думал я, — мне еще надо... Ведь это не так легко — делать других счастливыми!»

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вадим Кожеников. Анатолий Алексин и его</i> книги	3
ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ (С «Юность» № 10, 1975 г.)	7
«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ» (С «Юность» № 6, 1976 г.)	37
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО...	67
ПОВЕСТЬ АЛИКА ДЕТКИНА (<i>Очень страшная</i> <i>история</i>)	106
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ	215
МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ	290
ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК	323
ПОЗАВЧЕРА И ПОСЛЕЗАВТРА	379
(С «Юность» № 4, 1974 г.)	
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!..	429

Для старшего возраста

Анатолий Георгиевич Алексин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

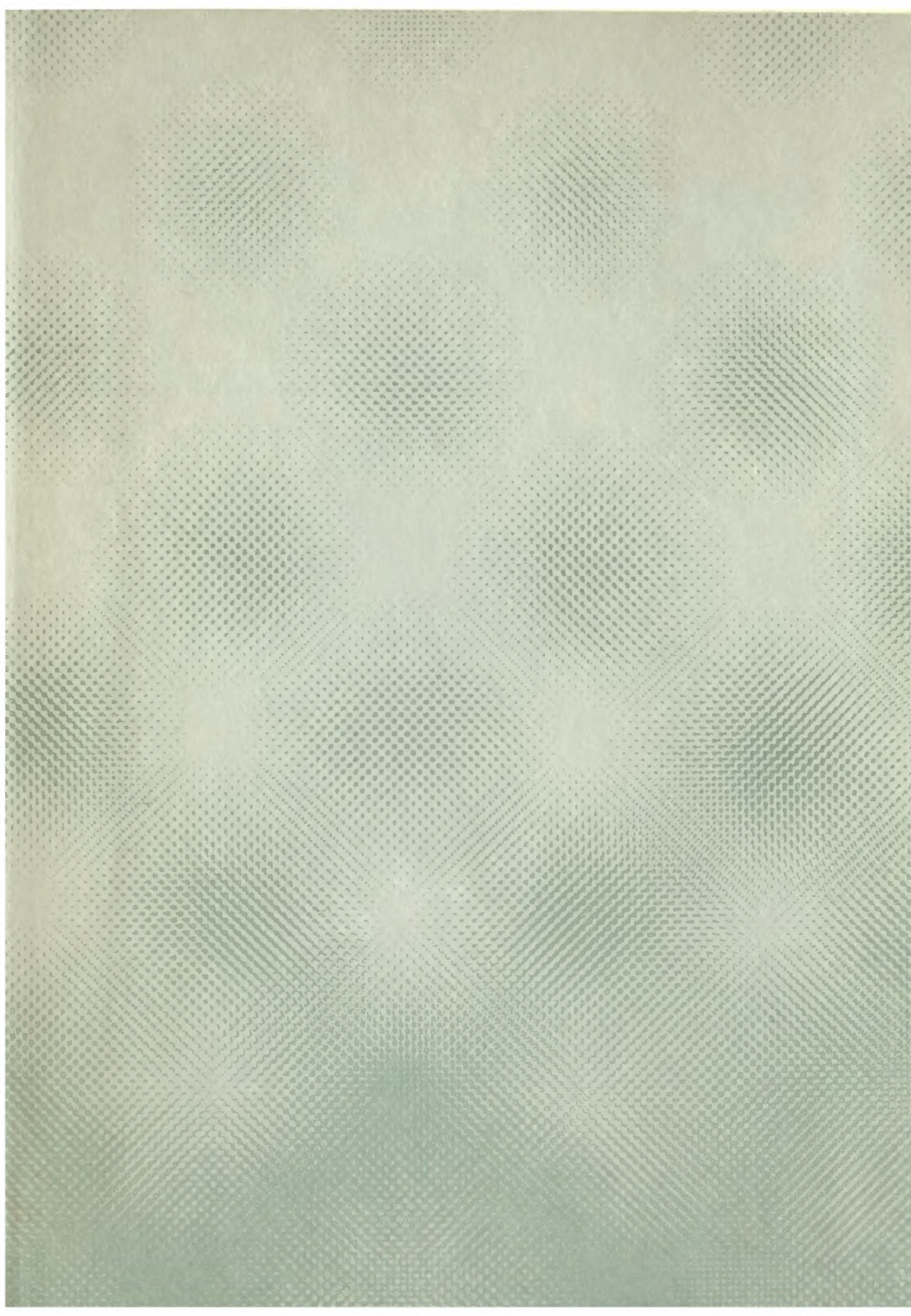
Т о м 1

П О В Е С Т И

ИБ № 3464

Ответственный редактор *Е. М. Подкопасва*. Художественный редактор *В. А. Горячева*. Технический редактор *И. П. Савенкова*. Корректоры *Л. И. Дмитриук* и *Н. А. Сафронова*. Сдано в набор 31/VII 1978 г. Подписано к печати 29/XII 1978 г. А14675. Формат 60×84^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Шрифт школьный. Печать высокая. Усл. печ. л. 27,09. Уч.-изд. л. 27,26. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 3086. Цена 1 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суховский вал, 49.





1р.10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»